



# ЗВЕЗДА ВОСТОКА

ОРГАН СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С 1932 ГОДА

№ 5

1990 ГОД

Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

## В номере:

### ПРОЗА

- КОНСТАНТИН ВОЛКОВ. Помощник Первого. Роман. Окончание . . . . . 19  
ЛЕОНИД ШОРОХОВ. Рот фронт. Рассказ . . . . . 102

### ПОЭЗИЯ

- УЙГУН. «Дырявый камень» — «Тешик таш». Рождение музыки. Строки. У Ляби-хауза. «Полу-темно в саду тенистом...». Дважды цветет урюк. Серебристые капли. Перевод с узбекского А. Наумова . . . . . 14  
ИБРАГИМ ЮСУПОВ. Четверостишия. Перевод с каракалпакского А. Наумова . . . . . 17  
ДЖОЛМУРЗА АЙМУРЗАЕВ. «В предутренней мгле...» Семь врагов. «Я слушал людей, переживших немало...» Перевод с каракалпакского А. Наумова . . . . . 18  
ВЛАДИСЛАВ МОЛОЧНИКОВ. К Родине. Перепалка пернатых. Собрание. Игра. Росток . . . . . 89  
АДХАТ СИН-УГЫЛ. Корни чинары. Откуда знать тебе?.. Свое гнездо. Народ. Перевод с татарского В. Парфентьева . . . . . 99  
ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЯНЦ. Корабль. «Прикоснись рукой или губами...» . . . . . 100  
НИКОЛАЙ КРАСИЛЬНИКОВ. Вторая Сарыкульская. Баллада о глотке воды. Девичий мост. Поединок, или Как поэт ловил сома. «По паркету подойдешь босая...». Аэроплан над Бухарой (1924). Устюрт. Верблюд на Учсае. Воспоминание о старом городе. Коль-Коль. Чистильщик обуви. Индустриальный скворец. «Видно, стал я забывчивым слишком...» 121

### 45 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

- ИБРАГИМ РАХИМ. Через три войны . . . . . 3  
АЛЕКСАНДР БЕРЛЯНД. Сквозь годы . . . . . 7

### ПЕРЕСТРОЙКА: ИДЕИ И ПРАКТИКА

- АЗАД АВЛИКУЛОВ. Барака . . . . . 91

### К 80-ЛЕТИЮ МИРТЕМИРА

- АТАЯР. Увидеть солнце... Фрагменты из романа-эссе. Перевод с узбекского Л. Музафаровой . . . . . 126  
МИРТЕМИР. На речке. В отцовской кладовке. Перевод с узбекского Л. Мезинова . . . . . 131

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- ЮРИЙ МУРАДОВ. Девяти веков кумир . . . . . 132

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИСФАНДИЯР. Взросление . . . . .	134
Н. НИКОЛАЕВ. Жизнь без нравственного усилия . . . . .	135

### РУССКИЕ ПОДВИЖНИКИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

РАФАИЛ ТАКТАШ. Нукусский Дон-Кихот . . . . .	138
АННА МАРУФОВА. Привратник чуда . . . . .	140

### ПОИСКИ. ГИПОТЕЗЫ. НАХОДКИ

РАИСА ИВАНЧЕНКО. Это загадочное биополе . . . . .	143
---	-----

### ПИСАТЕЛИ ЗАРУБЕЖНОГО ВОСТОКА

НАГИБ МАХФУЗ. Нераскрытое преступление. Р а с с к а з. Перевод с арабского Г. Колесниковой . . . . .	147
--	-----

### ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ

САТВАЛДЫ ЮЛДАШЕВ. Рассказы . . . . .	152
--------------------------------------	-----

### КОРАН

Сура 6. Скот . . . . .	158
Комментарии . . . . .	165

### ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

АГАТА КРИСТИ. Убийства по алфавиту. Перевод с английского Л. Крашенинниковой . . . . .	167
--	-----

### САТИРА. ЮМОР

Улыбка художников. Р и с у н к и Н. Сушенцева, А. Умярова, В. Уборевич-Боровского . . . . .	205
---	-----

Главный редактор **С. П. ТАТУР**.

Редакционная коллегия: **В. А. АЛЕКСАНДРОВ, И. М. АЛЯБЬЕВА** (отв. секретарь), **А. Ф. БАУЭР, А. Р. БЕНДЕР** (зам. главного редактора), **Е. Е. БЕРЕЗИКОВ, С. А. БРЫНСКИХ, Г. П. ВЛАДИМИРОВ, Н. К. ГАЦУНАЕВ, М. М. МИРЗАМУХАМЕДОВ, Ю. А. МОРИЦ, И. Ф. РОГОВ, Р. А. САФАРОВ, Н. В. СТРИЖКОВ, А. А. УДАЛОВ, Ш. ХАЛМИРЗАЕВ, Н. ХУДАЙБЕРГАНОВ**.

© Звезда Востока, 1990 г.



45 ЛЕТ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ибрагим Рахим

## ЧЕРЕЗ ТРИ ВОЙНЫ

На срочную службу я был призван в 1937 году. Отправляясь к месту службы в Белоруссию, вместе с самыми необходимыми вещами взял с собой две толстые тетради в клетку и пять карандашей. Берег их как личное оружие. При малейшей возможности брался за карандаш. Одна из тетрадей была заполнена стихами. Но напечатать хотя бы один из них я не решился. Тетрадь эта хранится у меня до сих пор. Недавно перелистал ее и с улыбкой отметил слабость и наивность юношеских стихов. Однако, читая строки, написанные на пожелтевших страницах второй тетради, я вновь испытал пережитое тогда чувство окрыленности. Это был черновик поэмы «Бахадыр», написанной под впечатлением тревожной обстановки на западной границе, где стояла моя часть.

Я был сапером, а саперу надо много знать — от минного дела до устройства оборонительных сооружений. Учился военному делу с большим желанием, но с неменьшим упоением писал. Первый мой рассказ «Судьба» был опубликован в окружной газете «Красноармейская правда» Белорусского особого военного округа и, к великой моей радости, занял первое место на конкурсе.

Наш саперный батальон 4-го стрелкового корпуса участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию, к которой приближались с запада немецко-фашистские войска. Население встречало нас хлебом и солью, цветами и улыбками. Вооруженного сопротивления не было, лишь местами совершали диверсии и стреляли из-за угла фашистские приспешники.

Выйдя за рубеж Западной Двины, батальон приступил к оборудованию линии обороны в районе Себеж — Бегосово — Дрисса.

Мы не успели закончить эту работу, как разразился конфликт на Карельском перешейке. Туда и был срочно переброшен наш саперный батальон. Я уже был командиром отделения минеров.

Лютые морозы, карликовые леса, большие и малые озера, непроходимые сугробы, бесчисленные доты и дзоты, а над ними на деревьях снайперы противника — «кукушки». На «Линии Маннергейма» заминировали все, что только можно было. Нам, саперам, доставалось едва ли не больше всех. Мы проделывали проходы, очищали от мин каждую пядь земли, подрывали доты и дзоты — короче говоря, прокладывали путь пехоте и танкам.

Сапер ошибается только раз. На «Линии Маннергейма» это могло случиться не менее тысячи раз. До сих пор удивляюсь, как наше отделение, поредевшее от обморожения, не имело ни одного подрыва. В такой-то мороз!

Обо всем этом я тогда написал рассказ «История ста пяти дней» — именно столько длилась финская кампания.

Писалась эта книжечка в коротких перерывах между боями в лесах Карелии. Тогда-то впервые и вошли в узбекскую литературу такие военно-инженерные термины, как «дот» и «дзот».

В последнее время многие из тех событий пришлось переосмыслить. Насколько справедливыми и обоснованными были объявление войны Финляндии, действия Советского Союза на западе — об этом четко сказано на втором Съезде народных депутатов СССР. Мы же были солдатами, выполняли приказ командования, в атаку шли со

словами «За Родину, за Сталина!» И мои сегодняшние записки — это воспоминания простого солдата, прошедшего три войны.

После заключения с Финляндией перемирия в марте 1940 года я вернулся домой командиром запаса и стал работать в газете «Кизил Узбекистон». Временно жил в общежитии ЦК КП Узбекистана. В середине июня 1941 года редакция мне выделила квартиру, и я поехал на родину в Ферганскую область, чтобы перевезти в Ташкент свою мать... В ожидании арбы мы пили чай. Вдруг прибегает ушедший за арбой старший брат Умурзак и говорит, что началась война. Вслед за ним появился запыхавшийся сторож кишлачного Совета.

— Ибрагимджан, звонили по телефону: вам срочно прибыть в Ташкент. Война, говорят, началась.

Мать, поглощенная хлопотами, не расслышала его слов, но по нашим лицам поняла, что случилось нечто ужасное. Скрыл я от нее, что должен срочно отправиться в Ташкент. Сказал, что мне надо съездить в Андижан и я ее заберу на обратном пути.

Побежал в кишлачный Совет. Народу там уже было полным-полно. Меня тотчас же взяли в кольцо дехкане. Они потребовали рассказать все, что мне известно о войне. Я, как мог, объяснил, кто такие фашисты и чего они хотят. Затем, испросив верховую лошадь, поскакал на железнодорожную станцию Федченко. Оставив там лошадь, я вскочил в товарняк и той же ночью прибыл в Ташкент.

У входа в общежитие ЦК Компартии Узбекистана мне преградили путь двое парней. Один из них, проверив документы, вручил повестку, из которой следовало, что часов через восемь я должен быть на месте сбора.

Тем временем в общежитие позвонили из редакции газеты «Кизил Узбекистон» и потребовали срочно прибыть «для подготовки полосы против фашизма». Всю ночь в редакционном помещении при полиграфкомбинате готовили мы первый номер. А в те минуты, когда полоса сдавалась в печать, я уже был в своей команде, готовой к отъезду на фронт.

Однако эшелон отправился только на рассвете пятого июля. Провожающих собралось видимо-невидимо. Со всех сторон слышались напутственные слова, пожелания скорого возвращения с победой. Многие женщины плакали.

Меня никто не пришел проводить. Лишь когда лязгнули буфера и состав тронулся, я услышал молодой женский голос: «Ибрагимджан!» Оглянувшись, я увидел бегущую к вагону землячку, ферганскую девушку Матлюбу Мухамедову. Поезд набирал скорость. Матлюба бросила мне свернутый комочком носовой платок. Внутри его была записка. Я развернул и прочитал: «Доброго пути и благополучного возвращения!»

Всю войну хранил я эту записку в медальоне вместе с бумагой, где были все необходимые сведения обо мне. С ней я и вернулся с войны. Матлюбу, однако, больше не встретил. Она уехала в какой-то дальний кишлак. Но никогда не забуду я ту записку, которая стала для меня талисманом.

Как журналиста меня назначили политруком саперной роты инженерного батальона 194-й стрелковой дивизии. В бой мы вступили уже в июле. Два тяжелейших месяца прошли в оборонительных сражениях и отступлении. Никогда не забыть те тягостные осенние дни. Дождям, казалось, конца-края не будет. Обмундирование на нас промокло, отяжелело, обувь раскисла. Дороги находились в руках у немцев, и мы вынуждены были передвигаться лесами, причем только ночью. Оккупанты оказывались рядом с нами, мы слышали их голоса. Стоило же фашистам обнаружить нас — и обрушивались град мин, огонь из автоматов. Иногда, выбрав момент, мы преграждали им путь, громили обозы с продовольствием, оружием, боеприпасами.

Однажды, уже недалеко от Москвы, мне с группой саперов было приказано заминировать переправу через реку Протва, куда уже подошли танки противника. Задание мы выполнили. Как только танки въехали на мост, прогремел взрыв. Три машины вместе с настилом рухнули в воду. Еще две подорвались на минах, установленных нами на берегу. Все это произошло в одну минуту. Мы открыли огонь по скопившимся на берегу фашистам. Тут же вступила в дело артиллерия. Заговорили «катушки»... Так наша дивизия остановила на этом участке продвижение немцев к Москве.

Я был представлен к первой боевой награде — медали «За боевые заслуги». Уже много лет спустя, после войны, мне было присвоено звание почетного гражданина села Троицкое Жуковского района, на территории которого все это произошло.

Время и события закаляют человека, делают его мудрее. Дважды я был ранен, но своей части не покидал. Ту, первую, медаль мне вручили в торжественной обстановке на заседании Военного совета 49-й Армии. Мне было чем гордиться. Еще бы: шел 1941 год, и награжденных было немного.

Вскоре мне присвоили звание капитана и перевели в политотдел армии. Кое-кто склонен думать, что политработники армейского масштаба больше находятся в тылах. Это ошибочное мнение. Основную часть времени мы проводили в войсках. Задания бывали разные. Мне, например, поручили возглавить диверсионную группу, которая проникла в тыл врага. А вернувшись, я узнал, что в дивизии побывала делегация во

главе с Председателем Совнаркома Узбекистана Абдужаббаром Абдурахмановым. Видимо, ему рассказывали о нашей группе, и он специально для нас оставил подарки: теплое белье, шерстяные перчатки, сухофрукты.

Предсовнаркома попросил командование направить делегацию фронтовиков в Узбекистан, чтобы они рассказали, как сражаются с ненавистным врагом воины-узбеки и какие зверства творят фашисты на советской земле. В конце 1942 года такая делегация была сформирована. Возглавлял ее работник политуправления фронта майор Малла Абдуллаев, а меня назначили его заместителем.

В Ташкент приехали уже в начале 1943 года. Поезд прибыл поздно вечером. нас сразу же увезли на дачу Совнаркома, в Дурмень. Не успели мы разместиться, как появились несколько портных и стали снимать с нас мерки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 года вводились новые знаки различия — погоны и звездочки вместо кубиков и шпал на петлицах, но войска еще не перешли на новую форму. И вот правительство республики решило преподнести сюрприз! Когда мы утром проснулись, нас уже ждало новое обмундирование. В Ташкенте солдат и офицеров в этой форме еще не видели. И где бы мы ни появлялись, повсюду оказывались в центре внимания, а мальчишки — те ходили за нами толпами.

Так, во всем новеньком, с иголочки, явились мы в Центральный Комитет Компартии Узбекистана. Тогда он находился в трехэтажном здании по улице Гоголя.

Принял нас первый секретарь ЦК Усман Юсупов — плотный, энергичный человек. Обритый наголо, в комсоставской гимнастерке, туго охваченной в поясе широким ремнем, он походил на боевого генерала. Мы передали ему горячий привет от командования фронта. Усман Юсупов дотошно расспросил нас о положении на фронте, о жизни солдат и офицеров. От имени всех фронтовиков мы выразили искреннюю благодарность нашему народу за то, что армия не испытывает нужды ни в вооружении, ни в продовольствии, ни в обмундировании.

Усман Юсупов с горячностью рассказал о том, как по-фронтовому трудятся в тылу люди, дают продукцию эвакуированные из западных районов заводы и фабрики. «Мы не только воюем, но и строим, прокладываем каналы, сооружаем электростанции. Пусть знают фашисты — мы планируем победу, строим то, что понадобится для нашего послевоенного развития!» — сказал он, а потом пригласил посмотреть строящийся металлургический завод в Бекабаде и Фархадскую ГЭС.

Вечером мы посетили президента республики Юлдаша Ахунбабаева в его доме по улице Урицкого. Он был тяжело болен. Сам Усман Юсупов нас к нему и привез. «Заодно и я его проведу», — сказал он.

Когда мы вошли, Юлдаш-ата лежал в постели. Увидев нас, он приподнялся, оперся о подушку и поздоровался с каждым из нас.

— Когда вы были призваны в армию? — спросил он, глянув на капитанские погоны.

— В тридцать седьмом году, — ответил я.

— Наверно, видели и те, «малые» войны?

— Участвовал в операциях по освобождению Западной Белоруссии, в боях на Карельском перешейке. В этой войне — с начала июля сорок первого...

— Молодец, сынок!

Оживленная дружеская беседа была продолжена за пловом, который приготовила хозяйка дома. Прощаясь с нами, Юлдаш-ата вручил каждому выкованные чувскими умельцами ножи.

— Берите и не отдавайте врагу!

А через несколько дней Юлдаша Ахунбабаева не стало. Весь Узбекистан провожал своего акакала в последний путь. Мы, фронтовики, стояли в почетном карауле, несли гроб с телом покойного, бросили горсть земли в его могилу. И потом, на фронте, часто вспоминались слова: «Берите и не отдавайте врагу!»

А скоро мы вновь были на передовой. Передали бойцам привет от узбекского народа, сказали, что ждут нас с победой. Говорили о том, как самоотверженно трудятся земляки во имя общей победы. Об этом повелили и статьи, напечатанные в выходившей на узбекском языке фронтовой газете «Кизил аскар» («Красный воин»), куда меня направили из политотдела армии. А вскоре я стал слушателем высших офицерских курсов «Выстрел» под Москвой. Здесь мы изучали поступающую на вооружение новую технику, тактику, опыт ведения боев. Окончив курсы с отличием, я был направлен в танковые войска.

В 1944 году третьему гвардейскому танковому корпусу, нашей 19-й гвардейской танковой бригаде было передано триста боевых машин, подаренных Узбекистаном. В те дни отмечался юбилей республики, и приказом командующего этой танковой колонне было присвоено имя «Двадцать лет Советского Узбекистана». В течение одной ночи эти слова были белой краской нанесены на все машины.

Бойцы и офицеры 19-й гвардейской танковой бригады, получив новую технику, дали особую клятву. Текст ее был зачитан перед всем личным составом, и каждый поставил под ним свою подпись. Была среди них и моя.

Дав клятву, мы единодушно приняли и текст письма народу Узбекистана. «Дорогие товарищи! — писалось в нем. — Сегодня нам, гвардейцам-танкистам, переданы приобретенные на средства трудящихся солнечного Узбекистана танки... Бригада наша богата героями. Сотни бойцов, сержантов и офицеров награждены орденами и медалями. Многие из них — сыны узбекского народа...

Мы рады вашим победам на фронте борьбы за урожай «белого золота» 1944 года. Поздравляем с трудовыми победами на хлопковых полях и Курбан-ата, и Таджихон Аскаркову, и всех хлопкоробов. Вы много сделали для победы Красной Армии над немецкими захватчиками. Мы сильны вами, товарищи. Мы сильны потому, что за нами стоят такие, как вы, великие труженики...

Преклонив колени перед боевым гвардейским знаменем, мы клянемся вам, узбекскому народу, что будем беречь эти машины, мастерски управлять ими в бою. Беспощадно уничтожая захватчиков, пойдем вперед, к полной победе над гитлеровской Германией...»

Митинги прошли и в других частях корпуса. Я выступил в госпитале, где были и раненые воины-узбеки. Позже мне стало известно, что на излечении в госпитале в те дни находился мой старший брат Умурзак Рахимов. Очень было обидно, что не довелось встретиться, да что поделаешь, таких случаев на фронте было немало...

Первый из прибывших танков был вручен старшине С. Тимофееву, а первая самоходка — лейтенанту К. Умарову.

Перед боем Тимофеев подошел ко мне и, доложив, что обнаружил в танке какое-то письмо, протянул пожелтевший листок.

— Буквы вроде наши, — сказал он, — а непонятно. Помогите разобраться.

Письмо оказалось написанным по-узбекски, карандашом на тетрадном листке в клетку. «Ассалом-алейкум, товарищ танкист! — говорилось в нем. — Этот танк я посылаю вам, незнакомому танкисту. Раздавите, растопчите фашиста! Мой танк — замечательный танк. Мы, узбекские дехкане, собирая на него деньги, трудились в поте лица. И построили его сами под руководством уральских рабочих. Пусть этот танк будет долговечен, крепок и страшен! Напишите мне, как воюет мой танк. Сообщите о своих успехах».

Славными боевыми делами ответили танкисты автору письма Кариму Нурматову.

Обо всем этом я написал очерк «Танки колонны «20 лет Советскому Узбекистану» в сердце Германии». Позднее был создан художественный фильм «Подвиг Фархада».

В самый разгар войны уже на территории Восточной Пруссии и Западной Польши мне довелось встретиться с генералом Сабиром Рахимовым. Гвардейская дивизия, которой он командовал, в составе 65-й Армии вела непрерывные бои за город и морской порт Граудениц. Наш 3-й гвардейский танковый корпус, освободив Померанию, соединился с 65-й Армией. Бригада, в которой я служил, с боями заняла Сопот и остановилась. Фашисты бомбили нас с воздуха, обстреливали с моря.

Наша бригада действовала бок о бок с дивизией генерала Рахимова. Я уже давно хотел встретиться с ним. И вот однажды ночью, испросив по телефону разрешения на встречу, я направился на его командный пункт. Сильно осунувшийся, с красными от бессонницы глазами, генерал встретил меня радушно.

— Ты на чем прибыл? — спросил он.

— На танке.

— А где он?

— В укрытии.

— Хорошо. Немец нас без конца обстреливает, головы поднять не дает. А сейчас вот почему-то поутих. Так что потолкуем.

Мы вошли в землянку. Только было разговорились, как где-то поблизости рванул снаряд. Потом второй, третий... Взрывы становились все чаще, и каждый сильнее и страшнее предыдущего. Землянка от них сотрясалась, ходила ходуном, казалось, вот-вот рухнет перекрытие.

— С кораблей палат. Из главных калибров, — сказал генерал.

Запросив по телефону обстановку, он отдал соответствующие распоряжения:

Утром предстояла очередная атака. Поблагодарив генерала за встречу, я собрался в свою часть. Генерал Рахимов вышел из блиндажа и проводил меня до танка. «Не затрудняйтесь, не провожайте», — попросил я. Он ответил, что хочет посмотреть надпись. Подойдя к «тридцатьчетверке», он с удовольствием прочел вслух: «20 лет Советскому Узбекистану» — и крепко пожал мне руку:

— Ну, пока, майор, до встречи в Гданьске.

...К великому сожалению, больше встретиться нам не довелось. Он погиб под этим польским городом.

Конец войны застал нашу бригаду в районе лесов, которые она только что очистила от фашистов. Это был самый памятный, самый счастливый день в моей жизни. Да и не только в моей...

## СКВОЗЬ ГОДЫ

В который раз многолетний поиск приводит меня в этот небольшой подмосковный городок, связанный со всей страной миллионами невидимых нитей. Более четырех десятков лет прошло после войны, а люди все ищут своих отцов и сыновей, братьев и мужей, открывают новые страницы в судьбах фронтовиков.

Вот и я приехал в этот городок, имя которому Подольск, чтобы поискать в Центральном архиве Министерства обороны СССР материал об одном из моих однополчан по фамилии Муминов.

Он, как теперь принято говорить, остался «белым пятном» в моем фронтовом блокноте. Записано было только несколько слов из дивизионной газеты «В атаку!» о том, что рядовой Муминов особо отличился при форсировании Киш-озера.

Я знал об этом бое, который вела наша 374-я дивизия. Форсирование озера обеспечило успех операции по освобождению Риги от фашистских оккупантов. О многих героях того боя я писал, а вот Муминов как-то не попал в поле моей поисковой работы, и не знаю, появился бы этот документальный рассказ, если бы не одна подсказка. А сделал эту подсказку капитан первого ранга Поляков, написавший небольшую книжку «Удар через Киш-озеро». В ней я неожиданно наткнулся на фамилию Муминова. Вот что говорилось в книге: «Смело действовали расчеты станковых пулеметов сержанта Бредова и старшины Ладыгина. Увлеченные наступательным порывом, они находились впереди подразделений, расчищая им путь пулеметным огнем.

Расход боеприпасов у пулеметчиков был велик. Когда у узбека Гайнитдина Муминова кончились патроны, он переправился через озеро на подручных средствах и доставил несколько ящиков боеприпасов».

Эта цитата из книги, и в ней самой взята в кавычки. Автор выписал ее из политдонесения, хранящегося в Центральном архиве Министерства обороны СССР.

Для непосвященного человека короткая фраза о том, что пулеметчик переправился через озеро на подручных средствах, мало что говорит.

Но представьте себе озеро шириной три километра. Оно буквально бурлит от рвущихся снарядов. Противоположный берег еще не весь захвачен нашими войсками, и идет сильный бой. Озеро прорезают пулеметные трассы.

И вот среди этой огневой бури нужно перебраться на свой берег, взять патроны и снова пуститься в путь, из которого только что каким-то чудом выбрался живым. И не на плавающем танке, не на бронированной амфибии, а, как сказано в донесении, на подручных средствах — на утлой лодчонке, сорванных у близлежащего двора воротах или на малых, наспех сколоченных плотиках. И все это, повторяю, под яростным огнем. Какая же отвага, какое бесстрашие требуется!

Естественно, меня, уже написавшего немало документальных рассказов о своих однополчанах, все это заинтересовало, и я надеялся в Подольске отыскать какие-либо подробности. Но, увы, кроме приведенной выше цитаты о Муминове, в донесении не было сказано ни слова. Но все равно донесение я прочел с большим интересом. Оно помогло мне еще глубже окунуться в пучину тех памятных боев.

В моей практике было немало случаев, когда поиск завершался спустя годы, а то и десятилетия. И я не терял надежды на то, что когда-либо напишу о Муминове. Решил продолжить поиск, не ведая, конечно, что стою на пороге раскрытия удивительнейшей истории.

Попытка найти след Муминова в Узбекистане не увенчалась успехом. Не нашел и его родственников.

Я часто встречаюсь с однополчанами, веду оживленную переписку. И всякий раз спрашивал, знал ли кто отважного пулеметчика. Некоторые отвечали утвердительно, но никто не знал, где он, что с ним, довоевал ли до конца войны.

Но все-таки ниточка показалась, и я за нее ухватился. Командир роты, в состав которой входил пулеметный расчет, сказал мне, что о Муминове ничего не знает, хотя помнит его отлично. И тут же поведал о том, что Муминов дружил с сержантом Крыловым. Звали Крылова не то Семен, не то Сидор. После того боя Крылов, как член

КПСС, дал рекомендацию Муминову, и по его поручительству солдат был принят в партию. И еще знал ротный командир, что Крылов сибиряк и после войны уехал, кажется, в Новосибирск.

Я воспрянул духом. Мне было известно, что в Новосибирске живет полковник в отставке Белоусов, который в свое время был редактором той самой дивизионной газеты, где служил я.

В последнее время полковник был редактором окружной военной газеты и, уйдя в отставку, связь с ней не терял. Поведал он журналистам о моей просьбе. Искали долго. Но журналисты, тем более военные, народ дотошный и в конце концов нашли в далеком Ачинске моего Крылова.

Итак, Ачинск. Еле нашел этот город на карте Красноярского края. Подумал: может, и Муминов там? Хотя трудно было представить себе южанина на Крайнем Севере. Но оказалось, что был я недалеко от истины, как недалеко Игарка от Ачинска. Но не станем забегать вперед, так как Игарка появится в нашем рассказе еще не скоро.

Не помню уже, какие дела отвлекли меня, но написал я в Ачинск где-то через полгода. Долго не было ответа. Но вот однажды нашел я в своем ящике конверт. Не без волнения открыл его. В нем оказалось нераспечатанное мое письмо. На приклеенном к конверту листочке соседка сообщала, что Крылов выехал куда-то в Туркмению, где на границе служит его сын — офицер по имени Василий. Когда вернется — никто не знает. Может, через месяц, а может, и через три.

Итак, новая задача: ждать возвращения Крылова в Ачинск или искать его через штаб Среднеазиатского пограничного округа. Вернее, искать не его, а сына Василия. Написал в политуправление округа. Ответ был по-военному краток: капитан Крылов служит на такой-то заставе и днями уезжает в Москву, так как зачислен слушателем Академии погранвойск.

До Ачинска бог весть сколько добираться, а Туркмения рядом. И я подключаюсь к телевизионной группе, что едет снимать сюжеты ко Дню пограничника на дальние заставы.

Никогда не бывает, чтобы все было гладко. Нашел я капитана Василия Крылова, но, увы, отец его только два дня как уехал домой в Ачинск.

— Мать умерла у меня три года назад. Отец тоскует. Внучка, правда, отвлекает от горя. Сейчас вот и уехал по ее вызову.

Сказав это, Василий, или, вернее, Василий Сидорович, показал мне конверт с письмом. Я машинально взял его в руки, глянул на адрес, и сердце у меня дрогнуло. Обратный адрес гласил: Ачинск, Коммунаров, 26, Муминовой С.

Мы с капитаном Крыловым идем в ленкомнату, чтобы поговорить. Меня сразу же привлек огромный стенд с картиной, изображавшей мчащихся на конях всадников с шашками наголо. И стихи бывшего пограничника поэта Владимира Луговского:

Нет,  
Не умирают люди славы.  
Память,  
Встань в почетном карауле...

А рядом читаю фамилии красноармейцев, погибших в бою при защите границы от прорывавшихся из-за кордона басмачей. Третьим или четвертым читаю: «Красноармеец Муминов Равшан».

Я стоял, будто пораженный громом, с предчувствием чего-то неожиданного и значительного.

— Бой с бандой Мурад-бека во многом определил и мою судьбу, — прервал мое оцепенение капитан Крылов. — Если хотите знать, этот стенд — частица моей биографии. И частица немаловажная.

Вы уже говорили, что вас привело к нам на заставу. И поиск ваш идет по верному пути. Но вы еще далеки от его завершения. Я не могу сказать и половины из того, что узнаете от отца, если, конечно, встретитесь с ним. Разумеется, исчерпывающие ответы мог бы дать сам Муминов. Но, увы. Мы похоронили его в конце восьмидесяти четвертого года...

Мой собеседник умолк, видимо, раздумывая над тем, с чего начать. В это время зашел солдат, передавший капитану какую-то записку. Оказалось, жена капитана просила пригласить меня на ужин по случаю предстоящего отъезда.

Офицер, видимо, заметил мое нетерпение услышать продолжение рассказа. Поэтому беседу не прервал:

— Мне тридцать три года. Из них пятнадцать в армии — четыре года в училище и более десяти лет на границе.

Моя карьера военного была predeterminedена окружением, в котором я находился буквально со дня рождения. Отец, правда, не был кадровым военным, прослужил в армии только годы войны, но эти годы оставили в нем такой глубокий след, что опре-



делили всю дальнейшую жизнь. Он сожалел, что тяжелое ранение, полученное в самом конце войны, не позволило продолжить военную службу. Зато все мое воспитание было освещено событиями войны, и всякий раз отец учил меня на примере своих однополчан честности, мужеству, верности долгу, дружбе.

Эту верность, силу фронтового братства видел я рядом с собой на примере той дружбы, что кровно связала моего отца с одним из однополчан, которому он обязан жизнью...

Капитан на какое-то мгновение остановился, но, прежде чем он продолжил разговор, раздался сигнал тревоги. Василий Сидорович, извинившись, покинул меня. Через час он вернулся. Тревога была ложной — оказалось, следовую полосу перешли животные. Но разговор наш продолжился лишь на квартире Крылова.

... Бой — короткое, но емкое слово. Как много вмещает оно: жизнь, смерть, ненависть и сострадание, мужество и страх, артиллерийский гром и едва слышный стон раненого, огневые сполохи, ставшие для многих последним в жизни светом.

Бой... Сколько их было на военном пути сержанта Сидора Крылова, а такого, как этот, такого мучительно тяжелого не помнил. Все с самого начала складывалось вопреки замыслу. Небольшая станция была взята буквально с ходу, и никто не думал, что именно здесь развернется тяжелый бой, стоивший роте Передериева половины бойцов.

Рота еще не успела хорошо закрепиться, когда на нее обрушился плотный минометный огонь, а затем из леса появилась цепь солдат неприятеля.

Первая вражеская атака была отбита сравнительно легко, но когда новый шквал минометного огня вывел из строя один за другим несколько пулеметных расчетов, положение создалось критическое.

Взвод, отделением которого командовал сержант Крылов, располагался левее бревенчатого здания железнодорожной станции, чуть в отрыве от других. Может быть, именно это обстоятельство было причиной того, что вражеские цепи дважды подходили к отделению Крылова на расстояние гранатного броска. Но оба раза атака была отбита. Более того, когда немцы после неудачного броска устремились под огнем взвода к лесу, сержант Крылов увлек весь взвод, командир которого был убит, в решительную контратаку.

Сложилось так, что рота не смогла поддержать инициативу бойцов Крылова, и они залегли у самой опушки, прижатые вражеским огнем.

Но бой неожиданно принял новый оборот. Командир батальона, когда позволила обстановка, перебросил на помощь роте Передериева другую роту, поддержанную артиллерийской батареей.

Но Крылов этого уже не увидел. Разорвавшаяся рядом мина десятками осколков впилась в его тело. Кровь залила лицо.

А вокруг гремел бой. Санитары не успевали вытаскивать раненых, да и сами они выходящие из строя, так что на две роты остался лишь один. Кто-то из бойцов, увидев истекающего кровью сержанта, потащил его, чтобы за бревенчатым зданием сделать перевязку и затем переправить на батальонный медпункт. На этом пути солдата дважды обожгла немецкая пуля, но он не оставил своего командира. Этим бойцом был рядовой Гайнитдин Муминов. Да, тот самый, что отличился при форсировании Кишозера и который с благословения Крылова стал коммунистом.

Василий Сидорович посмотрел на меня, разгадав, как удивлен я, и, затянувшись сигаретой, продолжил:

— Представляю, как удивил вас мой рассказ о бое, в котором я не участвовал и который состоялся более чем за десять лет до моего рождения.

Вы знаете, мне самому порой кажется, что я был в том бою, пережил все его перипетии. Дело в том, что об этом бое отец рассказывал множество раз, пополняя свое повествование новыми деталями. А когда об этом же бое стал вспоминать Гайнитдин Равшанович, все мы — и я, и мои две сестры, и мать могли бы без запинки рассказать обо всех эпизодах боя, где еще и еще раз сказались великая сила армейского братства, что в данном случае определила многие судьбы, и мою, в частности. Именно следствием того боя объясняется мое появление на здешней заставе...

Об этом бое, события которого поведал мне Василий Сидорович, я знал очень многое и, как говорится, по свежему следу. Газета, в которой я работал, немало писала о нем, о роте Передериева, одного их храбрейших офицеров дивизии.

Конечно же, картина боя отличалась от того, как о ней рассказывал сержант Крылов и как освещают ее его дети. И в этом нет ничего удивительного. У каждого свое видение боя, а зависит это от того, что происходило рядом или с ним самим. Но одно бесспорно: бой был жестокий, но мужество воинов, их мастерство обеспечили победу.

Уже была глубокая ночь. Мы стояли во дворе, вслушиваясь в чуткую тишину пограничья, а потом вернулись в дом и, усевшись на уютной веранде, продолжили неторопливый разговор.

Смешно было бы сейчас, в четвертом часу ночи, отправляться в ленкомнату заставки, хотя мне очень хотелось бы туда попасть. В моем сознании уже протягивались

ощутимые нити от того боя с бандой Мурад-бека до схватки с врагом в далекой Прибалтике, и, еще ничего толком не зная, я уже наводил мосты между павшим в бою пограничником Равшаном Муминовым и спасителем Крылова солдатом Гайнитдином Муминовым. И не зря. Гайнитдин как раз и был сыном Равшана, а Светлана, внучка Сидора Крылова, что вызвала в Ачинск своего дедушку, не случайно носила фамилию Муминова.

Известие о гибели отца и кормильца отозвалось в семье глубоким горем, а сердце жены Равшана — Зульфийи — не выдержало такого удара, ведь за несколько лет до этого басмачи убили отца и мать Зульфийи.

Детей в той семье было шестеро. После гибели родителей их разобрали соседи и даже знакомые из окрестных кишлаков. Дети привыкли к новым семьям и постепенно стали забывать друг о друге. Зульфие едва исполнилось шестнадцать, когда ее отдали замуж за Равшана — такого же сироту. Оказался он парнем заботливым, любящим. Родила ему Зульфийя сына, назвали его Гайнитдином.

Ему еще и пяти не исполнилось, когда у Равшана кончилась отсрочка от военной службы и был он призван в погранвойска. Не знал маленький Гайни, не ведала Зульфийя, что, прощаясь с отцом и мужем, видят его в последний раз. Года не прошло, как получили они скорбную весть о героической смерти Равшана Муминова в бою с шайкой Мурад-бека.

И без того нелегко жилось Зульфие с сыном. Одна надежда только помогала ей — ожидание возвращения мужа. И когда эта надежда исчезла, здоровье надломилось. Осиротел Гайни, и определили его в детский дом.

...Девочка стояла у края колодца, обливаясь слезами. Неказистая, самодельная была та кукла, что уронила она в колодец, но первая в ее жизни, первый подарок.

Проходившая мимо воспитательница, на чьи слабые плечи легла забота о многих десятках таких же, как эта девочка, детей, узнав, в чем дело, смахнула передничком детские слезы и пошла дальше по своим неотложным делам, не усмотрев глубокого трагизма в случившемся.

И только маленький Гайни как-то сразу осознал, как велика и как горька утрата для этой девочки. Прежде чем кто-либо успел помешать ему, Гайни раскрутил веревку, что была намотана на колодезном барабане, и ухватившись за нее, скользнул в зияющую черноту провала.

На дне колодца было темно и холодно. Сердечко мальчишки сжалось от страха. С трудом нащупал он злополучную куклу, а вот подняться уже не мог. Руки сводило от холода. Веревка скользила. Выручила плачущая девочка, сообразившая побегать к взрослым и рассказать о случившемся.

Больше месяца пролежал Гайни в больнице с воспалением легких. Никто не корил его за случившееся, а только еще более закрепилась за ним молва как о надежном товарище, хотя был он мальчиком замкнутым и даже угрюмым. Гибель отца, смерть матери, полугодное существование — все это сказалось на характере.

Зато в дружбе он был надежен и крепок. Не раз в школе, а затем и на механизаторских курсах готов он был ринуться на помощь другу, даже если на успех не было ни одного шанса.

Война ворвалась в сознание Гайнитдина неожиданным ударом, но зато сразу, в ту же минуту сформировала его решение.

На первом году войны все попытки попасть на фронт решительно пресекались военкомом, и только в конце 1942 года надел молодой боец военную форму.

Нелегко давалась ему военная служба. Сказался и характер, да еще мешало ему быстро войти в контакт с товарищами слабое знание русского языка.

Но что Гайни, или, как его здесь окрестили, Гриша, надежный товарищ, поняли сразу.

Вскоре произошла у него первая встреча с сержантом Крыловым, и случилось то, что называют любовью с первого взгляда. Более старший по возрасту и уже немало повидавший Сидор Крылов как-то сразу уловил в этом на вид угрюмом парне человека смелого, доброго, умеющего ценить дружбу. И не ошибся.

Было это в 1943 году на знаменитой второй дороге близ станции Назия, где долгое время держали оборону части и соединения Восьмой армии Волховского фронта. В сводках Совинформбюро об этих боях у стен блокированного Ленинграда почти ничего не писалось. Только нет-нет да промелькнет сообщение о боях местного значения.

Но бой, пусть хоть и местного значения, не перестает быть боем с его неожиданностями, успехами и неудачами и, конечно же, потерями.

В это раннее утро противник после короткой, но мощной артподготовки атаковал небольшую высоту, только три дня назад занятую нашим подразделением в результате неожиданного броска. Высота представляла интерес не только тем, что господство-

вала над местностью, а и тем, что здесь, преодолев болото, можно было расположиться в сухих траншеях.

Высоту удерживали, нанося атакующим большие потери. Раздосадованные неудачей, фашисты открыли яростный минометный огонь. Одна за другой две мины разорвались прямо перед огневой позицией пулеметного расчета Крылова. Расчет оказался засыпанным землей, ход сообщения обрушился. Теперь, чтобы подойти к расчету и помочь ему выбраться из завала и оказать помощь, если кто ранен, можно было, только выбравшись из траншеи.

Прежде чем поступила команда, боец соседнего расчета вылез из своего окопа и броском устремился в сторону расчета Крылова. Противник тут же сосредоточил на нем огонь, но воин успел прыгнуть в траншею уже по другую сторону завала и тут же принялся освобождать пулеметчиков от земляного плена. Был это Гайнитдин Муминов.

Много еще провели они рядом дней и ночей, пока не пришла долгожданная победа. Вместе с радостью пришла и грусть от неизбежной разлуки. Солдаты, попавшие уже в сорок пятом под демобилизацию, записывали адреса друзей. Многие, не проронившие за всю войну ни одной слезинки, не стесняясь, плакали. Трудно, очень трудно разрывались узлы, справедливо названные фронтовым братством. Не случайно и сейчас, спустя десятилетия, несказанно радуются фронтовики каждой весточке от тех, с кем честно делились всем, чем полнилась война, а уж если случится встретиться, то нет большего счастья для солдатского сердца.

Гайнитдин, когда прощался с Крыловым, конечно же, и представить не мог, как близко сведет их судьба. Не мог этого знать и Крылов. А между тем случилось так, что не расстались они до последнего смертного часа.

Но до этого еще было далеко, и Муминов, простившись со всеми, уехал как дважды раненный, нуждающийся в лечении, одним из первых эшелонов.

Нет, не нашел он ту девчонку, память о которой хранил всю войну. На что рассчитывал — сам не знал. Ведь ни о чем таком не говорил он с ней, ни одного письма за почти три года не написал. А когда война кончилась, не задумываясь поехал туда, где, по его расчетам, жила Катя, та самая девочка-сирота, привезенная из голодающего Поволжья, та самая детдомовская девочка, чью куклу он когда-то вытащил из колодца.

Человек настойчивый, Гайнитдин отыскал след Кати и узнал, что уехала она, записавшись в гляциологическую экспедицию, отправившуюся на ледник Федченко. Говорили, что замуж вышла.

Сам не отдавая отчета в своих поступках, Гайнитдин ринулся на ледник. Дождавшись, когда отправится туда новая группа, нанялся простым рабочим.

Уже много лет спустя, рассказывая о том ужасе, который охватил его, когда, прибыв на ледник, узнал о трагической гибели от несчастного случая Кати, он весь как-то замирал, будто снова переживал прошлое.

У Гайнитдина никогда не было никаких с Катей объяснений, а искал он ее после войны исступленно, мучительно тяжело воспринял весть о том, что нет ее в живых. Свет опостылел ему. Он вернулся в Кашкадарью, брался за разные дела, но все валилось из рук. И тогда Муминов, никого не оповестив о решении, прилетел в Ачинск и постучал в дверь квартиры Сидора Крылова.

Однополчанин и старый товарищ, Крылов ни о чем не спросил фронтового друга. Они сели за стол, и само собой стало понятно, что дом Крылова это и дом Муминова...

Все у нас было условлено, и все же я долго не мог отыскать своего заочного друга, по подробным письмам которого я так много узнал о жизни Муминова.

В сверкающем зале Дворца культуры Московского автозавода имени Лихачева сидели, стояли, ходили ветераны, увешанные орденами и медалями, все седые или польсевшие, чем-то удивительно похожие друг на друга. Я как-то слышал, что схожие судьбы делают схожими людей и по виду, и по характеру. Возможно.

Однако же мы нашли друг друга. Пожалуй, Сидор Михайлович даже раньше увидел меня, нацелив свой взгляд на висевший у меня на шее фотоаппарат — заранее обусловленный опознавательный знак. Я увидел размахивающего газетой (так договорились) своего корреспондента, решительно пробиравшегося в мою сторону.

Оба мы давно ожидали этой встречи. Да все не получалось. После той памятной ночи на пограничной заставе я при помощи капитана Крылова связался с его отцом. Из рассказов пограничника, а больше из писем Сидора Михайловича, сложилось у меня определенное представление о Муминове. Теперь, благодаря заботам московских ветеранов войны, представилась возможность все узнать подробнее. Именно москвичи пригласили на традиционную встречу ленинградцев и волховчан в этот заводской дворец по случаю 40-летия прорыва блокады Ленинграда. Встреча была интересной, волнующей, вел ее генерал Лященко, которого многие из нас знали не только по войне, но и по службе в ТуркВО.

Но не эта встреча тема моего рассказа, и скажу только, что свела она нас с моим новым другом так, что и сейчас связи не теряем.

Сын его во время учебы в академии какое-то время жил на частной квартире по улице Маевок. Хозяйка квартиры Анастасия Дмитриевна, симпатичная старушка, стала для семьи Крыловых доброй приятельницей. И сейчас, приехав в Москву, Сидор Михайлович поселился у нее, куда и меня пригласил.

После общих в таких случаях разговоров о семье, о детях и внуках, о здоровье, мы перешли к вопросам, более всего меня интересовавшим.

— Знаете, — сказал Сидор Михайлович, — не могу объяснить почему, но я был уверен, что увижу Муминова снова. И именно в Ачинске.

В последние месяцы войны Муминов командовал пулеметным расчетом и воевал с каким-то обостренным азартом, исступленно. Однажды я как-то даже посоветовал ему быть в бою осмотрительней. И знаете, что он мне ответил? «Не могу, — говорит. — Сейчас отцу было бы лет сорок пять, и он, конечно же, был бы на фронте. Так что я должен за него поработать». Так и сказал «поработать».

Когда совершенно неожиданно Гайнитдин появился на пороге моего дома, я, разумеется, ни о чем его не спрашивал, и только несколько позднее он сам мне обо всем рассказал.

Сейчас ему нужно было одно — работа, которая поглотила бы его, отвлекла от ран телесных, что до сих пор тревожили его, и особенно от сердечных. И такая работа нашлась.

В ту пору у нас гостила свояченица моя, инженер-гидролог. Она вместе с мужем жила в Игарке — далеком северном городе, расположенном за Полярным кругом. Свояченица так увлекательно рассказывала об этом городе, что привлекла внимание Муминова. У нее оказалось несколько номеров газеты «Заполярная кочегарка» с объявлениями ряда организаций, приглашавших на самые разные работы.

И Гайнитдин решил. Справив у нас меховую шубу и валенки, поехал он вместе с моей свояченицей в Игарку.

В свое время мой друг окончил курсы механизаторов, да и фронт неплохая школа, так что, определившись в ремонтные мастерские, быстро освоился, и через год его даже в партбюро выбрали.

По-прежнему несколько замкнутый, как писала моя свояченица, понравился он людям своей надежностью, такой же исступленностью в труде, какая была у него на фронте.

Понемногу тяжкие переживания отошли, уступив место новым заботам и даже радостям, которые, увы, так редко выпадали на его долю. Женился он на славной молодой женщине, потерявшей на войне мужа. Звали ее Аксинья, или попросту — Ксения. Родился у них сын, и по обоюдному согласию назвали его в честь деда — Равшаном.

Привык уже Гайнитдин к северным местам и осел здесь основательно. Но никогда ни у кого в сердце не затухает огонек родного очага. Все больше и больше влекла его земля предков, родной Узбекистан. И однажды, когда Равшану было лет десять, поехал Гайнитдин со всей семьей в край своего детства. Когда подъезжали к Карши, близ которого когда-то находился их детдом, Гайнитдин так разволновался, что жена еле его успокоила.

Все вспомнилось Муминову, и рассказал он семье своей о детстве, о матери, о Кате — обо всем том, о чем до этого никогда не рассказывал.

Но главное было еще впереди — свидание с дедушкой Равшана.

Да, Гайнитдин давно мечтал съезди всех своих на дальнюю южную заставу, чтобы поклониться, может в последний раз, праху отца и дать наказ сыну — быть достойным своего деда, имя которого он носит.

Вы знаете, не Гайнитдин, не Ксения, а именно Равшан-младший рассказал мне о поездке к пограничникам, которая произвела на него огромное впечатление и, думается мне, на долгие годы определила его поведение. Уже тогда Равшан решил стать, как его дед, пограничником. Но судьба распорядилась иначе, и он, хотя и служит в Советской Армии, но не на границе, а вот сын мой Василий, у которого вы были, стал пограничником. И именно рассказы о судьбе Муминова привели его на границу...

К этому периоду нашей беседы пришла Анастасия Дмитриевна и, погремев на кухне посудой, завершила наше чаепитие, пригласив за более ошутимо сервированный стол. Она оказалась хорошо осведомленной обо всех Крыловых и Муминовых, так что, слушая ее беседу с Сидором Михайловичем, я опять обогатил свои представления обо этих семьях, чьи судьбы волею случая стали мне небезразличны.

Поблагодарив хозяйку за отличный обед, мы вернулись к прерванному разговору, в центре которого оказалась та самая Светлана, что сократила своим письмом пребывание Сидора Михайловича на заставе и лишила возможности встретиться с ним в тот раз.

Сидор Михайлович достал из чемоданчика две пухлые папки, аккуратно раскрыв

их, извлек общую тетрадь и два полиэтиленовых пакета, в которых, как выяснилось, хранилась многочисленная корреспонденция. Среди писем обнаружил я и два моих послания.

С какой-то значительной улыбкой подал мне Сидор Михайлович общую тетрадь. Я углубился в ее содержание, листая страницу за страницей, немало удивляясь этому своеобразному каталогу писем, получаемых и отправляемых ветераном.

— Я только второй год как оставил работу, — продолжил разговор Сидор Михайлович. — Смерть жены, с которой прожил я более пятидесяти лет, подкосила меня. Долго болел и лишь сейчас понемногу прихожу в себя. Наибольшая моя привязанность сейчас — Света, внучка моя, автор и составитель всего, что записано в этой тетради. Ей еще и двенадцати лет не было, когда она взялась за упорядочение моей переписки с друзьями и родственниками. По натуре я немного несобранный, письма терялись, забывались адреса, и Света стала заносить в тетрадь, когда и от кого получил письмо, какие перемены в жизни моих корреспондентов — кто оставил работу, кто болен, а кто ушел из жизни. Теперь я аккуратно всем отвечаю, особенно однополчанам, не забывая всех поздравить с праздником. И все это благодаря Светочке. Она сейчас у меня дома за хозяйку.

...Никто никогда не видел в Ачинске такого цветущего великолепия. Откуда-то с юга доставили в цветочные магазины города эти розы — алые, с черно-красными подпалинами, белоснежные и желтоватые, скорее даже светло-золотистые.

У цветочных магазинов выстраивались очереди. У одного киоска по улице Декабристов остановилась девушка лет шестнадцати. Она так и застыла у этого благоухающего острова, будто зачарованная, боясь пошевелиться, чтобы не исчезло видение.

Она вздрогнула от чьего-то прикосновения к руке. Перед ней стоял смуглолицый, брови взлет, юноша в курсантской форме, с «дипломатом» в левой руке. А в правой был букет такой, какого девушка никогда не видела.

— Возьмите, — сказал курсант, — это вам.

Девушка зарделась, пыталась отказать, но, не в силах сделать это, взяла букет и, в растерянности забыв даже поблагодарить поспешно удалилась.

Но молодой человек удержал ее.

— Я вас знаю, Людмила. Вы дочь Сидора Михайловича, и мы встречались с вами года за три до моего поступления в училище, значит, более шести лет назад. И все же я узнал вас по этим косичкам и по глазам. По глазам даже скорее...

Именно таким был рассказ моей младшей дочери Людмилы о встрече с курсантом зенитно-ракетного училища, которым был никто иной, как сын Гайнитдина — Равшан.

Так случилось, что не был он у нас лет, наверное, семь. Учился в суворовском, а затем в Киеве — в зенитно-ракетном училище. У курсантов отпуск короткий, и Равшан проводил его у родителей в Игарке. А вот этим летом заехал в Ачинск, куда должен был прибыть по делам Гайнитдин. Затем планировалось вместе поехать в Игарку.

Но вышло по-другому.

Все мы были молодыми и помним, как приходит любовь. Думаю, что Равшан и Люся не были в этом оригинальными. Кончилось тем, что Равшан решил весь отпуск провести у нас. Скоро приехали Гайнитдин с Аксиньей, и мы справили помолвку.

Молодые люди так увлеклись друг другом, что решили через год, когда Равшан закончит училище, а Людмила — техникум, пожениться.

Так и случилось. И началась у моей Люси, теперь Людмилы Муминовой, новая жизнь с частыми переездами, неустроенностью, волнениями, одним словом, тем, что долгие годы сопровождает офицерских жен.

Дочь свою назвали Светланой. Возили с собой повсюду, пока служба не призвала Равшана за пределы нашей страны. С ним и Людмила поехала, а Светочку у нас оставили.

Есть у меня еще дети и внуки. Одна дочь — директор лесхоза, другая — медсестра. Всех их люблю крепко. Но вот когда говорю о Василии или Равшане, испытываю особое волнение, будто снова прохожу весь путь от южной заставы до окопов Ленинграда и встают передо мной товарищи фронтовые, память о которых бессмертна.

...На следующий день все участники встречи на автозаводе поехали к сорок первому километру, к монументу защитникам Москвы, к тому святому для всех месту, где в тяжелых боях был сделан первый шаг к нашей грядущей победе.

Постояли молча, склонив головы. Возложили цветы.

А вокруг бушевала жизнь.



Уйгун

### «Дырявый камень» — «Тешик таш»

Тут все признательным стараньем  
приход предупреждало наш.  
Само ж селенье звалось странно:  
«Дырявый камень» — «Тешик таш».

Тонувший в зелени и красках  
тянувшихся повсюду лоз,  
кишлак приветлив был и ласков  
и радовался нам всерьез.

Но за домами и дворами,  
в неразговорчивой глуши  
иное встало на экране  
неподготовленной души.

Здесь, как бы спутав все породы  
и каменный прервавши кросс,  
лежал безмолвный цирк природы —  
арена ветра, селей, гроз.

Словно медлительные сказы  
о бурной страсти непогод,  
изглоданные ветром скалы  
вставали в грозный хоровод.

И прокатившееся валом  
по речке стонущей —  
на ней  
еще, казалось, бушевало  
былое пиршество камней.

В изломах и тенях гранита,  
в суровых, голых гранях скал,  
казалось, вечно сохранится  
напоминанье грозных кар.

И надо всем, что совершила,  
будто размыслив под конец,  
вздымала снежная вершина  
чуть видный краешком  
венец...

Давя, грозя, сдвигаясь, хмурясь,  
природа выглядела так,  
что поневоле оглянулись  
мы на приветливый кишлак.

А там, скрывая облик ярый  
камней и каменных щитов,  
переливалось и сияло  
великолепие цветов.

Не покорясь ветрам и селям,  
творенье человеческих рук —  
богатая плодами зелень —  
заполняла все вокруг.

И от немислимых развалин,  
воды и камня грозных тяжб  
там оставалось лишь название:  
«Дырявый камень» — «Тешик таш».

### Рождение музыки

Откуда музыка родится:  
из шума — или голосов,  
припадков страсти — или традиций,  
дождей ли, плещущих в песок?..

Иль весь безмерный свод мелодий  
не в некоем прячется ларе,  
а изначально скрыт в природе,  
как все поэмы — в словаре?..

До света выйду в мир окрестный —  
в клочках тумана, как во снах,  
где сад напрягся, как оркестр,  
и ждет,  
что будет подан знак;

где ожидает ветра поле  
и куст, усевшийся верхом,  
чтоб зазвучал на вольной воле  
нестройный шелестящий хор;

где средь листвы, поникшей сонно,  
среди скрестившихся ветвей  
еще таится птичье соло,  
не обратившееся в трель;

где в черном таинстве арыка  
причуды блика не видны  
и плеск воды  
подобьем вскрика  
еще не пронял тишины;

где все забыты дня уроки,  
пока еще вокруг — ни зги,  
и дроби об асфальт дороги  
еще не выбили шаг и —

и думаю: каких диковин  
и нот начальных на губах  
не почерпнул бы здесь Бетховен,  
или Чайковский, или Бах!

Какой мелодией оттаял  
и одарил бы нас, какой  
могучей музыкой ударил  
в насторожившийся покой!..

Так что за чувства или грани  
в нас задевает, всплыв со дна,  
природа, перед тем как грянет  
могучей музыкою дня?..

## Строки

Опять строка влечет строку,  
стихи влачат, и то одно лишь,  
что высказать я не могу,  
буравит душу на бегу...  
И эту жажду и тоску  
не умиришь, не остановишь.

Но коль в заветные слова  
вложу я то, что сердце полнит,  
и песня выйдет не слаба,  
и опустеют закрома —  
уймется ль речка слов сама,  
и сам собою буду ль понят?..

Иль в токе яростном таком  
и дальше стану жить стихом,  
затем, что ритмы мне — как воздух,  
что, мир уюта разорив,  
я весь — в жестокой ловле рифмы,  
как небо ночи — в точках звездных?..

А мера строчки столь строга —  
пока устроится строка,  
и мысль невольно прояснится.

Соединятся фронт и тыл,  
и выдержавший бой батыр,  
кряхтя, расправит поясницу...

У мысли, вызревшей строкой,  
цена другая, вес другой,  
иной прицел, иная дальность!  
Она, чтоб дней поток не смыл,  
соединит со смыслом смысл,  
что иначе б не повидались.

Одно не выбравши из двух,  
сосватав паузу — и звук,  
немую музыку — и слово,  
она на вечность множит миг,  
и в сочленениях немых  
крепит разорванное  
снова.

И я, что с ней накоротке, —  
и жил, и буду жить в строке:  
она — мой дом и кров единый,  
хоть выстроенный на песке,  
у всех ветров на сквозняке,  
а все ж навек необходимый...

## У Ляби-хауза

Налей-ка чай нам, чайханщик!  
Обмоем жаркий этот день,  
пока светило, как чеканщик,  
чеканит медленную тень.

Мы слов не выскажем избитых,  
торжественно благодаря  
за ароматный твой напиток —  
живой и светлый, как заря.

И, в жарких чувствах задыхаясь,  
не с важным видом знатоков,  
смирненно глянем в Ляби-хауз —  
живое зеркало веков.

Сидим, не чуя, мы ли, те ли —  
как будто рядом сотни глаз,  
все, что вот в эту гладь глядели  
тысячелетие до нас.

Что эти воды отражали,  
то насмехаясь, то грозя, —  
какие вечные скрижали,  
какие вещие глаза?

Чего вымалывали те, что  
отмыть спешили прах беды —  
какие горечь и надежды  
тонули в таинстве воды?

Какими смутами кишело  
воды бездонное окно  
перед душою Алишера  
и зоркой мыслью Ибн Сино?..

Налей же чаю нам, чайханщик!  
Времен стремительных транзит

на этой глади, как чеканщик,  
и наши годы отразит.

И кто-то под грядущей синью  
и нас припомнит невзначай —  
как мы здесь отдыха вкусили  
и твой прихлебывали чай.

Полутемно в саду тенистом.  
Заря заглянет светом низким  
в мое открытое окно —  
и мнится: снова заалели  
созвездья вишневого аллеи,  
которой нет уже давно.

И кажется: за палисадом,  
по светотеням полосатым,  
звучат рассветные шаги

людей, которых нет на свете,  
друзей, к которым строки эти  
теперь дойти бы не смогли.

И все ж, пока мы живы в мире,  
различья нет, они ли, мы ли, —  
мы всюду вместе на земле,  
и наши памятные были,  
и то, и те, кого любили,  
не растворяются во мгле.

## *Дважды цветет урюк*

Урюк зацветает дважды в году:  
весной, когда трели гремят  
и белым цветам уже невмоготу  
блаженный сдержать аромат;

и осенью вновь зацветает урюк:  
когда подсыхает едва —  
и золотом красным становится вдруг  
урюковая листва...

Какой он прекрасней: огнем залитой,  
иль белый, пока — ни листа?

Осенний ли слиток его золотой,  
весенняя ли фата?

Нам тоже дарует ведь жизни простор  
цветения первую страсть —  
и поздний, последний червонный костер  
листвы перед тем, как опасть.

Немыслимо сладостно быть молодым!  
Когда ж урожаи пожал —  
сливаются чувства начального дыма,  
последней работы пожар...

## *Серебристые капли*

Снова травы зеленые шепчут  
золотому светилу укор,  
и серебряный падает жемчуг  
из топящихся облаков.

Стебелек ли, бутон или камень —  
здесь везде, обжигая глаза,  
чередою светящихся капель  
серебристая блещет роса.

О весна, моя вечная юность,  
мой союз неизменен с тобой —  
точно на поле стеблем проклюнусь,  
подымусь безымянной травой.

На рассвете ли выйду босой я  
в непочатые степи твои —  
одари меня сладкой росой  
и печали мои утоли...

Перевод с узбекского А. Наумова.



Ибрагим Юсупов

### *Четверостишия*

\* \* \*

Нашлась дорога — значит, не беда.  
На то и путь — шагай себе года!  
Куда-нибудь да приведет дорога...  
Да только в том-то и вопрос — куда?

\* \* \*

Жизнь для одних — кино: купил билет,  
полюбовался — и покинул свет.  
Другие же приходят либо строить,  
либо крушить постройки прошлых лет.

\* \* \*

На яблоко, на желтый спелый бок,  
росинка пала: «Я тут бек и бог!»  
Но высохла под солнышком росинка,  
а яблоко все копит сладкий сок...

\* \* \*

Мне мысль твоя понятна и легка,  
хоть твоего не знаю языка.  
Порой же свой, родной язык услышу,  
а вот понять не в силах земляка.

\* \* \*

Подчас старик, чьи годы не сочтешь,  
не возраст свой клянет, а молодежь.  
Юнец — не малый свой поносит опыт,  
а стариков!.. Выходит то ж на то ж.

\* \* \*

В глухой тоске по родине, в обиде  
в чужой земле окончил век Овидий.  
Не меру золота при нем нашли —  
лишь горсть родной земли народ увидел...

\* \* \*

Играют дети, в доме все вверх дном!  
Но мать придет — вернет порядок в дом.  
Так правых и неправых в нашем споре —  
рассудит всех История  
потом...

Перевод с каракалпакского Александра Наумова



Константин Волков

## ПОМОЩНИК ПЕРВОГО

РОМАН<sup>1</sup>

### ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

#### I

Петр повесил стеганую солдатскую куртку на вешалку у входа, сбросил сапоги и в шерстяных носках прошел к столу.

— Руки мой, — сказала мать, разворачивая байковое одеяло, чтобы достать кастрюльку с ужином. — Каша с мясом.

— Это хорошо... — Он сам положил пару ложек в тарелку. Мать присела на разобранную кровать, накинула одеяло на ноги, смотрела на сына молча, жалостливо.

— Что ты, мать?

— Ничего... Ешь, ешь... Остыла, небось... И что ты, Петя, так поздно всегда приходишь? Ночь на дворе.

— Работа такая — в обкоме все так работают, не я один.

Мать кивнула на дверь их с женой комнаты, покачала головой — то ли с укором, то ли с сочувствием. Петр понял, что опять между женщинами произошел неприятный разговор. Наверняка о нем говорили. Жена жаловалась и обвиняла, мать пыталась защитить сына. Петр подмигнул матери: ничего, мол, выдержу.

— Где опять болтался? — услышал шепот жены, когда переступал порог темной спальни.

— Как — где? В обкоме.

— Врешь! Я звонила, не было тебя в кабинете весь вечер.

— Я не сижу в кабинете. Я объяснял тебе уже не раз. Позвонила бы в приемную, меня наши бы.

— Буду я унижаться перед твоими секретаршами!

— Зачем искала-то? Спросить что хотела?

— Ничего! По бабам мотаешься, обком для тебя ширма!

— Дура ты. Когда я мотался по всей области, мог завести любовницу в каждом районе, ты молчала. А сейчас, когда вкальваю на двух службах, чтобы ты сыта была, — стала глупости выдумывать.

— Откуда ты на мою голову, такой умный, взялся? Дура я, значит?

<sup>1</sup> Окончание. Начало в № 4

— Конечно, дура! Но что поделаешь? Теперь надо нам терпеть, сколько сил хватит. О ребенке подумай. Нервного родишь...

Петр валился в свою постель, пытался заснуть под всхлипывания жены, он не был перед ней ни в чем виноват и злился. И все яснее осознавал, что женитьба, в которой немаловажную роль сыграло опьянение от конца войны, от победы и всенародного ликования, от всеобщего желанья счастья и мира себе, и ближним, и всем людям огромной страны, — ошибка, исправить которую он не сможет.

Петр Григорьев вспоминал присказку, услышанную, кажется, от бабки по материнской линии (она умерла задолго до того, как внук женился): первая жена, говорила бабка, — от бога, вторая — от людей, а третья — от лукавого. Поди проверь, так ли? Есть одна надежда, что повышенная нервозность, ревность — из-за беременности; вот родит — и пройдет это у нее.

## II

В обкоме — ЧП. Знает о нем узкий круг лиц. Собственно, пятеро. Тургунов, Голенко, Григорьев, Каримов и его личный шофер Федор Степанович Береговой. Береговой — фронтовик, гвардии старшина, грудь у него на Октябрьские праздники — как иконостас, каких только наград нет. Вся биография храброго солдата и вся история войны уместились на широкой груди, запечатлелись в наградах.

Между Береговым и Каримовым конфликтная ситуация зрела давно и провралась сегодня ночью. «В три ноль-ноль!» — уточнил Федор Степанович, явившись в кабинет Григорьева и попросив помочь сочинить заявление на имя Усмана Юсупова. Он метался по тесному кабинету, не находя места ни крупному телу, ни беспокойным рукам, мявшим кепчонку.

— Сядьте же, Федор Степаныч! Расскажите толком, что случилось?

— Сопляк! Ты пеленки пачкал, когда я в партию вступил, — укорил кого-то шофер. — Мне на пенсию через три года, а ты мне — уволен! Ключи от машины ему подай! Возьми ключи! Бегать за мной станешь, распутник, уговаривать станешь — накося выкуси!

Наконец успокоился Степаныч, сел на стул спиной к окну, стал разглаживать ладонями словно натянутую на колено изжеванную кепчонку.

— Что произошло-то, Федор Степаныч?

— Помоги сочинить письмо Юсупову! Я складно не умею. Слушай до конца, а потом запиши. Вчера вечером из райкома вышел, это в Кировском районе, я за ним из приемной, думал — зарулим в гостиницу райкомовскую. Там жратва какая-никакая, печка «голландка» горячая. Он говорит — домой поедом. Ну, домой так домой! Сам по семье соскучился. Гоню, кишлаки сонные мелькают. Одним словом, в двадцать три тридцать в город въехали. Он говорит — заедем на Зеленую. Ну, заедем так заедем! Полюбовница у него на Зеленой. Помог я ему, гостиницы до ворот донес. Сиди, говорит, через час домой отвезешь и свободен. Ну, час так час. За час напахаться можно — на неделю хватит. Сижу, мерзну, подремать и то нельзя, это же не в окопах, дом, постель теплая — рядом. Час проходит, второй, третий: замерз как цуцик, зубами клацать начал. В три часа ночи решил: уеду! Я же не на каторге, я же, хоть и шофер, а вроде на партийной работе, областного секретаря вожу. Раны нудеть начали от холода. Одним словом, плюнул я и уехал, поставил машину дома — уже четыре. Утром как штык — подал машину в девять тридцать туда, где его оставил. Не появляется. Ну, думаю, ночью домой ушел. Я к его дому... Вышел, сел, не поздоровался, всю дорогу отвернувшись от меня просидел, ярился, шея кровью налилась. Ну, думаю, будет мне разгон. У обкома вылез, приказал: поставь машину во дворе и ко мне!

Ну, зашел. Поговорим, думаю, поймет человек, что шофер — не собака, я же еще шерстью не оброс. А он кричит: «Клади ключи от машины на стол! Ты уволен!»

Я ему спокойно сперва так пытаюсь объяснить, что, конечно, есть моя вина перед ним, но и он не подарок. А он: со мной, кричит, из-за тебя жена разводиться собралась. Она, говорит, знает, что я на машине всегда приезжаю. Из-за тебя, кричит, я жене врать должен, что машина у тебя поломалась, поэтому пешком пришел! А она не верит!

— Чего же вы из теплой постели от любовницы-то домой потащились. Оставил вас я у любовницы — вернусь, следовательно, туда же. Соображать же, — говорю, — надо, что шофер, как верный пес, где оставил хозяина, туда и явится.

А ему хоть кол на голове теши!

— Уволен! — кричит.

Гвардейский шофер покрутил головой, продолжил увлекательный рассказ: — Нет у меня к тебе ни уважения давно, ни жалости сейчас. Это я тебя, дурака, уволю из

обкома. Со строгачом! Я про тебя, — говорю, — столько знаю, что двух партийных билетов тебе не хватит!

— Может, дядя Федя, к Тургунову зайдете, расскажете ему?

— Не! Пиши! Остальное я Усману Юсупову на словах перескажу. Пусть от него пузыри по всей республике поплывут! Надо таких в их же дерьме топить!

— А рассказать Халиму Тургуновичу можно, не возражаете? Ему положено знать, что делается в аппарате.

— Это тебе лучше знать, говорить или нет, мне это без разницы.

Григорьев сочинил письмо, прочел Береговому, и когда тот одобрил, спросил — не перепечатать ли?

— Нет, сам дома перепишу — и на поезд.

— Примет Юсупов, думаете?

— А как же? Он же знает меня!

Прошло двое суток, и из приемной Юсупова позвонили Тургунову, в каком-то районе его нашли. Тургунов поручил Зинаиде Ивановне разыскать хоть под землей всех членов бюро, передать им — послезавтра заседание. Бюро будет вести Усман Юсупов. Повестку объявит сам.

### III

Бюро было создано по поручению секретаря ЦК на три часа. Усман Юсупов вошел в кабинет на пять минут позднее, когда все уже чинно сидели, тихо переговаривались. Стул, где обычно сидел Голенко, занял Тургунов.

— С Усманом Юсуповичем его личная секретарша, — предупредил Тургунов Григорьева, — зовут Елена Романовна Голубева. Зинаиды на бюро не будет. Ты постарайся подробнее вести протокол. У Голубевой не сразу получим, она вместе с Юсуповым уедет. Понял?

Вошел Юсупов. Черный, довоенного покроя китель с отложным воротником и тонкой белой полоской подворотничка, черные галифе, начищенные хромовые сапоги, на груди — депутатский значок. Прошел к председательскому месту. Следом появилась стройная, в строгом английского покроя костюме женщина лет сорока со спокойным и каким-то отсутствующим лицом. Уверенно заняла место Зинаида Ивановна, кивнула Григорьеву, выложила из сумочки блокнот и карандаши.

Юсупов глыбой навис над столом, исподлобья оглядел сидящих: половина дальних стульев свободна; вынул пачку «Казбека», спички, постучал папиросой о коробку. Стояла настороженная тишина. Он остановил взгляд на Каримове.

— Хикмат, — тихо произнес секретарь ЦК, позвал вроде бы. Тот живо поднялся, руки по швам. — Хикмат Каримов. Пересядь. — Юсупов кивнул на стул, стоявший у противоположной стены особняком, — место, предназначенное для отчитывающихся и наказываемых. Занять этот стул или стоять впереди него и обозначало — быть вызванным «на ковер».

— Сейчас нам предстоит решить судьбу Каримова Хикмата. Коммуниста Каримова... Каримова — секретаря обкома партии по кадрам. Он очень обидел коммуниста, фронтовика, своего персонального шофера. Он выгнал его с работы. Этот шофер, заслуженный фронтовик, член бюро партийной организации обкома. Устроил расправу! Куда идет коммунист искать защиту от несправедливости? Он ищет защиту у своей партии. Берегового незаконно выгнал с работы секретарь обкома. Конечно, коммунист мог обжаловать незаконное решение у себя, в обкоме. Он мог подать заявление в свою партийную организацию, обжаловать неправильное решение. Он мог обратиться за защитой в бюро обкома партии. Но партийный Устав разрешает коммунисту обращаться с жалобой в любую партийную инстанцию.

Тишина в зале стояла почти осязаемая. Слова размеренно падали в тишину. Члены бюро сидели подобранные, сосредоточенно уставясь в зеленое сукно стола. Юсупов редко и глубоко затягивался и выпускал изо рта рыжеватый дым; тот, что тонкой струйкой тянулся от папиросы, — голубой.

— Береговой попросил меня о приеме. Я принял его. Мы долго беседовали. Из беседы коммунист Береговой понял, что в том, что произошло, что сейчас мы обсуждаем судьбу Каримова, есть доля и его вины. Он не сигнализировал в партийные органы о поведении Каримова своевременно. Береговой прикрывал грешки своего хозяина.

Елена Романовна стенографировала, Григорьев же пытался запечатлеть нравоучительную речь конспективно. А когда тот принялся перечислять, в каком колхозе, на каком предприятии, когда и что взял Хикмат Каримов, куда доставлял «подарки» шофер, Григорьев перестал записывать, не успевал.

— Хикмат! Ты — дурак! — повысив голос, произнес Юсупов. — Дурак, что обидел персонального шофера. Кто такой персональный шофер? Это больше, чем жена! Больше, потому что знает о своем хозяине то, о чем жена и не догадывается. То, что стерпит жена, — шофер не простит. Ты оказался в руках у своего шофера. Елена Романовна, — обратился к своей секретарше, — это не фиксируйте. — Задумчиво продолжал пересказывать историю падения Каримова: — Сегодня у меня побывали председатели колхоза, перечисленные шофером в заявлении. Они подтвердили все, что тот написал. Хикмат! Из того, что ты брал, ты давал что-нибудь своему шоферу? Не давал.

По тону, каким было сказано это, по тому, как покачал крупной бритой головой Юсупов, не понять, одобрил ли поведение обсуждаемого Первый, или осудил его.

— То, что Каримов стал секретарем обкома партии, — наша ошибка. Ошибка ЦК. Мы обязаны поправить эту ошибку! То, что ты бабник, Хикмат, это твоя вина. И то, что ты после серьезного предупреждения партии и правительства о нарушении устава сельхозартели продолжал заниматься поборами, — это твоя вина. За нее ты понесешь наказание. Да, Хикмат, не пойму я тебя, у тебя красивая молодая жена, я знаю ее. Ты зачем ее так обидел, а?

Ответа ждать он не стал, обратился к членам бюро:

— Есть к Каримову вопросы?

Все молчали.

— Ты совсем недавно получил на Бюро ЦК очень серьезное предупреждение за то, что плохо помогал закрепленному району. Вместо того, чтобы исправить недостатки, помочь райкому, ты убегаешь из района... Какие есть предложения у членов бюро?

Члены бюро по-прежнему молчали.

— Жалеете товарища? Ладно! У меня есть предложение. За невыполнение поручения ЦК добиться повышения темпов хлопкодачи Кировским районом, за нарушение устава сельхозартели и бытовое разложение Хикмата Каримова освободить, нет, снять с должности секретаря обкома партии. Объявить строгий выговор с занесением в учетной карточке. Решить вопрос о дальнейшем использовании его на работе. Я думаю, товарищи члены бюро обкома, что Каримов осознал свою вину. Перед бюро я долго беседовал с ним. Он — молодой коммунист, он хорошо показал себя на прежних должностях. Наша партия не расправляется со своими кадрами, не избивает их. Наша задача — воспитывать кадры и беречь. Другие предложения есть? Нет. Ставлю на голосование. Кто — за? Воздержался? Против? Принято единогласно.

В крупной фигуре Первого, в его манере говорить чувствовалась таранная, сокрушающая сила. Он и слова произносил так, что они будто бы вонзались в тишину, как гвозди в доску — ровной строкой и намертво. Так говорит человек, не только обладающий властью, но и сильный верой своей в правоту того, что делает.

— Ты свободен, Каримов, — Юсупов кивнул на дверь. Вид у Каримова, когда он, выслушав приговор, тихо покидал кабинет, был торжественно-печальный.

#### IV

Все ладилось у предусмотрительного председателя. И сам на себя он смотрел уже как на благодетеля, и других заставил так думать. Вот только на отчетно-выборном партийном собрании получилось не по его. Фронтвики повели себя так, будто война все еще идет и они где-то там, на передовой, в окопе, держат круговую оборону. От кого, спрашивается, обороняются? От него, человека, спасшего людей от голода? Ты, говорят, колхозную землю разбазарил, огороды чужие — на лучших полях. Ты, говорят, раздул административно-управленческий аппарат, куда ни плюнь — в начальника попадешь! А секретарь партийной организации тебе во всем потворствовал. Мы еще, говорят, крепко подумаем, кого выбрать секретарем. Эсан Фазылов лично присутствовал на собрании, но и он сидел молча, слушал критику и в свой адрес. А перед тем как дать оценку работе секретаря партийной организации, обобщил все выступления, и получилось, что горлопаны правы, — еще и от себя добавил критики. Согласился, что нужен коммунистам вожак со свежим глазом, с фронтовой закалкой, пусть Аллаяр Тимуров, удовлетворительно поработавший несколько лет секретарем, улучшает учет и отчетность в своей бухгалтерии, скажем ему спасибо. И избрали Исмаила Фаттахова, агронома.

Исмаил Фаттахов года нет как пришел в колхоз на работу. Чужак он в здешних местах, городской, людей не знает, нет ни дома своего — живет на квартире, ни семьи — хотя ему уже под тридцать. По распределению достался колхозу после окончания института. А по распределению как попадают в колхоз? Лучшие остаются

ся в министерстве, у кого рука есть в республике — в областном земельном отделе, в кабинете с телефоном, а уж кого никому не нужно — направляют в колхоз или МТС. Фаттахов тоже воевал. Был ранен и тяжело контужен. До сих пор иногда головой встряхивает, как лошадь, которую овод укусил. После демобилизации вернулся в институт; закончив его, согласился приехать сюда.

Чужак, а фронтовики приняли как своего. Заслуга, видишь ли, у Фаттахова — Сталинград оборонял, южное крыло железнодорожного вокзала.

На квартиру с харчем принял его Халил Зайниев, у которого и у самого жрать было бы нечего, не обеспечивай беднягу он, Рахимов, продуктами.

Фаттахова так Фаттахова! — смирился Рахимов с тем, что не по его на этот раз получилось. Не сможет человек одновременно с двумя делами хорошо управлять, если любое из них для него — незнакомое. И агроном он пока книжный, и партийный секретарь никакой. Долго будет на обе ноги спотыкаться — глядишь, и свалится. Убедятся тогда, что прав был он, многоопытный Рахманкул Рахимов.

Председателя мало заботило, как у Фаттахова идут дела в партийном его хозяйстве. Но в колхозе агроном нужен знающий хозяйство. Помощник, правая рука председателю нужна.

— С партийными делами управляйся в нерабочее время, — предупредил Рахимов партийного вожака.

Почти неделю Фаттахов пробыл на областном семинаре секретарей первичных партийных организаций. Лекции слушал, как организовывать политическую учебу, с религиозным дурманом бороться, как готовить и вести партийное собрание и руководить соревнованием.

Вроде партийный секретарь — это большой начальник, почти как председатель колхоза. Тем более — оба выборные. Ну а кто главнее, и дураку понятно. Главнее тот, у кого круглая печать, без которой банк копейки не выдает.

Вчера председатель предложил партийному секретарю вдвоем объехать поля, посмотреть, как зачищены от гузапай, убедиться, что все гусеничные тракторы пашут, глубину разделки почвы проверить.

— А что, Исмаилджан, если молодоженам отдадим мы под усадьбы фруктовый сад? — спросил Рахимов. Конь председателя и буланая кобылица Фаттахова шли голова к голове, похрустывали удилами, всадники задевали один другого ногами, звенели стремена.

— Подумать следует, посоветоваться.

— Подумать! Вот и думай! Как мы с тобой решим, так и должно быть. Иначе какие мы с тобой вожаки? Ты-то согласен?

— Надо подумать. Правильно ли общественный сад превращать в частный?

— Так ведь кто хозяин всего колхозного добра, если не колхозники?! Каждый колхозник — хозяин! Так что думай быстрее, время торопит. Весной люди стены поднимать будут.

Они несколько раз спешивались и, ведя лошадей в поводу, шли свежей пахотой за трактором. Рахимов рукояткой камчи мерил глубину пахоты. За плугом шла стайка фазанов, птицы подбирали червей, корешки, были смелы.

К обеду вернулись в правление. Старый чайханщик каждый день готовил обед для колхозного начальства — председателя, бухгалтеров, агронома и кладовщика.

За столом сидели двумя группами вокруг двух ляганов: председатель, партийный секретарь, главный бухгалтер и старший табельщик — своим кружком, счетовод, старик-чайханщик, кладовщик и рассыльный — своим.

— Подремлем часок и поедем дальше, — распорядился Рахимов и первым прошел в комнату, где стояли две железные кровати. Это было место, где отдыхал в полдень от жары летом, отогревался зимой председатель, а иногда и оставался здесь ночевать, если допоздна ждал телефонного разговора с районом.

Они уже сидели на своих кроватях, уже халаты сняли, когда Рахимов произнес:

— Исмаил, помоги-ка снять сапоги.

Он не видел, как вскинул голову Фаттахов, будто его собачья муха укусила или шмель ужалил, — председатель разглядывал свои грязные сапоги.

— Что ты сказал, председатель?

— Помоги, говорю, сапоги. Тесноватые, отсырели портянки.

Уж так повелось давно, что всякий, кто оказывался рядом, делал эту маленькую услугу Рахимову. Не сомневался он, что и этот выполнит, а значит, и покорность покажет, ручным со временем будет.

— Сапоги, говоришь? — Фаттахов натянул полуснятый сапог на ногу, второй валялся у кровати; прихрамывая, приблизился, Рахимов протянул ногу.

— Прочно сидишь, Рахманкул?

— Сажу.

— Держись! — Фаттахов поплевал на ладони, обхватил сапог и не потянул осторожно, а рванул что было сил.

Рахимов ударился о край кровати поясницей, проехал лопатками, стягивая за собой одеяло, ударился затылком о кровать и оказался сидящим на грязном паласе. Он не сразу понял, что и как произошло. Сообразил, когда на грохот прибежал подросток-счетовод.

— Пошел вон! — закричал на него, вскочил и бросился на обидчика. Тот оттолкнул его, прикрикнул:

— Сядь! Камчу ищешь? Вон, на столе. Но лучше, если не будешь ее брать, плохо кончится.

— Ты!.. Ты!.. Ты посмел! Я тебя как друга попросил!

— Послушай меня Рахманкул. Запомни навсегда! Если еще раз попросишь меня снять сапоги — ноги вырву! Ты мою гордость не задевай, я не денщик у тебя, я не за это кровь проливал, чтобы вернуться домой и холуем стать!

Рахманкул надевал халат, рука не попадала в рукав. От двери пригрозил:

— Ну, держись, Рахимов ничего не прощает! Встретишь ты свою мать в Учкургане!<sup>1</sup>

— Я тебе выговор устрою! За подрыв авторитета партии! — услышал вдогонку.

## V

Как же теперь работать вместе? Нужно выбрать удобный момент, извиниться, поговорить: не так, мол, понял, зря фсерчал... Враждовать в открытую — какой авторитет будет? Фазылов не простит, обоим кетмени в руки даст.

Рахманкул решил поговорить с Фаттаховым в мирной обстановке. Не к себе в гости позвать, нет! До этого он не унижится. Впрочем, позвал бы — да вдруг не придет? Новое унижение?

Лучшим местом для встречи был дом больного Халила. «Приду навестить больного, продукты заранее отправлю. Халил дастархан сделает, водки нужно захватить, подарок женщинам взять. Сказать Халилу, чтобы жильца позвал: пусть посидит, скучно, поди, одному. Вот и будет в самый раз распить бутылку, показать, что добрый он председатель, о бывшем воине заботится, да и зла не помнит, готов с обидчиком из одной пиалы хоть чай, хоть водку пить...»

Вечером, когда Аимхон зашла в правление получить задание на завтра, Рахимов приказал открыть продовольственный склад, погрузить на машину и отвезти больному Зайниеву продукты.

— Вот список — чего сколько.

Было темно, хоть глаз выколи, когда Рахимов добирался к дому Зайниева. Сухая пыль на дороге к этому часу уже прибита была колесами арб; к утру она станет еще плотнее, покрытая инеем. У дувала зайниевского дома стояла грузовая машина, и Рахманкул обрадовался, что застал Аимхон.

Он шел двором к освещенному айвану, делившему дом на две половины, дальше, за женской частью, была еще комната, которую занимал жилец. Окно светилося. На стук калитки вышла дочь Халила Каромат. Вглядываясь в позднего гостя и узнав, скрылась за дверью. На айван тут же вышли Халил и секретарь партийной организации. Выходит, вместе проводят долгие осенние вечера.

Блюда ритуал, Халил попросил председателя колхоза занять почетное место во главе стола. Пришла Зульфия, красные блики от жарких угольков плясали на ее лице, она ссыпала угли на дно сандала. Халил расстелил поверх одеяла дастархан; жена и дочь, а следом за ними и Аимхон принесли и расставили тарелочки, вазочки, блюдца с кишмишем, колотым рафинадом, крупитчатым медом, стопку лепешек, пиалы, в кассе салат из мелко нарезанных помидоров и репчатого лука, ляган с вареным мясом, картошкой и овощами. Халил концом ножа выковырнул из горлышка бутылки в ладонь картонную пробку и сургучную крошку, разлил по пиалам.

— Садитесь, Аимхон, с нами, — пригласил Халил. — И Зульфия пусть сидит с нами; свой здесь все, о колхозных делах разговор ведем.

Аимхон бочком присела к дастархану, взяла кусок лепешки, отломилла кусочек. Она сидела напротив Рахманкула, не спрятав ног под одеяло, откуда обычно, начиная от ступней и вверх по ногам и по всему телу растекается расслабляющее тепло. Жена и дочь присели за спиной Халила, он подал им на лепешках по куску мяса и по картофелине.

— Ты, агроном, смотрел землю, которую осваивать намечаем?

<sup>1</sup> «Встретишь мать в Учкургане» — выражение, соответствующее русскому: «Узнаешь, где раки зимуют».



— Смотрел. Арык рыть туда нужно, а как рыть его через холмы? Медиораторов следует звать, пусть в теодолиты взглянут да высчитают все. Там гектаров пятьдесят, не меньше. Кому хлопок сеять, кому люцерну? Думать надо, председатель, чтобы обидно никому не было.

Мирная струилась беседа, будто не произошло между двумя жожаками взрыва. Выпили по глотку.

— Самое лучшее — сформировать еще одну бригаду, даже две, — предложил Зайниев, — вот и не нужно будет делить землю, думать — кому, что и где сеять. Бригады сразу севооборот введут. Все государственные льготы, освобождение от всех налогов на три года сохранятся за новыми бригадами, никакой путаницы.

— А бригадиром — Халила! — согласился Рахимов. — Самая большая бригада твоя будет! Собери в нее всех фронтовиков.

— Пропадете без женщин! — рассмеялась Аимхон. — Все командовать захотят, а кому же кетмени в руки брать?

— И всех вдов в бригаду, — поддержал шутку парторг. — Уж они за войну научились вкалывать.

— Аимхон! — обратился Халил к женщине. — Если жив буду и приму бригаду — автомашину заберу у Рахманкула. А ты пойдешь в бригаду, Аимхон?

— Уходить ей надо с машины, не женское это дело, мальчишки подросли, парня пошлем на шофера учиться. А то за рулем ей и мужа выбрать некогда, — сказал Рахманкул. Глядя на желанную женщину, подсадовал, что не надевает подарок, стесняется или, что хуже, пренебрегла, не ценит внимания. Обидно стало Рахимову. Дотянулся до бутылки — пустая. Взял вторую, разлил по полной пиале: — Выпьем за успехи! Дай твою пиалу, Аимхон! Мужскую работу выполняешь, можешь и выпить наравне с нами.

— Я за рулем, председатель. Мне еще машину ставить во двор, добыю развалину.

— Новую куплю! Студебеккер! Обещал тебе — сделаю! — Он выпил один, зажевал сивушный дух остывшей репой.

Мать с дочерью принесли каждому по касе с бульоном. Кто пил его через край, кто макал лепешку.

Попили чая. Пора было кончать трапезу — устал от застолья хозяин.

С черного неба на невидимую сухую землю сыпался дождь, капли шуршали в листьях роз в цветничке, они еще не опали. Мужчины проводили гостей до калитки.

— Отвезешь домой, Аимхон, — произнес Рахимов.

Вчетвером постояли под навесом над калиткой, вслушивались в шуршание дождя.

— Что-то ворохоочистителя не слышно, — заметил Рахимов.

— Да, молчит, — согласился Фаттахов. — Может, пойду посмотрю, в чем дело?

Ворохоочиститель должен был работать круглосуточно. Не могли же очистить весь курак!

— Я сам, — заявил Рахимов. — Идите домой с Халилом, холодно стало. С Аимхон доедем быстро, разберусь.

## VI

...Фары высветили хирман первой бригады. Под навесом стояли трактор и ворохоочиститель, кругом завалы раздробленных, покрытых, как паутиной, волокном створок хлопковых коробочек. Рядом — огромная груда вылущенных из сухих коробочек долек незрелого бурого сырца. Сырец весь под навес не уложили, хотя свободное место там было. Поленились ребята, понадеялись на хорошую погоду, а какой умник может обещать ее в конце ноября? Вот и мокнет сырец, а его завтра везти на заготпункт; значит, через сушилку пропускать придется.

— Видишь? — спросил он женщину.

— Вижу.

— Перекидать под навес нужно.

— Нужно. Я помогу.

— Фары не гаси. Где тут вилы, лопаты?

Рахимов в свете фар нашел инструмент. От трактора тянуло теплом. Он пощупал мотор: горячий еще, недавно закончили работать, все очистили. Все! Последние килограммы этого дерьма получит толстый обжора и квитанцию выпшет. Знал бы кто, во что обошелся этот хлопок колхозу! Он ведь дороже первосортного стоит после ручного труда — сбора и очистки, после огневой сушки! А-а-а!

В свете фар он яростно принялся заталкивать вилами рыхлую груду под навес.

Рядом молча работала Аимхон. Дождь становился сильнее, с дырявой крыши зашумели струйки. Рахманкул сбросил халат. Уже и спины взмокли у обоих. Прошло не меньше часа, прежде чем Аимхон широкой фанерной лопатой с набитой по краю жестью не сгребла в укрытие остатки и в изнеможении опрокинулась на пружинящую грудку очисток, раскинула руки, с наслаждением чувствуя, как успокаиваются натруженные мускулы. Рядом с ней повалился Рахманкул, прижал спиной руку женщины — горячую даже через рукав и расслабленно-мягкую. Как током пронзило его это живое тепло, нахлынуло ожигающее желание физической близости. Вспомнил слова матери: «Возьми насильно! Побудете в одной постели — полюбит! Или мой сын не мужчина!»

И впрямь — мужчина ты или тряпка? Сейчас нужно. Другого такого случая не предвидится, лучшей постели до того, как станет Аимхон его женой, не сыщешь. Да и кричать начнет — только собаки откликнутся... Даже руку не убрала из-под спины. Добрый знак. Сейчас или никогда!

Может — водка придала Рахимову смелости; может — любовь неразделенная, отчаяние.

— Ты... — Аимхон не смогла договорить, Рахманкул впился губами в ее губы, расстегнуть петли стеганки ему удалось — распахнул, добрался до груди. Тела их все глубже погружались в сырец, Аимхон, как могла, отбивалась, отстраняла голову Рахманкула, чтобы освободить саднящие губы.

— Отпусти! — потребовала Аимхон.

Он уже понял, что насильно овладеть этой женщиной не сможет, но не терял надежды.

— Уступи, Аимхон, — попросил он. — Не девчонка ведь, что ты теряешь? Я же на тебе жениться хочу. — Рука его гладила груди, защищенные только платьем. Она одернула платье на коленях, потребовала:

— Руки убери, излапал до синяков, губы искусал, зверь!

— Аимхон! Я уберу руки. Ты сама, а? Где у тебя завязан пояс? Я помогу, развяжу. — Руки опять торопливо шарили по животу, бедрам, подбирались к поясу. — Ну где этот узелок? Повернись набок, Аимхон, на спине завязала, да? — Рахманкул встал над Аимхон на колени, чтобы освободить обе руки, найти этот чертов узел, распуścić. Женщине удалось подтянуть одну ногу к груди и, расчленив примерившись — фигура мужчины четко была обозначена мутным светом запыленных фар, — пнула Рахманкула ногой в грудь. Удар опрокинул и отбросил его почти к трактору. На ноги они вскочили одновременно, Рахимов выдернул из-за голенища камчу:

— Убью! Запорю до смерти!

«Убьет ведь! — пронеслось в голове Аимхон. — Что делать-то? Озверел! Чем защититься? Вилы где-то рядом он поставил, вилы бы мне...»

Аимхон оглядела сарай. Вот они, рядом, — лопата и вилы, прислонены к деревянному столбу, подпирающему крышу навеса. Она метнулась к столбу и услышала свист плети, жгучая боль хлестнула по голове. Второй раз ударить Рахманкул не успел. Аимхон шла на него, выставив перед собой вилы, отполированная сталь изношенных и тупых зубьев была направлена ему в живот.

— Брось вилы! — закричал Рахимов. — Брось, тебе говорят! — Он попятился, прикидывая, как же ускользнуть, вернуться, уже слыша внутренним слухом хруст собственного тела: так хрустела у опрокинутого натянутой проволокой на тупые зубья борон шелковистая шкура жеребчика, предназначенного для колбасы.

— Ты не посмеешь, Аимхон! Брось вилы, я уйду сам.

— Кинь мне камчу под ноги! Живо!

— Зачем тебе камча, Аимхон? — Мелькнула обрадовавшая мысль, что она хочет прочесть его плеткой, отплатить за удар. Камча — не вилы, лишь бы вилы оставила. Он снял с запястья сыромятный ремешок, кинул камчу под ноги женщины. Надеялся, что она нагнется за плетью, опустит грозное оружие. Но женщина переступила через камчу, не опуская вилы. Рахманкул понял, что спасение — в бегстве.

Не спуская глаз с блестящих зубьев, он метнулся в сторону, упал на колено и руки, вскочил и зигзагами, точно заяц на скошенном люцернике, помчался от предательского света фар в тьму осенней ночи. Уже сознавая, что в безопасности, но бормоча проклятия, спотыкаясь и скользя по раскисшей дороге, падая и поднимаясь, Рахимов торопливо шел уснувшей улицей кишлака — спешил уже не из страха, а от унижения, от позора, которые пережил из-за любви к недостойной, будь она проклята, проклята, проклята!

Когда чавканье сапог в дорожной грязи стихло, женщина подобрала камчу двумя пальцами за конец, как берут за конец хвоста убитую змею — опасно и брезгливо. Обвитая тонкой желтой и красной медной проволокой рукоятка в свете фар переливалась холодными змеиными кольцами. Она брезгливо бросила

плеть — символ власти Рахимова — туда, где ярче была освещена земля. Нашла в углу кетмень, долго и беспощадно рубила и рубила рахманкуловскую игрушку, пока порубленная проволока не замахрилась вокруг измочаленного древка, изрубилась она на мелкие куски и сырмятный, хитрого плетения хлыст, совсем похожий на чешуйчатый хвост гадюки.

«Утром ему положу на стол или брошу к ногам то, что осталось от камчи. А может, отнести этот мусор лучшему другу Рахманкула — Эсану? Надо подумать». Она собрала обрубки до последнего медного колечка в подол и пошла к машине.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### I

Рахманкул сидел в кабинете, никого не принимал. Знал, что вот-вот придет Аимхон. Ничего хорошего от встречи он не ждал. Конечно, униженная ударом камчи женщина могла с утра уехать прямиком жаловаться хоть в райком, хоть в обком, хоть прокурору. Это ее дело. Она — партийная, ей все двери открыты, и чего она ни наговорит — ей вера.

О случившемся вчера вечером думать было тошно. Кого испугался? Женщины! Справиться не смог. Сам слабее бабы оказался, камчу бросил к ногам по первому требованию. Вот гадина! Неужто ударила бы вилами, как пригрозила? Если в райком-обком пожалуется, плохо, ох, как плохо ему будет! Что за это сделают ему? Строгача? Снимут с председателей? За попытку взять силой женщину — из партии выгнать могут. Это же феодально-байский пережиток, скажут. Тридцать лет советской власти, скажут, двадцать лет «худжуму», когда в кострах горели чачваны и женщина стала равноправной с мужчиной. Эсан не сможет спасти, никто такого бая замаскированного спасти не захочет. До чего же ты довела меня, проклятая женщина! Все эта любовь виновата, она лишила разума, не любовь — разве совет матери не показался бы глупостью? «Возьми насильно! В одной постели побудете — полюбит». И за что я-то ее любил?.. Чем она лучше других? Ни мягкости в ней нет — ни в душе, ни в теле, ни покорности женской. Ладони в мозолях — жестче, чем черствая лепешка. Где глаза у меня были все эти годы?! Ненавижу проклятую!

Он ждал Аимхон, мысли ворочались в голове, как камни на дне сая, слух настороженно воспринимал то, что происходит на улице: ишак проревел, от кузницы донесся перезвон металла, потом возник комариным гудением над ухом шум мотора полуторки, он становился все громче. Едет, наконец. Не в райком, не в город — сюда, ко мне.

Рахимов вслушивался: дверца кабины хлопнула, сапоги чистит о прибитую на крыльце железную скобу. Аимхон вошла в кабинет без стука. Подбородок и рот прикрыты уголком головного платка, повязанного до бровей. Рахимов сидел набычившись, исподлобья настороженно смотрел, как приближается она к столу: В руках сверток из марли, камчи не видно.

Подошла и положила сверток к рукам, ушла к стене, села на ближний стул.

— Что там? — спросил Рахимов.

— Посмотрите.

Сквозь редкую ткань что-то поблескивало. Он пощупал сверток, уколол палец, выдавил из ранки каплю крови, вытер о край суконной скатерти, понял:

— Камча?

— Остатки, — поправила Аимхон. — Поглядите.

— Он взял узелок, молча бросил в сбитый из фанеры ящик для мусора, стоящий рядом со стулом.

— Слушаю тебя.

— Что не поглядели? Там и брошка. Не выкиньте. Вы в мусорную корзину власть председательскую выбросили, Рахимов. Наверное, партийный билет тоже там.

— Наверно, — безразлично, устало согласился председатель. — Что же не поехала жаловаться? Я ко всему готов. Только знай, женщина, что прощения у тебя не попрошу.

— Зачем вы так со мной, Рахманкул?

— Ты все равно ничего не поймешь! У тебя сердце такое же, как ладони, — все в мозолях, бесполезно с тобой говорить. Езжай в свой райком-обком, жалуйся. Говори что хочешь — я подтвержу, что так и было, правду ты сказала. В одном только не признаюсь, женщина.

— В чем? Что изнасиловать пытался?

— Признаю! Думал, что возьму насильно, — хоть этим привяжу тебя, была такая надежда, потом полюбил, мечтал. Не признаюсь, что я всю жизнь любил тебя одну. С детства! А теперь я тебя ненавижу. Студебеккер на днях получишь, как обещал. В него не сяду, пока ты за рулем. Я все сказал! Если хочешь мне что сказать — говори. Если нет — уходи!

Аимхон взглядывалась в искаженное злобой лицо Рахимова: оспины стали заметны, как насечка на новом драчовом напильнике. Она встала и тихо направила с двери. Окрик Рахимова остановил ее:

— Стой! Не все сказал! — Он наклонился под стол, вынул и бросил перед собой марлевый сверток. — Эту камчу я зарюю дома! Из нее вырастет большое дерево моей ненависти! Теперь уходи! Поезжай в райком-обком! Мне все равно!

Аимхон не поехала жаловаться ни в райком, ни в обком. Еще утром, щупая саднящий рубец, протянувшийся от затылка до лба, она не намеревалась добиваться наказания Рахимова. Рахимов неправду прокричал, что сердце у нее мозолями заросло. Уже тогда, когда прошел первый испуг и она стала активно сопротивляться натиску, понимала, что не сиюминутным желанием близости руководствовался Рахманкул — от отчаяния, что нелюбим. Все понимала она. Как судить человека за любовь, если оборачивается она ему муками и отчаянием? Какая я ему судья? А уж райком-обком — тем более, там в эти тонкости и сложности, возникшие между двумя людьми, вникать не станут. Нет, не думала Аимхон возбуждать против Рахимова персональное дело. Хватит с Рахманкула того, что получил.

## II

Рахимов сам поехал к Фазылову. Ничего не тая, рассказал, что произошло между ним и Аимхон. Поехал не потому, что не поверил Аимхон и решил упредить ее появление в райкоме. Нет! Явилась человеку нужда исповедаться, подвести черту прожитому отрезку и спросить умного единственного друга, как же дальше жить ему, чтобы избежать прошлых ошибок, на что надеяться, если на месте оплеванной, отвергнутой любви, как в навозе, взошли семена ненависти.

Они долго сидели в кабинете Фазылова, где от полудюжины разнокалиберных начищенных ламп стоял запах, как в керосиновой лавке, а от прожженной пеплом и горящими крупинками махорки, будто дробью пробитой или молью траченной скатерти неистребимо пахло дымом. Аппаратчики были приучены не заходить в кабинет первого, если у него председатель колхоза имени Куйбышева, и Эсан внимательно, не перебивая, слушал сбивчивый рассказ взволнованного друга. Когда Рахманкул умолк, спросил:

— Ты все сказал, Рахманкул?

— Вроде все, — подтвердил тот.

Фазылов встал с кресла:

— Так чего ты хочешь от райкома партии? Какая нужна тебе поддержка?

— Или ей, или мне лучше уйти из кишлака, Эсанджан. Беда может произойти. Верно говорю, не пугаю.

— Кто, по-твоему, должен уйти из родного дома? Ты, крепкий председатель передового колхоза? Или райком должен найти повод для расправы с Аимхон Ахмадалиевой — единственной женщиной-механизатором, коммунисткой? За что ее можно наказать?

— Давай думать будем, брат.

— Думать всегда надо прежде, чем совершать поступок! Я, пока тебя слушал, думал вот о чем. Как же это получается?! Рахманкул полюбил Аимхон, а она полюбила другого. Кто виноват? Аимхон виновата, так? Рахимов добивается у женщины, которая ждет с фронта пропавшего без вести мужа, любви, жениться на ней хочет, а женщина упрямится. Ты не крути головой, как бык в ярме. А женщина говорит, что ждет своего Рустама. Опять она виновата, да? Ты ее пытаешься изнасиловать, чтобы сделать покорной, а она сопротивляется. Вот ведь дрянь какая, а? Ей бы в райком идти, жаловаться на тебя, а приходишь в райком ты. Ты на нее жалуешься, руками партии хочешь погубить. Ты, наверное, от злости с ума спятил, друг. За это ее наказывать, как и куда ее сослать?

— Я знаю куда, Эсан, — перебил Рахимов. — Никакого наказания придумать не нужно. Высылать ее из кишлака не нужно. Я придумал, брат! Колхоз должен к весне освоить шестьдесят гектаров земли. Мы как раз советовались у Зайниева, что лучше — новые переселенческие бригады создавать или закрепить землю за старыми бригадами? Думали, если новую бригаду — Халила туда руководителем. Но он болен. Я вот что надумал. Надо на новой земле новый колхоз со-

здать! Аимхон — председателем в него! Грамотная, партийная! Будет первой женщиной-председателем! Не только в районе — в области!

— Она в хлопке ничего не понимает, — возразил Фазылов.

— Бригадиры пусть хлопок знают, ее дело — руководить!

— Опыта руководящего у нее нет.

— Вай! Опыт! — Идея увлекла Рахимова. — Научится! Пошли ее на курсы руководящих колхозных кадров.

— И в кого ты такой находчивый? — полюбопытствовал хозяин сумрачного кабинета, в который дневной свет еле пробивался в узкую щель между тяжелыми суконными полотнищами гардин. — Если бы не знал тебя с детства — подумал бы, что ты из Паульгана<sup>1</sup>. Из самого трудного положения выкрутиться умешь! Какую голову надо иметь! Ладно, посоветуюсь с членами бюро, с Тургуновым поговорю.

— Тургунов спасибо скажет за такой кадр.

### III

Узбекистан рапортовал, что тридцатого ноября, в установленный союзным правительством срок, государственный план хлопкозаготовок выполнен на 100,07 процента. Но сбор остатков урожая продолжается. Лозунг «Соберем весь урожай до последней коробочки» — оставался в силе.

Задержка с зяблевой пахотой вела к снижению урожайности хлопчатника в будущем году — это знали все. Но сбор курака — до последней коробочки — был свидетельством и высочайшего патриотизма, и исполнения интернационального долга узбекского народа перед всеми нациями и народностями страны.

Григорьеву вспомнилось, как в конце двадцатых годов отец пришел домой с собрания городского партийного актива, на котором выступил посланец партии — член Политбюро Каганович. Тогда в республике сложилось крайне трудное положение с заготовками хлопка. Уже стало очевидным, что план не будет выполнен. Отец сообщил матери, что нужно к утру распороть ватные одеяла и вату сдать в счет плана хлопкозаготовок. Одеял в доме было два.

«Не плачь, — успокоил отец маму. — Все большевики республики обязаны сдать завтра вату из одеял, матрацев, хоть из стеганых пальто...» Отец Петра был дисциплинированным коммунистом. Зиму Петр укрывался маминой шубенкой, родители — одной на двоих шинелью, сохранившейся с гражданской войны.

Петр не знал, хватило ли ваты из одеял коммунистов Узбекистана на выполнение республиканского плана. Но новые одеяла — стеганные, пышные и пахнущие солнцем — в семье Григорьевых появились через два года, когда отец закончил университет и стал получать не стипендию в сорок рублей, а зарплату — по партийному максимуму — двести двадцать пять рублей.

В эти дни стало известно, что трудовая победа хлопкоробов республики будет широко отмечена во всех областях как большой праздник. Впервые с довоенной поры разрешено провести конно-спортивные состязания, которые закончатся национальной игрой — улаком.

### IV

Григорьев вышел из дома, испытывая противоречивые чувства: досаду, что не сможет посмотреть улак, и любопытство от неожиданной, почти навязанной ему встречи. Он уже позавтракал и ждал телефонного звонка Голенко, с которым накануне вечером договорился, что тот заберет его с собой. Но первым позвонил прокурор Алимтаев.

— Вы еще не забыли меня? — спросил Алимтаев.

— Нет. Здравствуйте. Слушаю, Джумабай Алимтаевич.

— Мне очень нужно с вами встретиться, Петр Григорьевич.

— Отложить на завтра нельзя? Я собрался ехать...

— Дело срочное. Я не могу вам объяснить всего по телефону. — Голос у прокурора тихий, ровный. — Завтра может оказаться поздно.

— Хорошо, — неохотно согласился Петр. — Где вам удобнее увидеться?

— Я звоню с телеграфа. Если не возражаете...

<sup>1</sup> Паульган — кишлак в Ферганской долине, жители которого славятся находчивыми и остроумными весельчаками.

— Не возражаю. Ждите на телеграфе.

— Я вас жду. — И положил трубку.

Григорьев еще держал трубку у уха, когда услышал вопрос телефонистки:

— Первая... Вам кого-нибудь соединить, Петр Григорьевич? Абонент положил трубку.

Петра телефонистки узнавали по голосу, если он звонил даже не из дома или обкома, он и сам различал их по голосам и личным номерам. «Первая» — это Валентина Ивановна, она же и старшая на коммутаторе.

— Голенко мне, Валя! — И когда услышал голос Александра Куприяновича, сообщил, что неожиданные дела задерживают его в городе.

— Может, все-таки приедешь? Машину за тобой пришлю.

— Не надо.

Григорьев неспешно дошел до центральной улицы, на которую со всех окрестных выезжали конники, арбы. Они сливались на улице Ленина в один пестрый многоголосый праздничный поток, двигавшийся за город, туда, где под ристалище был определен огромный пустырь над звонкой рекой.

Григорьев зашел в сумеречный большой зал телеграфа. Алимтаева он увидел сразу, тот сидел за длинным, грязным от чернил и клея стола, спрятав кисти рук меж коленями, безучастный ко всему происходящему, за давно не мытыми окнами, забранными в массивные кованые решетки. Увидев Григорьева, поднялся.

— Здравствуйте, Алимтаев. — Григорьев протянул руку для пожатия, присел на массивную, как на вокзалах, скамью рядом. — Так что случилось, товарищ прокурор, что за таинственность и срочность?

— Не сердитесь, Григорьев, я долго думал, к кому мне обратиться, и выбрал вас.

— Спасибо за доверие. Что же все-таки произошло?

— Много произошло... Вы что, действительно не знаете, что я уже не прокурор? Или в шутку называете меня прокурором?

— Да нет, не в шутку. — Он вдруг вспомнил давнее уже бюро, на котором слушали персональные дела двух ходоков к шахимарданским шейхам, реплику секретаря райкома Фазылова в адрес Алимтаева, что прокурор умышленно долго тянет расследование в передовом колхозе, что на Алимтаева поступил компромат и прокурорская возня не случайна, что пытается он опорочить вожака передового колхоза, создает нервозную обстановку, недоверие к Рахимову у членов сельхозартели. Значит, были у Фазылова основания для подобного заявления. И Варшавский на том бюро подтвердил, что ознакомился с делом Алимтаева.

— Впрочем, кое-что слышал, но не придавал значения. Так чем я могу быть вам полезен, Алимтаев?

— Мне — ничем. Лично мне от вас ничего не нужно, ваша газета меня вряд ли сможет защитить, даже если вы, корреспондент, проверите все и убедитесь, что со мной расправились.

— Давайте лучше по порядку, Джумабай Алимтаевич. За что вас освободили от должности? Как у вас с партийностью?

— Не по своим личным делам попросил я вас о встрече! — нетерпеливо произнес Алимтаев. — Да, я снят с работы и исключен из партии. Да! Завтра я подам в обком партии апелляцию! Я перед партией чист и верю, что мой вопрос будет решен справедливо — не в обкоме, так в ЦК.

— Одну минуточку, Алимтаев. Я правильно понял вас, что вы захотели со мной встретиться как с собкором республиканской газеты?

— Да! И как с человеком в области новым и не причастным к тому, что здесь происходит. С порядочным коммунистом, каким вы мне показались уже при первом знакомстве.

— Спасибо. Но если я еще не лишился вашего доверия, то прежде, чем выслушать вас, должен вам сказать, что я уже давно, почти с нашей последней встречи, не работаю в газете. Я работаю в обкоме партии. Ну и еще собкором телеграфного агентства. Как сотрудник обкома я, очевидно, уже причастен к тому, что в области происходит, хоть в малой мере.

— Кем вы там?

— Помощником Тургунова.

— Я не знал этого. Ездил на родину, три дня как вернулся из Чимкента. Готовился защищать себя перед парткомиссией обкома. У меня такое предчувствие, Григорьев, что обком и ЦК подтвердят исключение. После отстранения от должности я много думал. Получается, что я копнул человека, в сохранении которого заинтересованы влиятельные силы района, а может — и области. Можете думать, что мной руководит чувство мести, но, сдавая дела, я извлек из материалов следствия по колхозу Куйбышева ряд документов, неопровержимо изобличающих Рахимова во многих злоупотреблениях и финансовых нарушениях. Этих документов до-

статочно, чтобы осудить Рахимова. Я их изъял из дела, опасаясь, что они исчезнут. Я пошел на нарушение.

— Послушайте, Алимтаев, что я вам скажу. — Григорьев доверительно тронул пальцами локоть собеседника. — Мы уже знаем, что за годы войны в колхозах совершена масса нарушений устава, присвоены и разбазарены средства, скот, земли, зерно... Я вам две цифры приведу по республике. За военную пору колхозникам недодано на трудодни только денег 278 миллионов рублей. Куда они подевались? А вот вторая цифра: руководящим составом колхозов присвоено сверх положенной им оплаты по трудодням почти полмиллиарда рублей. Не ошибемся, если посчитаем, что десятая часть любой из этих сумм относится к нашей области.

— Да! И больше всего недодано и присвоено в колхозе Куйбышева! — откликнулся бывший прокурор. — Я думал правильно: если прокуратуре удастся вывести на чистую воду Рахимова, то в других колхозах будет легче работать, быстрее сможем навести порядок. Но я оказался слабее Рахимова. Меня предупредили, что не слажу с ним.

— Кто предупреждал! Аимхон, шофёр колхозный?

— Не важно... Главное, что оказались правы. Я-то думал, что если выдерну Рахманкула Рахимова, как папиросу из пачки, — он достал пачку «Беломора» из кармана брезентового плаща, потряс ее над ухом, послушал, как пошуршали в ней папиросы, — то остальных будет легче вытащить.

— И все-таки, для чего вы меня нашли, Алимтаев?

— Я хотел передать вам изъятые документы.

— Ну, если вы все еще верите в мою порядочность, — что я, по-вашему, должен с ними делать?

— Теперь и не знаю. Просто нужно, чтобы они стали известны кому следует, кто заинтересован в наведении порядка.

— Зря вы так. Обкому вы не верите?

— Я верю партии. В конечную справедливость верю.

— Я не смогу принять у вас документы на сохранность, потому что вы их, как сами признались, изъяли из дела незаконно и этим, возможно, уже помешали следствию; потому еще, что не считаю себя вправе, работая в обкоме, утаить сам факт хранения разоблачительных документов. Самое лучшее, что вы можете сделать, это передать их одному из руководителей обкома. Почему бы вам не попроситься на прием к Тургунову или Голенко? И при беседе передать документы.

— За это, при желании, мне можно или смягчить, или усилить наказание. Все будет зависеть от того, как расценить факт изъятия материалов — для пользы или во вред делу. Ведь сделали же из меня сына и внука баев, хотя и я, и мой отец, и мать были батраками у старшего брата — бая.

— Решайте, Алимтаев. Я дело вам советую.

Алимтаев первый поднялся с массивной скамьи, сказал:

— Пусть будет по-вашему. Я приду завтра к вам. Устройте мне прием у Тургунова или Голенко. А сейчас мы выйдем и пройдем в скверик. Там родственница жены ждет. Материалы у нее, я вам отдам их сейчас — на всякий случай. А завтра вы их мне вернете.

Они перешли солнечную улицу и углубились в аллею парка.

В парке гуляли с маленькими детьми мамы и бабушки. Дети собирали черенок к черенку огромные золотые медно-красные листья в букеты. Женщины, старики и подростки — жители ближайших кишлаков — приехали сюда кто на ишаках, кто на маленьких арбах-тележках, в которые были впряжены длинноухие работяги. Колхозники сметали листья в кучи на аллеях и в газонах, набивали ими мешки — видимо, на топливо, а скорее всего — на корм скотине. Где-то высоко, выше деревьев, в синем небе плыли тревожные звуки карнаев. Они увидели стройную девушку в нарядном платье и бархатной кофточке, с ученическим портфелем в руках. Алимтаев жестом остановил Григорьева и один догнал родственницу, пошел рядом. Было видно, как Алимтаев извлек из ее портфеля сверток или пакет и спрятал под плащом; девушка неторопливо проследовала к выходу из парка, а бывший прокурор, оглядев ближние аллеи, вернулся, передал пакет, спросил:

— Где вы будете хранить это до завтра?

— В обкоме, в своем сейфе.

— До завтра, Петр Григорьевич.

Они расстались, не подав друг другу руки. Петр Григорьевич направился в свой кабинет, к надежному сейфу, чтобы, поглядев материалы, положить их за тяжелую стальную дверь. На душе было скверно. Григорьев догадывался, что вязался в историю, которая не только для Алимтаева или Рахимова, кто знает, чем кончится, но и ему грозила какими-то осложнениями.

I

Григорьев принял от старшины ключ от кабинета. В приемной у распахнутого в палисадник окна стояла инструктор школьного отдела Ольга Ульянова, Ольга Васильевна — молодая женщина с ладной спортивной фигурой. Когда Григорьев переступил за дверь приемной, она оглянулась, сказала:

— А я вас, Петр Григорьевич, по шагам узнала, — и зарделась, пряча смущение за улыбкой.

— Вот как! Здравствуйте, Оленька Васильевна. — Он встал рядом с женщиной, поглядел за окно, где все еще зеленые длинные ветви роз сгибались до земли и стаались по грядкам, отягощенные распустившимися лимонно-желтыми и белыми цветами и бутонами.

— Зима на календаре, а они все цветут, — произнесла Ольга Васильевна. — Осень-то какая необычная! — В карих глазах блеснула радость.

— Розы будут цвести до первых морозов, — заверил Григорьев. Он глубоко втянул носом теплый уличный воздух, заметил удивленно:

— Смотрите-ка, все еще пахнут!

— Это от меня, — каким-то виноватым голосом сообщила женщина. — Одеколон, «Казанлыкская роза» называется. Те, наверное, уже не пахнут, — кивнула за окно.

— А мы попозднее проверим. — Петру очень захотелось прижаться лицом к поклатому плечу, к ниспадающим каштановым волосам, сладко пахнущим южными цветами, и он спросил уже «деловым» тоном:

— Кто звонил? Как дежурится, Ольга Васильевна?

— Телеграммы принесли... Звонили... Я доложу...

— Зайдите с телеграммами.

В кабинете он бросил на стол пакет, повесил на никелированную вешалку у печи кожаную старую отцовскую тужурку, еще времен гражданской войны, одернул суконную гимнастерку и согнал под широким ремнем складки к спине, расстегнул крючки на стоячем воротнике. Сел за стол и нетерпеливо извлек пачку разноразмерных бумаг. Это были списки членов бригад колхоза имени Куйбышева, счета, квитанции, товарные накладные, какие-то справки и, похоже, расписки с резолюциями в левом верхнем углу. Списки оказались ведомостями денежных и продуктовых авансов и окончательных расчетов по итогам года. Вместо подписей чаще всего стояли крестики, отпечатки пальцев: видимо, школы ликбеза, охватившие сельское население республики в тридцать девятом-сороковом годах, не всех научили грамоте, хотя уже перед войной районы и области рапортовали о достижениях через кружки поголовной ликвидации безграмотности взрослого населения. Григорьев подумал об этом, потому что и сам с чувством удовлетворения писал заметки и статьи об успехах всеобуча. Может, непрочно усвоенные знания забылись за годы военного лихолетья?

«Что же мне с вами делать?» — размышлял помощник секретаря обкома, уставясь на стопку бумаг, таящих в себе неминуемость наказания для Рахимова и его сообщников.

Ульянова положила на край стола пачку телеграфных бланков с еще сырыми от клейстера узкими полосками текста.

— Присядьте, Оленька Васильевна, — пригласил Петр. — Чай будем пить? — Охотно!

— Тогда не откажите, налейте воды из графина в кабинете Тургунова. — Он подал ей литровый фарфоровый чайник, в котором и кипятил воду на самодельной, сделанной на заводе из обрезка асбоцементной трубы и могучей спирали плитке, и заваривал чай. Он проводил женщину взглядом; даже домашней вязки просторная шерстяная кофта не могла скрыть ее ладную фигуру. Григорьев знал, что она потеряла мужа-офицера в войну. Ольга жила одна в военведомской квартире, из которой проводила на фронт своего мужа, старшего лейтенанта.

По телеграфу поступили два постановления Бюро ЦК. Одно — по зимним полевым работам. Среди отстающих с зяблевой пахотой числилась и Язьяванская область. Да и как могло быть иначе, если всю дорогу плелись в хвосте со сбором урожая! Второе — о заготовках продуктов животноводства. Тут было все в порядке, колхозы и частный сектор сдавали мясо, молоко и яйца в счет будущего года. Петр пожалел, что не захватил из дома хлеба и пару холодных котлет, — так ведь и не думал, что зайдет в обком, как не знал и того, что дежурит Ольга Васильевна, с которой приятно хоть у окошка постоять, хоть чаю попить. Ольга Васильевна,



на вернулась с чайником и сама включила за спиной Григорьева плитку, на Петра опять пахнуло сладким запахом роз.

Григорьев снял трубку телефона и попросил соединять со всеми, кто будет звонить в приемную или напрямую к Тургунову; потом позвонил домой, предупредил, что находится в обкоме и придет к четверем. Можно бы и покинуть кабинет, напившись чаю, но он не спешил, потому что напротив сидит красивая женщина, которая тоже не станет спешить вернуться в приемную. Очередной же дежурный сменит Ульянову в четыре.

Ольга принесла пару бутербродов с консервированной ветчиной, и Григорьев понял, что сочное и душистое мясо — из полкового довольствия.

— Совсем по-семейному, — счастливо рассмеялась женщина, усаживаясь напротив и пряча ноги между тумбами стола. Колени их иногда соприкасались, и эти мимолетные и нечаянные, должно быть, прикосновения первое время смущали их.

Так они мирно пили зеленый чай и не замечали, как шло время. Никто не тревожил их телефонными звонками, они не слышали даже мелодичного боя часов в кабинете Тургунова, куда Ольга открыла дверь, чтобы не прозевать, если зазвонит междугородный прямой. Но как ни были увлечены они неторопливой беседой, оба услышали возникшие в самом начале коридора шаги — все приближающиеся, тяжелые — грузного Голенко и легкое поскрипывание обуви Тургунова. Ульянова живо поднялась и ушла к своему рабочему месту, прикрыла за собой дверь.

## II

Было слышно, как Тургунов осведомился у дежурной о новостях и та ответила, что есть телеграммы, они у Григорьева.

— Здесь Григорьев? Пусть зайдет с телеграммами! — распорядился Халим Тургунович, и Петр, положив раскуренную папиросу в полную окурков пепельницу, удивился, как много он выкурил за эти два часа.

— О чем телеграммы? — спросил шеф, без интереса глядя на пачку соединенных скрепками бланков. Григорьев пересказал постановляющую часть документов.

— Почему не приехал на улак?

— Дела помешали. Встретился с Алимтаевым по его просьбе.

— Чего ему от тебя надо, этому байскому сынку?

— Передал важные документы. Вернее, это он сам так сказал, что они очень важные.

— Какие? Где они?

— У меня в сейфе.

— Принеси!

... Тургунов брезгливо прикасался к бумагам, недоверчиво просматривал их, но, видел помощник, что чем дальше, тем больше возрастал у него интерес: некоторые документы шеф перечитывал раз и другой.

— Ну и что вы с Алимтаевым решили с ними делать? Кстати, как они оказались у бывшего прокурора? Он сказал об этом?

— Рассказал. Он боялся, что бумаги могут исчезнуть из материалов следствия, и изъял их на следующий день после бюро райкома. Для того, чтобы передать вам, Халим Тургунович.

Тургунов недоверчиво хмыкнул, вызвал звонком Ульянову:

— Позовите Голенко!

Александр Куприянович появился в накинутом на плечи кожаном пальто.

— Присядь-ка на минутку. — И когда Голенко, придерживая полы, уселся напротив Григорьева, Тургунов сказал, не скрывая раздражения: — Каков сукин сын, а?! Нет, ты только посмотри на него!

— Ты о ком, Халим? — Голенко переводил взгляд с хозяина кабинета на его помощника — дескать, уж не Григорьев ли что успел натворить за праздничное утро.

— Я о бывшем районном прокуроре Алимтаеве! Вот, полюбуйся, Александр! Эти документы Алимтаев извлек, изъял из следственного дела на следующий день после снятия его с работы и исключения из партии! Каков, а?! Выкрал! Из какого дела? Для чего?

— По колхозу Куйбышева.

— Зачем он это сделал? Чтобы выгородить кого-то?

— Нет! Расскажи, Григорьев, все с начала.

Петр Григорьевич пересказал события утра, от себя добавил, что если бы Алимтаев изъял улики ради спасения кого-то от ответственности, не принес бы он их

в обком. Наоборот — чтобы не пропали из дела, чтобы виновный не ушел от наказания, поступил он так.

— Выходит, он только себе вредит! Еще новый прокурор не утвержден, но Алимтаев ему уже не верит, райкому не верит!

— Как он может верить Фазылову, исключившему его из партии? — заметил помощник.

— А почему он Тургунову поверил? Он уверен, что Тургунов отменит решение райкома, да? — Халим Тургунович покачал головой. — Почему он до сих пор не подал апелляцию в обком? Он знает, что байского сынка члены бюро не поддержат! Этой кражей документов Алимтаев хотел заслужить одобрение обкома партии, избежать или смягчить наказание. Хитрец он, этот бывший прокурор! Его за кражу документов судить следует по всей строгости уголовного законодательства! Что ты думаешь обо всем этом, Голенко?

— Ты прав, Халим.

— Он же хотел как лучше! — попробовал заступиться за Алимтаева Григорьев, но Тургунов остановил его.

— Ты, Григорьев, напиши на имя бюро обкома докладную записку. Все, как было, напиши: «Хотел, как лучше!» — передразнил помощника. — На завтра пригласи ко мне заместителя областного прокурора и облуст Раупова, посоветуемся, что делать с этим хитрецом.

— На какое время пригласить?

— На двенадцать. — Тургунов забрал бумаги у Голенко, сложил их в самодельный алимтаевский конверт, позвякивая ключами, направился к сейфу. За стол уже не сел, сказал Александру Куприяновичу: — Поехали, там все собрались, ждут.

Там — это на загородной даче облисполкома. Туда по большим праздникам на часок, не больше, приезжают члены бюро обкома, чтобы поздравить друг друга, пожелать себе, своей области и республике новых успехов. Собираются соратники по партии, по делу, которому служат, за длинным столом и привычно занимают каждый свой стул, как и на заседаниях бюро обкома. Тургунов — во главе застолья. Бывает, что и меньше, чем через час, разъезжаются — не по домам, чтобы побыть в домашнем кругу, а по закрепленным подшефным районам.

### III

Григорьев проводил секретарей до приемной и вернулся в кабинет, позвал Ольгу Васильевну:

— Начальство отбыло, можно продолжить маленькие семейные радости. Будем еще пить чай?

— Будем, — отозвалась та. — Наверное, остыл уже.

Они сидели, произносили ничего не значащие фразы, в которых подразумевался какой-то особый смысл, многозначительная, волнующая недоговоренность. Протянулись между ними невидимые нити. И все это произошло как-то незаметно, потому что они оказались совсем рядом в четырех стенах огромного пустого дома, а за распахнутым окном стояла теплынь, как в октябре, и по-летнему воздух настоен на цветах, и запах этот струился от женщины... Они уже избегали случайно коснуться друг друга коленями, но колдовские силы не исчезали.

Раздался телефонный звонок. Петр снял трубку.

— Вам из дома, Петр Григорьевич, — сообщила телефонистка.

Мать интересовалась, ждать ли его к обеду.

— Что она поделывает? — Она — подразумевалась жена.

— Лежит. Позвать?

— Нет. Обедайте без меня.

Ольга Васильевна принялась споласкивать пиалы, Петр любовался ею, но колдовские силы исчезли. Это почувствовала и женщина, произнесла иронично:

— А вы опасный человек!

— Что есть, то есть, — отшутился Петр.

За полчаса до конца ее дежурства Петр пошел в цветник с длинными канцелярскими ножницами. Он выбирал среди бутонов самые крупные и только белые, вспомнив приметку, что желтый цвет — к разлуке. Он ворошил и перекладывал стелющиеся колючие ветви, не раз колол пальцы и ладони, обламывал колючки прежде, чем присоединить цветок к букету. Он мельком увидел Ольгу Васильевну в окне и, разогнувшись, дождавшись, когда из глаз исчезнут черные круги и разводы, застывшие белый свет, направился к ней.

— Это вам, Оленька Васильевна, — произнес, смущаясь, и осторожно про- сунул цветы между толстыми прутьями решетки на подоконник.

— Спасибо. Вы даже опаснее, чем кажется, Петр Григорьев. — Глаза ее смеялись.

— Уж там! Я ручной, Оленька Васильевна.

— Может, вы и домой возьмете, Петр Григорьевич? Много тут!

— Цветов не может быть много. Их всегда как раз столько, сколько надо. — Ольга покраснела, и ему стало стыдно за нравоучительный тон. Уже мягче добавил: — Это я вам, Оля. Только вам! Собирайтесь домой. Я дедежурю. Мне поработать с часок нужно.

#### IV

Григорьев правил проекты постановлений бюро, походя выписывая из них цифры и факты для своих информаций, когда позвонил Голенко и пригласил к себе в кабинет.

— Что-то ты, парень, засиделся. Составишь компанию?

— Куда?

— В Кировский. Дня на два.

— Зачем?

— На бюро райкома поприступуем, поедем по району, с активом поговорим. Ты что-нибудь напишешь. Ну как?

— Вдвоем?

— Еще Меденякин поедет. Ты поможешь подготовить докладную.

— Пусть Меденякин и пишет, — заметил Григорьев.

— Меденякин напишет, конечно. Но ты у нас лучший спец. Утром завтра отсюда тронемся. Тургунов так решил, не ершишь.

Еще с ночи потянул западный ветер. Он пригнал тучи. Тучи клубились низко над землей, в воздухе запахло снегом, и он пошел — мелкий, колючий, не задерживающийся на не успевшей опасть жухлой листве; и на улице, пока усаживались в машину, был слышен в кронах деревьев шорох от сыплющейся сверху снежной крупы.

В ветровом стекле была дыра, от которой во все стороны расходились длинные и короткие лучи-трещины; в дыру сильно дуло, и первым поднял короткий воротник демисезонного пальто и спрятал в нем подбородок мерзлявый Меденякин, потом и Голенко отвернулся от ледяной струи и, предупредив, что чуток уснет, опустил голову в меховой, еще фронтовой, похоже, ушанке на грудь, хромовое пальто «на рыбьем меху» не грело, а холодило хозяина. Григорьеву, надевшему офицерский обчинный полушубок, и шоферу в стеганых, на вате, куртке и штанах, в кирзачах было тепло.

Чем дальше ехали, тем гуще сыпала пороша. Уже и бульжная дорога стала бела, особенно бесприютными выглядели белые поля, на которых густо торчали бурые кусты хлопчатника.

— И чего я согласился с тобой ехать, Голенко? — проскрипел Меденякин. — Ведь хотел же поездом... — И звонко закашлялся. — По дороге выпить нужно, а то пропаду.

— Потерпи, Меденякин. Обедать будем — выпьем.

Меденякин промолчал. Боялся вдохнуть в слабые легкие холодного воздуха. Он жалел себя за то, что мерзнет в продуваемой со всех сторон, обтянутой хлопающим брезентом кабине, а не лежит на полке в вагоне, жалел себя за то, что судьба была к нему несправедлива. Когда сторел без дыма предшественник Голенко, Серафим Ильич Меденякин был почти уверен, что станет вторым секретарем. По всем расчетам, следующей ступенькой его восхождения был пост второго секретаря. Тем более, что он — местный кадр, симабадский, не завозной, как Голенко, ничем не опорочивший себя ни когда был секретарем партбюро комбината, ни на оргработе в горкоме, да и в обкоме. Ну, а если по совести, то какой из Александра второй? В оргработе ни бельмеса, в промышленности, которую курирует, — и того меньше. Пропагандист, одним словом. Лекторской группой бы заведовать!

Они вышли часа через три на тихой пустынной улице районного центра у калитки в добротном высоком заборе. За забором небольшой приземистый дом — гостиница райкома. Из трубы над крышей низко стлался раздираемый ветром дым. В первой комнате — кухне — жарко горела плита, на ней в казане булькало варево, старик в белом халате поверх ватного чапана резал над миской картофелины; стояли касы, пиалы, чайники, ляган был наполнен грушами и гранатами. По всему видно — ждали обкомовцев.

Меденякин вплотную подошел к печке, протянул бледные руки над плитой, попросил старика:

— Тащи-ка, дед, сюда водку. Иначе не отойду, легкие к спине примерзли. С улицы донесся скрип тормозов, хлопнула калитка, а за ней — входная дверь. Старик заспешил на звук шагов, сообщив, что приехал хозяин.

Раджиматов сбросил с плеч старую стеганку, присел к столу, устало подпер кулаками подбородок. Лицо землистое, глаза усталые. Каракулеву ушанку забыл снять или не захотел. Старик вернулся с полной касой, подставил под локти. Раджиматов молчал.

— Ешь, Раджиматов, — пригласил Голенко. — Налей ему сотку, Петр.

— Не хочу. Это кто? — кивнул на Григорьева Раджиматов.

— Помощник Тургунова, познакомься, Юлдаш Раджиматович.

— Конец Раджиматову, да? Нет больше секретаря райкома Юлдаша Раджиматова, да? Всю войну хороший был, плохой стал! Что будет со мной? Колхоз отстающий дадите? Или сельпо?

— Дадут, — пообещал Меденякин. — Без дела не останешься.

— У меня опыт работы с людьми! Партийно-политическую работу знаю!

— Конечно, знаешь, Юлдаш! Ты еще покажешь, на что способен! — пожалел Голенко Раджиматова.

Кабинет Юлдаша Раджиматова — самый просторный. Для расширенного бюро приставной стол нарастили еще одним, однотумбовым; красного грубого сукна, покрывающего основной стол, на второй хватило лишь до середины. В кабинете жарко и светло. Кроме двухсотсвечевой лампочки в «домашнем» розовом абажуре с длинными кистями, которая тоже то разгорается, то угасает, как костер на ветру, на столах ярко горят сильные керосиновые лампы.

Раджиматов объявил заседание открытым, зачитал повестку. По злой иронии судьбы первым стоял вопрос о завершении сбора и заготовок сырца и пахоте зяби, а за окном бушевала непогода, на стены домов обрушивались снежные заряды, от порывов ветра в печных криворамах, по карнизам и застрехам райкомовского особняка гудело и подвывало по-волчьи.

Заседание пошло живее, когда секретарь райкома стал поднимать для доклада директоров машинно-тракторных станций, а за ними и председателей колхозов.

— Колхоз «Кахрамон», — вызвал Раджиматов.

— Я! — донеслось из дальнего угла, от черной печи. Григорьев оглянулся к соседу, спросил у сидевшего рядом:

— Фамилия его как?

— Ергашев... Сулейман Ергашев, — сообщил шепотом сосед.

— Говори! — потребовал, глядя в сводки, Раджиматов. — Сколько процентов дал?

— Шестьдесят четыре...

— Когда план выполнишь?

— К Новому году план будет, — твердо заявил Ергашев.

«Что он, действительно верит, что за десять дней обеспечит треть плана?» — удивился Григорьев. Удивился, похоже, единственный среди множества присутствующих. Он медленно оглядел сидевших напротив членов бюро: лица у всех непроницаемы. Снял со спинки стула полевую сумку, на коленях расстегнул застежку, вынул блокнот и мягкий карандаш. «Это же пригодиться может!» — подумал. Что, интересно, скажет на это секретарь, другие члены бюро, вот этот лохматый, в очках, в черной криворотке, похожий на гимназиста-перестарка второй секретарь райкома Луцин. Чего он молчит? За три месяца шестьдесят процентов нацедил, теперь из-под снега по три процента в день?! Ну, лихой раис, вот уж, действительно, «кахрамон»!

— Сколько он выговоров уже получил? — поинтересовался Голенко у Раджиматова.

— Два... Или три. С занесением. Вы его спросить о чем-то хотите? Спрашивайте.

— Есть хлопок на полях?

— Мала-мала есть, — откликнулся председатель.

— Нет у него хлопка! Давно нет! Гузапаю нужно ему было в ноябре убрать и пахать, — зло произнес Раджиматов.

— Почему не пашет, если сырца нет? — дотошничал Голенко.

— Райком, райзо не разрешают! Обком не разрешает! Акт ему на зачистку полей от гузапаи не подписывают, — объяснил Раджиматов. — В январе будет команда гузапаю убирать — начнет пахать. Садись, Ергашев! Следующий — Сталин-первый!

— Здесь! — поднялся широколицый, с распахнутой рубахой на могучей груди богатырь лет сорока.

<sup>1</sup> Кахрамон — герой.

— Говори!

— План дела семьдесят процентов! За последнюю неделю дал два два десятых процента! На поле работают все трудоспособные! Даже женщины с маленькими детьми на поле пришли, старики фартуки взяли. Чего еще говорить? Я говорю старикам: «Отдыхайте, дедушка, отдыхай, бабушка». А они говорят: «Не можем спокойно чай пить, лепешку кушать, когда хлопок на поле лежит. Будем помогать! Товарищу Сталину, любимому вождю слово давали!»

Члены бюро прятали улыбки: ох, уж этот Ташмат! Ну, дает!

— Веселый ты очень стал, Ташмат Шукуров! — оборвал неунывающего председателя секретарь. — Говори по делу, Ташмат! Будет план или нет?

— Будет! В январе сделаем. Вот только веревки найдем, снег с кустов стряхнем и начнем план делать.

— Навоза сколько вывез на поля?

— Тысячу арб и тележек. Почти тысячу!

— Скажи на бюро: если план не дашь — навоз жрать будешь, — потребовал секретарь райкома.

— Пускай! Буду! — охотно принял условия Шукуров. — Я сел, да?

— Садись! Сталин-второй! Здесь Сталин-второй? Где ты? А ты, Шукуров, нажимай! Со следующего бюро без партбилета уйдешь, бросай шутки шутить! Райком тебе не чайхана!

— Изнаю, — донеслось из-за спин сидящих впереди.

— Где второй Сталин?

— Насвай пошел выплунуть... Сейчас вернется, — сообщили из второго ряда.

— «Намуна» здесь?

— Я! — поднялся из-за спины второго секретаря райкома убежденный сединой человек с молодежавым лицом.

— Рассказывай, Зупаров! Как дальше работать думаешь! Каждая корова дала триста литров молока. Меньше козы! Мясодачу когда выполнишь? Рабочий класс надо кормить? Белоруссии, Украине как помогаешь, Зупаров? Хлопок провалил? С отчетно-перевыборного собрания без круглой печати уйдешь! Готовишь собрание?

— Да.

— Что будем делать с Зупаровым? — обратился секретарь к членам бюро.

— С Зупаровым колхозники сами решат, — заметил Лушин. — В колхозе уполномоченный Хакимов. Поручили как председателю райпотребсоюза помочь отремонтировать контору, магазин открыть в колхозе — он и этого не сделал. Титаны для воды в бригады под нажимом райкома дал, чая у сборщиков до осени не было.

— Второй-Сталин пришел? — спросил Раджиматов, не поднимая головы.

— Пришел я, — отозвался председатель второго колхоза, носящего имя вождя и учителя.

— Рассказывай, Умаров! — потребовал секретарь райкома. — Пускай товарищи из обкома партии видят, какой ты безответственный человек! Говори, почему сколько раз давал обещание, столько раз не выполнял?

Умаров — человек лет пятидесяти — молчал, виновато вздыхал.

— Как с таким активом работать?! — Раджиматов взывал к сочувствию приехавших, искал поддержку у членов бюро. — Полюбуйтесь на этого героя! Молчит!

— «Кызыл омач»! — вызвал председательствующий.

В углу кабинета поднялся крепкий человек, одетый в два халата — верхний распахнут, второй подвязан поясным платком. Председатель колхоза спрятал за пазуху кусок лепешки, вытер ладонью губы.

— Полюбуйтесь на это жулика, товарищ Голенко! Он на бюро райкома столовую себе сделал! Проголодался, да?! Может, у тебя под чапаном ляган с пловом есть, Ходжаакбаров? Извини, что помешал трапезе. Мы тут ради тебя собрались, Ходжаакбаров! Говори давай!

Ходжаакбаров молчал.

— Ладно! Тогда будет говорить районный прокурор, — с угрозой произнес секретарь райкома. — Товарищ Давронов, вам слово! Райком создал комиссию для проверки, Давронова председателем комиссии назначили. Доложи, прокурор!

Тяжело поднялся прокурор, развязал шнурки на папке, лежавшей перед ним, заговорил ровным, хорошо поставленным голосом человека, привыкшего к вниманию аудитории. Одновременно он просматривал стопочку бумаг в раскрытой папке, сортируя их:

— Комиссия под моим председательством тщательно изучила дело путем опроса большой группы колхозников, проверки бухгалтерских документов и снятия остатков зерна, масла и других товаров и продуктов, полученных по натуроплате

<sup>1</sup> Кызыл омач — Красный плуг.

за поставку сельхозпродуктов, и установила следующее: председатель колхоза «Кызыл омач» Ходжаакбаров Ташпулат, рождения одна тысяча девятьсот второго года, член ВКП(б), депутат Яйканского сельсовета, был избран на пост председателя колхоза в одна тысяча девятьсот сороковом году. Женат на Михринисо Якубовой в тысяча девятьсот двадцать четвертом году...

— Ближе к делу! — потребовал Голенко. — В чем его обвиняют, что подтвердилось при проверке и что нет?

— Ходжаакбаров в районе личность известная. Подробно о нем говорю для вас специально. Если быть кратким, то буду говорить по пунктам заявления. Ходжаакбарову предъявлено обвинение в многоженстве. Это подтвердилось. Будучи женат на Якубовой, Ходжаакбаров сожительствовал с эвакуированной Ганной Остапенко. От Ходжаакбарова у Остапенко имеется дочь. В прошлом году он отправил ее на родину на средства колхоза. Одновременно последние два года сожительствовал с Октамовой Саноат, незамужней, обещал выгнать первую жену из дома и развестись, а Саноат сделать законной женой. Сделал ее заведующей детским садом. Одновременно около года назад вступил в интимные отношения с секретарем сельсовета Умаровой Хадичей, вдовой.

— Она сама этого хотела! — заметил Ходжаакбаров. — Она на меня заявление не писала!

— В этом году Ташпулат предпринял строительство дома для Саноат Октамовой. Во время хлопкоуборочной на строительство отвлёк от работы в колхозе семнадцать человек и две арбы. Им начислено по его указанию около тысячи трудодней за два месяца. Кроме того, на фундамент пошло две тысячи жженого кирпича и семь кубометров пиломатериалов, около ста листов шифера.

Давронов передохнул и продолжил ровным бесстрастным голосом перечислять злоупотребления председателя. А когда закончил, Раджиматов обратился к членам бюро:

— Что будем решать? Кто хочет взять слово?

— Подождите! — прервал секретаря райкома Голенко, — Мне с этим жуликом и разложившем все ясно. — Александр Куприянович встал. — Вопрос первый к тебе, Раджиматов. Райком партии до сих пор ничего не знал о положении в «Кызыл омаче»? Это письмо колхозников — первый сигнал? Члены бюро в колхозе этом не бывали? С народом по душам не говорили? В колхозе есть партийная организация?

— Есть. Семь человек, — сообщил Раджиматов.

— Здесь секретарь партийной организации?

— На бюро не приглашали, — ответил Раджиматов.

— Вы что, считаете, что партийные организации во всем, что происходит в колхозах, в том числе и отстающих, не виноваты, да? Это вы, Раджиматов, прежде всего лично вы виноваты в том, что роль партийных организаций в колхозах принижена! Это же ваши форпосты! Ваша опора! С вашего молчаливого согласия, товарищи члены бюро райкома, председатели колхозов, в том числе и явные жулики вроде Ходжаакбарова, подмяли под себя партийных вожakov!

Русоволосая голова рослого Голенко будто подпирала синий табачный туман.

— Откройте дверь! Задохнуться можно! — потребовал он, и кто-то распахнул дверь в приемную, дым потянулся из кабинета.

— Вы, Раджиматов, предложили открыть обсуждение меры наказания провинившемуся, разваливающему колхоз аморальному человеку, в котором давно не осталось ничего партийного и порядочного? Что не ясно вам и членам бюро? Давайте тогда, чтобы ускорить дело, попросим прокурора ответить на один вопрос.

— Я слушаю, — откликнулся прокурор.

— Скажите, тех фактов, которые подтвердила работа комиссии, достаточно, чтобы привлечь Ходжаакбарова к уголовной ответственности?

— Да, товарищ секретарь обкома. По нескольким статьям уголовного кодекса.

— Тогда второй вопрос я адресую членам бюро. Может ли оставаться в рядах партии прохвост и вор? Выношу на голосование следующее предложение. Первое: за поведение, не совместимое с высоким званием коммуниста, Ходжаакбарова из рядов ВКП(б) исключить. Второе: за использование должностного положения в корыстных целях, выразившееся в присвоении и хищении денежных средств и материальных ценностей, за попрание уставных демократических норм колхозной жизни и провал плановых заданий по урожайности хлопчатника и продуктивности животноводства Ходжаакбарова с должности председателя правления колхоза «Кызыл омач» снять. Третье: материалы проверочной комиссии райкома передать следственным органам для возбуждения дела о привлечении Ходжаакбарова к уголовной ответственности. У кого из членов бюро есть другие предложения? Раджиматов! Веди бюро! Если нет других предложений — ставь на голосование мое.

Раджиматов поднялся.

— Все слышали предложение второго секретаря обкома партии товарища

Голенко? Другие предложения есть? — Наступила тягостная тишина. На улице прекратилась метель и послышался гудок паровоза, лязг вагонных буферов. — Ставлю на голосование... Голосуют члены бюро райкома и члены бюро обкома. Кто за предложение Голенко Александра Куприяновича?

Одна за другой поднимались руки.

— Один... два... Три... — считал Раджиматов. Голенко поднял руку. Меденякин не пошевелился.

— Ты что, уснул, Меденякин? — спросил Голенко. — Почему не голосуешь?

— Голосование еще не закончилось, Голенко, — тихо ответил тот.

— Девять «за». Я — десятый, — сообщил секретарь райкома. — Кто против? Нет. Воздержавшиеся? — Меденякин поднял руку.

— Принимается предложение товарища Голенко.

Александр Куприянович сел, поглядел в сторону все еще стоящего в углу Ходжаакбарова. Они встретились взглядами. Ходжаакбаров отвернулся, стал двигаться к выходу, наступая на ноги, задевая за колени сидящих.

— Стой, Ходжаакбаров! — раздался приказ Голенко. Тот встал. — Начальник милиции здесь? — спросил Голенко.

— Милиции нет. Я начальник райотдела МВД. Капитан Ядгаров.

— Арестовать Ходжаакбарова, капитан! Взять под стражу!

Ядгаров поднялся из-за стола, неторопливо пошел к двери; проходя мимо Ходжаакбарова, позвал:

— Пойдем, чего стоишь?

— Перерыв бы сделать минут на пять, — произнес кто-то. — Четвертый час сидим. Да и помещение проветрить...

— Объявляется перерыв на десять минут, — известил секретарь райкома. — Все, кроме членов бюро, свободны.

Народ высыпал в коридор, на улицу, во двор, протоптал по снежной целине тропинку в дальний угол.

— Григорьев, одолжи тридцатку, — попросил Меденякин.

— Зачем тебе? Ночь на дворе.

— В чайхане выпью чая с лепешкой. Проголодался что-то. Есть тридцатка?!

— Держи! — Григорьев протянул «красенькую». — Недолго там. Тебе, вроде, выступать первым.

— Пусть Голенко первым про агитацию-пропаганду мозги членам бюро вправляет. А я минут десять после него займу. Он говорить любит, успею!

Заседание кончилось в одиннадцатом часу. Обкомовцы вернулись в гостиницу с секретарем райкома. Старик-повар, он же и сторож гостеприимного дома, принес в столовую чай и горячие, с хрустящей серединкой лепешки и ляган с тушеным мясом.

— Меденякин, Григорьев! А не уехать ли нам домой? К трем часам доберемся! — предложил Голенко.

— Сдохну я по дороге от холода. Ночным поездом вернусь, — отказался Меденякин.

— Я готов, — согласился Григорьев. — Дома напишем справку.

Меденякин и Григорьев сидели в кабинете второго секретаря, втроем сочиняли справку о состоянии организационно-партийной и партийно-политической работы. День — солнечный, безветренный — близился к концу. В водосточной трубе за окном шумела талая вода, снег уже спал с деревьев вместе с последними листьями.

Неожиданно пришел и прервал неторопливый коллективный труд Турсунов. Поворошил исписанные Григорьевым странички, хмыкнул, пристально оглядел каждого, сел на голенковское место за письменным столом. Все прервали работу, ждали, что скажет первый, а он исподлобья, набычив круглую голову, разглядывал то Александра Куприяновича, то, особенно долго, Серафима Ильича.

Заговорил, наконец. Поинтересовался, надолго ли засели, когда кончат сочинять.

— Сегодня закончим, Халим Тургунович, — пообещал Голенко.

— Без него обойдетесь? — кивнув на Меденякина, спросил у Голенко.

— Наверное. Констатационную часть почти написали, выводы легче.

— Хорошо! Чтобы к ночи было готово! Домой не уходите.

— К чему такая спешка, Халим? — миролюбиво спросил Голенко.

— Надо, раз говорю. Тебе, Меденякин, завтра быть в ЦК у Померанцева. Знаешь такого?

Померанцев — уполномоченный Комиссии партийного контроля ЦК ВКПБ(б) по Узбекской ССР.

— Знаю. — Меденякин стал покрываться красными пятнами — сначала лоб, потом щеки. Только хрящеватый нос стал еще бледнее.

— Зачем — тоже знаешь? — тихо спросил Тургунов. В голосе — сдерживаемая ярость и брезгливость.

— Также знаю.

— Молодец! — похвалил, как осудил, первый. — Я тоже знаю! Ты свободен, без тебя закончат. Собирайся!

— Что случилось, Халим Тургунович? — спросил Голенко.

— Скоро узнаешь! Я сказал тебе, Меденякин, что свободен?! Чего сидишь? Григорьев! Ты тоже пока свободен, иди к себе.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### I

Из областной прокуратуры материалы по колхозу имени Куйбышева переслали в районную. Заместитель областного прокурора Ляхов счел долгом позвонить секретарю райкома Фазылову:

— А наш Алимтаев-то оказался еще тот фрукт! Выкрасть документы из материалов следствия!

— Важные документы? — вскользь спросил Эсан Фазылович.

— Да. Вовремя райком разоблачил проходимца! Он, очевидно, решил этими материалами шантажировать руководителей колхоза, взятку с них получить!

— Вы так полагаете, товарищ Ляхов?

— А зачем иначе Алимтаеву они понадобились? Не спасать же колхозных прохвостов безвозмездно! Шантажировать хотел!

Фазылов помолчал, собрался с мыслями. Действительно, для чего уже снятый с должности Алимтаев изымает наиболее очевидные улики? Может, он действительно пытался припугнуть Рахимова или Ташева, главного бухгалтера колхоза, и потребовал с них деньги за эти счета и ведомости? А когда те, оба или один из них, отказали, понес материалы в обком, руководствуясь уже одним желанием — отомстить несговорчивым. И, не доверяя райкому партии, сдал их в обком, чтобы там взяли на контроль.

— У меня все, товарищ Фазылов. Вы что-то хотите мне сказать? — поинтересовался Ляхов, поняв по затянувшемуся молчанию собеседника, что тот над чем-то задумался.

— Да... Минуту подождите, я думаю. Мне кажется, что в чем-то вы правы, товарищ Ляхов. Он ведь не мог не понимать, что идти в обком с этими бумагами рискованно. И все-таки пошел! Почему, как вы думаете? Что отомстить — это одна сторона вопроса. А может быть, для того, чтобы выглядеть перед обкомом партии в выигрышном свете? Вот, мол, я какой борец за правду, не побоялся кражей усугубить свое положение в интересах дела, а?

— Пожалуй, вы правы, товарищ Фазылов.

— А не смогли бы вы изложить эти соображения в докладной записке на имя товарища Тургунова с копией райкому?

— Почему — я? — насторожился Ляхов. — Мы же просто обменялись мнением!

— Конечно! Мнение ваше насчет взятки мне кажется верным. И желание отомстить за отказ — очень правдоподобно, ведь Алимтаев, оказавшись безработным с такой формулировкой, вряд ли имеет право рассчитывать... во всяком случае, в нашей области ему работы не будет, это точно. Вы примете его в областную прокуратуру?

— Нет, конечно! Если обком партии его не восстановит...

— Вот я и говорю. Но кражей документов Алимтаев усугубил свою вину перед партией. Нужно помочь партийным органам правильно оценить, что это за личность — Алимтаев! Кстати, хищение документов из дела уголовно наказуемо?

— Да.

— Вы возбуждаете против Алимтаева уголовное дело? Если нет, то, очевидно, такой шаг нужно предпринять... Райком партии ждет копию вашей докладной, товарищ Ляхов. У вас все ко мне? Желаю успехов в работе. И давайте нам скорее кандидатуру нового прокурора. Нам нужен товарищ проверенный. Надо смелее выдвигать собственные кадры! Нам не нужны байские сынки! Преданные партии люди нужны, товарищ Ляхов!



Симабадский городской и Симабадский районный суды, обе прокуратуры размещались в одном здании старой постройки. Общей у них была и длинная — через весь дом — веранда, только входы с этой веранды отдельные. На веранде и под ней во дворе стояли длинные скамьи для посетителей, на них сидели и дожидались вызова на судебные разбирательства проходившие по делу свидетели. Дом вплотную примыкал к другому, жилому дому, разве что был на полметра выше.

Пожар начался во второй половине ночи, когда особенно сладко и крепко сон. Пока приехали две пожарные машины, пока пожарники раскатывали шланги, уже полыхали полы, шкафы с делами, столы и стулья в маленьких залах и кабинетах, горели фанерные, крашенные масляной краской потолки, и черные потолки, традиционно выстланные камышовыми снопами, обмазанные поверху глиной с саманом — соломенной сечкой; лопались стекла в окнах, и сквозняки еще ярче раздували огонь.

Под утро огонь погас. Прокурорские и судейские чины дождались, когда остынут сейфы, чтобы заглянуть в них, а когда открыли, то обнаружили внутри истлевшие папки с документами, обуглившиеся печати и штампы.

## II

Собираясь в райком партии, шофер колхоза имени Куйбышева Ахмадалиева не думала, что разговор с первым секретарем Фазыловым так изменит ее жизнь. Первая мысль, мелькнувшая у женщины, была связана с Рахманкулом Рахимовым: «Пожаловался, что пошла на него с вилами, жизни угрожала». Но это предположение она отбросила — не станет он этого делать. Иначе придется ему признаться, что вел себя недостойно. А в этом случае его вина больше, чем ее, наказывать следует его. Так зачем вызвали?

Хозяин сумеречного кабинета поднялся навстречу женщине, даже вышел из-за стола и не вернулся на свое место, а, усадив гостью лицом к окнам, сел напротив за приставной стол.

— Как живешь, землячка? Здоровы ли отец с матерью? Здоровы, вот и хорошо! Не забываешь Ахмадали-ата, свекра бывшего? Навещаешь, это хорошо! Молодец, Аимхон, не забывай, одиноко им. Конечно, у тебя — своя жизнь. У тебя все впереди! Не надоело баранку крутить?

— Привыкла... Вот машину новую получила. Студебеккер!

— Что же ты, всю жизнь до старости решила баранку крутить? Может, хватит, Аимхон? Мы посоветовались и решили предложить тебе дело, которого достойна. Райком партии имеет на тебя другие виды.

— Какие? — насторожилась женщина.

— Сейчас! Сперва послушай, что скажу. — Фазылов поднялся, прошел к большой карте района, висевшей на стене напротив окон. — Подойди сюда, Аимхон. Смотри сюда! Это наш район... Вот наш кишлак. Это — граница земель вашего колхоза. С войны не вернулись многие. Но уже подростки стали юношами, завтра будут мужчинами. Девочки стали девушками. Но как бы ни было трудно без мужчин, без техники, колхоз почти не сократил за войну посевы. А что и выпало из севооборота — будет восстановлено в ближайшие год-два... Уже сейчас на каждого работающего приходится чуть больше гектара поливной земли. Через год-два количество рабочих рук увеличится, и на каждого не будет приходится и гектара хлопковых посевов. А задача — значительно превзойти довоенный уровень производства хлопка. Для этого есть два пути. Поднимать урожайность хлопчатника и расширять его посевы. Новые земли дадут работу тем, кто уже подрос и кто подрастает и скоро потребует себе дело. Я верно говорю, Аимхон?

— Верно... Я слушаю.

— Можно передать колхозу новые земли. Но они лежат за этими холмами по саю, туда километра четыре. Разумно ли создавать там новые бригады, заставляя людей пешком ходить из кишлака каждый день туда-обратно с кетменем на плече, гонять тракторы? Лучше создать на новой земле новый колхоз. Как ты думаешь, Ахмадалиева? Построить там за год-два новый поселок. Просторные дома. И чтобы на широкую улицу дома смотрели большими окнами... Я думаю, что и во всех кишлаках нужно в каждом доме колхозника пробить в ташкари<sup>1</sup> окна. Надо жить

<sup>1</sup> Ташкари — наружная, выходящая на улицу стена жилого дома, по традиции «слепая», без окон.

по-новому, открыто! Чтобы в доме труженика было светло и празднично! Тогда и на душе будет радостно! А?

— Наверное, хорошо будет, — согласилась Аимхон.

— Так вот, вопрос о создании нового колхоза решен положительно. Его угоды разместят здесь, Аимхон! — Фазылов обвел пальцем границы земель нового хозяйства. — А вот на этом месте, вдоль сая, самое лучшее место для поселка! Как ты считаешь? Земли хорошие. Через них проходят скотопрогонные пути, там за сотни лет скопилось столько навоза в загонах, что хватит колхозу на многие годы. Скот из долины в горы будут гонять другой дорогой. Какое бы хорошее название придумать новому колхозу, Аимхон? Ты как назвала бы? Решай!

— Почему — я? — Женщина уже почувствовала, что неспроста завел с ней разговор секретарь райкома.

— Идем за стол, Ахмадалиева! Разговор у нас серьезный.

Они вернулись на свои места.

— Слушай внимательно, Аимхон! Новому колхозу нужен председатель. Хозяин нужен, голова! Есть мнение рекомендовать председателем тебя. — На круглом лице секретаря райкома — только что улыбочивом, одухотворенном, когда рассуждал о новом кишлаке, где все дома смотрят на улицу большими, светлыми окнами, а теперь ставшем решительным, жестким от плотно сжатых губ, строгого прищуря глаз — непреклонность.

— Меня? Почему меня? Какой из меня председатель?!

— Мы много думали, советовались. Почему выбор остановился на тебе — скажу. Ты член партии. Грамотная. Приходилось тебе и работу экспедитора выполнять, и в банк ездить. Технику ты знаешь всякую — и трактор, и автомобиль. У тебя большой авторитет в колхозе. Райком и райисполком уверены, что ты справишься. Помогать тебе будем.

— Больше некому доверить?

— А кому? Говори свою кандидатуру!

— Зайниев!

— Еще кого знаешь?

— А чем плох Халил-ака? Это он создавал колхоз и десять лет хорошо руководил.

— Знаю. Я секретарем комсомольским был в колхозе до войны, все помню. Халил Зайниев не подходит.

— Почему?

— Он тяжело болен. Но дело не только в этом. Мы не можем рекомендовать его в председатели, Аимхон. Мы на бюро восстановили его в партии, но нас поправили. Решение бюро райкома о Зайниеве отменено. Я очень уважал Зайниева, но как секретарь райкома должен признать, что с восстановлением его в партии райкомом допущена ошибка.

— В чем его вина, Эсан-ака? Он же столько раз из лагерей фашистских бежал, во Франции в партизанах был! За нас воевал!

— Это он так говорит... Настоящие большевики в плен не сдаются! Погибают, а не сдаются! — Секретарь райкома произносил не свои, чьи-то чужие слова казенным одеревеневшим голосом. — Я обязан сообщить об этом Зайниеву, но не знаю как. Это его убьет. Знаешь что, Аимхон? А что, если ты возьмешь его в свой колхоз председателем совета урожайности? Может, в работе он забудется, обретет душевный покой? Возьмешь?

Собираясь в райком, Аимхон повязала платок, прикрыв лоб почти до бровей: розоватым язычком с темени до середины лба пролегал след от удара камчой. Взволнованная беседой, она машинально скинула платок за голову, и Фазылов, пристально и требовательно вглядывавшийся в лицо женщины, увидел рубец на смуглой коже. Аимхон перехватила внимательный взгляд, отвернулась и натянула платок на голову.

— Это он? — тихо спросил Фазылов.

Женщина не ответила. Она поднялась со стула и прошла к карте района. Спросила:

— Значит, здесь будет новый колхоз?

— Здесь... Ответь, Аимхон, почему не подала на него заявление?

— Он любил меня. А я его нет.

— Я это знаю...

— Разве за любовь можно наказывать? Какой райком может заставить полюбить или разлюбить?

— Наказать его надо бы. Чтобы руки не распускал.

— У него хватит другой вины, за которую его нужно наказать.

Имя человека, о котором шла речь, не было названо. Оба знали, о ком говорят.

— Что за ним есть? Можешь сказать?

— Не скажу. Прокуратура сгорела. Я ему не судья и не прокурор. Вы спросили, согласна ли стать председателем колхоза. Я решила. Согласна! — Она вернулась к столу, но не села. — Колхоз как назвать, спросили? Именем женского праздника назвать! Восьмое Марта! Позову в него всех вдов. Бригадирями и звеньевыми будут только женщины! Бабский колхоз будет!

Фазылов поднялся, сказал прочувствованно, как и подобало в такой ответственный момент:

— Спасибо, Ахмадалиева! Райком партии верит в тебя. Спасибо! Скоро вызову на утверждение.

### III

— Все отменить! Мы с Голенко сегодня едем в Ташкент. Вернемся послезавтра. Все! Иди! Позвони на вокзал, чтобы места оставили в мягком. Я позову тебя, как освобожусь.

Тургунов едет на бюро — понятно, он член бюро, размышлял помощник. А Голенко могут вызвать только в случае, если в повестке дня есть вопрос, по которому он отчитывается. Но в плане работы ЦК отчет второго секретаря Язьяванского обкома на бюро не стоял; будь иначе, в отделах уже давно бы готовились. Так зачем его вызвали? По какому делу? Почему вдруг вспомнилось Григорьеву это несуразное заседание бюро райкома партии? Начальник райотдела милиции и председатель колхоза, исключенный из партии, снятый решением бюро с должности, вроде бы арестованный, но мирно сидевший в приемной рядом с капитаном, и оба, похоже, ждавшие конца заседания и какого-то иного решения судьбы разложенца и вора. Погорячился тогда Александр Куприянович, факт! И хотя все, кроме Меденякина, проголосовали за его предложение, вряд ли кто из присутствовавших в задымленном кабинете не сознавал, что, подчинившись воле секретаря обкома, голосует за неправомочное решение, идущее вразрез с постановлением партии и правительства, в котором черным по белому записано, что выбирать и снимать председателя колхоза правомочно одно лишь общее собрание членов сельхозартели. И нет в этом документе оговорки, что в исключительном случае партийным или каким другим органам дается право сместить председателя, даже если очевидно, что он — жулик. Один Меденякин оказался принципиальным.

### IV

Весь аппарат обкома, да и в других областных организациях, которые курировал второй секретарь обкома партии, это чувствовалось, был наэлектризован ожиданием, жил слухами, догадками и предположениями.

Меденякин вернулся из Ташкента в день заседания бюро ЦК. Значит, на бюро он был не нужен. Значит, вызывали его для подготовки вопроса. Какого?

Позвонила Ольга Васильевна. Попросила разрешения зайти, показать проект постановления. Григорьев обрадовался: после того воскресенья, когда он щедро одарил молодую женщину розами, возникли какие-то волны, от которых не хотелось освободиться; родилась тайна, о которой знали только они двое.

Только зашла в кабинет Ольга Васильевна, только запахло в тесном, пропахшем табаком кабинете розами, как появился Меденякин с чахоточным румянцем на впалых щеках и выложил на стол красненькую купюру.

— Должок, Григорьев. Спасибо.

— А-а-а... Тридцать сребреников!

— Что? — Меденякин начал краснеть со лба, потом порозовели мочки ушей и крылья хрящеватого тонкого носа.

— Ничего, говорю, пожалуйста.

— Ну-ну, — сказал Меденякин, — ну-ну! — Вроде погрозил, а может, попытался урезонить.

Ольга Васильевна сидела боком к столу, спиной к окну, руки положила на колени, вся — сосредоточенное внимание, вся — готовность исправить ошибки. Розами пахли и листы плотной белой бумаги фабрики «Светоч», на которой писали обкомовцы. Казалось, даже ровные строчки с четким наклоном вправо благоухают розами.

Григорьев похвалил Ольгу Васильевну: ему не пришлось ни дополнять, ни сокращать ни строки.

— А говорят, что вы здорово черкаете, я боялась к вам нести.

— Больше не бойтесь, Ольга Васильевна, приносите чаще...

Когда Ольга Васильевна вышла из кабинета, Григорьев потряс головой, избавляясь от наваждения.

## V

...Голенко позвонил Григорьеву на квартиру на следующее утро:

— Я уже дома. Зайди ко мне по дороге в обком. — Голос ровный, спокойный. Может, напрасны были тревога, напряженное ожидание, которыми жил вчера аппарат обкома?

— Александр в кабинете, — сообщила его мать, когда Петр переступил порог с веранды в коридорчик особняка.

Голенко сидел на опрокинутой табуретке перед распахнутой дверцей печки, в ногах валялась куча газет, порванных рукописных и машинописных страниц. Ящики письменного стола выдвинуты, и все, что в них находилось, — документы, несколько толстых тетрадей в клеенчатых обложках, папки, удостоверения на орден и медали и сами награды блестящей грудочкой, и даже золотые полковничьи погоны — все выгреб хозяин. Одного беглого взгляда Григорьеву хватило, чтобы оценить ситуацию и понять, что произошло в судьбе второго секретаря Языванского обкома. Перетряхивают письменные столы, рвут, сжигают, бросают все, что будет лишним в новой жизни, что хочется оставить в прошлом.

— Сколько ненужного собирается вокруг человека, — посетовал Александр Куприянович. — Бери стул, садись рядом.

Голенко был одет по-домашнему — в полосатую пижамную пару, на ногах тапочки из шинельного сукна, а может, из старого грубошерстного одеяла, матерью, наверное, выкроенные и сшитые. Он перелистывал, просматривал мельком то, что отправлял в печь. Он ворошил слои бумаги кочергой, черные хлопья кружились над огнем, уносились воздушным потоком в печные недра.

Помолчали. Григорьев закурил, пускал дым в печной зев.

— Все понял, инженер человеческих душ? — спросил Голенко, кивнув на остатки бумажек под ногами.

— Как не понять. А подробнее — можно? И один вопрос сперва. Это по телеграмме Меденякина, да?

— Ну, в данном конкретном случае — по ней. Она просто ускорила возникновение моего персонального дела. Не будь Меденякин со мной в Кировском, он бы у себя в кабинете через две недели все равно прочел протокол бюро.

— Так чем кончилось бюро? Что с работы сняли — вижу. С партийностью как?

— Все нормально. Юсупов отстоял. Даже выговора не объявили.

— Рассказывайте, Александр Куприянович.

— С чего начать-то? Пожалуй, с того, что сперва меня принял Усман Юсупович. Меня и Тургунова. Сразу принял, как только Халим позвонил ему из гостиницы ЦК, которая в тупичке на Урицкого, — нас туда цековский шофер с вокзала отвез. Дал нам прочесть копии телеграммы Меденякина и его объяснительную записку. Ее он написал по поручению Померанцева на имя Комиссии партийного контроля. В ней Меденякин описал ход бюро и очень подробно — обсуждение судьбы председателя колхоза «Красный омач».

«Верно все написано?» — спросил товарищ Юсупов, когда я вслух, чтобы и Тургунов был в курсе, прочел записку. Все там было верно — ни прибавить, ни убавить. Об этом я и доложил товарищу Юсупову. Усман Юсупович не стал ни ругать меня, ни упрекать. Сказал только, чтобы написал на имя партийной Комиссии объяснение и отдал секретарше, она обеспечит перепечатку. Я ушел, Тургунова Юсупов оставил в кабинете. Я понимал, что разговор будет обо мне, спустился на второй этаж, нашел свободный стол в отделе пропаганды. Одним словом, если короче, то объяснение я написал до перерыва и оставил его в приемной. Потом меня принял Померанцев. Крутой, доложу тебе, мужик, но — вежлив, ничего не скажешь. Из беседы с ним понял, что ничего хорошего на бюро меня не ждет. Получилось так, что я — первый из партийных работников, единственный на всю страну, кто посмел нарушить решение партии и правительства о ликвидации нарушений Устава сельхозартели, его восьмого пункта. Померанцев ровным голосом прочел мне этот пункт. Я его дословно запомнил: воспретить под строгой ответственностью райкомам партии, райсоветам и земельным органам назначать или снимать председателей колхозов помимо общих собраний колхозников. «Как прикажете понимать ваше поведение на бюро райкома? — казенным голосом спросил Померанцев. — Как саботаж решения партии и правительства, направленного на

восстановление колхозной демократии? Вы же политически грамотный человек, Голенко!»

— Между прочим, Куприянович, в постановлении есть и другой пункт. Он стоит перед тем, который процитировал тебе Померанцев. О том, что виновные в расхищении и незаконном распоряжении колхозным добром подлежат снятию с постов и отдаче под суд как враги колхозного строя, — заметил Григорьев. — Вы ему об этом напомнили?

— Нет... Что толку. Я в ходе беседы стал догадываться, что в задачу Померанцева входило наказать меня как можно покрепче, чтобы мой пример стал другим наукой. Усман Юсупович не дал ему такой возможности. Он спас меня, сохранил мне партийный билет. Я ушел с бюро ЦК без партийного взыскания, понимаешь, Григорьев?! Мне даже не указали! Решением бюро я освобожден от обязанностей второго секретаря Язъяванского обкома партии в связи с утверждением заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б) Узбекистана. Вот так повернул мою судьбу товарищ Юсупов. Таким жестким, волевым я Усмана Юсуповича не видел. Я понял, что он не только меня спасал, он отстаивал и отстаивал очень важные принципы.

— Какие? — спросил Григорьев.

— Сейчас поймешь... Он отстаивал право ЦК и его бюро на независимость в принятии решений.

— На независимость — от кого? — не понял Григорьев.

— Не торопи, слушай и делай выводы. Когда члены бюро ознакомились с обстоятельствами дела, Юсупов спросил меня, не хочу ли что добавить или уточнить. Я подтвердил, что все обрисовано так, как было, и признал, что допустил ошибку, предложив не только исключить из партии жулика, но и снять его с поста председателя. Снять его следовало, говорю, до бюро, на колхозном собрании, чего в спешке подготовки вопроса на бюро сделать не успели.

Усман Юсупов попросил членов бюро высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу. Речь о мере наказания еще не стояла. Неожиданно слово попросил Померанцев.

— Считаю нужным обратить внимание членов бюро на выступление товарища Голенко. Похоже, что он ничего не понял, если судить по его высказыванию. Он не дал четкой политической оценки своему поступку, что усугубляет его и без того большую и непростительную вину.

Члены бюро слушали представителя из центра внимательно. Юсупов ни разу не перебил его ни репликой, ни вопросом. Когда Померанцев сел, Юсупов тихо спросил:

— Вы кончили, товарищ Померанцев?

— Да.

— Спасибо. Мы примем к сведению ваше мнение.

— Это мнение комиссии, — поправил Юсупова Померанцев.

— Мы примем к сведению мнение Комиссии партийного контроля. — Юсупов поднялся, опустил докуренную до половины папиросу в хрустальную пепельницу. Заговорил тихо, будто размышлял вслух: — Кто такой Голенко? Голенко — воспитанник нашей партийной организации. Уже перед войной он зарекомендовал себя умелым пропагандистом. Всю войну находился на фронте, был крупным политическим работником. Богатый опыт идеологической и организаторской работы он применил на практике в годы войны. Вернувшись домой...

— Усман Юсупович хвалил меня недолго, — неторопливо продолжал Голенко. — Он признал, что в условиях накала страстей Голенко поступил опрометчиво, предложив членам бюро райкома такую меру наказания жулика и разложенца, развалившего, по сути, колхоз, как снятие с поста председателя.

— Около двух лет назад мы сочли возможным выдвинуть товарища Голенко на пост второго секретаря обкома. Как он работал с вами, товарищ Тургунов? — обратился он к Халиму.

— Хорошо работал, товарищи члены бюро! — доложил Тургунов. — Не все у него получалось, не было опыта руководства отраслями хозяйства, конкретные знания. Но ему всегда помогало политическое чутье, отличная теоретическая закалка.

— Спасибо, — поблагодарил Юсупов. — Возможно, мы, выдвинув товарища Голенко на общеруководящую работу, немного ошиблись. В чем же мы ошиблись? Мы потеряли опытного идеологического работника, теоретически грамотного, знающего труды Маркса, Ленина и товарища Сталина. У нас есть сейчас повод и возможность вернуть крепкого агитатора и пропагандиста к делу, которое он знает. От этого выиграет дело... — Он достал из кармана пиджака пачку «Казбека», она оказалась пустой, и бросил ее на стол; тут же его первый помощник Попов тихо ушел из зала и мгновенно вернулся, на ходу разрезая ногтем тонкую наклейку

на боку новой пачки, положил под руку Юсупову уже раскрытой. Тот закурил и продолжал: — Мы не боимся признаваться в ошибках, мы их способны исправлять. Как вы думаете, товарищ Вахабов, что, если мы заберем товарища Голенко в аппарат ЦК? У нас ведь свободна должность заведующего отделом пропаганды?

— Будет очень правильно, Усман Юсупович! — поддержал секретарь по идеологии.

— Как думают другие секретари ЦК, члены бюро? Вы, Николай Андреевич? — спросил у второго секретаря Ломакина.

— Я — за! — откликнулся тот.

Секретарь по кадрам Мирзаахмедов поддержал предложение, секретарь по сельскому хозяйству Былбас блеснул стеклами очков, сказал:

— Поддерживаю.

— Есть другое предложение у членов бюро ЦК? — спросил Юсупов.

Председатель Совета Министров Абдужаббар Абдурахманов откликнулся первый:

— Такое решение будет правильным. Нет других предложений. Ставьте на голосование.

— Я против! — раздался вдруг голос Померанцева. — Голенко заслуживает самого строгого партийного наказания и снятия с работы, а не почетного перевода!

— Вы так думаете? — тихо спросил Юсупов. — Мы примем к сведению ваше мнение, товарищ Померанцев. Ставлю на голосование свое предложение.

— Это не только мое мнение, товарищ Юсупов. Прошу не ставить на голосование! Я должен посоветоваться с товарищем Ждановым! Подождите, мне нужно позвонить!

Стоявший до этого, Усман Юсупович тяжело сел, постучал по столу, оглядел членов бюро, сидевших перед ним, передохнул, тихо заговорил:

— ЦК ВКП(б) всегда доверял ЦК Компартии Узбекистана и его бюро. Нам дано право самостоятельно решать вопросы кадровой политики. Мы от этого права не отказались. Если потребуются, мы будем отстаивать это наше право. Товарищу Померанцеву нужно позвонить, посоветоваться с товарищем Ждановым. Это право товарища Померанцева. Владимир Иванович! — Он обратился к помощнику: — Проводите товарища уполномоченного в свой кабинет, дайте возможность ему позвонить.

Померанцев направился к двери, следом поспешил Попов. Померанцев уже взялся за ручку двери, когда Юсупов остановил обоих:

— Одну минутку! Товарищ Попов! Заодно закажите товарищу Померанцеву билет. Вы, товарищ Померанцев, самолетом или поездом ездите?

— Самолетом, — ответил тот.

— Закажите товарищу Померанцеву билет на самолет на завтра. В Москву! Теперь звоните! Я тоже сейчас позвоню! Нам трудно работать с товарищами, которые нас не понимают и которых мы не понимаем. — Грузный Юсупов легко поднялся, живо прошел к двери, ведущей в комнату отдыха при кабинете, и плотно прикрыл ее за собой.

— Члены бюро молча ждали, — рассказывал Голенко. — Прошло несколько томительных минут. Кому мог звонить товарищ Юсупов? Только один человек выше Жданова. Я слышал, будто у Юсупова стоит телефон прямой связи с товарищем Сталиным. Ему? Чем мог кончиться этот разговор для самого Юсупова, не только для меня? Прошло минут десять.

Наконец Усман Юсупов вернулся из комнаты отдыха. Лицо — отрешенно-сосредоточенное, походка уверенная, пружинящая, ступает с пяток на носки. Склонил бритую наголо крупную голову, помолчал, потом оглядел своих товарищей, произнес тихо, со значением: «Все в порядке, нас поддержали. Продолжим работу. По делу Голенко есть одно предложение. Ставлю на голосование. Кто — за? Единогласно!»

— Померанцев при мне так и не появился. Тургунов, когда вернулся в гостиницу, подтвердил, что в работе бюро он больше не участвовал. Попов вернулся один. Вот так, брат, решилась моя судьба.

— О какой новости вы хотели мне сказать? — спросил Григорьев после недолгого молчания.

— О новости? А-а-а... Это Тургунова касается. Ну и, возможно, тебя. Халим сказал, что есть намерение у Юсупова послать его летом на высшие курсы при ЦК ВКП(б). Это годовичные курсы, для секретарей ЦК республик и для тех, кого предполагают после учебы выдвигать в секретари ЦК братских республик.

— Тургунов уже был секретарем ЦК. Чуть не десять лет назад.

— Верно! По кадрам. А будет — первым.

— Где же он будет первым? Не в Узбекистане же?

— Я и не сказал, что в Узбекистане. Он нравится тебе, Григорьев?

- Ничего, работать с ним можно.
- Что-то робко хвалишь шефа. Он о тебе хорошего мнения. Очень может случиться, что на новом месте вспомнит о тебе. Но придется год поработать с другим.
- Поживем — увидим, — откликнулся Григорьев.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### I

Голенко последний раз пришел в свой, теперь уже бывший «свой» кабинет освободить письменный стол и сейфы от нужных и ненужных бумаг. Документы, подлежащие возврату в общий отдел, складывал двумя стопочками, проекты постановлений бюро, после утверждения ставшие документами под грифом «секретно», рвал и складывал в четырехгранную корзину для мусора. В корзину полетели рабочие блокноты и записные книжки, хранившие массу самых разнообразных сведений, входивших в круг интересов второго секретаря обкома.

В отдельную папку сложил тексты своих выступлений на пленумах обкомов и райкомов, на разных областных и кустовых совещаниях и семинарах. Особенно заботливо отнесся к содержимому верхнего ящика левой тумбы письменного стола. Там находились четыре одинаковые — узкие и длинные — коробки-пеналы: в таких хранятся библиотечные книжные формуляры. И в этих ящичках плотно стояли карточки-формуляры из плотной, пожелтевшей от времени бумаги. На крайнем левом ящичке, по его видимой глазу узкой стороне, было написано красной тушью «В. И. Л.», на следующем — «И. В. С.», на третьем — «К. М. и Ф. Э.» и на последнем — «Прочие».

Картотеке этой не было цены. На каждой карточке была выписана цитата из произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. В четвертом ящичке можно было найти мудрые мысли ближайших соратников товарища Сталина, а также и Белинского, и Добролюбова, и Герцена, и еще много кого. Картотеку эту Голенко завел давно, еще в пору работы лектором в горкоме партии, и продолжал заботливо пополнять эту копилку новыми и новыми заковыченными мыслями. Под каждой цитатой был указан источник — том, страница, название и номер журнала или газеты. В четвертом ящичке были также собраны пословицы, поговорки, крылатые слова, которые, приведи их к месту, украшали и оживляли лекцию, доклад или выступление в прениях.

Григорьев еще час назад услышал, как прошел к себе Голенко, и оторвался от дел, чтобы навестить его после поездки в горы с больной девочкой. После того, как стало очевидным, что разреженный холодный воздух высокогорья принес Аннушке если и не полное излечение, то ощутимое облегчение, Голенко и Григорьев прониклись друг к другу еще большей приязнью.

— Ждем корабли, Александр Куприянович? — вместо слов приветствия пошутил Петр, увидев Голенко, шурующего щипцами в пламени печи.

— Садись рядом, подкидывай помаленьку, — пригласил Голенко. Подвинулся, не вставая с корточек.

Григорьев присел рядом, побросал из корзины в печь остатки бумаг, погрел руки в струе горячего воздуха.

Они молча всматривались в завораживающее пламя, ежесекундно меняющее цвет, беспокойное, изменчивое и таинственное, обладающее необыкновенной притягательной силой.

— Когда едете? — спросил Петр.

— Завтра отправлю своих поездом. Сам останусь погрузить вещи в контейнер... Вот что скажу тебе, друже. Ты можешь на меня рассчитывать всегда. Не только потому, что я твой должник за дочь...

Они вернулись к захламленным столам. Григорьев обратил внимание на ящички, которым надо бы находиться не здесь, а в читальном зале библиотеки:

— А это что у вас?

— Это?... Это, брат, бесценная вещь! Здесь можно найти ответ на любой вопрос теории и практики коммунистического строительства! Как таблицу умножения, нужно наизусть знать, — заметил Григорьев.

— Точно! В идеале каждый большевик должен владеть теоретическим наследием научного коммунизма, знать труды Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, умело ими пользоваться, применять их на практике. Как теория без практики мертва, так и практика без теории — малосильна, это блуждание в потемках. Идея,

овладевшая массами, становится великой движущей силой, способной творить чудеса, дорогой мой Григорьев! — изрек Голенко. Воодушевившись, он взял в руки один из ящичков. — В этом вот — цитаты из товарища Сталина. Чтобы легче было найти нужную, они подобраны по разделам. «Внутрипартийная работа», «идеологическая работа», «сельское хозяйство», «колхозное строительство», «промышленность», «международная политика», «национальный вопрос, дружба народов»... Ты бы завел себе, Петр, такую картотеку. Она и партийному работнику, и журналисту — отличный помощник! Этим ящичкам цены нет для пропагандиста!

Голенко тщательно упаковал бесценные ящички в старые газеты, завернул блокноты и записные книжки в отдельный сверток, позвонил Дробовникову, чтобы тот пришел и принял подлежащие возврату партийные документы. Потом он извлек из-под стекла бумажки с записями телефонов, какими-то пометками на память, освободил из-под дужек перекидной календарь, где почти каждая страница была исписана его рукой, и бросил все в печь.

— Ну вот, вроде все, — сказал Голенко, отрешенно оглядев кабинет, когда Дробовников сверил регистрационные номера документов с журналом, принял их и ушел. Он позвонил в гараж, чтобы подали к подъезду машину. — Пора двигать. И за меня не переживай, Григорьев. Я легко отделался, считай.

## II

В конце января состоялся пленум обкома партии. С докладом по итогам года выступил Халим Тургунов. Доклад ему готовил Григорьев. Сказать, что готовил, было бы не совсем точно. Справки для отчета собирали все отделы обкома. Помощник первого секретаря объединил все эти материалы в единый композиционно завершенный доклад.

Сидя в первом ряду театра, где проходил пленум, Григорьев с чувством удовлетворения вслушивался в знакомый текст. Работая над докладом, Григорьев «выложился», сделал, как ему казалось, все, что мог: он писал короткими фразами, избегая сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, чтобы шеф не запнулся, мог сделать паузу, передохнуть; он оснастил доклад нужными цитатами, пословицами и поговорками, вызывавшими то смех, то улыбку аудитории.

Григорьеву очень хотелось, чтобы члены обкома и все, кто находился в зале, знали, что это он поработал над текстом. Так бывало всякий раз, когда в трамвае или в учреждении он видел, что в газете читают его статью, репортаж или очерк. Всякий раз возникало желание сообщить читателю: «Это я написал! Как получилось? Ведь здорово, а?» Теплая пушистая лапка гладила, ласкала и согревала авторское самолюбие. Но у кошачьей лапки были и когти. Докладчик вдруг отвлекся от текста и, глядя в зал, начал говорить то, чего Григорьев не писал, чего не было в докладе, утвержденном на последнем бюро обкома.

«Что же, выходит, я зря старался?» — с обидой на шефа думал помощник. И еще он подумал о том, как же Халим Тургунович, так бездумно отвлекшийся от готового текста, где все было подчинено единому плану, железной логике, вернется к тексту? В каком месте доклада он сможет это сделать? Ведь он уже анализирует состояние дел в области, изложенное в другом разделе доклада?!

Но секретарь обкома, похоже, и не собирался возвращаться к машинописному тексту, он говорил то по-русски, и тут же переводил сказанное на узбекский язык, то по-узбекски. И если в зале раньше стоял ровный гул, какой стоит на пчелиной пасеке, то теперь воцарилась тишина, в которую врываются то скрип стула, то приглушенное, сдерживаемое покашливание. Тургунов приводил примеры, факты, которых не было в докладе. Он оперировал цифрами, характеризующими состояние дел в сельском хозяйстве, в промышленности, оценивал их с позиций задач пятилетнего плана. Его память хранила массу сведений, которые он мог почерпнуть лишь во время бесконечных поездок по области; факты эти и примеры, анекдотические случаи, вызывавшие бурную реакцию зала, знал не он один. Иногда он замолкал, пережидая, когда смолкнут аплодисменты или смех в зале, вглядывался в зал, в лица сидящих и, найдя того, кто был нужен, обращался прямо к нему, как к ответчику за конкретную вину или свидетелю события.

В президиуме рядом с Тургуновым сидели два новых и неизвестных Григорьеву товарища. Открывая пленум, Тургунов представил их как представителей ЦК КП(б) Узбекистана. Один из гостей был Сергей Иванович Шалдаев, еще недавно возглавлявший какое-то министерство, — человек лет пятидесяти, крижистый, с красным квадратным лицом. В кабинете директора театра, где в перерыв накрыли стол для членов президиума, Шалдаев восседал на месте директора и всем своим видом — в распахнутом кителе с четырьмя рядами орденских колодок и депутатским знач-



ком, под которым была зефирная в мелкую розовую полоску сорочка, мятая, без воротничка, но со специальной стальной застежкой, чтобы крепить воротничок, — своим навязчивым многословием напомнил Григорьеву пресловутого свадебного генерала. Это его в конце пленума предстояло избрать на место Голенко. Другой приезжий — Исфандияр Октамов, застенчивый или просто молчаливый, внимательно слушающий каждого, кто вступал в неторопливую беседу, — должен был занять место Хикмата Каримова. И у него на коричневом кителе по одну сторону — орден и медали, а по другую — несколько золотых и серебряных медалей Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки: до последнего времени он работал председателем райисполкома в соседней области, а до войны был директором известного высокими урожаями совхоза.

К концу перерыва появился Панин с озабоченным выражением на породистом, коленом лице.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### I

Секретарь райкома партии Эсан Фазылов сам принял участие в отчетно-выборном собрании в родном колхозе. К этому дню сельхозартель успешно рапортовала о выполнении планов по молоку, мясу и шерсти, даже по бараньим и коровьим шкурам — по бараньим за счет столовой, для которой покупали живность на скотском базаре. И хоть колхозная корова дала за год молока не больше, чем хорошая коза, Рахимов и здесь вышел из затруднения: вместо недостающего до плана молока сдал на молокозавод сливочное масло, скупленное и у своих колхозников, и на рынке. Впрочем, делал так не один Рахимов; и другие председатели выполняли главную заповедь — рассчитывались по обязательным поставкам с государством таким же путем. Районные организации закрывали на это глаза. Что из того, что небогатые трудодни становились после таких махинаций еще скуднее! Не трудоднями выдюжил колхозный люд войну — приусадебными участками, раздутыми за счет захвата общественной земли, кормились. Есть своя картошка, джугаровая мука, морковь, лук — не умрет человек на селе от голода.

Эсан Фазылов привез с собой помощника секретаря обкома Григорьева: тому захотелось присутствовать на отчете и выборах руководства одного из передовых хозяйств района. Так Григорьев и объяснил свое желание секретарю райкома:

— Возможно, напишу большой отчет о собрании в областные газеты. Как-никак, я критиковал Рахимова, и на бюро выступление газеты признано своевременным и правильным, намечены меры исправления недостатков. Людям будет интересно узнать, как критика в печати помогла поправить дела.

— Это будет очень своевременно, — согласился Фазылов. — Я за вами заеду пораньше, надо подготовить мероприятие.

Рахманкул Рахимов отчитывался бойко, почти не заглядывая в текст.

— Вам все понятно? — раз и другой справился Фазылов у Григорьева. — Может, переводить?

— Все понятно, — успокоил тот. — Мне отчет понадобится для статьи, я беру его после собрания, потом верну.

Отчет был в меру самокритичным. Всякое было за время войны, но главную задачу правление колхоза решило: колхоз исправно поставлял фронт и тылу продукты полеводства и животноводства, своих людей сохранил, от голода не гибли и не пухли даже в самую трудную пору, и это было действительно так. Но знал Григорьев и другое по документам следствия, доставленным ему бывшим прокурором района: Рахманкул Рахимов нечист на руку, много денег, заработанных колхозниками, прилипло к его рукам, были на совести председателя, кладовщика, главного бухгалтера и старшего табельщика липовые ведомости, и не сгори материалы следствия в прокуратуре, очень даже вероятно, что нашлось бы этим деятелям место на лесоповале в сибирской дальней стороне. И сидел рядом с Григорьевым в президиуме секретарь райкома, который был ознакомлен с изобличительными материалами, изъятыми предусмотрительным Алимтаевым из дела колхоза. Вел себя Фазылов так, будто не читал он этих бумаг, вроде и не было их в природе.

Повезло Рахимову с пожаром, ох, как повезло! Криминалисты разбирались, что в какой посудине на чердаке лежало, по пеплу и нагару определили, где олифа, где бензин. Даже пепельные следы, протянувшиеся через всю свежеразкрашенную

крышу соседнего жилого дома, обнаружили: бикфордовый шнур маляры-подрывники использовали — научились, небось, когда во время отступления мосты за собой на воздух поднимали, немцев сдерживали; Рахимов бы до этого вовек не додумался. У этих маляров, может, и медали за оборону Кавказа имелись. Интересно, начнет ли новый прокурор расследование? Ведь два следователя, работавшие с Алимтаевым, на месте. Они же многое знают, и колхозники — свидетели, вот эти, в зале все сидят!

А пока Рахимов на воле. И на коне! Уже и ревизионная комиссия, которая не проверяла финансово-хозяйственную деятельность правления с начала войны, доложила, что, если не считать мелких нарушений, — того, что жеребчик по собственной глупости на кем-то брошенную борону напоролся и его пришлось прирезать, чтобы избавить от мучений, да покушки масла для расчета с государством по молокопоставкам, других нарушений нет, дебет сходится с кредитом. Это подтверждено и проверкой райземотдела; приусадебные участки приведены с соответствие с уставной нормой. Сейчас Рахимова переизберут председателем на новый срок. И полагается ему по итогам соревнования за подъем хлопководства, за выполнение плана заготовок сырья на сто одиннадцать процентов не меньше, чем орден Красного Знамени: разрядки на награждение особо отличившихся в первом году пятилетки уже спущены из области в районы.

Под умелым дирижированием секретаря райкома прошло это собрание в колхозе. Члены президиума вместе с новым правлением и ревизионной комиссией были приглашены выпить чая в дом главного бухгалтера Исфандияра Ташева.

— Посидим час и уедем. Пожелаем новому руководству успехов, Петр Григорьевич, — предложил Фазылов, поддерживая обкомовца под локоток, когда тот спускался со сцены по крутой лесенке. — Иначе обидятся хорошие люди.

Григорьев нес в полевой сумке не только доклад Рахимова, но и стопку различных сводок и таблиц, характеризующих все стороны хозяйственной деятельности колхоза. Он не верил благополучным цифрам в этих документах, не верил ни председателю, ни главному бухгалтеру, готовившему эти отчеты, к которому шел сейчас на угощение. Не доверял он и Эсану Фазылову, ни словом не обмолвившемуся в заключительной речи о фактах, зафиксированных в алимтаевских бумагах. Пообещав написать статью об отчетно-выборном собрании в благополучном хозяйстве, которое на самом деле не было таковым, и, злясь на себя за то, что вроде умышленно обманул Фазылова, признавался теперь сам себе, что статьи не будет, совесть не позволит. Надо как-то ускорить возобновление расследования, может, с согласия Тургунова вызвать сюда нового прокурора вместе с теми двумя следователями, сдвинуть дело с места.

## II

Большой зал, из которого двери вели в приемную к Тургунову и в кабинет второго секретаря, с приходом в обком Шалдаева преобразился. Исчез огромный стол, но в простенке между окнами, выходящими в цветник, появился второй диван, между ним и дверью к секретарю обкома поставили небольшой однотумбовый стол для секретаря приемной. Вдоль стен стояли новые стулья и еще две никелированные вешалки. До этого приглашенные на бюро обкома складывали пальто и шапки на стол, на подоконники, а сами выстаивали в ожидании приглашения на заседание кто вокруг докона, кто в коридоре, напротив второй двери Григорьева.

В один из дней за секретарским столиком появилась тихая женщина с задорно вздернутым носиком и ямочками на щеках, аккуратно, как гимназисточка, одетая, почти непрерывно курившая «Беломор».

К Григорьеву Надежду Алексеевну («Можно звать просто Надей», — сообщила она, критически оглядев и признав в помощнике первого секретаря обкома ровесника) привела царственная Зинаида Ивановна, представила:

— Секретарь приемной Сергея Ивановича Шалдаева.

Как-то Надежда Алексеевна возникла в кабинете Григорьева:

— Вас, Петр Григорьевич, просит к себе товарищ Шалдаев. Срочно!

«Он там от нетерпения ногами не сучит?» — захотелось уточнить Григорьеву, но сдержался: кто ее знает, эту «просто Надю», может, она начисто лишена чувства юмора? Лучше не связываться. Зинаида Ивановна — та бы оценила, а еще веселее откликнулась бы на шутку милая женщина Ольга Васильевна. Что-то задержалась она в инспекционной поездке по интернатам.

— Иду, — деловито произнес Григорьев.

— Садитесь, Григорьев, поработаем, — кивнул Шалдаев на стул.

— Чего будем работать? — настороженно спросил Григорьев.

— Проектик статейки сочиним. Засветить нужно в печати одну проблемку. Ты, говорят, мастак писать?

— Есть такой грёшок за мной, не отпираюсь, пописываю.

— Мы сейчас с тобой болваночку статьи соорудим, я свои мысли тебе выражу, а уж ты их оформи соответственно,— поделился планами совместной работы Сергей Иванович. Лицо его оживилось, он поерошил и без того взлохмаченные сивые волосы на голове.— Значит, так. Бери бумагу.— Он перебрал со своего стола на столик к Григорьеву стопку бумаги, и она, тяжелая, глянцевая фабрики «Светоч», веером распалась по сукну.— Хватит бумаги?

— На роман хватит,— откликнулся Григорьев. Его все больше возмущала эдакая барственная самоуверенность Шалдаева, привыкшего, видно, в министерском кресле к безоговорочному послушанию и исполнительности. И даже тон, каким разговаривал Шалдаев, вызывал в Григорьеве потребность сопротивляться. Он собрал глянцевые листочки в ровную стопочку, тихо спросил:— Вы, Сергей Иванович, предупредили Халима Тургуновича, что отвлекаете меня от моих прямых обязанностей?

— Ладно, ладно тебе,— миролюбиво осадил его Шалдаев.— Он не будет против.

— Вы все-таки позвоните. А лучше — сходим. Вы скажете, что вызвали к себе писать статью вашу.

— Ну, допустим.

— Допустим, что он скажет: «Помоги товарищу Шалдаеву сочинить статейку». А я его спрошу, кому передать проекты постановлений послезавтрашнего бюро и его, Халима Тургуновича, почту.

— Значит, не хочешь помочь, Григорьев?— тихо спросил Шалдаев.

— Честно? Не хочу! Один раз я бы пожалел, чтобы не огорчать вас, помог бы. Но это ведь даст вам основание считать, что я и впредь — охотно или неохотно — стану выполнять ваши поручения. А этого-то я и не хочу. И не буду! Круг моих обязанностей приказом не регламентирован. Работы у меня все прибавляется. Помогая Халиму Тургуновичу, я ее сам себе подыскиваю, чтобы развязать ему руки для более важных дел. Но Тургунов меня заверил, что работаю я только с ним, выполняю только его поручения. Так что не обессудьте.

— С тобой ясно,— произнес жестко Шалдаев.— Больше я тебя, Григорьев, не беспокою, будь уверен!

— Спасибо. Я свободен? — Григорьев переложил стопочку чистой бумаги к хозяину на стол. Пиши, мол, сам свою статью.— Вы позвоните Панину, редактору, он пришлет вам опытного сотрудника, вот и подготовите статью. В обязанности работников газет входит организация авторских материалов, помочь секретарю обкома — дело почетное. Я верно говорю, Сергей Иванович.

— Свободен, свободен! Иди работай. «Не обессужу»,— повторил, как переразнил, уже в спину уходящему Григорьеву.

«Обиделся»,— понял Петр. Ну и хрен с тобой, мистер Твистер, бывший министр.

### III

Григорьев покурил, налил из графина в чайник воды и включил могучую плитку, отчего сразу село напряжение в сети. Так, значит, уже вернулась Ульянова? Она проект готовила. Еще два-три интересных примера — кто из воспитанников интернатов вернулся в порушенные и спаленные войной родные края повзрослевшим, с рабочими профессиями, обретенными на спасшей их узбекской земле. Может статья, что кто и остался, работает токарем или трактористом, электриком или еще кем? Статью можно отличную сделать. Он соединился со школьным отделом. «Помогу написать, потрачу хоть целый вечер, а помогу». Ответила на звонок сама Ульянова.

— Зайдите ко мне, Ольга Васильевна! Ваш проект читаю. Со всеми рабочими блокнотами и со справкой. Да, сейчас!

Она пришла, и сразу посветлело в кабинете.

Он бережно правил документ. Основа для статьи была. Помогу, пусть заработает полторы-две сотни гонорара. Но не только о том, чтобы помочь подработать к зарплате, и не о расширении авторского актива областной газеты думал Петр Григорьев, предложив женщине переделать справку в корреспонденцию. Приятно было, что сидит Ольга напротив, а иногда встает, наклоняется над столом прочесть, что там наколдовал в проекте строгий редактор, поучиться уму-разуму, и оказывается совсем близко, так уж рядом, что волосы ее невесомыми прядями скатываются с плеч и задевают его склоненную над бумагами голову.

Мимолетно возникла мысль — не рискует ли он добрым именем милой женщины, да и своим тоже, задержав ее столь долго в кабинете, пусть даже и по служебному делу?

Дав себе слово не рисковать, Григорьев все же на этот раз потратил добрый час на увлекательное занятие — совместное творчество, создание статьи на очень актуальную тему, до которой еще не додумался ни один газетчик. Еще бы! Узбекская земля не только накормила и согрела белорусских и украинских детей, но дала им профессии. Едут они — теперь юноши — восстанавливать свой родной край. Рабочий народ едет домой! Эта небольшая статья инструктора Язъяванского обкома Ольги Ульяновой через телеграфное агентство попадет во все газеты страны. Ай да Ульянова!

Он отпустил Ольгу Васильевну и переписал статью для передачи в УзТАГ «телеграфным» языком.

После обеда вспомнил о документах отчетного собрания в колхозе имени Куйбышева. Вместо обещанной секретарю райкома большой корреспонденции, он ограничился информацией. Почему? Только потому, что не верил в порядочность Рахманкула Рахимова? Что председатель колхоза нечист на руку, подтверждали документы, сгоревшие в прокуратуре, в том числе и те, которые он держал в руках, читал прежде, чем ознакомил с ними Тургунова. Пожалел, что не снял их копии, особенно с «липовых» ведомостей на выдачу колхозникам денежных авансов и окончательных расчетов по итогам прошлых лет. А в этих бумажках что насторожило? Что может не сойтись в сводках, графиках и ведомостях с цифрами и фактами благополучного «победного» отчета правления перед колхозниками? Ведь что-то насторожило его! Что-то не «состыковывалось». Что?! Где собака зарыта?

Насторожила его сводка о ежесдневной сдаче сырца на заготовительный пункт. Как удалось правлению и партийной организации в конце октября обеспечить значительное увеличение сбора урожая? Причем сразу, за один день! Откуда такой массовый трудовой героизм?

Сравнивая цифры в районных сводках, Григорьев не мог не признать, что темпы сбора и сдачи сырца поднялись только в рахимовском колхозе. Молодец! Стоп-стоп! Что это такое?! Какой рывок в последней декаде! Почти на процент увеличилась ежесдневная поставка урожая! Вместо привычных полутора — почти два с половиной процента. Это в пору, когда за раскрывшимися коробочками сборщики охотятся на поле, как юные натуралисты за бабочками! За счет трудового энтузиазма? За счет привлечения дополнительных рабочих рук? Не было в резерве рабочих рук! Об этом в статье написано — хлопок собирают даже счетоводы и бухгалтеры! Ровно на две недели хватило горения. И сразу — снижение темпов. Правда, к этому времени колхоз уже выполнил план государственных поставок на сто одиннадцать процентов. Уже отливали на Монетном дворе светлый орден рачительному председателю передового по урожайности колхоза.

«Нашел!» — пело в душе Григорьева. Десятилетний журналистский опыт подсказал, что вышел он на какую-то рахимовскую тайну, на хитрость ушлого председателя. «Откуда дровишки, Рахманкул Рахимович? Из какого леса, а? Пока не вестимо. Но докопаясь до истины, будь спокоен! Думай, Петр, думай!»

— Товарищ Григорьев, из дома вас. Там что-то случилось!

И он услышал плачущую жену:

— Петя! Петр! Началось! Ой, сил моих нет! Мамочка! О-о-о!

— Что началось? — не сразу сообразил Григорьев и укорил себя за недогадливость: ну, конечно, схватки у нее начались!

— Держись, Клавочка! Держись, милая, бегу!

Петр выскочил в приемную:

— Зинаида Ивановна, пожалуйста, звоните в роддом, пусть ко мне едут, адрес скажите: Кирова, сорок три. Жена рожать начала. Я домой!

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### I

Зима выдалась сухая. До февраля снег выпадал всего четыре раза, и всякий раз ночью, а к полудню от него не оставалось и следа. Озимая трава по берегам арыков выросла невысокая, по-стариковски седая от осевшей дорожной пыли.

Не было снега и в горах. Лишь самые высокие дальние кряжи покрылись белыми шапками, да в ущельях между ними темнели языки ледников.

Рахимов неспешно объезжал поля. Между вспаханными делянками со следами разбросанного навоза новыми зелеными заплатками казались люцерники с пробившейся порослью. Пыльная узкая дорога прихотливо петляла между двумя арыками, густо обсаженными шелковицей: деревья были очень старые, все как одно дуплястые. У иных сердцевина сгнила и выкрошилась до самой коры. Сколько себя помнил Рахманкул, деревья эти всегда были такими старыми. Но каждую весну их длинные, отросшие за лето ветви опять покрывались листьями, в апреле и мае эти ветви обрезали до основания и скармливали шелковичным червям.

Больше трехсот пятидесяти семей входят сейчас в колхоз. Их стало намного больше за время, что прошло после коллективизации, улица кишлака стала намного длиннее: дети подрастали, мужали, образовывали новые семьи, которые выделялись и жили своими домами. Только старые земельные наделы крестьянских семей сохранялись такими же, как до тридцатого года, как до революции, разве что деревья, обрамлявшие эти крохотные наделы, посаженные дедами и прадедами, состарились.

Не только старики, но и дети их, и внуки помнили, какой надел был собственностью их семьи, их рода. Знал отцовскую землю и Рахманкул. Удивительное дело — когда на участке, числящемся за второй бригадой, работали люди, он не вспоминал об этом. Стоило же оказаться на его обочине, когда не было на поле ни души, Рахманкул обязательно вспоминал, что здесь убит его отец. Кровью родителя погита эта земля. Все, что произрастает здесь, — это возшло на крови его отца.

В минуты душевного разлада не могла отца на сельском кладбище звала его к себе, а это печальное поле. Почему, спрашивается? Что мог посоветовать ему отец — неграмотный, не знающий жизни дехканин, весь мир которого был ограничен домом и этим вот полем, чей круг интересов и забот сводился к потребности заработать пропитание для семьи?

Но чем тогда объяснить вдруг возникшую потребность прийти к этому горстному полю — прийти без вопроса, на который не услышишь ответа, без просьбы, которая не будет исполнена, без мыслей и четких желаний? Прийти и постоять молча, отключившись от всяких дум.

Он и сегодня направил Каро узкой дорогой к полю отца.

Минувший год оказался трудным. Но все тревоги остались позади. Большую опасность таила прокурорская проверка, но благодаря принятым мерам нет больше прокурора Алимтаева, а новому прокурору в колхозе делать нечего: все акты-факты сгорели.

Пусть через унижение страхом, но избавился он и от любви к женщине, недостойной добрых чувств. И чего он в ней нашел, где были глаза?!

...Вот оно, отцовское поле. Небольшое, меньше гектара, неправильной формы, зажатое между двумя арыками, по берегам которых растут сорок семь шелковиц, принадлежавших его, Рахманкула, отцу Рахиму, отцу Рахима и отцу его отца: агроном гренажного завода утверждает, что деревьям этим не менее двухсот лет. Арыки и деревья вдоль них — это межевые полосы, границы земельных владений дехкан древнего кишлака.

Вот оно, это священное для сыновней памяти место. Даже на заросшем хлопчатником поле он безошибочно угадывал, вернее — определял это лобное место. Сейчас поле было вспахано конным плугом; между комьями перевернутой земли виднелся рассыпанный перед пахотой навоз. Четверть века прошло с того дня, когда лиходеи рыжебородого Халходжи убили отца, второе поколение дехкан с весны до поздней осени рыхлит, перелопачивает ежегодно десяток раз эту землю, но Рахманкула никогда не покидало чувство, что на том месте, где пролилась кровь поверженного отца, хлопчатник растет лучше. Кровь отца всегда будет здесь — в перегное, в комочках земли, в корнях и стеблях растений, всегда будет давать силу новой жизни.

Он остановился в двух шагах. Не веря в бога, движимый душевной потребностью, провел ладонями по лицу от лба до подбородка — совершил «фатыха», прошептал: «Да будет с тобой мир и покой, отец. У меня все в порядке». Опустился на корточки, раскрошил вывернутую плугом глыбу, лежавшую на святом клочке поля, провеял между пальцами сухую землю. Пусть будет пухом эта земля.

## II

Рахимов поднялся с корточек на затекшие ноги, потер ладонями заболевшие колени. Пятясь, отступил на пару шагов от памятного места, не имевшего границ, и, повернувшись, неспешно преодолел комковатый вспаханный загон. Он уехал не оглянувшись. Размышления о неотложных и очередных делах завла-

дели им. Район спустил задание по хлопчатнику до фактически достигнутой и расширить посевы с трехсот двух до трехсот тридцати гектаров. Но где взять эти гектары, если свободной земли для полива нет в хозяйстве ни клочка? Ведь никому не признаешься, что средний прошлогодний урожай образовался за счет без малого шестисот центнеров сырца, снятого тайком с неучтенных посевов в урюковом саду. А это — прибавка двух центнеров к фактическому сбору на каждом гектаре официальных посевов! Не спугни его жирный заготовитель Суюнов, не отдай он почти треть урожая колхозу «Большевик», чтобы скорее уничтожить даже признаки хлопчатника в молодом саду за холмами, — получилось бы не по два, а по три центнера прибавки. А значит — и задание увеличили бы на три центнера. Воистину, во всем хорошем можно найти плохое, и наоборот: с какой стороны смотреть!

Конечно, он бы и без этих «хитрых» посевов выполнил план. Но и только. Был бы средним председателем среднего колхоза, каких в районе и области большинство. В МТС пришли новые тракторы, плуги и сеялки. И задание район спустил: лучше использовать технику на всех полевых работах, повысить процент загрузки тракторного парка. Но никто не объяснил, как это сделать. Вместо одного раза пахать дважды? Может, бороновать дважды? Да хороший хозяин не допустит за лето ни одной лишней культивации, ни лишней нарезки поливных борозд! За каждый вид работ МТС взыщет и деньги, и натуроплату.

И в то же время было очевидно, что на полях, где используются тракторы, урожай выше на три-пять центнеров. Все работы там выполняются быстрее и лучше, в этом все дело.

Но хлопковые плантации в колхозе — как лоскутное одеяло. Каждый такой лоскут зажат между деревьями шелковицы, и все они один другого меньше. Таких крохотных участков, где трактору не то чтобы с сеялкой или с плугом — в одиночку-то не развернуться, больше сотни. Есть и такие тупики и закоулки — конным плугом не вспахать!

По сводкам в районе значится, что посевами занят каждый квадратный метр. Но если подсчитать незапаханные и незасеянные углы и тупики на всех лоскутах, то получится, что около пятнадцати процентов земли на урожай не работает, сорняки там одни, рассадники вредителей это, а не культурные земли. А старые межи с полусгнившими деревьями? Если все их выстроить в одну линию, подумал Рахимов, это на сколько же километров полоса протянется? Дорогу до областного центра обсадить хватит! В два ряда! Вырубить бы все к чертовой матери! Жить им все равно осталось недолго, почти любое ткнуть плечом — переломится. Все трухлявые! Но попробуй, председатель, сруби хоть одно, если каждое считано-пересчитано райшелком и грензаводом, под каждое грена шелковичных червей выдается, это же корм для шелкопряда!

Рахманкул равнодушным взглядом озирает знакомые поля. Он прикидывал, какие ряды деревьев вырубить, чтобы из двух-трех маленьких участков получилось большее поле, как выровнять края, чтобы не осталось ни полоски незанятой площади.

Поняв, что нет смысла объезжать все поля, когда на стене в кабинете висит карта колхозных угодий, он легко ударил коня пятками, и тот перешел на рысь.

— Агроном! Зайди ко мне, — позвал он Исмаила Фаттахова в приоткрытую дверь кабинета. На этой двери одна под другой висели таблички: «Старший агроном» и под ней «Секретарь партийного бюро». Была у Фаттахова и еще одна должность, тоже выборная, даже две — после отчетно-выборного собрания от стал членом правления и первым заместителем председателя колхоза — по уставным нормам, как старший агроном-полевод. «Уж очень много власти сосредоточил в своих руках этот непокладистый человек», — не без тревоги отмечал Рахимов. Но и в этом была своя положительная сторона: чем больше занят партийными делами, соревнованием там, членскими взносами, агротехникой, тем меньше времени у него вникать в бухгалтерию колхоза.

Рахманкул распахнул, а потом и сбросил халат на ближний стул; в кабинете было тепло от раскаленной «буржуйки», на которой исходил паром, плевалась кипятком полный алюминиевый чайник; по запотевшим оконным стеклам слезами скатывалась вода. Он снял со стены карту и расстелил на столе.

— Смотри сюда, Фаттахов! — сказал Рахимов. — Внимательно смотри и слушай. Район увеличил нам план хлопка на тридцать гектаров. Ты, наверное, думал, где брать землю?

— Думал.

— И что придумал? Нашел землю? Смотри сюда внимательно, агроном. Мы вдвое сократили количество бригад и звеньев за счет укрупнения. Административно-управленческий штат у нас теперь — как требует устав. Это хорошо. Почти треть колхозных семей отошла в новый колхоз — значит, нагрузка на каждого трудоспособного, занятого на хлопке, увеличилась в полтора раза. А тут еще уро-

жайность по плану обязаны поднять и посевы расширить на десять процентов. На волах и лошадях до середины лета пахать и сеять будем, да? Только тракторы нас спасут! Так, агроном?

— Да, так. И что ты предлагаешь, председатель?

— Сейчас поймешь. Смотри, сколько у нас участков, не пригодных для тракторов! — Сухое перо ручки заскользило по карте, повторяя прихотливые изгибы арыков и посадок шелковицы, в которых были зажаты крохотные земельные надежды. — Больше половины хлопковой земли такой! Я предлагаю укрупнить поля, вырубить все деревья, которые мешают. Вот так, например! — Рахманкул нацелился пером в пунктирную строчку, разделившую два участка. — Это убрать! И вот это — убрать! Вместо трех маленьких участков будет один. Вот эту дорогу видишь? Зачем она, когда вот эта есть — туда же, куда и та, ведет. Два километра она. А ширина — больше четырех метров. Посчитай, пожалуйста, сколько гектаров занимает эта дорога! — Рахманкул положил под руку Фаттахова карандаш. — Считай! Ты грамотный, институт кончал!

Фаттахов отодвинул карандаш к краю карты:

— Сейчас, Рахимов. Так... Две тысячи метров умножить на пять... Десять тысяч. Гектар получается, Рахманкул-ака.

Фаттахов, человек самолюбивый, гордый человек, впервые после того, как на требование Рахимова снять с него грязные сапоги сдернул председателя за ногу с кровати, назвал Рахимова по имени, братом назвал. Это отметил наблюдательный Рахманкул и порадовался. Значит, забыл второй человек в колхозе унижение, простил. Так, постепенно, глядишь, друзьями станем, подумал Рахманкул, а с другом легче любые дела решать...

— Никто нам не позволит уничтожить деревья, — заявил агроном. — Ни райком, ни райзо. Срубить шелковицы — значит, лишиться корма для шелкопряда. А нам на этот год и по коконам план увеличен. Под суд пойдём с тобой, Рахманкул!

Рахимов не мог не рассмеяться, услышав о такой возможности. Сколько раз за годы председательства он мог оказаться на скамье подсудимых! В последний раз уже готов был в бега пуститься, да только не он, Рахманкул Рахимов, крепкий председатель передового колхоза, а прокурор-прокурор в тайге около костра греется.

— Попросим план коконов уменьшить. А не то — в город поедём за листьями, там в парках и во дворах тутовника хватит не на один колхоз.

### III

До утра Петр проторчал под ярко освещенными окнами родильного отделения. До него доносились крики рожениц. Перед рассветом, иззябшего, изнервничавшего, увела его в приемный покой какая-то сотрудница. Потом ему дали халат и отвели в ординаторскую. А потом вошла в ординаторскую молодая симпатичная женщина, присела к столу, налила остывшего чая в стакан и, выпив, сообщила:

— Поздравляю, папаша, с дочерью. Конечно, сына хотели! Все отцы о сыновьях мечтают, а девочки — лучше!

— Да нет. Мне все едино, что сын, что дочь...

— На три триста! Рост пятьдесят четыре сантиметра. Хорошая девочка! Бельная...

— Спасибо, доктор. С женой в порядке?

— В порядке, Петр Григорьевич. Отдыхает... Хотите на дочь поглядеть?

— А можно? — Петр, знал, что отцам показывают детей через закрытое окно: счастливые папаши вскарабкиваются на выступы цоколей, обрывают железные наличники окон, чтобы приблизиться, лучше разглядеть свое чадо.

— Можно. Через дверь. Пойдемте.

Петру поднесли дочь к дверному стеклу. Он увидел маленькое, с кулак, сморщенное личико, и что-то дрогнуло в нем, горячий тугой комок встал в горле. Его дочь! Это же надо! У него есть дочь! И все яснее сознавал, что женитьба — ошибка, что его жена — не то, о чем мечталось. Собственно, почему «мечталось»? Просто иной представлялась ему спутница жизни в холостяцкую пору. А какой же? Пожалуй, могла бы быть подруга жизни и красивее, а главное — добрее не только к нему, но и вообще к людям.

Нянечка убрала красное личико от дверного стекла, унесла дочь в глубь комнаты. Он вернулся в ординаторскую, испытывая острое желание курить. Папиросы кончились под утро, торча под ярким окном, он смолит их одну за другой. Уже рассвело, Петр вышел, как был в халате, во двор и под окном родильного отделения подобрал несколько своих «бычков», накурился, зажигая один от другого, до сердцебиения и вернулся в ординаторскую.

Хорошенькая врач, принимавшая роды, была уже без халата и не в матерчатых тапочках, а в резиновых полуботиках и, похоже, собралась уходить домой.

— Я ждала вас, Петр Григорьевич. Мамаше нужны бульоны и все молочное. И вот еще что вам следует знать, как мужу... — Милое лицо ее зарделось от смущения. — Как бы это объяснить... Одним словом, первые три месяца после родов физическая близость между вами и женой нежелательна.

— Вы об этом и ей скажете?

— Конечно! Мы ее проинструктируем.

...Петр отправил мать с бутылками и кастрюльками к жене, позвонил в приемную, сказал, что пробыл до этого часа в роддоме, выслушал поздравления Зинаиды Ивановны. «Если не буду срочно нужен — сплю до обеда», — предупредил он секретаршу шефа.

Лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог. Слышал, вернулась мать — привезла домашнюю одежду Клавдии, узел, который он забыл прихватить из роддома. Боясь разбудить сына, она почти неслышно двигалась по комнате, потом заскрипел стул — это она заняла свое место за обеденным столом.

О чем она сейчас думает? Счастлива? Вряд ли! Какая мать может быть счастлива, зная, что у сына не сложилось в жизни, как надо. Что это так, она не могла не видеть. На ее крестьянском лице последнее время написано вопрошающее ожидание беды или опасности. И какая-то просительность на лице написана. Наверное, вот такими просительными, ожидающими чуда бывают лица крестьян, обращенные в безоблачное небо: дождя бы благодатного на иссушенную землю!

Есть, существует какая-то невидимая пуповина, соединяющая мать со своим ребенком на всю жизнь, нерв какой-то неразрывный, по которому матерям передается состояние выношенного под сердцем ребенка. На всю жизнь, до последнего вдоха.

Мать страдала от разлада между молодыми больше, чем они сами, и Петру, понимавшему это, было стыдно, мать он жалел больше, чем себя: он-то еще мог что-то предпринять, попытаться каким-то путем выправить свою жизнь, а ее уделом было терпеть, сопереживать, надеяться на лучшее и ждать, а вдруг образуется все каким-то чудесным образом.

Петр вспомнил Ольгу Ульянову, которую, даже работая в одном здании, видел далеко не каждый день: женщина часто ездила по районам, да и появляться в кабинете помощника первого без дела не было принято; при всей демократичности, подразумевающей уставом парламентаризма, никто не забывал о субординации, без дела, просто так перекинуться парой слов, в шахматы сыграть поздним вечером мог зайти один к другому только равный по должности и старший по должности — к подчиненному. Ульянова нравилась помощнику, непродолжительное чаепитие, цветы, подаренные ей, сблизили их и сделали осторожнее. Не сговариваясь, они оберегали каждый себя и друг друга от неловких ситуаций и кривотолков наблюдательных сослуживцев.

Сон не приходил. Не привык Григорьев спать в эту пору суток. И он встал, принялся одеваться, потом побрился. Уже бритый, поцеловал мать:

— Поздравляю, мама, с внучкой.

— Спасибо, сынок. Тебя с дочерью. — Встала, вытерла ладонью сухие губы, поцеловала сына в лоб. — Хорошо бы, Петя, поменять голубую фланельку на розовую. Розовенькое девочке положено.

— Я узнаю.

— Как назвать-то решили?

— Не знаю. Ты бы как хотела?

— Может, Ириной?.. Или... Анной... Хорошее имя...

— Ирина? Звучит! Ири-на. Ори-на... Ирэн... Пусть будет Ириша.

— Клавдия не согласится...

— Это почему, мать? Красивое имя.

— Поперечная она, Клавдия-то, все по-своему хочет!

#### IV

— К вам председатель колхоза имени Куйбышева Рахимов, — сообщила Зинаида Ивановна. — Какие-то документы у вас.

— Пусть заходит...

— Я был вчера. Узнал о большом событии в вашей семье. Поздравляю с дочерью, Петр Григорьевич! У нас говорят: «Дети в доме — дом базар, нет детей — дом мазар». Кладбище, значит. Пусть будут здоровы жена и дочь.



— Спасибо, Рахимов. Я виноват перед вами, не смог сделать большую статью, как обещал. И документы задержал.

— Бухгалтер мне шею грызет, товарищ Григорьев! Каждый день скандал мне делает! Половина справка-мравка у прокурора сгорела, весь дебет-кредит расшатался. Если материалы отчетного собрания пропадут — совсем плохо будет. Такой он бюрократный, этот бухгалтер! Пармалист! Обком партии, говорю, не прокурор, потерпи, наверное, надо товарищу Григорьеву.

«И что это ты такой разговорчивый, Рахимов? И такой добродушный и улыбочивый, а? А что же это ты глаз с папочки не сводишь, глаза такие настороженные?»

— В обкоме партии ничто не пропадет, вы правильно сказали этому бюрократу. Кстати, как фамилия вашего главного бухгалтера? — Григорьев раскрыл папку, не сводя взора с раннего гостя. — Ни я, ни машинистка не разобрали...

— Ташев он. Исфандияр Ташев. Совсем старый стал, чек подписывает — руки дрожат. Банк чек не принимает, деньги не дает, говорит — подпись не похожа.

— Вот ваши документы, Рахимов, успокойте Ташева. Посмотрите при мне, все ли на месте. — Он поднял пачку оригиналов, собранных кокетливо скрепкой с розовой накладочкой, положил поближе к Рахимову. Тот даже не поглядел на свои документы, взгляд его был прикован к машинописным копиям.

— Это копии документов, Рахимов. Я вам могу дать и копии, может, пригодится.

— Зачем копии? — глухо спросил председатель. — Писать статью какая польза? Год кончился, новый начался. Новые дела, новые заботы! Наверное, новую статью писать надо, а?

— Копии, уважаемый председатель, очень бывают нужны. Особенно если они хранятся в разных местах. Одна сгорит — другая сохранится! В прокуратуре следственные материалы сгорели, верно? Прокурор Алимтаев сгорел, байский сын! Но копии сгоревших бумаг существуют, Рахимов! На железнодорожной станции есть распоряжение облисполкома о выделении колхозу вагона для сухофруктов, на тракторном заводе хранятся копии взаиморасчетов с колхозом за урюк, разные накладные, счета, корешки банковских чеков, квитанции... Может, и напишу я статью о вашем передовом опыте, Рахимов.

— Спасибо! Есть чего написать, и сейчас маленький опыт есть!

— Слушаю. — Григорьев поглядел на часы. — Рассказывайте!

Председатель колхоза взял свои документы, нашел какую-то справку.

— Вот тут написано — какая бригада сколько сеяла прошлый год, какой урожай хлопка взяла с гектара, всего сколько тонн сдала, так? Так. План колхоз выполнил на сто одиннадцать процентов. Почти двадцать два центнера на круг урожая взяли. Триста тринадцать гектаров было хлопка. Теперь райком новый план давал. Хлопчатника еще тридцать гектаров посеять. Триста сорок три гектара надо делать! План контрактации дали двадцать два центнера. Фазылов говорит — обязательство делай двадцать пять центнеров! Слово райкома закон? Закон! Я сказал — хоп. Делаем обязательство двадцать пять центнеров. Хлопок нужен Родине, как хлеб, как уголь, да? Наши передовые колхозники — очень сознательные люди. Думали, как делать семь тысяч пятьсот центнеров. У нас шестьдесят гектаров старых люцерников. Тридцать пускаем под хлопчатник. Чем коров, волов, лошадей кормить будем? Оказалось, выход есть. Мала-мала думали — придумали. Два года назад молодой сад урюков посадили. Тридцать гектаров на холмах. Осенью мы в молодом саду люцерну посеяли. Как раз тридцать гектаров. Молодым деревьям хорошо, коровам-лошадям хорошо, все хорошо! Я верно говорю, товарищ Григорьев Петр Григорьевич? Интересный разговор, да?

— Да, — согласился внимательно наблюдавший за посетителем хозяин кабинета. На лице Рахимова пропала настороженность. Он увлекся рассказом, в глазах появилось плутоватое выражение, обещающее, что самое-то интересное он еще не сказал, приберег напоследок, вот-вот скажет, удивит, как фокусник, вынет жареного фазана из рукава или куриное яйцо из уха.

— Самый интересный разговор сейчас будет! Райком, райзо, все считают, что в колхозе под хлопчатником триста тринадцать гектаров. Это так только на бумажках! У нас не триста тринадцать гектаров.

Григорьев слушал внимательно, мелькнула мысль, что вот сейчас Рахимов откроет карты, признается здесь, в обкоме партии, что были скрытые посевы, вроде с повинной явился, чистосердечное признание — и вина долой, спишется очковитеральство.

Ошибся Григорьев, не принял на себя этой вины председатель.

— Мы только по сводкам сеем столько, а на самом деле меньше. Почему меньше, спросите? Очень просто! Вот, смотрите, бригада Каюма Саттарова, того, однорукого! Его поля по дороге в город, вы видели их. Что про его бригаду тут есть? — Рахимов нашел в списке и прочитал: — Бригада номер два... Саттаров... Тридцать

семь гектаров... План шестнадцать центнеров. Сделал — девятнадцать, три десятых. Очень хороший бригадир! В этом году у него почти семьдесят гектаров будет, объединили мы бригады. Звеньев тоже в два раза меньше оставили. Хорошо делали! Меньше начальников — больше кетменчиков будет! Урожай-то ведь кетменем делают, а не карандашом! Я верно говорю? Верно!

— Так почему меньше? — спросил Григорьев.

— Вот почему... У Саттарова семьдесят пять маленьких полей! Вокруг каждого — деревья и арыки! Есть меньше гектара поле, на нем трактору повернуться с плугом и сеялкой нельзя. Райком-обком приказывают: «Больше используй трактора!» Как можно больше, если лошадь с плугом не везде может ходить? Углов сколько незасеянных на каждом маленьком участке?! Мы с агрономом посчитали — получается, на ненужных межах, по углам теряем около пятнадцати гектаров посевов. В сводке есть гектары, на самом деле — нет. Такой фокус-покус! Наша главная повесть такая: мы войну объявили старым границам. Полным ходом корчум тутовник, пересаживаем на новое место. Большие карты делаем! Чтобы трактор туда-сюда хорошо бегал! Полноценный гектар сделаем — полноценный урожай получим! Приезжайте, пожалуйста, посмотрите. Очень красиво получается, Петрака! Секрет не делаем. На, бери передовой опыт! Не жалко! Социалистическое соревнование! Это когда передовой помогает отстающему, тогда общий большой успех получается! Раньше половину земли пахали-сеяли тракторы, в этом году будет восемьдесят или больше процентов. Большая механизация — большой урожай, верно говорю?

Григорьев вглядывался в одушевленное лицо Рахимова. Знал, что сидит перед ним боком, неловко повернувшись вполоборота, нечистый на руку делец, вор и спекулянт, по которому тюрьма плачет. Как же в нем сочетаются, сосуществуют добро и зло, хитрая предприимчивость, направленная на то, чтобы любыми путями нажиться, и деловитость, дальновидность рачительного вожака крепкого колхоза? И сам Рахманкул Рахимов, и журналист, начинающий партийный работник Григорьев понимали, что в колхозе имени Куйбышева первыми или одними из первых в области и республике нашли верный путь рационального землепользования. Ни тот ни другой в этот час еще и не предполагали, что уже в этом году и особенно в следующем эта работа примет широчайший размах. Назовут этот почин борьбой за полноценный посевной гектар.

Григорьев правильно оценил новшество, придуманное активом колхоза имени Куйбышева. Он уже знал, что в ближайшие день-другой поедет на место, чтобы увидеть все своими глазами, повезет с собой фотокорреспондента и кого-нибудь из специалистов, чтобы все обсчитать и описать. Но не подвинула Григорьева потребность разобраться в причинах непонятого большого прироста темпов заготовок сырца в пору, когда повсеместно на полях подбирали ощипки и последний курак. «Может, на месте что и прояснится», — подумал Григорьев.

— Я приеду к вам. Послезавтра, наверно. Вы правы, надо, чтобы об этом вся республика знала.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

### I

Тургунов прошел через приемную, кивнул помощнику через открытую дверь:

— Какие новости?

— Сейчас зайду.

Григорьев взял папку «К докладу», блокнот, почти следом за шефом прошел в его кабинет, на ходу одернул под поясом гимнастерку, согнал складки с живота к позвоночнику. Тургунов повесил пальто и кепку на вешалку, бодрой походкой прошествовал к своему вертящемуся стулу. Чисто выбритая круглая голова Халима Тургуновича, казалось, издавала свечение. И не подумаешь, что с утра до вечера ездил он по районам, где-то проводил совещание, кого-то распекал... Безызычный какой-то, семижильный.

— Докладывай, Григорьев.

Петр Григорьевич перечислил, заглядывая в папку и блокнот, какие посетители были, с чем приходили на прием, что он сделал сам, что поручил отделам. Подготовил за подписью самого шефа письма по жалобам. Прочитать?

— Давай, сам потом прочитаю. Еще что?

— Был Рахимов, председатель колхоза имени Куйбышева. Интереснейшее

дело придумали в колхозе! Укрупняют посевные карты, пересаживают деревья со старых межей в одно место, лишние дороги ликвидируют, арыки выравнивают. По примерному подсчету, это прибавит гектаров пятнадцать-двадцать к тем тремстам, что под хлопчатником и люцерной. Укрупнение карт позволит вдвое повысить уровень использования тракторов на всех видах полевых работ.

— Та-а-к! Это интересно! Это здорово как интересно!

— Пригласил меня поглядеть. Можно завтра или послезавтра на день поехать в колхоз, Халим Тургунович? Если все верно — писать скорее надо, распространять! Это такое начинание!

— Сейчас, помолчи, пожалуйста! Дай сосредоточиться. — Тургунов отодвинул на край стола раскрытую папку с документами на подпись — видеть, отвлекла внимание. Сидел, уставясь в список столичных правительственных телефонов, думал. Видно, что-то решил, надавил на кнопку звонка в приемную, и когда в двери появился дежуривший инструктор отдела пропаганды Иван Земенихин, приказал:

— Вызовите ко мне Тростянскую, Манукяна, Братикова. Пусть через полчаса зайдут вместе ко мне.

Тут же он снял трубку городского телефона и попросил соединить колхоз Куйбышева, предупредил телефонистку:

— Валя! Если председателя в кабинете нет — пусть из-под земли добудут, а сейчас — Фазылова. — Слышны были звонки — один, другой, на том конце провода сняли трубку. — Эсан Фазылович! Тургунов я! Здравствуй! Ладно, кончай про здоровье! Что у тебя в колхозе Куйбышева происходит? Не знаешь? Нормально, говоришь, вроде? Почему секретарь обкома знает, а секретарь райкома не знает?! Я от тебя должен узнавать новости, а ты не знаешь. Это как понимать прикажешь? Приезжай ко мне! Я тебе расскажу! И найди мне Рахимова. Его уже ищут, пошли за ним машину. Пешком в обком дойдешь!

— Иди пока, Григорьев! Если Рахимова не найдут — позову, подробно расскажешь, что говорил председатель. Ты даже не понимаешь, как это важно — то, что придумал председатель.

— Почему — не понимаю? — обиделся помощник. — Папку оставить?

— Оставь, посмотрю.

Через полчаса, может — немного позднее, все приглашенные прошли в кабинет Тургунова. Не было только Рахимова и Фазылова. Григорьев зашел последним.

— Фазылов сейчас звонил из колхоза. Едет с Рахимовым, — сообщил Тургунов. — Подождем немного. В колхозе Куйбышева осуществляют работу по укрупнению посевных карт. Не просто вырубают, а выкапывают с корнями, с землей старые деревья по границам маленьких участков и пересаживают. Вместо двух, трех, пяти карт, где и на волах трудно пахать, получается одно большое поле. Лишние дороги запахивают, оросители выравнивают. Без освоения новых земель прирост посевных площадей — около пяти процентов. Это во-первых. Получают полноценные гектары посевов — это во-вторых. И в-третьих — используется техника эффективнее значительно. А это — сокращение сроков полевых работ, рост урожайности!

Секретарь Симабадского райкома партии привез с собой Рахимова и главного агронома колхоза Фаттахова. Представил Фаттахова собравшимся:

— Главный агроном, секретарь партийной организации колхоза.

— Можно начинать, — предложил Тургунов. — Все за стол заседания. Садитесь теснее. — И занял свое место во главе длинного стола. Рахимов и Фаттахов скромно расположились поодаль.

— Ты чего, Рахимов, в угол забился? Садись ближе, герой! — приказал возбужденный хозяин кабинета. — Где не надо — первый лезешь, как, например, на лестнице к мавзолею в Шахимардане, а как хорошее дело затеяли — в тени прячешься. Садись ближе, рассказывай, Рахимов, что вы там придумали?

— Пусть агроном расскажет, — попросил Рахимов. — У него расчеты.

Когда было доложено о важном начинании в колхозе имени Куйбышева, Тургунов сказал:

— Садись, агроном! Всем присутствующим понятна огромная важность инициативы куйбышевцев для подъема хлопководства? — спросил Тургунов. — Вся Язъяванская область, вся долина состоит из крохотных карт, где трактору не повернуться. Этот опыт нужно немедленно сделать общим достоянием. Я предлагаю следующее. Первое: послезавтра провести в колхозе совещание-семинар для секретарей райкомов, председателей райисполкомов, начальников райзо и райводхозов. Вечером — расширенное заседание бюро обкома. На повестке дня один вопрос: опыт сельхозартели имени Куйбышева и задачи партийно-хозяйственного актива области по обеспечению полноценного гектара посевов хлопчатника.

Никогда еще колхоз имени Куйбышева, чьи земли лежали особняком от наделов других колхозов, не был в центре внимания такого количества руководителей районного и областного масштабов. Каких только легковых и грузовых машин, доставивших важных гостей, не собралось на дорогах между полями, где гудела, рокотала, скрежетала гусеничная и колесная техника.

Григорьев приехал с Братиковым и очень удивился, когда из подъехавшей следом машины вылезли с переднего сиденья — Шалдаев, с заднего (вот чего не ожидал!) Ольга Ульянова, очаровательный инструктор школьного отдела. Она, похоже, и сама толком не понимала, зачем оказалась здесь, с любопытством вертела аккуратной головкой в пуховой белой шапочке.

— Ольга Васильевна! Здравствуйте! — окликнул Григорьев, и та обрадованно вскинула руку в приветствии, заспешила к нему, как к защите, как пловец к надежному берегу.

— Вы-то как сюда попали, Ольга Васильевна?!

— Вот так... Сергей Иванович с собой привез. Сказал, что школу в этом колхозе надо посмотреть.

— А что ее смотреть?! Учебный год через два месяца кончается.

— Товарищу Шалдаеву лучше знать, товарищ Григорьев, — шутливо-наставительным тоном заметила Ульянова. — Вы, небось, не догадались с собой пригласить.

— Права такого не дано помощнику, красивых женщин умыкать в рабочее время из обкома.

— Где эта школа, Петр Григорьевич?

Петр огляделся. Кишлачные дома лежали ниже поля и просматривались сквозь поредевшие ряды шелковиц.

— Наверное, вон то длинное приземистое здание с окнами на улицу, — предположил Петр. — Видите? Детишки во дворе бегают, перемена, наверное...

— Вижу... Шалдаев предложил машину, доехать до школы, когда здесь все закончится — заедет за мной.

Навстречу шли школьники. На узкой кишлачной улице дети уступали дорогу, жались к стенам домов и дувалам, вразной и хором приветствовали чужого человека:

— Здравствуй! Здравствуй!

Здоровались по-русски, и Григорьев весело кричал им:

— Салом алейкум! Здравствуйте, пацаны! — До чего же вежливые кишлачные дети!

Ольгу Васильевну он нашел в учительской. Географическая карта полушарий на стене — выкрашенная в красный цвет территория Советского Союза. Навстречу Петру поднялись из-за стола собеседники Ульяновой — видимо, учителя и несколько подростков, поздоровались:

— Работайте, я посижу около вас, — попросил Григорьев. — Как идет дело, Ольга Васильевна, помощь нужна?

— Все нормально, — успокоила Ульянова, — мы понимаем друг друга... Одного в толк не возьму: дети похвалились, что правление колхоза премировало их за помощь на уборке урожая хлопка музыкальными инструментами, но хлопок они, как я поняла, собирали в новом урюковом саду. Может, Петр Григорьевич, хлопчатник в саду расти?

— В саду? Сейчас уточним? — Григорьев задал вопрос по-узбекски, ни к кому из сидевших за столом конкретно не обратившись. Да, в саду, подтвердили учителя и подростки, в молодом урюковом саду.

— Рахманкул-раис сказал нам, что колхоз очень нуждается в нашей помощи, — произнесла с горделивыми нотками в голосе девушка со щеками красными, как плод граната, с огромным количеством тоненьких и длинных, до пояса, косичек, украшенных вплетенными красными тряпочками и серебряными монетами — царской чеканки, как разглядел Петр.

— А ты чья такая красавица?

— Я дочь Пирмата Наврузова, старшего табельщика. Пионервожатая я, Мамлакат Пирматова...

— Так, Мамлакат... И что еще сказал раис-ака?

— Пообещал купить золотую трубу, красный барабан, а еще дутары и бубны.

— Купил?

— Конечно! Рахманкул-раис никогда не обманывает!

— Вы там после учебы хлопок собирали?

— Полмесяца ученики с четвертого по седьмой класс не ходили в школу, — сообщил худощавый молодой учитель в полосатом халате поверх «городского»

костюма, на лацкане которого красовались значки «Ворошиловский стрелок» и «ГТО». — Я завуч... Если нужно точно — можно посмотреть по журналу.

— Не надо смотреть, — глухо произнес Григорьев. — Потом, если понадобится... — В груди Григорьева звенели фанфары и гулко ухал барабан: «Нашел-таки концы! Нет нужды и в бухгалтерии рыться, разве что для окончательного вывода! Ай да Оленька Васильевна! Знала бы, какую истину тебе поведали! На крючке ушлый раис-ака!»

— Сколько же собрали школьники? Вы, Ульянова, записывайте, пожалуйста, подробнее.

— Сейчас! — готовно откликнулся завуч. — У меня списки по классам.

— Давайте ваши списки.

— А зачем вам все это? — спросила Ульянова.

— Вы статейку напишете, Оля Васильевна! О помощи детей родному колхозу. Заработали честным трудом музыкальные инструменты, родителям помогли! Так сколько всего собрали ученики? Как фамилия ваша, товарищ завуч? Пять-шесть лучших сборщиков назовите. Похвалим в газете детей.

— Шарипов моя фамилия. — Завуч листал ученические тетрадки в линейку со списками классов, выписывал на листок цифры. — Работали четыре класса. Всего сто тридцать три школьника.

— У них очень маленькие классные комнаты, и сидят по трое за партой, — заметила Ульянова. — Тесно... Сидят, не снимая верхнюю одежду...

— Пишите, Ольга Васильевна! Все записывайте, что Шарипов рассказывает.

Когда завуч сообщил количество собранного учениками сырца, Григорьев поинтересовался, платил ли колхоз детям заработанные деньги. Ведь даже привлеченным из города за собранный килограмм полагался рубль.

— Нет. Рахманкул-ака обещал на эти деньги купить новые парты, наглядные пособия.

— А новую мебель для правления он не обещал купить?! — зло, впервые не сдержавшись, спросил Григорьев. — Это же дети заработали! Горны-барабаны — это премия, я так полагаю! До четырех-пяти тысяч рублей дети в день зарабатывали, и в награду — труба с барабаном?!

— Детей еще кормили в поле... Плов, шурпа, лепешка, чай сладкий. Пионерские галстуки, платки, косынки премия была лучшим, — заметил Шарипов.

— Ладно, разберемся с вашим добрым рисом. Фамилии тех, кто больше всех собрал, из каждого класса одного-двух. Запишите, Ольга Васильевна. Вы, учителя, почему не заступились за своих школьников?

— Не знаю, председатель так сказал... — откликнулся завуч.

— Ладно! Кто на весах стоял, кто сырец возил на заготпункт?

С улицы донесся гудок автомашины, Ульянова встрепенулась:

— Шалдаев за мной.

— Сейчас пойдете, Оля. Дописывайте.

— А вы не пойдете?

Григорьеву хотелось уехать с Ульяновой, но что-то не хотелось быть в долгу у Шалдаева, с которым отношения не заладились с первого дня. — Я задержусь, еще кое-что выясню.

— Это очень важно, что вы узнали, да?

— Очень! Статью вы, Оля, обязательно напишите. Сделаем даже так: я напишу — вы подпишете. Вам — слава авторская и гонорар.

— А вам? — кокетливо спросила Ольга Васильевна. — Я вам за ту статью еще обязана.

— Мне? На том свете угольками.

Ульянова ушла.

— Так где этот сад, в котором хлопок собирали? — спросил Григорьев, дождавшись, когда стих шум мотора.

— Недалеко... За холмами, отсюда не видно.

— Пошли на улицу, покажете.

— Во-он за тем холмом, — показал Шарипов в сторону зеленеющих холмов. — Если туда идти, то по дороге через весь кишлак, а там через километр или чуть больше колея, наезженная арбами, через холм от дороги пойдет. Там!

«Еще бы было видно!» — зло подумал Григорьев. Не для того сеяли, чтобы с улицы кишлака увидеть можно было.

Радовался визиту в школу Петр. Надо же, как повезло! Можно идти и туда, где уже изрядно поредел и толпа людей, и вереница машин на полях. Знал, что не бросит его Братиков, ждаться будет.

— Ульянова говорит, что тесные классы, новую школу бы вам.

— Зачем новую? Скоро все классы пустые станут, некого учить будет, — откликнулся молчавший доселе в учительской старик.

— Почему — пустые? — спросил Григорьев.

— Потому, уважаемый, что почти с сорок второго года и до нынешнего, пять военных лет, не рожали женщины нашего кишлака. Как и по всей стране, впрочем. На будущий год в первый класс семь детей придут. Так и будет класс из семи человек до конца школы. А через год — двое учеников будут сидеть в первом классе. А потом три года подряд — ни одного не будет. Пять лет можно не думать о новом здании, это отремонтировать нужно.

— Да, спросить забыл, дети весь урожай собрали за пятнадцать дней? Хороший был урожай, друзья?

— Хороший был. Центнеров по двадцать! — сообщил завуч. — Собрали немного больше половины. Собирали только спелый, курак не трогали. Отборный и первый, потом Рахманкул-ака пришел в школу, сказал — хватит помогать, пусть дети учатся, остальное взрослые доберут.

— Сколько же там хлопчатника посеяно было?

— Сада тридцать гектаров.

### III

Григорьев уже ближе к полуночи отправил в агентство большой отчет о семинаре-совещании. Немного переиначив и убрав наиболее впечатляющие цифры экономической эффективности мероприятия — но заверив читателей, что более обстоятельный рассказ о событиях в колхозе имени Куйбышева будет дан в специальных полосах в ближайшие дни, — занес отчет в областную газету. Там еще горел свет в окнах.

— Хорошо придумал, — похвалил Панин. — Уговорю соседа дать в номер. Ничего, что задержим тираж на час-другой, все равно опаздываем с выпуском. — Он позвонил в узбекскую газету и отдал отчет на перепечатку вечерней машинистке.

— Дело есть одно очень серьезное, Георгий. Слушай вдумчиво.

— Проникся, Петр Григорьевич, — слушаю.

— Послезавтра обе газеты получают полосы. Скажи фотографу, чтобы завтра принес мне с джунгу наиболее выразительных снимков. Я сам отберу для полосы. А все фотоснимки, если не возражаешь, отдам Тургунову. Ему будет приятно. Завтра бюро, Тургунов покажет фотографии членам бюро. Для наглядности.

— Может, я и занесу?

— Ну, ты занеси. У меня еще одно дело к тебе. Эдак через недельку я дам тебе небольшую статейку из нашего замечательного колхоза. О том, как школьники славно помогли в уборке урожая. Статью напишет Ольга Ульянова, инструктор, она была сегодня на семинаре, а может, за псевдонимом пойдет, я это дело продумаю, это очень важно — чья подпись. Потемнить немного нужно, в кошки-мышки поиграть с одним деятелем.

— Расскажи, Григорьев, что задумал?

— Я и рассказываю! И в заголовке, может быть, но в тексте точно проскользнет упоминание, вроде между прочим, что дети собирали сырец в молодом фруктовом саду.

— Как — в саду? — густые брови поднялись у редактора, нагнали морщинки на высокое чело.

— В этом все дело, Георгий! В саду Рахимов разместил почти десятую часть посевов, вдали от глаз, за холмами. Около тридцати га! Сверхплановые скрытые посевы это, Панин!

— Может, сразу долбануть статью про Рахимова? — предложил Панин.

— Нет... Дашь этот матерьяльчик. Он, понятно, твою газету не читает. Но прочтет Фазылов; не прочтет — аппаратчики покажут. Не пройдет и дня, как кто-нибудь позвонит тебе, может, и сам Рахимов, может — Фазылов: попытаются выяснить, не случайная ли описка в газете, кто это за автор неизвестный. Пообещай, что вызовешь автора, узнаешь, где это разглядел он в конце марта хлопчатник в саду, в каком садике. Нужно, чтобы заерзал Рахимов, засуетился. Не один он в скрытых посевах замешан, помогали ему. Знаешь, Георгий, где я нашего героя встретил дня три назад? В ювелирном. Вот такую стопу пятидесяток выложил за две коробочки! — показал на пальцах. — Вот такую — не меньше!

...Добирая у Тростянской факты и цифры для полосы, Григорьев на следующий день заинтересовался у заведующей сельхозотделом, как были в прошлом году размещены посевы хлопчатника в колхозе. Нина Алексеевна извлекла из папки карту земельных угодий. Поливные земли на ней протянулись длинным языком вдоль сая, на границе заштрихованных полей и адыров — окружающих холмов —

протянулась синяя ниточка оросителя, берущая начало из сая где-то выше, в предгорьях.

— А в других местах нет, Нина Алексеевна? Вот это что за посеы между холмами?

— Это? Это деревья так помечены. Сад там, значит.

— Спасибо, Нина Алексеевна!— Григорьев вернулся в свой кабинет.

К обеду редакционный фотокорреспондент Феоктистов, а следом и узаговский Шакиров принесли стопки снимков с семинара. Нашелся среди них и поясной портрет Рахимова. Григорьев понес фотографии Тургунову.

Григорьев вернулся к себе. И почти следом зашла возбужденная, раскрасневшаяся Ульянова:

— Петр Григорьевич! Идите-ка посмотрите, что делается!

— Где, Ольга Васильевна?

— Там, в цветнике!

Секретарь Шалдаева Надежда Алексеевна стояла у окна, без особого интереса глядела, как старик в белой исподней рубаше без воротника, с седой бородой и усами, но еще физически крепкий, и подросток лет пятнадцати корчевали в цветнике розы.

— Зачем вы это делаете, отец?— крикнул Григорьев.— Зачем цветы выкапываете?

— Хозяин велел! — ответил старик, на минуту прекратив работу.

— Какой хозяин?

— Который здесь сидит.— Он кивнул на кабинет Шалдаева.

— Сергей Иванович приказал,— подтвердила секретарша.— Он велел огород посадить. Он любит копать в огороде, сказал.

— Сколько места займет огород? Ведь не все цветы он велел вырубить?!

— Зачем все? Грядка помидор, грядка редиски, грядка огурцов, другой шарабара. До окошка от забора. Розы я пересажу.

Длинные легкие волосы Ольги были перед глазами Петра. Сквозь их поток, струившийся с головы на спину, белела шея.

— Видите, Ольга Васильевна, и волки сыты, и овцы целы. Пойдемте.

Ольга пошла не к себе, а следом за Григорьевым, встала рядом со стулом около окна, глядя в пустой дворик, где, кроме одинокого айлантуса, ничто не росло, сказала:

— Дурак он, ваш Шалдаев! Свинья он! Ненавижу!

— Стоит ли так из-за десятка кустов роз, Оля Васильевна? Может, у Сергея Ивановича авитаминоз. Видали, какой отечный...

Ольга Васильевна рассмеялась:

— Смешной вы, Петр Григорьевич... и добрый... Я посижу у вас, можно?

— Конечно! Чаю холодного выпьете? Или вскипятить? Мигом будет!

Ольга присела, убежденно сказала уже без злости и надрыва в голосе:

— Шалдаев... Плохой он человек. И, наверное, злопамятный. Он мне еще нервы попортит.

— За что же?

— Рассказывать даже неудобно... А-а, да ладно, вам расскажу!

Она уперлась локтями в колени, подбородок заключила в ладони.

— ...Он, ну, Шалдаев, последнее время меня вызывает в кабинет, диктует...

— Что диктует?

— Что вздумает! Свою деловую переписку... Статью вот...

— У него же секретарша есть!

— Я пишу, а она перепечатывает... Из колхоза выехали — он на заднее сиденье ко мне подсел и сразу — руку на коленку мне... Я скинула руку, а он, верблюд, рассмеялся...

— Верблюд?— переспросил Петр Григорьевич.

— Верблюд слюнвявый,— убежденно подтвердила Ульянова.— Потом, когда к городу уже подъехали, пригласил к себе домой. Скоротать, сказал, вечерок с холостяком.

— Он, что, холостяк?

— Нет. Семья, пожаловался, не приехала, тоскливо одному. А я ему, видите ли, понравилась. Сразу, как увидел, говорит, понравилась.

«Да, дела...— про себя подумал,— мне-то ведь тоже нравишься».

— Дальше что?

— А я ему сказала, что поеду к нему, «вечерок скоротать», в двух случаях. В первом — если и он мне понравится больше, чем я ему. За мной, говорю, долго ухаживать придется. Во-втором,— если обяжут меня, как коммуниста, решением бюро обкома. Диктует — на месте не сидит, за спиной стоит, то руку на плечо положит, то наклонится, заглядывает вроде в бумагу, а сам... Ну, понимаете?

— Я ему, верблюду, весь огородик вытопчу, если не угомонится,— пообещал, отшутившись, Григорьев.

— А если всерьез, Петр Григорьевич? Что мне делать-то?

— А вы не ходите к нему. Скажите, что вы — инструктор отдела и обязательно личной секретарши или помощника второго секретаря обкома не примете, даже если такое решение бюро обкома состоится. Он имеет право вызывать вас к себе только по делам, которые вы курируете. И в этом случае он не должен обращаться к вам через голову заведующего отделом. Пусть о помощнике хлопочет! Нужен ему помощник, конечно...

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

### I

Материал о полезном начинании колхоза имени Куйбышева был опубликован газетами в один день, и первым на них откликнулся телефонным звонком секретарь Симбадского райкома Фазылов:

— Панин сказал, что это вы сделали, Петр Григорьевич, материал в газету. Очень своевременно и очень полезно! Такая замечательная показуха получилась через газету. Мы обязали колхозные парторганизации провести читки газеты во всех полевых станах.

— Очень рад, что понравилась полоса,— сказал Григорьев. Про себя же подумал: «Интересно, как ты, Эсан Фазылович, оценишь небольшую статейку Ольги Васильевны о твоём родном колхозе? Кому позвонишь, кого поздравить?»

Он позвонил Панину, сообщил о разговоре с Фазыловым.

— Это я ему сказал, что полосу ты готовил,— сообщил редактор.— Полоса очень дельная вышла. Семьсот рублей тебе за организацию и триста — за передовицу. Устраивает?

— Спасибо, Жора! Пожалуй, можно ставить в ближайший номер ульяновскую статейку.

В открытую дверь Григорьев увидел, как через приемную торопливо прошел Тургунов, жестом позвал к себе.

— Шеф зовет. Он Усмана Юсуповича ездил встречать.

— У нас товарищ Юсупов?

— У нас, у нас! Будь здоров! Позвоню потом!

— Чем занят, Григорьев? — поинтересовался Халим Тургунович и, не дожидаясь ответа, протянул красную папку: — Оставь все дела! Бери машину — и на дачу. Отвези сводки сельхозработ Юсупову. Если не задержит, возвращайся. Блокнот свой захвати — может, поручение нам будет, запишешь. Езжай!

Дача облизполкома на окраине города, здесь всякий раз останавливался и Григорьев вместе с членами взаимопроверочной бригады ташкентских хлопкоробов. Рядом с дачей — хлопкоочистительный завод: электрические и телефонные провода обросли за многие годы легчайшим хлопковым пухом и, похожие на толстые бурые канаты, протянулись от столба к столбу. Здание дачи и небольшой фруктовый сад укрылись за высоченным забором и массивными воротами. Григорьев оставил машину на улице и прошел через калитку во двор, услышал стук бильярдных шаров. Черная длинная машина Юсупова стояла сразу за воротами. Милиционер и старик-сторож окапывали грядки ирисов, уже выбросивших длинные стрелки цветов. В открытые окна он разглядел двух телохранителей. И они его увидели; видно, узнали и продолжали играть. Григорьев прошел в бильярдную.

— Усмани Юсуповичу,— протянул папку ближнему из двоих.— Из обкома.

— Поиграй за меня,— предложил принявший папку.

Минут через пять во двор вышел Юсупов с папкой, по-домашнему в голубой майке-безрукавке, галифе и сапогах, одна подтяжка на плече, другая спущена и болтается у колена, непокрытая бритая голова на могучей шее блестит под полуденным мартовским солнцем. Григорьев поставил кий, поспешил во двор. Секретарь ЦК медленно дошел до конца высланной кирпичом дорожки, до цементированной купальни у забора, постоял, задумчиво воззрился на что-то, увиденное, похоже, между ветвями вишневых деревьев, густо посаженных вдоль дувала.

Юсупов оглянулся, увидел Григорьева, почтительно замершего в трех шагах.

— Идите сюда... Григорьев. Правильно, вы — Григорьев?

— Да, Григорьев.



— Идите сюда, Григорьев. — И когда Петр приблизился, спросил: — Через забор заглянуть можете? Что там, интересно?

— Конечно, могу, Усман Юсупович! А что там?

— Там... Сколько раз думал узнать, да все забывал. Посмотрите, есть за забором виноградник? А вдали должны быть несколько больших карагачей вокруг хауза<sup>1</sup>.

Григорьев легко взобрался на крышу раздевалки. Из-под дувала уходили далеко к горизонту дуги виноградника с уже поднятыми на них обрезанными лозами. Виноградник отделял от поля высокий дувал с размытым дождями, источенным ветрами гребнем. Метрах в двухстах стояла купа карагачей, их шаровидные кроны уже зазеленели.

— Есть, Усман Юсупович! И виноградник, и карагачи!..

— Слезай, спасибо! — Юсупов дождался Григорьева и медленно двинулся к дому, Григорьев почтительно шел сзади на полшага.

— Правильно! На месте дачи байский дом стоял, — заговорил тихо Юсупов. — Когда же это было... Война уже шла, наверное, в пятнадцатом году. Да, в пятнадцатом. Отец грузчиком на хлопковый завод устроился, а меня бай нанял виноград сторожить. На следующий год в Каунчи переехали всей семьей. Да-а... в нынешний Янгиюль. Нанялся за харчи и двугривенный в день. Жить в винограднике, сказал бай. Еще велел, если поймаю вора — избить его, как собаку бешеную. Поймаешь, пообещал, рубль серебром получишь! Дубину дал тяжелую.

Один из поджарых комиссаров юсуповских, уже в пиджаке, сидел за столом около кухни, читал газету; таяла грядки досужий милиционер и садовник; пчелы летали над головами, и ворковала где-то горлянка. Юсупов повернулся и неторопливо пошел, глядя вдаль и продолжая свой рассказ:

— Несколько ночей ждал я. Даже место нашел, где лазал он, следы на дувале, мелкая глина под ним, обсыпанная с гребня. Потом под утро раз слышу — пришел! Не один, разговаривают. Ну, дал я одному перебраться, ночь лунная — хорошо видно. Я виноград щиплю, жую потихоньку, боюсь хрустом ягод вора спугнуть. Сообщник одну корзину передал, вторую... Сижу, думаю: пусть нарвет, передавать станет, тут я его и огрею по спине. Рубль по тому времени большие деньги были! Радовался удаче! — Усман Юсупович остановился возле забора, на лице, подбредшем, обмякшем от воспоминаний, от обращения в давно минувшее детство, затеплилась улыбка: — Не получил я обещанный рубль серебром! Хотя вора поймал. Бил я его здорово. Пока не прибежали на его вопли с факелами сам хозяин и его слуги или родня. Интересная это наука — психология! — вдруг заключил Юсупов. — У бая какая психология? Мое — не трожь, убью, как собаку! Но вором оказался сын этого самого бая. Не мальчишка, лет восемнадцать ему было, пожалуй. Наверное, отец не баловал сынка карманными деньгами, тот и принялся приворовывать в папином хозяйстве на личные нужды. Виноград — байский, не тронь! Но и сын-то не чужой, байский сын, наследник! Его тоже не тронь! А может, рубль бай пожалел обещанный. Обидным ему, думаю, показалось платить за избивание родного сына: кроме морального, еще и финансовый убыток нести. Приказал бай избить меня за наследника. Вместо награды за верную службу ушел весь в синяках. Больше тридцати лет прошло, а до сих пор обида на бая не прошла.

Где-то в дальних комнатах зазвенел телефон. Следом возник на веранде второй телохранитель, позвал Юсупова:

— Ташкент, Усман Юсупович.

## II

Заметка за подписью О. Васильевой ни у кого, похоже, не вызвала недоумения. Во всяком случае, ни тому ни другому редактору никто не звонил. Но этот факт еще ни о чем не говорил. Могли не обратить внимания — не от корки до корки обязан читать областные газеты секретарь райкома, и тем более — председатель колхоза. А могли прочесть и от молчаться. Не звонили — не значит не заметили. Заметили, конечно! Прочли, и не раз, чего не знал еще Григорьев. Заметку в узбекской газете прочел Фазылов и подумал, что неизвестный автор явно что-то напутал: какие там еще посевы хлопчатника в абрикосовом саду? Но потом увидел статейку — слово в слово повторившую знакомый текст, в русской газете и, почувствуя, что это неспроста, решил выяснить у того, кто обязан знать лучше всех, что делается в колхозе, у председателя.

<sup>1</sup> Хауз — водоём.

Фазылов позвонил в колхоз, узнал, что Рахимов в поле около тракторов, и приказал найти:

— Пусть срочно позвонит! Или вечером приедет в райком! Сегодня!

...Рахманкул уверенно вошел в кабинет Фазылова — деловой, оживленный, в отличном расположении духа. События последних дней, признание большим начальством его личных заслуг в новом начинании придало председателю колхоза сил и уверенности в себе.

— Садись! — приказал хозяин кабинета. — Спасибо, все здоровы! И жена и дети, и корова, — ответил жестко на приветствие старого друга. — Как дела?

— Хороши дела. Боронуем, сеять начнем, когда райком разрешит.

— Хороши, говоришь? — Фазылов бросил ему под руки газету. — Тогда объясни, пожалуйста, что это значит? Читал статью? Какую? Разверни — увидишь, карандашом очерчена.

Пока Рахманкул читал статью и все в нем напрягалось от понимания реальной беды, которую таила в себе газетная публикация, Фазылов сидел, не сводя глаз с лица позднего посетителя. Когда тот отодвинул газету, спросил:

— Прочел?! Теперь рассказывай! Это верно? Что за урожай хлопка в саду? Зачем хлопчатник растет у тебя там, где у нормальных людей люцерна или капуста растет? Говори все! Ну! Кто такая О. Васильева? Почему она свою заметку в две газеты дала? Ты попросил, да?

— Не знаю, что сказать, — тихо произнес Рахимов. — Кто такая О. Васильева, не знаю. В колхозе посторонних людей не было, мне бы сказали.

— Была, не была! Значит, была, если с учителями говорила, с детьми. Не в этом дело. Что это за хлопчатник в саду ты сеял? Тридцать гектаров, это верно?

— Верно... Ты сам требовал — план по хлопку любой ценой выполняй, обязательство — выполняй! Я выполнял.

— Сумасшедший! Ты зачем меня в сообщники тянешь? Разве я тебя учил скрытые посевы делать? Горе воспитавшим тебя! Объясни, зачем ты это делал? Урожай у тебя был на план, даже больше. Славы тебе, орденов не хватает?

— Обязательство хотел выполнить, Эсан-ака.

— Героя захотел получить? Тебя, дурака, к ордену Ленина представили, мало тебе показалось, да? У меня на один орден больше всего! Указ скоро поступит! Куда спешил?! Не знаешь? Скажу! Пятый орден, может, успеешь получить, но носить тебе его не придется, можешь не ковырять новую дырку на кителе. Без партийного билета уйдешь с бюро, всех орденов лишишься! В тюрьму пойдешь, несчастный! За тобой столько грехов — я и половины их не знаю! Только за то, что мне известно, тебе тюрьма полагается!

— Ты мой единственный друг. Ты больше, чем брат даже. Научи, что делать?

— Не знаю! Сам думай! Хорошо думай, Рахманкул! Я могу только одно сделать — сделать вид, что не читал эту статью. Иди и думай. Ко мне по этому делу не приходи. У меня всего один партбилет, я и так многим рисковал, выручал тебя.

— Я это всегда помню, Эсан-ака, — смиренно откликнулся Рахманкул. — Буду сам думать, ладно.

— Иди! — приказал Фазылов.

В школе Рахимов появился до звонка. Через полчаса он знал, кто здесь бывал, о чем и с кем беседовали — сперва одна инструктор обкома партии Ульянова, а потом и вместе с пришедшим Григорьевым. Перепуганный Рахимов решил, что дотошному помощнику Тургунова уже давно что-то было известно о неучтенных посевах. Не зря и бумаги с отчетного собрания увез, копию с них снял, и Ульянову сперва одну подослал выведать у детей, что надо, следом сам явился. Но если знает — почему ход делу не дает, прокуратуру не подключает? Зачем тянет?

Рахимов объезжал поля до обеда, потом после обеда — до серых сумерек, и не мог ни о чем думать, как только о непонятном выжидании Григорьева. Чего человек хочет? Просто так ничего не бывает, это Рахимов усвоил хорошо. Искал хитрые гектары в документах, уже знал, что были они, были! Где размещались — тоже знал. С каким умыслом все это затеял, пес? Если чего-то ждет, то от кого? Чего и от кого он может ждать, если не от меня? Так? От меня, выходит, да? Признания? Он не прокурор и не судья. Чего он хочет? Зачем такую хитрую статью сделал? Держит за горло, а не душит, а? Деньги он хочет, вот что! Конечно! От Алимтаева давно узнал, что заработал я и на столовой, и на сухофруктах. Ждет, когда подеюсь. Так бы и сказал, мне разве жалко? Наверное, ждет, когда сам догадаюсь. Теперь я догадался. Сколько дать? Чтобы было не мало, не обидеть, не разозлить бы. И не слишком много, чтобы не испугать. Чтob ты сдох, шакал! С Эсаном бы посоветоваться! Но друг, похоже, больше меня испугался, запретил приходить по этому делу. Сам буду думать.

Ночью, когда уснула на своей половине мать, Рахманкул достал из-под кровати старый чемодан, развязал ремни. Было еще больше полумиллиона. Золотые вещи, скупленные главным образом в Симабаде и немного в Ташкенте, Рахманкул хранил на самом видном месте — даже мать не догадается, хотя не раз на дню ходила под тайником — в клетке для перепелов, закутанной в ветхий поясной платок и всегда висевшей на айване высоко над головой: чтобы достать, нужно встать на табурет, да кому она нужна?!

Он почти равнодушно разглядывал пачки, перетянутые двойной резиновой петлей; резинки помяли, почти вдвое сложили пачки, врезались в их бока. Грубая резина, если просто надеть колечко — спадает, вдвое сложил — мнет хорошие бумажки... Он бросил на низенький столик две разных пачки. «Подожду несколько дней — может, сам скажет, чего хочет, намек сделает».

Рахманкул даже повеселел, найдя единственно верный, как ему казалось, выход. Захотелось есть. Он пошел на кухню, как ни старался не шуметь — зазвенел крышками, пришла мать и подала своему единственному чуть теплой баранины из остывшей шурпы, казы нарезала, редьки и лука накрошила на блюдечко.

### III

Начался апрель. Теплый ветер сметал в арыки яблоневоый и айвовый цвет. Под окнами квартиры Григорьевых из неокопанных грядок мощно полезли побеги хмеля, стали оплетать прошлогоднюю ломкую колючую поросль, намертво обвившую ограду из шпатага.

В открытые окна кабинета Панина были видны сидевшие вдоль стен и у стола сотрудники, шла ежеутренняя планерка — обсуждение свежего номера и планирование очередного: Григорьеву последние полгода не хватало этих совещаний — пожалуй, наиболее демократичных из всех совещаний в учреждениях страны: можно было говорить все, что думаешь о любой статье или заметке. Вольнолюбивый и языкастый редакционный народ не считался с должностями и званиями, резал правду-матку, невзирая на лица. В чиновничье-бюрократическом обкомовском аппарате это все было немислимо, пошутить без особого риска мог только равный с равным.

Петр только успел зайти в кабинет, как зазвонил телефон. «Вам из дома», — предупредила телефонистка.

Звонила мать.

— Петр, тут сверток какой-то принесли...

— Что за сверток, мама? Кто принес?

— В халате... Узбек... Что делать?

Петр строго-настрого предупредил домашних, чтобы никаких вещей без него не принимали — ни в мешках, ни в ящиках, ни в свертках — опыт Голенко учил быть осторожным.

— Слушай внимательно, мать. Не переспрашивай! Постарайся задержать его хоть минут на пять. Чаем напои, настаивай, чтобы закусил. Скажи ему, что я не могу прийти и поблагодарить, дел много, мол. Постарайся запомнить в лицо. Сверток не трогайте, не разрешай брать в руки! Сажай его за стол, ставь свои кулички и крашеные яйца, угощай, вида не подавай, чем дольше пробудет у нас — тем лучше. Все!

Внутри у Петра пело и ликовало: дождался-таки! Сработала статеечка! Сработала приманка, поклевка началась!

Он нетерпеливо постучал по рычагу, не убирая трубку от уха.

— Панина срочно! Разъедините! — Григорьев почти врубился в разговор редактора с каким-то автором:

— Брось все дела, Панин, и ко мне домой, быстро! Гость у меня, подарки принес. Чуешь?!

— У меня планерка.

— Прерви! Уйдет сейчас, надо, чтобы его ты увидел, запомнил бы.

— У твоих ворот лошадь привязана к водосточной трубе. Может, его лошадь, гостя?

— Запомни его в лицо, во что одет! Иди, Жора, посмотри на гостя! Не теряй времени!

— Да не нервничай, Петр! Я Феоктистова возьму с собой, он тебе гостя зафиксирует в любом ракурсе.

— Отлично! Я сейчас приеду! Ждите меня дома!

— Я срочно домой! — предупредил Григорьев секретаршу. — Из дома позво-  
ню вам.

— Что случилось, Петр Григорьевич? — озабоченно поинтересовалась Зинаида  
Ивановна. — С Иришкой что?

— Нет! Позвоню!

Григорьев почти бежал до дома. Панин, Феоктистов с фотоаппаратом на шее  
сидели за столом с женой, пили чай и ели пасхальные яйца. Мать стояла у стола,  
баюкала внучку.

— Вот и хозяин явился — не запылится! — добродушно заметил Феокти-  
стов. — Теперь может, и покрепче чая перепадет.

— Ну как, видели? — спросил Петр у гостей.

— Ясное дело. Перекусить мы ему помешали, похоже, нам больше досталось,  
но до ворот проводили, — сообщил Феоктистов.

— Сфотографировал?

— Непременно! Георгий Федорович догадался соседского мальчонку в седло  
посадить, а я вроде мальчонку-то — щелк! А сам — его крупным планом!

Петр окинул взглядом комнату:

— Где сверток?

— В спальне, — сообщила мать. — Клава в спальню унесла.

Петр прошел в спальню. Завернутый в газету сверток лежал на его постели. На  
ощупь определил, что под газетой тяжелая ткань, отрез или два... Он вернулся,  
положил аккуратно сверток на стол:

— Ну как, Жора? Засуетился наш раис! Да, занервничал, не выдержал.

— Может, не от него, Григорьевич? — предположил Панин. — Давай развора-  
чивай, посмотрим.

— Я только от него жду, — рассмеялся Петр. — Теперь давайте посоветуемся,  
что делать дальше.

— Я открою? — живо предложила Клава. От возбуждения, от сознания при-  
частности к чему-то необычному лицо и шея у нее покрылись красными пятнами,  
она потянулась к свертку, но Петр остановил ее руку:

— Успеешь! Я говорю, думать надо, что делать дальше. Дело очень серьезное,  
Панин. Помощнику секретаря обкома на дом принесли пакет. Я никому ничего не  
заказывал, ниоткуда пакетов и свертков не жду. Я и ты — мы догадываемся, что это  
взятка. Или провокация. Чьих рук дело — я тебе говорил предположительно. По  
моей просьбе ты с Феоктистовым пришел ко мне домой потому, что в дом ко мне  
заявился неизвестный пока мне и вам человек и оставил вот этот пакет. Ты ведь,  
Феоктистов, работал в колхозе Куйбышева в день семинара. Может, гостя этого там  
видел, фотографировал даже?

— Нет, Петр Григорьевич, его я в колхозе не фотографировал, у меня глаз  
точный.

— Если бы ты его там снимал, — резонно заметил Панин, — хрен бы он по-  
зволил тебе здесь снимать себя.

— Тоже верно, — согласился хозяин квартиры. — Я прошу подумать вот о чем:  
правильно ли будет, если мы, трое жильцов этой квартиры, и вы, двое посторонних,  
откроем посылку неизвестного доброжелателя и составим акт? Или лучше сразу  
вызвать милицию?

— Ты ведь все равно сдашь ее в милицию или прокуратуру. Вызывай милицию,  
Петр! — одобрил Панин.

В милиции очень удивились звонку, вернее — необычности причины вызова  
следственной группы, и переадресовали Григорьева в прокуратуру. Городская  
прокуратура после пожара разместились во дворе горисполкома, на противополож-  
ной стороне квартала, в котором жил Григорьев. Минут через пятнадцать следова-  
тель прокуратуры прибыл.

— Помощник прокурора города Егоров Владимир Борисович, — представился  
он. — Что тут произошло?

Узнав, в чем дело, развернул сверток. Внутри старых газет «Кызыл Узбеки-  
стон» оказался завернутый в новый ситцевый платок (белый, в горошек, — зафик-  
сировал в протоколе следователь) отрез бекасама — полосатой шелковой ткани на  
мужской халат, а в нем — в газете же — пачка сторублевых купюр. На деньгах —  
следы тугой пересвязки.

Егоров пересчитал купюры:

— Сто штук. Десять тысяч! Кого подозреваете, товарищ Григорьев?

— Мне нужно два-три дня, вернее — полдня свободных, чтобы съездить в одно  
место, тогда, думаю, скажу не о подозрении, а наверняка. Феоктистов сфотографи-

ровал того, кто привез. Но по описанию я такого не знаю. И Панин не знает. Но он, скорее всего, выполнял поручение другого.

— Последний вопрос, товарищ Григорьев... Вы можете сказать, за что вам могли дать взятку?

— Да. Слишком много знаю. Это представляет опасность для того, кто действительно прислал этот «подарок». Это или подкуп, или средство для шантажа. Владимир Борисович все добросовестно отразил в протоколе.

— Мне копию, пожалуйста! И расписку на десять тысяч, — потребовал Григорьев у прокурорского чина.

Перед тем как попрощаться, Егоров предупредил Феоктистова, что ждет фотографии. Во всех вариантах.

— Сергей! К ночи чтобы фотографии были готовы. Оставь у Георгия Ивановича. И пленку береги, а лучше отдай мне. Физиономию крупным планом отпечатай!

— Писать будешь, Григорьев?

— Рано! — Петр покачал головой. — Сверхплановые посевы у Рахимова мы нашли с тобой, Панин. За ним много грехов. Он часть урожая из садика урокового, почти треть, это центнеров двести, продал соседям, колхозу «Большевик». Пусть сперва прокуратура найдет этот хлопок, на каких условиях он с низкоурожайными соседями поделился. Наверняка не бескорыстно. Посидите, позвоню к себе, узнаю, что там.

Он позвонил в приемную. Халим Тургунович уехал по районам, можно было не торопиться в обком. Предупредил, что задерживается дома.

— Мать, дай нам выпить. На лимонных корочках... Заслужили!

#### IV

— Ты поздравил своих янгиюльских друзей? — поинтересовался Тургунов у помощника.

— А с чем их надо поздравить, Халим Тургунович? — Петр сразу догадался, с чем — со званием Героев, факт!

— Газет не читаешь?

— Читаю. Не заметил, наверное.

— Героя Соцтруда дали Исану. И еще троим. Председателю райисполкома, начальнику райзо и Турсункулову. Звони, поздравь.

— Вот это здорово! Героев получили!

Из своего кабинета Петр заказал Янгиюль. Правил проекты, попивал чай, радовался за Исана, за одноклассника отца Федора Феоктистовича, за Хамракула.

Соединили Янгиюль через Ташкент, слышимость была неважная, понял с трудом, что Исана Юсуповича в кабинете нет. Конечно, по полям мотается, посевная в разгаре, кто в такую пору в кабинетах отсиживается! Григорьев подготовил телеграмму Юсупову, в которой поздравил и двух его соратников; отдельную — Хамракулу в колхоз. По сорок шесть центнеров с гектара хлопка дал, вдвое больше, чем по району.

Потом Панин позвонил, пригласил зайти, снимки рахимовского курьера взять и получить гонорар за последние полмесяца.

— Ульяновой скажи, ей тоже причитается.

Петр зашел за Ольгой:

— Нет ли желания прогуляться до редакции, гонорар получить?

— С удовольствием! Никогда гонорара не получала!

— Лиха беда начала! Гонорар — коварная вещь, колдовская! Всю жизнь будете теперь пописывать и ждать гонорар!

... Приятно идти по весенней улице, когда рядом с тобой красивая женщина, на которую оглядываются мужчины. Шел бы и шел!.. Волосы у Ольги золотятся под нежарким апрельским солнцем, розами пахнет от этих волос...

Панин любезно вызвал к себе кассира с ведомостями на гонорар. «И Панин не устоял перед обаянием Ульяновой. Мне кассира не вызывал в кабинет», — иронизировал Григорьев над приятелем про себя. Ай да Панин!

Петр не стал ждать, когда жена и дочь надыхнутся весенним воздухом, пообедал и торопливо нырнул в постель с робкой надеждой заснуть раньше, чем в квартире поднимутся возня, приглушенные разговоры женщин, попискивание дочери. Хроническое недосыпание, которое в семье испытывали все взрослые с появлением ребенка, на нем отражалось сильнее. Мать с женой в течение дня могли хоть немного вздремнуть, когда спала Иришка, а в кабинете не подремлешь.

Он проснулся в семь часов. Клава сидела на своей кровати, ноги калачиком, и считала деньги. Она, видать, заметила пачку, положенную Петром на комод, и присоединяла новые к имевшимся. Петр молча наблюдал за женой. С крестьянской, а может, с кулацкой обстоятельностью она тихо плевала на пальцы и перебирала, сортировала деньги, которые он принес, — новые к новым, помятые и потертые отдельно.

— Что ты их мусолишь без конца? — не выдержал Петр. — Положи на книжку, неровен час, обворуют.

— У меня не найдут, — откликнулась жена.

— Где же ты их спрячешь, хоть мне-то скажи.

— Ишь чего захотел! — жена рассмеялась. — У меня целее будут.

— Да? Интересно, а у вас в семье кто из родителей деньгами командует?

— Мама, кто же еще!

— Матриархат, значит.

— В доме должен быть один хозяин. У моих все хозяйство мама держит в своих руках. Вы, мужики, народ ненадежный.

Петр лег поудобнее, чтобы лучше видеть жену:

— Так-так! А у нас кто главный в семье?

— Я! Не мать же!

— Интересно... А почему не она, а ты? На базар ходит она, в магазин — она, кормит, обстирывает — опять она. Дом-то на ней держится, а?

— А что ей еще и делать, как не заботиться о семье сына, раз с нами живет? Найти прислугу — прислуга будет то же... — Закончила убежденно: — В семье хозяйка — жена!

— Ты так всерьез считаешь? — Петр сел на постели. — Значит, у нас в семье — ты хозяйка, а?

— А ты как думал?

— Я? — Петр рассмеялся недобро. — А я думаю иначе! Я — за равноправие! Ответь мне на один вопрос, «хозяйка»...

— Какой еще вопрос? — Ироничный тон, каким муж произнес слово «хозяйка», разозлил женщину. Она перестала ворошить и перекаладывать купюры. — Равноправие! Ишь ты!

— Ладно, раздумал я задавать тебе вопрос. Я и так знаю.

— Что ты знаешь? Говори, раз начал!

— Сейчас узнаешь... — Петр начал неторопливо одеваться. Шел девятый час, а в девять нужно быть в кабинете. — Сейчас узнаешь, сейчас я тебе скажу, хозяйка. Если ты еще раз придешь в издательство проверять мои заработки, пеняй на себя. Я тебе и этого раза не прощу.

— Доложили, да?! Доложили! — Лоб, потом уши и щеки, вот и шея у нее покрылись розовыми пятнами, и глаза разошлись в разные стороны. — А что, не имею права?!

— Не имеешь! Нет у жены права унижать мужа недоверием, оскорблять подозрительностью! Дурой надо быть, чтобы делать из себя посмешище! Только этого ты и добила! Почему ты мне не доверяешь?

— А может, ты обманываешь, не все мне отдаешь, откуда я знаю?! — откликнулась Клавдия.

— Тебе отдаю? А с чего ты решила, что я именно тебе приношу деньги? Имей, пожалуйста, в виду, на носу заруби: я не тебе, я в свой дом заработанные несу. Это первое! Второе! Как ты думаешь, женился бы я на тебе, зная, что ты будешь меня проверять на честность? Молчишь?! Так вот, черта с два женился бы я на тебе! Ты ведь та самая свекруха-шлюха, которая и честной снохе не верит, на свой аршин мерит?

— Я шлюха, да? Это я — шлюха?! — На глазах женщины появились слезы. Она откинула одеяло, бросилась к двери, распахнула ее. — Вы слышите, что ваш сыночек сказал? Он назвал меня шлюхой!

— Меня-то хоть оставьте в покое! — откликнулась мать. — Мало вам, что один другому нервы треплете?!

— Это ваш сыночек ненаглядный мне нервы треплет, а не я ему!

— Не ори, дочь разбудила, напугаешь своими воплями, — сказал Петр.

Девочка проснулась, похоже, завозилась в качалке, прикрытой простынкой, накинута на высокие бортики.

— Не твое дело! — откликнулась жена.

— Сядь, Клава, — попросил Петр. — Давай поговорим спокойно.

— Сам завел, а теперь — «поговорим спокойно!» — она вернулась к качалке, заглянула под простынку. — Что еще?

— Давай разведемся, Клавдия.

— Что-о? Разведемся? Вот еще!

— Серьезно! Ты же не любишь меня! Любящий человек не может так себя вести...

— Да? А ты меня очень любишь? Ребенка сделал, а теперь в кусты! — Она села в кровати, как сидела, когда проснулся муж, закрыла ноги одеялом; пачки денег перемешались. — Я тебе такой развод устрой — без партийного билета останешься! Из обкома вылегишь в два счета! Раз-во-од!

— Ты меня партией не пугай. Может, партия разберется правильно, кто в ней лишний — ты или я.

— А это мы еще посмотрим!

Петр разглядывал женщину, сидевшую напротив, с тоской и тупой злостью на нее, на себя, на нескладную семейную жизнь, не заладившуюся с первых шагов — может, и по его вине... На покрасневшем лице жены — тупое упрямство, торжествующая уверенность в своей правоте, в своей силе. Смотрит, вроде, на тебя, но глаза — вразлет, как у крольчихи.

«Как же это я на тебе женился-то? Глаза-то где были, здравый смысл где был?»

— Тогда посмотришь! — повторила Клавдия.

«А ведь я ее совсем не люблю, — с тоской думал Петр, разглядывая жену, сидевшую напротив, — и никогда не полюблю. И какой убогий придумал, что стерпится — слюбится? Неужто вот так и проживем всю жизнь? Ведь кроме дочери нас ничто не объединяет. А чем дальше — тем тошнее станет это совместное проживание».

И как же это можно было так оплошать? Победа голову вскружила? Опьянел от радости, что кончилась война, живой из нее вышел? Победитель вернулся домой, встречайте, девушки, жениха! Вот он — не изувеченный, только контуженный, ручки-ножки, все остальное при нем! Год был холостяком — много показало! Эх, мать честная, курица лесная!

— Ладно... Только не пугай меня, я не боюсь. Давай иначе поступим, Клава. Поезжай-ка ты к родителям на лето. Иришке полезно в деревне на козьем, там, молоке... Поживем врозь, поглядим друг на друга издали...

— Ишь что придумал! А ты здесь — по бабам, да?!

— По бабам?... Если захочу изменить — изменю на соседней улице. Подумай!.. Родители будут рады.

## V

Григорьев положил несколько фотографий с семинара в полевую сумку, среди них — незнакомца, побывавшего у него дома, отобрал из трех вариантов, отснятых Феоктистовым, тот, где гость удался крупным планом: худощавое лицо в усах, борода острая недлиная, нос прямой и тонкий, голова поверх тюбетейки обмотана поясным платком. Снимок увеличен из того, на котором запечатлен рядом с конем. Молодец, Сергей, «вытянул» портретик, не зря с фронта вез отличную немецкую оптику, пленку особую светочувствительную... Хоть в рамку вставляй и на стену. Уж если догадка верна, если Рахимов прислал его — обоим по портретику подарю. Чтобы меня не забыли долго...

Холмы покрылись густой травой, скрывшей прошлогоднюю — сухую и бурую; на память о минувшем годе из зелени торчали кое-где оббитые зимними ветрами длинные черные стебли полыни. То в одном, то в другом месте по холмам краснели маковые поляны, ближе к дороге виднелись похожие на белые круглые голыши — грибы.

— Маки все цветут, — заметил Григорьев.

— Нет. Отцвели маки. Тюльпаны это, Петр Григорьевич. Тюльпаны и белые грибы в одно время прут из земли, вон они как после дождя-то, — поддержал разговор тургуновский шофер Олег. — Если засветло вертаться будем — набрать бы кепчонку, жарковье из них — у-у-у!

Желтенькие мелкие тюльпаны и колокольчики густо росли среди зарослей барбариса, меж камней по саю. Тучи плыли в небе, их серые тени стлались по земле, ползли с холма на холм.

Взору открылись преобразованные хлопковые карты колхоза. За шумом автомобиля не было слышно гудения тракторов, стрекота сеялок. Кое-где колхозники выравнивали поля после боронования: упряжки волов волокли огромные бревна, на которых пестрыми птицами сидели кишлячные дети, катались. Сзади за трактором степенно шла стая черных грачей.

— Дальше куда? — спросил Олег.

— Спросим, где живет Ахмадалиева, к ней домой заедем, не застанем — спрощу у домашних, где искать.

— В поле дочка. Скорее всего, на новом арыке, — сообщила старуха и от калитки махнула рукой в сторону гор. — По этой дороге, увидите, там все мужчины работают...

... Они увидели вдаль на гребне холма гусеничный трактор с плугом. Впереди него медленно шел человек, а трактор послушно, как большое доброе животное, полз следом, будто на невидимом поводке; плуг глубоко вгрызался в загровок холма, земля под его лемехом расплывалась в обе стороны, образуя глубокую канаву. Несколько десятков колхозников рассредоточились вдоль траншеи, мелькали в воздухе их кетмени.

Они узнали друг друга, хотя и виделись раза три-четыре, не больше. Аимхон спрыгнула с гусеницы и пошла навстречу Григорьеву, улыбающаяся, приняла его руку в горячие, натруженные рулем и тяжелыми рычагами, ладони.

— Обещали приехать, когда получили машину, — укорил Петр.

— Помнила. Не смогла. Столько дел, Петр. Не сердитесь на начинающую председателю.

— Как дела-то идут? Помощь обкома нужна?

— Вот, арык роет. Гидротехники в свои трубки глядели, сказали — не пойдет здесь вода. А вон Халил-ака прошел с ишаком по холмам и сказал — будет вода.

Их окружили те, кто был недалеко от трактора. Только Халил-ака, на которого кивком головы показала Ахмадалиева, скинул халат, расстелил у трактора и прилег.

Петр показывал фотографии. Через плечо своего вожака заглядывали колхозники, оживленно восклицали:

— Ого! Ахмадали-ата, отец ваш, Аимхон!

— Ваш отец, Аимхон? Разве он с вами не вышел из колхоза Куйбышева!

— Вышел! Рахманкул попросил на два дня, отец — садовник хороший... А это Саттаров, бригадир, около трактора. Тавба! А этот как сюда попал? Он же к семинару никакого отношения не имеет, — она разглядывала фотографию незваного гостя.

— Кто это, Аимхон?

— Это же кладовщик Каримов! Фархад Каримов! Если он что и делал на семинаре — продукты для угощения со склада выдал, за водкой сбежал в магазин.

Как все просто! Григорьев записал на оборотной стороне фамилию и имя рахимовского порученца. Вспомнил: тот самый, что был задержан в Челябинске с фруктами. Конечно же, только самому доверенному человеку мог поручить осторожный Рахимов деликатное дело. А квартиру показал ему шофер.

— А ведь нашел я моего гостя, Георгий!

— Ну да? Кто? — Панин вернулся за свой стол.

— Показал я фотографию Аимхон среди других фотографий феоктистовских. Сразу узнали — кладовщик колхозный. Я же говорил тебе, Панин, что это рахимовские штучки! Завхоз у Рахимова — особо доверенное лицо, спецпорученец.

— Что дальше делать будешь?

— Ждать... Рахманкул Рахимович обязательно даст знать, что это от него мне подарок, гарантий каких-нибудь потребует. Эта взятка — пробный шар. Он и в десять раз больше отдаст. Или шантажировать станет — из двух одно. Подождем. Значит, удался мне очерк, Жора?

— Отличный.

— Фотографию Зайниева просят выслать. Сгоняй Феоктистова к нему. Столько грибов и тюльпанов на холмах! Любишь грибы, Панин?

— Хоть какие люблю.

— А что, если нам втроем махнуть к Зайниеву на твоём «Харлее»? И дело сделаем, и грибов наберем мешок, и отдохнем. Водки возьмем, у Аимхон и пожарим, а?

— А что?! В воскресенье! Поедем, расслабимся. А Феоктистова я раньше сгоняю к Зайниеву, пусть и в новом колхозе у Аимхон снимает.

## VI

В область приехал в качестве уполномоченного ЦК министр легкой промышленности Сегизбаев. Тургунов встретил его на вокзале и увез на дачу. С дачи позвонил Григорьеву, поручил подготовить текст телеграммы во все райкомы пар-

<sup>1</sup> Тавба — междометие, соответствующее русскому «боже мой», «не может быть».



тии о созыве пленума обкома. На повестке дня один вопрос — организационный. Значит, Тургунов днями уедет, придет новый. Какой он? За полгода работы Григорьева в области Сегизбаев ни разу не приехал, а если и был, то в обкоме не появлялся.

— Набросашь текст — позвони. Через час мы уедем по районам.

— Шалдаев знает о пленуме, Халим Тургунович?

— Знает, я с ним только что говорил.

— На какой день и час пленум?

— Понедельник. В двенадцать. В лекционном зале парткабинета.

— В воскресенье я не буду вам нужен?

— Отдыхай.

— Пленум по организационному вопросу в понедельник, слышите, Зинаида Ивановна? — сообщил Григорьев в соседнюю комнату. — Прощаться будем с Халимом Тургуновичем!

Григорьев составил текст телефонограммы о пленуме, позвонил:

— Едем, Панин, за грибами! Пленум в понедельник. Оргвопрос!.. Послушай, Георгий, а что если взять нам с собой одну милую женщину по грибы?

— Кто такая?

— Я не знаю еще, согласится ли. Если поедет — перезвоню.

«Как бы было здорово увезти с собой Ульянову», — подумал Петр, еще не осознав до конца, зачем ему это нужно. Да низачем! Грибов пусть наберет, воздухом степным травным насытится, загорит немножко.

Он соединился с Ольгой.

— За город?! — В голосе и вопрос, и удивление, и радость слышались Петру. — Когда? В воскресенье? Ах, какая жалость! Я дежурю в приемной в воскресенье. Да, моя очередь. Весь день. Невезучая я...

— Это я невезучий, — пожалел себя Петр. — Грибы-то вы, Оленька, любите, умеете готовить?

— Умею.

— Я привезу вам грибов, товарищ ответственной дежурная. Куда? В обком, конечно! Я ведь не знаю, где вы живете.

— Привозите побольше, Петр Григорьевич! Я, пожалуй, приглашу вас на жареные грибы, если не обманете и привезете.

— Точно привезу.

Милая женщина! Хорошо бы оказаться с тобой среди зеленых холмов, где неумолчный свист сусликов, где в эту пору даже черепахи лобят друг друга и, заглушая разбойничий свист сусликов, столбиками застывших у норок, пение жаворонков в поднебесье, раздается, как на поле брани, гром и скрежет черепаших панцирей... Как ты желанна!

Надежда Алексеевна с вымытой редиской и луком заглянула в дверь.

— Можно на минуточку, Петр Григорьевич?

— Заходите.

— Вот, зелени свеженькой, — положила на подоконник, заговорщицким шепотом сообщила:

— Жена ваша приходила... К Сергею Ивановичу! С доченькой! Такая хорошенькая!

— Кто хорошенькая? Куда жена приходила?

— К Шалдаеву. Минут двадцать как ушла. Дочка у вас хорошенькая.

— Спасибо, Надежда Алексеевна. Она собиралась к Шалдаеву на прием. Насчет работы. И чтобы с яслями помог.

«Какого же черта этот верблюд не приглашает на беседу? Аппетит не хочет мне испортить?» Поймал недоверчивый взгляд секретарши:

— Спасибо за редиску, Надежда Алексеевна!

Как и предположил Григорьев, Шалдаев вызвал его к себе после обеда. Пригласил сесть. Приглаждался молча, изучал, наверное, помощника первого секретаря в новом его, открытом женой, качестве.

— Слушаю, Сергей Иванович.

— Слушаешь?! Это я тебя слушаю. Что у тебя дома происходит?

— У меня? Стена в первой комнате сыреть весной стала. Оказывается, соседи, ну, те, что в соседнем дворе живут, частный дом там, за моей квартирой сарай в коровник превратили; а стена общая. А вы от кого узнали? Ну, про стенку?

— Ты дурачком не прикидывайся! Жена твоя сейчас у меня была. Жаловалась на тебя! Ты зачем жену обижаешь?

— Это не я ее, она меня обижает, Сергей Иванович.

— Может, не ты с ней, а она с тобой разводиться грозит?

— Жена заявление на меня, жалобу в письменном виде оставила? Дайте прощенье, легче будет разговаривать, предметнее.

— Отказалась она заявление писать. Тебя пожалела!

— Настоять надо было, Сергей Иванович. Слов к делу не пришьешь. А заявления нет от жалобщицы — и дела персонального нет. Я хоть и молодой коммунист, а порядок знаю.

Петр понимал, что зря задирается со вторым секретарем обкома, но его уже стало, как говорится, заносить. Он наблюдал за выражением рыхлого, изборожденного глубокими морщинами розового лица собеседника. Вот он осуждающе покачал крупной головой:

— Ничего-то ты не знаешь, молодой коммунист. Ишь ты, храбрец! — Он заговорил доброжелательно: — Чего тебе не хватает, Григорьев? Жена молодая, красивая, с высшим образованием, коммунистка. Дочь родилась у вас... Ты действительно решил разводиться?

Григорьеву уже надоели и тема разговора, и хозяин кабинета. «Надо сказать ему что-нибудь, чтобы отстал», — подумал Петр. Но ответил смиренным голосом:

— Нет, Сергей Иванович, припугнуть хотел. Ну, чтобы задумалась, понимаешь? Она — коммунист, я — коммунист. Оба за семью отвечаем — верно я нашу задачу понимаю? Твердого решения разводиться у меня и в мыслях не было.

— То-то! Семью надо беречь, Григорьев! Ты того, может, бабу на стороне завел? Мужик ты видный, бабам, небось, нравишься, а? — подмигнул блеклым глазом.

— Да я на баб и не гляжу! Тьфу на них, разлучниц!

— Пошучиваешь? Ну-ну! Шути, да помни: партия разложенцев в своих рядах не потерпит! И женщину-мать в обиду не даст. Если понял — иди.

Лукавый все еще подтакивал Григорьева на неразумные поступки и подсказывал напоследок; уже от двери Петр оглянулся, уважительно попросил хозяина кабинета:

— Если моя Клавдия еще придет жаловаться — заставьте ее заявльнице оставаться. А заявление секретарю партийного бюро передайте, зачем вам на чужие семейные дразги время терять, пусть рассмотрят как положено.

— Останавливай, Панин. Оглядишь, грибов-то сколько!

Сперва они собирали все грибы, даже крупные, как шляпка подсолнуха. Когда корзина у Панина и зембель у Григорьева стали полны, они высыпали и отобрали самые маленькие. И потом собирали только самые крохотные. Спины уже через полчаса у обоих одеревенели. Они потирали поясницы, перед глазами, когда выпрямлялись,плыли черные и радужные разводы.

— Представляешь, Григорьев, каково на прополке сорняков или на прореживании, с утра до вечера, колхозникам?

Часам к двенадцати они заполнили грибами коляску до верха, Панин деловито укрыл добычу пологом. Куда, вроде бы, столько? Но охотники уже не могли остановиться, пока не наполнили до краев вместительную корзину и сплетенную из куги хозяйственную сумку.

Потом они выехали на дорогу и рядом с белопенным грохочущим саем разожгли костерок. Петр нарезал прутьев тальника и нанизал на них грибочки.

— Хорошо сидим, Петя, — размягченным голосом заключил Панин. — Хорошо ты придумал сюда удрать от наших баб. Все хотел спросить, кого намеревался с собой захватить, если не секрет?

— А-а, бог с ней.

Они лежали на намытом паводком теплом песочке между валунами. По небу в сторону гор с запада плыли перистые облака. Ниже облаков кружили, каждый на своей орбите, орлы, ближе к земле носились жаворонки, и совсем над землей с поиском метались белогрудые ласточки. От шумного потока пахло снегом и льдом.

Уже оседлав заднее сиденье, Григорьев попросил Панина раньше, чем домой, заехать в обком. Объяснил, что обещал одному товарищу грибов завезти.

Он позвонил от милиционера в приемную:

— Дежурная Ульянова? На выход с мешком!

Панин и Григорьев наполнили хитроплетеную из кожаной обрезки базарную сумку до верха.

— Придется в два приема домой нести.

— А зачем в два приема?! Панин вас мигом отвезет и доставит обратно. А я подежурю за вас. По коням! Смелее, Оля Васильевна!

Несколько дней Клавдия вопросительно поглядывала на мужа. Недоумевала, почему молчит. Неужто товарищ Шалдаев пообещал серьезно поговорить и обманул? Не выдержала, первая заговорила. Спросила с вызовом:

— Чего молчишь-то? Пропесочил тебя Шалдаев? Вон какой шелковый стал!

— А о чем рассказывать? Пойди к Шалдаеву, спроси, он тебе правдивее все изложит. Мне сказать нечего. Признаюсь, приглашал меня Сергей Иванович. Говорили! А что я решил, не скажу. На себе испытаеть. И что о тебе думаю — тоже не скажу. Больше со мной на эту тему не заговаривай! Так и будем жить-поживать, добра наживать. Не мешай мне спать.

Петр проснулся от сознания опасности. Вернее сказать, сон его был нарушен несколькими мгновениями раньше. Находясь на грани между сном и явью, он понял, что кто-то душит его: пальцы чьих-то рук сжимались на горле осторожно, будто крадучись, будто боясь разбудить. В доли секунды Петр прикинул, что никто не мог войти в квартиру неслышно: на окнах решетки, дверь из тамбура во двор — на запоре, а для надежности в ручку продета скалка. Он без особого труда освободил горло от неопытных и нерешительных рук, уже поняв, что душит его собственная жена. В подтверждение догадки на лицо ему упали одна и другая капли. Плачет, дура! Душит и плачет.

Она всхлипнула, когда Петр отпустил ее не сопротивляющиеся уже руки.

— Дура! Шизофреничка! Я спросонок, не разобравшись, мог пришибить тебя! Зажги свет!

— Не надо зажигать, Петя! Подвинься, пусти меня рядышком.

Глаза уже привыкли к темноте. Она сидела на краю кровати, в распахнутом халатике призрачно светилось ее тело.

— Иди спи.

Клавдия легла на край кровати рядом поверх простыни. Он не помешал, но и не подвинулся. Она зашептала в ухо:

— Уже можно, Петь... Докторша говорила, что всего три месяца воздержаться... Уже четыре прошло.

Близость жены не взволновала, он сел, настойчиво повторил:

— Иди! Мне врач сказала, что от квартала до года. Чем дольше, сказала, тем тебе полезней.

— Ты меня не любишь больше? Завел себе любовницу, да?

— Не люблю. За это партия не наказывает.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

### I

Напряженность между новым секретарем обкома партии Артыком Сегизбаевым и его помощником обозначилась тут же после закрытия пленума. Члены обкома покидали зал. Члены бюро обкома — рабочий президиум — окружили Тургунова и Сегизбаева. Григорьев, сидевший в первом ряду, по знаку Халила Тургуновича поднялся на сцену.

— Познакомься, Артык Сегизбаевич, со своим помощником. Подойди, Григорьев.

— При нем хвалить не стану, чтобы не зазнался. Думаю, и тебе подойдет.

Григорьев знал, что отсюда они все уедут на дачу, на прощальный обед, познакомиться за дружеским застольем с новым руководителем. Сегизбаев был такого же низкого, как и Тургунов, роста, метр шестьдесят, не больше, — прикинул Григорьев. Серый китель из добротной ткани с депутатским значком Верховного Совета, широкие, по довоенной моде, брюки свободно спадают на туфли; под кителем, не застегнутым на две верхние пуговицы, — сорочка с галстуком.

— Поехали, чего ждем? — предложил добродушный грузный Нишанходжаев. В руке у Сегизбаева была тощая папка с вытисненной золотом какой-то надписью.

— Я вам больше не нужен? — спросил Григорьев бывшего и нового шефов. Сегизбаев молча протянул ему красивую папку. Григорьев принял ее и спросил:

— Что мне с ней делать?

Наверное, не следовало задавать вопроса — нужно было знать, что делать, или просто не спрашивать. Сегизбаев насупился, молча отвернулся и пошел впереди остальных к крутой лесенке со сцены в зал. Григорьев постоял, пока последний член бюро не сошел, повертел папку в руках, надпись прочел: Министр легкой промышленности А. С. Сегизбаев. «Похоже, не то ляпнул новому хозяину, — подумал помощник. — Затуманился Артык Сегизбаевич, недоволен мною остался...»

Сегизбаев сменил вертящийся тургуновский стул на кресло с высокой резной спинкой, по его указанию под ножки был поставлен сколоченный из досок и застланный ковриком помост. Тщедушный Артык Сегизбаевич терялся на этом троне.

Был новый хозяин кабинета неразговорчив и неприветлив. Была у него еще привычка разговаривать с посетителем отвернувшись.

Он первый раз пригласил к себе помощника и, отвернувшись, спросил:

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Редактирую проекты постановлений бюро.

— Почему этим занимаетесь вы?

— Такое было поручение Тургунова.

— Помощник не должен делать работу за других.

— Я с вами согласен, Артык Сегизбаевич.

— Принесите мне эти проекты. И соберите ко мне заведующих отделами. Вы тоже присутствуйте.

— В аппарате обкома должны работать грамотные люди. Помощник Григорьев освобожден от редактирования проектов, — когда все собрались в кабинете, сказал тихо Сегизбаев, исподлобья обвел взглядом заведующих. — Из отделов должны поступать грамотные документы. От неграмотных работников будем освобождать, пусть доучиваются в другом месте. Проекты должны подписывать те, кто их готовил, заведующие отделами — визировать. После них с проектами знакомятся отраслевые секретари.

Уже апрель кончался. Маляры покрасили дома в два веселых цвета — все четные в фиштакховый, все нечетные — в бледно-розовый. От дерева к дереву повисли кумачовые лозунги. Окна учреждений, витрины магазинов украсились портретами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Усмана Юсупова. Несколько дней оставалось до 1 Мая.

Григорьев ждал Рахимова или вести от него. Дав взятку и поверив, что она принята, Рахимов захочет, конечно, обезопасить себя гарантиями, что дотошный человек даст ему покой, уgomонится.

Все правильно вычислил Григорьев. Появился-таки ловкий председатель передового колхоза. Пришел за день до праздника.

— Можно к вам? — спросил в двери.

«Явился — не запылился», — подумал Григорьев весело. Пригласил радушно:

— Добро пожаловать, Рахманкул-ака! Рад вас видеть! Садитесь, пожалуйста. Чайку сейчас приготовим... Зеленого или черного?

— Зеленого, если можно. — Рахимов в новом коричневом коверкотовом костюме, побрился, видать, в парикмахерской, одеколоном «Шипр» пахнет от него, каждая оспенная рябинка на загорелом лице светится от радости встречи. К лучшему другу пришел! Соскучился. Пришел со сверточком газетным. Сверточек за спину на подоконник положил. Что же у тебя в сверточке, Рахманкул, уж не новый ли подарочек от щедрот? Скоро узнаем.

— Закончили сев, Рахманкул Рахимович?

— Первыми! Уже всходы, по два листочка есть! Спасибо вам, Петр-ака, что привели тогда к Тургунову. Большую помощь обком делал колхозу, все поля большие стали, удобные. И за газету вам спасибо большое. Я ее на сердце ношу, спать ложусь — сперва читаю. Честно говорю! — Он расстегнул китель и из внутреннего кармана извлек областные газеты. — И еще одну газету я берегу. Очень хорошую, очень серьезную статью написала эта О. Васильева! Кто такая эта О. Васильева, спасибо ей хочу сказать?

— Я передам. Пейте чай, остывает... Так слушаю вас.

— Поговорить надо, серьезный разговор есть. — Рахимов уже не светился от радости встречи, упершись сжатыми кулаками в колени и уставясь в пол или на оголовья новых брезентовых сапог. — Если есть время — поедемте в колхозную столовую, посидим, там никто не помешает, закусим немного. Я с машиной. Быстро тогда доехали до дома?

— Самолет! — похвалил Григорьев «студебеккер». — Но жаль, не могу в рабочее время, новый хозяин у меня строгий.

— Вас Халим-ака очень уважал. Этот как? Ничего?

— Ничего.

— Майли...<sup>1</sup> Здесь говорить мала-мала будем. — Помолчал. — Можно дверь закрывать. Ветер дует немного...

— Простудиться боитесь? Окно закройте.

<sup>1</sup> Майли — ладно, пусть, все равно и т. п.

— Майли.. Так, значит... Та-а-ак... Можно один вопрос?

— Слушаю.

— Про сверхплановые посеы как догадались? Или кто сказал?

— Сам догадался. По материалам годового собрания, по сводкам, — признался Петр.

— В сводке ничего нет. Я потом читал сводку внимательно, там все правильно. Или я не все увидел?

— Не все. В сводке видно, что в саду урожай собирали дней пятнадцать. Верно? Почему перестали собирать?

— Кончался — перестали...

— Не кончался. Что-то вас испугало. В сводке написано, что вы третью часть урожая продали соседнему колхозу, или я ошибаюсь?

— Какому колхозу? Не было такого!

— Это вы новому прокурору расскажите, Рахимов.

— Прокурор не будет этот сад искать. Его сверхплановые посеы не интересуют. Я узнал все. В уголовном законе нет наказания за сверхплановые посеы.

— Наверное, нет... В Уголовном кодексе есть зато статья за кражу урожая, за присвоение денег, вырученных от продажи сырья или чего другого. Есть еще партийный закон — быть честным перед партией. Вы эти законы нарушили.

— Пускай будет так. О хитрости моей только вы знаете. Статью О. Васильевой никто не понял, в ней нет слов «скрытые посеы». Это нарочно делали, да?

— Конечно!

— Зачем? Меня пугать?

— Немножко. Я подумал так: прочитает статью умный председатель Рахимов, и если есть посеы, скрытые от государства, — испугается, обязательно придет. Ведь есть колхозы, где из-за нехватки земли хлопчатник официально сеют среди фруктовых деревьев. Вы пришли. Теперь я знаю, что угадал. Посеы эти скрытые, за них вы получили незаконно премию — надбавку за сдачу государству сверхпланового урожая. Следствие узнает, попали деньги в колхозную кассу или присвоены вами. Вот так, Рахимов!

— На окошке лежит двадцать тысяч. Возьми, Григорьев. Это тебе. Забудь, пожалуйста, что знаешь.

— Я взятки не беру, Рахимов. Берите деньги и валите отсюда, пока я милицию не вызвал.

— Я тебя не боюсь, Григорьев! Тогда я сейчас иду к новому секретарю товарищу Сегизбаеву и говорю, что ты сказал: давай взятку, Рахимов, двадцать тысяч, говорил, надо. Теперь сказал — мало двадцать, тридцать надо. Я отказался. Скажу: просил за хорошую статью про колхоз.

— Интересно! Валяй, Рахимов! Сегизбаев у себя.

— Пожалеешь, Григорьев! Из партии выгонят, из обкома выгонят, семья, ребенок голодные останутся, маму, жену пожалей.

— Иди-иди, а то на обед уедет.

— Тогда смотри. — Рахимов подтянул голенища сапог, взял сверток с подоконника. — Пропадешь! Я целый останусь.

Григорьев слышал, как Зинаида Ивановна попросила подождать, ушла в кабинет и через минуту вернулась.

— Зайдите, товарищ Рахимов.

Он достал из сейфа черный пакет из-под фотобумаги, высыпал на стол фотографии; здесь же лежала и копия протокола о том, что неизвестное лицо принесло на квартиру гр. Григорьева П. Г. сверток, в котором оказались... Фотографии Каримова Фархада — увеличенную поясную и где он рядом с Паниным около лошади, положил в рабочий блокнот, закурил. Официантка принесла обед, он только заглянул под салфеточку: суп с вермишелью, мясо жареное, компот. Но не до еды было Григорьеву, знал, что через какое-то время вызовет его «на ковер» нелюдямый шеф. Может, это и к лучшему, что Рахимов полез с этой провокацией к первому секретарю обкома. Это даже хорошо, что обком возьмется за Рахманкула Рахимова. Я сделал, что мог, что надо было.

...«Долго же они беседуют! Ну и явится небось Сегизбаев! Помощник — взятчик! Кого пригред предшественник, какой подарочек оставил на память новому секретарю! А ну, подать сюда Ляпкина-Тяпкина!»

Вот и прозвенел звонок в приемной. Вот и открывается занавес, начинается новое действие в драме о хитромудром председателе колхоза.

— Вас, Петр Григорьевич, — позвала Зинаида Ивановна.

— Садитесь! — пригласил Сегизбаев, мельком оглядев помощника.

Григорьев сел напротив Рахманкула.

— Слушаю, Артык Сегизбаевич.

— Рахимов! Повторите при Григорьеве, что рассказали мне. А вы слушайте внимательно, Григорьев! Говорите по-русски.

— Он по-узбекски хорошо знает, товарищ секретарь обкома, этот самый плохой взяточник.

— Да, понимаю. Пусть говорит на каком ему хочется.

Рахимов повторил свой рассказ.

— Теперь слушаю вас, Григорьев:

— Я не просил и не требовал у Рахимова денег, — заговорил Григорьев. — Он пришел ко мне в кабинет со взяткой. Я отказался принять. Если бы он хотел меня разоблачить, то, не заходя ко мне, пришел бы к вам. У меня он пробыл около получаса.

— Я же говорю, сперва говорил двадцать тысяч. Принес — требует тридцать. Я в долги залез, пока собрал двадцать. Где, говорю, тридцать брать? Поэтому к вам пошел.

Григорьев не стал спорить. Дело в том, пояснил он, что эта взятка — не первая. Он уже присылал мне домой десять тысяч. Это плата за то, чтобы я молчал, не разоблачил его со скрытыми сверхплановыми посевами.

— Это неправда, товарищ первый секретарь Сегизбаев! Никакой взятки раньше он не требовал, я ему ничего не давал.

— О том, что мне в дом в моем отсутствии принесли сверток с отрезом и деньгами, составлен представителями городской прокуратуры акт. Вот копия, прочитай-те... — Григорьев подал Сегизбаеву бумагу. Тот углубился в чтение. Раза два поднимал голову, оглядывал своих посетителей, будто хотел убедиться, что сидят, не исчезли, как духи.

— Оказывается, была взятка, Рахимов.

— Наверное, этот человек, Григорьев, настоящий большой взяточник. Только это не моя взятка, другой человек ему таскал.

— Другой, — согласился Григорьев. — Каримов у меня был. Фархад Каримов, кладовщик колхоза имени Куйбышева.

— Врет! — возразил Рахимов и повторил, но уже тише и без уверенности: — Неправду говорит этот человек! Врет!

— Я всегда говорю правду, Рахимов. Я говорю и пишу в газету, когда уверен в своей правоте. — Он выбрал в блокноте под пристальным взглядом Рахманкула фотографию кладовщика, протянул Рахимову: — Вот он! Это ведь Фархад ваш?

— Ну и что? — пришел в себя Рахимов. — Ваш фотограф много кого снимал в колхозе.

— Это не в колхозе. Это у меня дома, Рахимов. Вот, полюбуйся! Это ворота дома, в котором я живу. Около моих ворот его сфотографировали. — Петр выложил снимок, на котором Каримов и Панин рядом, оба за уздечку держатся.

Сегизбаев протянул руку, потребовал:

— Дайте сюда!

Григорьев передал фотоснимки. Сегизбаев внимательно поглядел на них, сличил, наверное, — похожи или нет запечатленные там физиономии.

— Второй — это Панин, наш редактор. А в калитке — мои женщины, провозжать гостя вышли.

— Что на это скажешь, Рахимов? Совсем ты запутался!

— Чего теперь будет, а? — спросил не у хозяина кабинета и не у того, кто сидел напротив, — себя, похоже, вопрошал.

— Возьмите, Рахимов, фотографии, подарите своему кладовщику. От меня на память. Когда с вами в тюрьму сядет — семье его память останется. И ваших фотографий в редакции много.

— Я пошел, да? — спросил Рахимов, положил фотографии в карман.

— Иди! — приказал хозяин кабинета.

Рахимов встал, одернул новый китель, машинально потянулся рукой через стол и понял, похоже, что руку ему не пожмут, отдернул.

— Что у вас есть на Рахимова? — спросил Сегизбаев.

— Да почти ничего. Дело на него было в прокуратуре. Миллионное! Сгорело, поджог там был зимой. Новое не возбуждали.

— Почему?

— Не знаю... Возобновить его нужно. Есть же дубликаты документов.

— Только не районная прокуратура! Обратимся за помощью в Министерство государственного контроля. Я поговорю с министром.

Петр поднялся со стула и вдруг обратил внимание на газетный сверток на столе Сегизбаева.

— Артык Сегизбаевич! А ведь гость, похоже, у вас деньги оставил! Это же его сверток?!

Сегизбаев молча глядел на сверток. Потом сказал:

— Наверное, забыл? Что теперь мне делать? У вас опыт, да? Может, это он мне теперь взятку подбросил, да?

— Может быть... Я позвоню от себя в прокуратуру. Вам этот сверток в кабинете не нужен.

— Звоните здесь! Сидите, пока не придет прокуратура! Кто еще видел его у меня? Секретарша приемной! Пусть сидит на месте!

## II

Рахимов торопил шофера:

— Жми! Куриные яйца везешь, да? Гони быстрее!

Ярость и отчаяние душили, воздуха не хватало, он с трудом освободил верхнюю пуговицу нового кителя из необмятой петельки. Машина взлетала на гребни и какое-то время передние, а потом и задние колеса отрывались от земли, грохотали откидные сиденья по бокам кузова, огнетушитель, наполненный маслом, бухал по кабине. Перепуганный шофер припал грудью к баранке, на побледневшем лице выступил пот.

— Перевернемся, хозяин!

— Быстрее! Быстрее, приказываю тебе! На хоздвор! К кладовщику гони!

«Ну, держись, паршивый козел! — мысленно грозил Рахимов кладовщику. — Я тебе бороду выдеру, убью! Так подвести!»

На кладовой висели замки. Он позвал старика сторожа:

— Быстрее шевелись, отец! Где Фархад?

— Уехал на арбе... В город, наверное... Утром еще.

— Вернется — пусть сидит на месте!

Как же все нескладно получилось?! Сам в петлю полез! И деньги оставил, совсем ума лишился! Что теперь будет? Тюрьма! Если бы не эти проклятые фотографии... До чего же хитрый этот Григорьев! Все предусмотрел! Приказывал Фархад — отдай и сразу уходи. Сделай он так — и не было бы фотографий. Выходит, ждал Григорьев гостя. И что это со мной происходит? Как неприятности, так есть хочется, барана могу один съесть. Можно пойти в контору, бухгалтер с агрономом ждут к обеду. Но видеть людей, говорить о делах, когда не знаешь, что завтра ждет...

Рахимов пошел домой. «Загнал меня Григорьев, как перепела на люцернике в невидимую сеть, накрыл!»

Фархад Каримов был исполнителем добросовестным. В просторном складе у него порядок: на стеллажах — запасные части тракторов и почвообрабатывающих машин, полосы профильного железа: листы жести в стороне. Мука и зерно — в ларях; отдельно от бочек с керосином и бензином — бочки с хлопковым маслом. Ближе к выходу, боком к зарешеченному окну, стоит его небольшой стол, не поднимаясь из-за которого он мог дотянуться до ближних полок с расхожими мелочами — гвоздями, скобами, сбруей, конской и воловьей, ящиком с инструментами — подарком уральцев.

Хозяин предупредил через сторожа, что придет обязательно, и дисциплинированный кладовщик терпеливо ждал, не зажигая настольную лампу с чистым стеклом. Уже и стадо вернулось, мычание коровы разбрелось по дворам, запахло дымом очагов из тандыров.

Хозяин появился, когда на землю упали густые сумерки.

— Расскажи еще раз, как ты был в доме у Григорьева, — потребовал Рахманкул-ака. — Ничего не упускай! Встань, я сяду! — потребовал Рахманкул-ака. Каримов живо вскочил с табуретки, Рахимов сел, а он снял стекло с лампы, выкрутил фитиль и зажег, убавил огонь.

— Что рассказывать надо? Все я рассказал, как было... Честно...

— Все, говоришь?! — Рахимова душила злоба на лгуна, на этого паршивого пса: зачем врет? — Тогда объясни, честный человек, откуда у Григорьева вот это? Может, ты ему на память оставил вместе с моим подношением? — Он положил на стол фотокарточки. — Узнаешь? А это кто?

— Не знаю...

— Это редактор Панин! Он твой друг, да? Решил перед тюрьмой сфотографироваться с лучшим другом на память, да?

Каримов тупо глядел на фотографии. Как они попали к Рахимову? Тогда, у ворот, не понял, что происходит, не подумал, откуда взялись эти два человека в доме Григорьева. Этот Панин сказал, что случайно зашел к Григорьеву, думал — дома он. И когда молча щелкал второй человек своей машинкой, разве мог он предполагать, что так все плохо обернется.

— Тюрьма будет, да? — испуганно прошептал Каримов. — Зачем мне тюрьма, хозяин?

Рахимов ухватил склонившегося над столом кладовщика за края халата.

— Нет! Тюрьмы тебе не будет! Я убью тебя, паршивый пес!

Он резко поднялся и потянул на себя сопротивляющегося жилистого кладовщика, норовя ударить головой в челюсть, но сокрушительного удара не получилось, противник успел подставить под голову ладони, и оба опрокинулись на пол. Рахманкул вскочил на ноги раньше и увидел, как Каримов вынул из-за голенища нож. Кладовщик уже встал на четвереньки, когда Рахимов ударил его табуреткой по голове и потом уже поверженного бил в слепой ярости ногами до тех пор, пока не понял, что тот уже давно не пытается уползти, не шевелится и не стонет даже. «Убил, — понял Рахимов, — человека я убил! Бежать надо, скорей, спастись надо! Спокойно надо! Что буду делать, а? Лампу потушить надо. Ворота запирать надо или не надо? Запру — дальше не хватятся Фархада, уйду далеко. Куда бежать? В Ленинабадскую область надо, там много узбекских кишлаков, спрячут...»

Рахимов еще раз наклонился над телом Каримова: не дышит. Пятясь, чувствуя, как холод страха пробежал по спине, он добрался до стола и погасил лампу. Оглядел просторный двор, пустой в этот час, только в сторожке у ворот в окне горел свет. Рахманкул запер за собой висячий амбарный замок и направился в сторону конюшни.

— Запряги Каро! — приказал он конюху. — Я в город. Возможно, заночую у Исана, у него гости сегодня.

Дома Рахманкул снял на айване тяжелую клетку, унес в комнату. Потом принес из чуланчика ковровую переметную суму и зажег лампу под потолком. Вытянул чемодан из-под кровати и высыпал деньги на пол. Пачки сторублевок он завернул в поясной платок. Услышал, как открылась калитка и всхрапнул конь, вышел на айван и приказал конюху привязать Каро около калитки. Мать пришла со своей половины.

— Ты куда-то собрался, Рахманкул? Ужинать будешь?

— Ужинать не буду. Я уезжаю. Заверни в тряпку пару лепешек и кусок казы или отварного мяса. — Голос был ровен, он уже успокоился и делал все споро: в одну половину хурджуна положил на дно тяжелый узелок с драгоценностями, в другую — завернутые в полотенце деньги. Сверху втиснул в одно отделение старый китель и бриджи, другое он оставил для еды на дорогу. По карманам рассовал несколько пачек десятирублевок.

Он позвал мать. Та пришла и увидела пачки денег на низеньком столике, уложенный в дорогу хурджун.

— Сядь, мама! — Он помог ей сесть. — Не спрашивай, а слушай. У меня нет времени. Я убил человека. — Мать в ужасе зажала рот ладонью.

— Ты убил человека за эти деньги?!

— Нет, — ответил он, — эти деньги мои. В хурджуне много денег. Эти я оставляю тебе. Спрячь их, чтобы никто не нашел. Милиция придет с обыском — чтобы не нашла милиция. Трать их на себя... Я уеду далеко. Я напишу себе колхозную книжку на другую фамилию. Наверное, устроюсь в городе на незаметную должность, паспорт получу. Потом позову тебя... Если не поймают...

— Поймают, сынок.. По следам оспы найдут, тогда расстреляют, да? — Мать не плакала, чего больше всего боялся Рахманкул. И не укоряла.

— Нет... Если будет мне тюрьма, то ты дождись меня, не болей. Кроме тебя, у меня нет никого. И у тебя нет никого.

— Это не так, сын мой. У тебя двое детей растут в кишлаке, это и мои внуки.

— Ты об этом знаешь? Почему мне не говорила?

— Ты мужчина! Ты должен сам решать.

— Спасибо. Я много чего делал не так, как надо. А сейчас что я могу?

— Разреши, я дам матерям твоих детей денег... Я помогала им чем могла, но что я имела?!

— Хорошо... Скажи Фатиме, если согласна стать моей женой, пусть ждет. Будет у меня готовый сын. Прости меня, мама. Мне надо спешить. Где еда, вынеси мне к коню.

Он надел халат и поверх него еще брезентовый плащ.

— Не плачь и не причитай. Услышать могут, — попросил он. — Вряд ли я смогу дать тебе весть, это опасно для меня. Ты просто жди, сколько хватит сил.

Мастурахон стояла у калитки, закусив конец головного платка, чтобы не кричать от обрушившегося на нее ужаса. Уже и звук конских копыт давно смолк, а она все вглядывалась, вслушивалась в темноту.



Кладовщик Каримов не умер. Первой забеспокоилась семья: Фархад-ата, такой аккуратный, не пришел ночевать домой и не появился ни к завтраку, ни к обеду. Кто-то догадался заглянуть в окошко склада и разглядел его, распростертого на полу. Замок сломали. Стали искать председателя и дознались от сторожа, что последним к Каримову приходил председатель, а когда ушел — сторож не видел и не слышал. А конюх объяснил, что уехал раис поздно вечером на Каро к Фазылову домой. Секретарь парторганизации Исмаил Фаттахов позвонил в кабинет секретаря райкома. Трубку взяла секретарь приемной. Нет, сказала она, Рахимов в райкоме не был, а Эсан Фазылович вечером проводил совещание в первой МТС и сейчас, наверное, дома, обедает.

— Найдите где угодно, — попросил Фаттахов. — Пусть срочно приезжает. У нас в колхозе убийство и пропал с вечера Рахимов. Милицию сюда надо, врача надо. Посылайте к нам милицию и врача сразу.

Судебно-медицинский эксперт осмотрел, послушал пульс и сердце Каримова и, встав с колен, сказал:

— Жив!.. Пока жив!.. Надо в больницу. — Нож подобрал осторожно, завернул...

— Это Фархада нож, — объяснили из толпы свидетелей.

И тут обратили внимание на фотографии. Их тоже приобщили к делу.

О происшествии в колхозе Куйбышева в обкоме узнали вечером того же дня.

А на другой день Ульянова пришла к Григорьеву:

— Петр Григорьевич! Наша статейка имеет отношение к этому происшествию? Только честно!

— Самое непосредственное, Оленька Васильевна! Змеюшник мы потревожили. Лучше скажите, как грибы, пришлись ли по вкусу, Оленька Васильевна?

— Грибы.. Готовы, наверное. Я их маме отнесла, она мариновала. Отличные грибы, сказала, один к одному.

— У вас мама в городе есть? А я думал, вы одна здесь живете.

— Я живу одна. А здесь у меня и отец, и мать, и бабушка жива. В своем доме они живут, около кладбища православного... В двух кварталах от меня. Я принесла домой две литровые банки. Вы можете прийти ко мне. Мне хочется, чтобы вы побывали у меня в гостях.

— Когда, Оля?

— На той неделе мне в командировку, но я задержусь на день, если вы придете.

— Я ведь тоже могу взять командировку. Воскресенье послезавтра. Берите командировку с понедельника.

— Ладно... Петенька Григорьевич. Я пойду?

— Спасибо, Оля! Конечно, идите... Как вы меня обрадовали!

— Сильно? Когда придете ко мне — расскажете, ладно?

— Если можно, я провожу вас сегодня до дома. Чтобы знать, где живете.

— Отлично! Подождите меня сегодня у телеграфа... Минут десять пути оттуда.

... Она догнала Петра на углу, взяла под руку, и он прижал прохладные пальцы к своему теплому боку:

— Замерзли руки?

— Нет... Сейчас — за угол... Вечер какой хороший... У вас очень сильные руки, — Ольга стиснула ласковыми пальцами его руку, и он напряг мышцы. — Ого! — сказала Ольга. — Прямо стальные!

Опять произошло чудо, свершилось волшебство, как тогда у окна в приемной, где они любовались поздними розами; между ними возникло поле взаимного притяжения. Их четкие тени выплывали на освещенные голубые стены домов из-за спин, обгоняли их и, становясь все длиннее, сползали на землю, истаявали в свете фонаря, к которому неторопливо приближались.

Они перешли перекресток и свернули направо. На широкой и безлюдной улице было тихо и темно. Лишь метрах в ста горела лампочка без колпака. Темны были окна домов, по правой стороне тянулся высокий забор воинской части с красными, должно быть, большими звездами на створках.

— Вот мой дом родной, — певуче сообщила Ольга. — Вот эти три окна — мои. И парадное. Но оно заколочено... Одну минутку. — Она тихо открыла калитку и, оглядев двор, позвала Петра. Он зашел. В темноте угадывалась стена соседнего дома, что-то чернело в глубине. Ольга стояла спиной к Петру совсем рядом, прислушивалась к дворовой темени.

— Все спят, — сказала Ольга.

Он осторожно привлек ее за плечи. Женщина не отстранилась, и эта доверчи-

вость придала смелости, он поцеловал ее в затылок. Ольга осторожно сняла его руки с локтей и положила, будто запахнулась ими, на грудь. Потом повернулась к нему, прижалась всем телом, повесила сумочку на ручку калитки и забралась теплыми руками под каламянковый китель.

Они задыхались от поцелуев, от волнующей близости.

— Что же это мы, как школьники? Тебе же будет плохо! Потерпим до понедельника, милый.

И еще несколько минут он целовал губы, глаза, теплую шею, от которой сильнее, чем розами, пахло живой плотью.

— Желанная, какая ты желанная! — шептал Петр между поцелуями.

— Я это знаю... Идите, Петр, вас, наверное, хватились уже... — она ласково подтолкнула его к калитке.

В колхозе имени Куйбышева состоялось общее собрание. Были на нем Эсан Фазылов, несколько районных руководителей, от области — Тростянская, Манукян. Перед началом собрания пригласили членов правления в опустевший кабинет беглого председателя — посоветоваться, кого рекомендовать от имени райкома.

— У райкома партии есть мнение предложить кандидатуру главного агронома Фаттахова Исмаила, он же и секретарь партийной организации, — сказал Фазылов. — Какое будет мнение?

— Если можно — я скажу, — поднялся Фаттахов.

— Говори, — согласился Фазылов.

— Народ хочет Ахмадалиеву.

— Но она председатель другого колхоза! — возразила Тростянская.

— Зачем этот колхоз? Это выдуманный колхоз! — воскликнул Фаттахов. — Зачем два колхоза в одном кишлаке? Зачем два председателя, два главных агронома, два председателя совета урожайности, зачем два зампреда по работе с женщинами, две бухгалтерии, два склада, два коровника? Зачем?! Где о деле думают, там мелкие хозяйства в одно объединяются!

— Он дело говорит, — согласился Манукян.

— На общее собрание придут и все члены колхоза Аимхон, — сообщил главный агроном. — Послушаем народ на собрании.

— Мы что, должны идти на поводу у колхозников? — возмутился директор МТС Базаров. — Райком решил! Это ты, Фаттахов, провел агитацию?

— Немножко поработал, — согласился тот.

Собрание членов двух колхозов приняло решение из двух пунктов: положительно решить вопрос о слиянии, председателем нового укрупненного колхоза избрать Аимхон Ахмадалиеву. Только четыре человека не подняли за нее руки, среди них главный бухгалтер Ташев и старший табельщик Наврузов...

Мастурахон избегала односельчан. Она еще находила силы выходить на поле с кетменем, настороженным слухом ловила разговоры о делах в колхозе, боясь пропустить хоть слово, касающееся судьбы сына. Рахманкул уехал в ночь и как в воду канул. Она все ждала, что поймают его, приведут или привезут в кишлак со связанными руками.

Деньги, деньги... Все из-за них. Говорят, что огромные деньги присвоил Рахманкул. Даже количество называли, да не для ее разума. Может, эти-то деньги он и оставил на сохранение? Отдать их надо. Меньше тогда наказание будет. «Отнесу в контору этим чужим людям, скажу: вот, Рахманкул приказал передать это».

#### IV

Окна у Ольги освещены в обеих комнатах, в одном открытом — она. Ждала! Стол был уже накрыт. Грибы в большой пиале, хлеб под салфеточкой, печень трески, зелень свежая, бутылка водки и бутылка чего-то черного, наливки наверное.

— Ну вот, что успела. Еще пирог есть, с луком и яйцами, ты любишь такой пирог? Это я маму еще вчера попросила... Я разогрею это на сковородке.

Она встала за спиной и прижалась, как он позавчера за воротами, положила подбородок на плечо — наверное, на цыпочки привстала.

— Садись, Петя-Петенька... Где тебе удобнее?

— Не сердись, Оля, что ничего с собой не принес. Не хотелось со свертком из дома уходить, да и из обкома тоже.

— О чем ты! Наливай лучше! Мне вишневки... полрюмочки...

Он разлил по рюмкам. Она положила ему на тарелку всего помногу и себе — чуть-чуть.

— За тебя, Оля.

— И за тебя, — откликнулась она и добавила: — за нас давай... Пусть нам будет хорошо.

Она выпила и ушла в прихожую, половина которой была кухней, и принесла на тарелке пирог.

Они выпили еще по одной. Петр закурил.

— Умница ты, что пригласила меня. Какая ты умница, даже ты не знаешь.

— Может, и глупая. Не суди меня строго, пожалуйста. Я ждала этого часа... Ты выпей еще, если хочешь.

— Нет. Я хочу тебя целовать. Больше ничего не хочу!

— Тогда иди за мной.

Она сняла с кровати пикейное одеяло и откинула простыню.

— Я сейчас вернусь.

Он лег на спину, до пояса укрылся простыней, от наволочки пахло свежестью.

Оля вернулась, выключила свет, но он лился в открытую дверь. Она прошла к трельяжу, и настороженный слух зафиксировал: скинула халатик. Слышно было, как она надушенными ладошками провела по телу, и понял, что пропал. Оленька сейчас нырнет к нему под простынку. Что же ты, Оля-Оленька, со мной натворила?!

... Но Оля уже наклонилась над ним, и он каждой живой клеточкой, каждым нервом ощутил на своей груди упругую тяжесть ее маленьких теплых грудей. Петр обнял ее покорные плечи и прижал к себе податливое тело.

Она целовала неумело и робко, он не мешал ей. Потом легко опрокинул ее на спину:

— Теперь я буду тебя целовать, милая.

... Они лежали рядом, она заботливо обмахивала его тело краем простыни.

— Как интересно. У тебя все тело огнем пышет, а у меня прохладное. Это почему так?

Он рассмеялся тихо:

— Не знаю.

— Тебе хорошо было со мной?

— Удивительно, как хорошо!

— Правда? Дай честное слово!

— Честное! Ты удивительная! Мне никогда не было так хорошо!

— Я словно плыву куда-то... Может, ты хочешь закурить? Я для тебя папиросы в финхозсекторе выпросила. Лежи, я подам тебе.

Она неумело прикурила папиросу, закашлялась, вложила ему мундштук в губы.

— Кури пока, я сейчас.

Он проводил ее взглядом, любясь удивительно ладной фигуркой. Она вернулась, неся перед собой табуретку с пирогом на тарелке:

— Может, ты выпить хочешь?

— Я тебя целовать хочу, — сказал он. — Иди скорее ко мне.

— Ты удивительный, — шептала она.

— Это ты удивительная. Поэтому нам так хорошо...

— Как жаль, что тебе нужно уходить. Если бы можно было продлить счастье до утра. На Новый год мне бабушка нагадала возлюбленного, голубоглазого и светловолосого «принца». Она чуть-чуть только ошиблась, глаза у тебя серые. В ту новогоднюю ночь я уже знала, что бабушка мне про тебя нагадала. И я дала себе слово, что буду твоей. Я скверная бабенка, да?

— Нет, Оля! Ты очень хорошая! Мне повезло.

Комната озарилась синим светом молнии. Прогрохотал гром — и по крыше, глухо, и по железному подоконнику, весело, застучал дождь.

— Дождь... Как ты дойдешь?

— Добегу. Посмотри на часы, они на столике.

В среду у Сегизбаева день приема по личным вопросам. У каждого из секретарей теперь свой день. Рядом с милиционером на стене появилось в раме под стеклом расписание приемных дней. В этом был резон: жалобщики не ждали часами первого секретаря у подъезда — а к нему попасть хотели все. У первого секретаря, не в пример Тургунову, поубавилось забот. Собственно, поубавилось их у Григорьева, фильтровавшего тех, кто шел на прием к Тургунову, и решавшего лично многие из их проблем. Но теперь в приемные часы, в среду, помощник был обязан

присутствовать на встрече шефа с посетителями. Это тоже было интересно — наблюдать, как беседует Артык Сегизбаевич, как решает их дела. Потом Григорьев, заглядывая в блокнот, сочинял запросы, ходатайства, указания в различные инстанции.

Собственно, только в эти часы помощник Сегизбаева сознавал свою нужность в обкоме: в отличие от Тургунова, его преемник получал все документы и почту первого секретаря сам.

— Ты что мне сегизбаевскую почту не занносишь? — поинтересовался Григорьев у Дробовникова.

— Он распорядился ему лично отдавать.

Ладно бы отстранил от особо секретной и секретной. Из общего отдела обычные письма тоже стали миновать его. Не доверяет, что ли? Или по добросовестности просто не передоверяет? Поживем — увидим. Петр стал мнительно анализировать отношения к себе угрюмого, недоверчивого шефа. Радоваться было нечему, он сам сознательно шел на конфликт. Может, в этом все дело, но иначе Петр Григорьевич поступить не мог. Неделя две назад Сегизбаев вызвал его к себе и, выложив из бумажника тридцатку, сказал:

— Принеси три пачки «Северной Пальмиры» и на остальное спичек.

Закипая от унижения, Петр взял «красненькую» и позвонил от себя в буфет. Когда официантка Люда принесла папиросы и спички, он передал ей деньги и сказал:

— А это занесите Сегизбаеву... — Надеялся, что поймет новый шеф: не следует унижать самолюбивого помощника.

Не понял. А может, решил перевоспитать, только через несколько дней опять вызвал по этому же поводу. Кипя от обиды и злости, Григорьев, уже не выходя из кабинета, позвонил в буфет и распорядился принести товарищу Сегизбаеву папиросы и спички. И, разглядывая ежик коротко остриженных, с проседью, волос на затылке отвернувшегося хозяина кабинета, спросил:

— Я вам больше не нужен?

Сегизбаев долго молчал, потом Григорьев услышал:

— Идите.

«Обиделся... Что же теперь будет, Григорьев? Как же просто было работать с Тургуновым! Что же делать? Если еще раз повторится подобное, придется уходить из обкома...»

— Ты чем-то расстроен, милый? — спросила его Оля. — Дома что случилось? Дочь заболела?

Они лежали поверх простыней, уставшие от ласк, она гладила его брови, нос, водила по сухим горячим губам.

— Сложные отношения у меня с Сегизбаевым. Назревает конфликт. Но ты не думай об этом. Все образуется.

— Мне будет больно, если ты уйдешь из обкома. Ты уж потерпи ради меня. Я, наверное, получу назначение в школу. Директором. В ту самую, которую кончала и где работала до обкома. Не задирайся с ним, пожалуйста, стерпи до осени.

— Постараюсь. Я на работу и сейчас хожу с радостью только потому, что знаю — увижу тебя хоть мельком. Как хорошо, что ты есть!

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

### I

Демонстративное нежелание помощника выполнять мелкие поручения Сегизбаева было понято так, как ему и хотелось. Больше Сегизбаев не поручал ни сходить за папиросами, ни носить тощую папочку до машины к подъезду. Сегизбаев вообще больше ничего не поручал непокорному сотруднику, как будто в его ближайшем окружении и не было некоего Григорьева.

Пожалуй, в самый раз позвонить Голенко, говорил же Александр Куприянович, чтобы звонил, когда будет трудно. Вот и стало трудно. Дождавшись, когда Сегизбаев уехал в районы, по телефону правительственной связи соединился с Голенко и рассказал о своих взаимоотношениях с первым.

— Дольше сидеть бессмысленно, я подам заявление.

— Подать заявление ты мог и не советуясь со мной.

— Вспомнил ваши слова, что когда трудно будет — звонить. Вот и звоню. Меня Сегизбаев держать не станет, но в области оставаться собкором мне не резон.

— Тогда слушай, что тебе делать. Потерпи неделю-другую, не лезь на рожон. Есть вариант. Вернется Вахабов, поговорю с ним. Думаю, поддержит.

— Какой вариант?

— Пока не скажу. Я дам тебе знать, как переговорю.

## II

Вызов Григорьева в ЦК поступил на имя Сегизбаева за подписью секретаря по идеологии Вахабова. Сегизбаев даже не пригласил помощника по этому поводу, начертал наискось телеграммы: «Финхозсектор. В приказ». О вызове Петр узнал, когда из бухгалтерии принесли командировочное удостоверение и деньги. Он позвонил Ольге:

— За вами, Ольга Васильевна, справка по интернатам. Можете не спешить, я ночным уезжаю в Ташкент, в ЦК вызвали. Если не будет билета, то утром улечу первым рейсом. Наверное, на неделю.

— Поняла, Петр Григорьевич, — ответила Ульянова.

Умница, с полуслова поняла, что улетит самолетом, что еще одну ночь подарил судьба. Потом он позвонил на аэродром и заказал место на утренний рейс, послал шофера выкупить билет.

Григорьев рассказал Голенко о трудных взаимоотношениях с новым шефом.

— Я бы не просил о помощи, если бы была уверенность, что смогу спокойно работать в области после ухода из обкома. Один Меденякин чего стоит...

— Да, характер у Сегизбаева не сахар, наслышан. Так вот, Петр, есть у тебя возможность выбора. Или учеба в Высшей партийной школе, в Ташкенте или Москве. Знаешь, что с прошлого года такие школы созданы? Второй вариант: редактором в областную газету. Думай!

— Я журналист, Куприянович. Ни один вуз еще не научил никого хорошо писать! Поеду в область редактором.

— Приезжай с семьей в Ташкент, — приказал Голенко. — Приедешь и слетаешь к новому месту работы. Представишься секретарям обкома.

Из агентства Григорьев позвонил домой, сообщил, что приедет через три дня утренним поездом.

— Собирайся не спеша в дорогу. Подробности расскажу дома.

Потом позвонил Ольге:

— Славная моя! Соскучился! Приеду послезавтра вечером. Все расскажу! Целую тебя, любовь моя!

Два дня было свободных. Он обмел пыль в квартире, вымыл полы — пусть мать после ночи в вагоне хоть с этим не хлопочет, сходил на Алайский рынок и загрузил две авоськи картофелем и овощами. Улицу Широкою, примыкавшую к рынку, с начала войны захватила «барахолка». Он долго заглядывал в руки продавцов, пока не увидел то, ради чего толкался в густой толпе, — хорошие духи. Чем бы еще порадовать любимую? Да, любимую... В самые интимные, самые радостные минуты он не сказал ей этого слова, а по телефону назвал... А вон та штука на плечиках, прозрачная и легкая, как называется? Пенъюар, кажется... Неужто не обрадуется девочка?!

Обрадовалась девочка. Еще как! Примерь, попросил Петр.

Она возникла в дверях, через прозрачную ткань видно было ее матовое тело.

— Ну, как?

— До чего же ты хороша, Оля! Сядь, поговори со мной. Я тебе кое-что сказать должен. Может, и ты захочешь что-нибудь мне сказать. Ты такая соблазнительная, что меня на долгий разговор не хватит, поэтому не перебивай.

— Ладно, не буду соблазнять. — Она села напротив: — Говори!

— Меня вызвали в ЦК на повышение. Если утвердит Москва, буду редактором областной газеты. Я попросил у жены развод. У меня нет надежды, что она согласится. Но я все равно разойдусь с Клавдией. Возможно, меня выгонят из партии. Пойду работать в цех или за руль сяду. Я умею писать. Любая газета охотно станет публиковать очерки и статьи рабочего корреспондента. Если исключат, я не напому тебе о себе.

— Слушай меня, человек мой дорогой. Если с тобой расправятся — дай мне

знать. Только я скажу тебе то, чего раньше не говорила, чего ты не знаешь. У меня есть сын. Ему восемь лет. Он живет у бабушки.

— Я и не подозревал.. Ни одной фотографии у тебя его не видел... Как его зовут? Ты что, отправила его к своей матери только потому, что я появился?

— Нет. Работа в обкоме с утра до ночи, командировки... Не могу же я его оставить одного. Карточку его я и правда сняла. Видишь гвоздик между окнами? Там она висела. Но на ней и я с мужем, втроем, Валере год был... Подумала, что лучше ее снять... В субботу после работы я живу у родителей. До понедельника... Возьмешь меня с сыном?

### III

Он снялся со всех учетов.

— Достань мне денег, — сказал жене.

— Зачем тебе деньги?

— Билеты вам купить. Семьсот с лишним рублей за грузовую машину, на дорогу. Я хочу проститься с сослуживцами. Тысячу полторы-две.

— А нельзя без пьянок?

— Я с сослуживцами, с приятелями хочу проститься, положено так у нормальных людей!

— Возьми у меня, сынок, пенсию я скопила, — предложила мать.

— Нечего в чужие дела вмешиваться! Сами разберемся! — отрезала Клавдия. Мать и жена давно не любили одна другую. Старая молодую — за то, что была несправедлива к сыну, молодая злилась, когда мать брала сторону «своего дитяти».

Отстаивая свои позиции, утверждая за собой права единовластной хозяйки в семье, Клавдия бывала груба со свекровью. Но в присутствии мужа не осмеливалась говорить подобное.

— Что ты сказала? Повтори! Извинись сейчас же!

— Что надо, то и сказала, не твое дело!

— Не извинишься?

Лицо у жены покрылось пятнами и глаза стали смотреть в разные стороны.

— Выйди, пожалуйста, мама, — попросил Петр.

— Не надо, Петя, — заволновалась мать.

— Я ей кое-что скажу, а тебе этого слышать не надо.

— Так вот. Ты должна знать, что я тебя давно не люблю. Я тебя никогда не любил. Тебя не за что любить. А за оскорбление матери я тебя презираю. В Ташкенте я подам на развод. Можешь жаловаться на меня куда угодно. Я не буду с тобой жить ни часа, даже если суд нас не разведет. Никто не принудит меня лечь с тобой в постель. Ты мне противна!

— Нечего было жениться! — резонно заметила жена. — Я тебе в жены не навязывалась!

Это была правда. Не навязывалась.

— Да! Моя вина и моя беда. Дай мне развод. Если хочешь — оставайся в этой квартире. Хочешь жить в Ташкенте — уговорю мать оформить квартиру на тебя. Ее я увезу с собой. Ты можешь уехать к родителям. Выбирай.

Григорьев посадил своих в вагон, внес чемоданы, дочь спящую тихонько поцеловал в потный лобик.

— Найду машину завтра — завтра и выеду, тогда послезавтра буду. Иначе на сутки задержусь.

... Машину он нашел в облпотребсоюзе. Посылали ее за каким-то грузом, в кузове лежал большой брезент и две связки веревок. Шофер приехал под вечер. Соседи помогли Григорьеву плотно разместить мебель и узлы, последним поставили диван спинкой в сторону кабины и закрыли брезентовым пологом.

— Часов в десять выедем, хозяин. Я пару часов посплю и приду.

— Зовут-то как, шофер?

— Владимир.

Петр сходил с сумкой на рынок, купил отварного бараньего мяса в столовой, лепешек, полдюжины бутылок минеральной воды — не от голода, так просто пожевать — сон разогнать. Как долго тянется время, когда ждешь. Шофер что-то припаздывал... Нет ничего хуже, чем ждать или догонять!

— Ничего, хозяин, нагоню! Не удалось поспать... Знаете анекдоты? Как попросу — рассказывайте, посмешнее которые. До рассвета еще будем в Ленинабаде. Там узнаем у шоферов, можно ли напрямки через холмы на Янтак — Буку. Нет, так через Мирзачуль — Чиназ, часа два потеряем. Можно по дороге подкалымить?

— Почему нет? Диван не просидят.

Уже за полночь на краю кишлака вышли из-под дерева двое — один с бараном, другой с козой. Попросили довести до Ленинабада. Базарный день начинался.

— Ничего, — утешил себя Володя. — Поедем населенными местами, наверстаю, два часа ничего не решают. Вот кузов дерьмом засыпят.

Они остановились в Ленинабаде около скотного базара на окраине города, когда на востоке посветлело небо и обозначились контуры дальней горной гряды. В прибазарных чайханах уже кипели самовары, из караван-сараяв люди выводили коров, бычков, коз и овец, несли связанных за ноги кур. Улица заблела и замычала.

— Перекусим, — предложил Петр.

Они жевали холодное мясо, запивали чаем. К машине подошла женщина с девочкой лет семи и маленьким ребенком на руках, посадила девочку на подножку и сама присела рядом.

— Вот и есть первые пассажиры, — отметил Володя, ушел к машине, переговорил с женщиной и вернулся. — Есть! До кишлака Нау. Ребенок у нее больной. Просится в кабину.

— О чем речь, я с удовольствием в кузове поеду, от бензина тошнит уже. Отдай ей остатки мяса и лепешки.

Машина тронулась. Петр прилег на диване, укрыл плечи тужуркой и задремал. Вскоре машина снова встала. Потом на дно упало что-то мягкое, Петр открыл глаза: в кузов вбросили скаток одеяла, потом над бортом возникло бородатое лицо и плечи нового пассажира. Он взбирался, не сняв с плеча переметную суму, и Петр узнал в новом попутчике Рахманкула Рахимова — узнал по битой оспинами коже на лбу и носу, по коричневому кителю. Петр натянул кожанку до глаз. Вот это встреча! Кто же это так верно угадал, что в Ленинабадскую область бегут от суда и от мести язьяванцы. Куда же его сейчас-то понесло? Если узнает — быть драке. А отпустить нельзя. Как его милиции передать?

Рахманкул лишь мельком оглядел лежавшего на диване и прочно уселся на одеяло спиной к ветру, положил суму между ногами.

Григорьев понимал, сколь опасно оказаться в лежачем положении, узнал его Рахимов. Он тихо сел за спиной у бегдеча. В голенище правого сапога у Рахимова виднелся конец рукоятки ножа. Вроде не ходил он раньше с ножом, с камчой на запястье ходил. И коня нет — продал, значит.

Захотелось курить, но Григорьев боялся чиркнуть спичкой: на звук непременно оглянется; надо будет обнаружить себя, окликнуть Рахимова, когда в населенный пункт въедем. Сейчас в любом многолюдно на улицах, базарный день.

Вскоре женщина с детьми вылезла в каком-то большом селении. «Нау называется, вроде. Это еще таджикская земля. В Узбекистан надо въехать, часа через два Мирзачуль будет. Там я всех районных знаю и меня все знают. Там окликну. Лишь бы не подсел никто в кузов, сразу тесно станет от лишнего пассажира...»

Голова у Рахимова клонилась то вперед, то в стороны, он вздрагивал, вскидывал голову, повязанную через лоб грязным платком, подремывал.

Улыбала назад грунтовая пыльная дорога, по которой в сторону Мирзачуля двигались арбы, верховой и пеший народ. Значит, скоро Мирзачуль.

Когда машина на въезде в Мирзачуль миновала мост через небольшой канал, Григорьев, не спуская глаз с Рахимова, тихо перебрался повыше, прочно уселся на бок платяного шкафа, примыкавшего к дивану. Закурил, наконец.

— Рахманкул! — тихо позвал Григорьев, не сводя настороженного взгляда с согбенной спины; вздрогнула спина, поднял голову Рахманкул, огляделся по сторонам. Наверное, подумал, что во сне услышал свое имя.

— Рахманкул Рахимов! — громко окликнул Григорьев.

— Ты кто? — не оглянувшись, спросил Рахимов.

— Григорьев я.

— Баракалла<sup>1</sup>! Наверное, так угодно Аллаху, чтобы ты меня преследовал всю

<sup>1</sup> Баракалла — возглас, выражающий изумление: «боже мой!», «вот тебе и на», «скажи на милость» и т. п.

жизнь. Я посмотрю на тебя?

— Смотри. Но не вздумай кинуться на меня, убью. Поворачивайся не вставая. Рахимов перекинул через мешок одну, потом другую ногу, повернулся:

— Да, это ты... Не помогла мне борода...

— Волосы на носу не растут. Следы оспы тебя выдали. Да и костюм твой знаком.

— Что со мной делать будешь?

— Сдам в милицию.

— В колхозе был? Не знаешь, как мать моя?

— Здорова была. Она деньги, что ты ей оставил, следователю сдала. Чтобы участь твою облегчить.

— Не поможет мне это. Ты все знаешь, журналист. Что мне за убийство будет?

— Кого ты убил? Кладовщика? Живой кладовщик.

— Живой! — Рахимов от удивления привстал. — Мертвый был, сам видел.

— Не умер он. Печень ты ему отбил, два ребра сломал.

— Нож он вынул. За то, что сфотографировать себя позволил, наказать немного хотел, а он за нож взялся... Так он живой, значит!

— В больнице он. Показания следователю дает.

— Пускай... Тогда что за мной остается? Сверхплановые посева, которые ты нашел... Узнавал я, за это тюрьмы не будет, уголовный закон молчит про приписки. Остается спекуляция большая сухофруктами... Та-а-ак... Немножко шахермахер делал.

— Много ты денег колхозных присвоил. «Большевику» часть урожая продал — деньги присвоил, — заметил Григорьев.

— Мелочь!

— За тобой и другие нарушения серьезные есть.

— А ты, Григорьев, знаешь такого председателя, который нарушений не делает? Нет таких! Знаешь, кто такой председатель колхоза? Он как канатоходец! Видел канатоходца?

— Видел.

— Это ты меня смотрел! Что получается?! Председатель работает, как по канату идет, кругом пропасть. А на плечах у него, на голове друг на дружке стоят, сидят, на руках висят — райзо, уполминзаг, райфо, райком-райисполком. И все требуют, все учат, все командуют! План давай! Обязательство давай!! В счет будущего года давай! Все командуют, когда пахать, когда сеять, что сеять, сколько чего сажать! Одному — дай, другому — дай! Попробуй отказать — акт плохой будет, скандал будет! Куда писать расход? Общественное питание — раз! Детский сад — два! Липовая ведомость на выдачу хлеба и денег на трудодни — три! Ты это тоже знаешь, ты тоже среди почетных гостей в колхозах сидишь, около дастархана. Почему об этом не пишешь, журналист? Боишься?

— Ты другим давал, но и себя не забывал, — заметил Григорьев.

— Когда один раз возьмешь — остановиться еще можно. А потом уже это сильнее тебя. Я сам сколько раз думал — зачем мне столько? — Рахимов пнул ногой хурджун. — Я из-за него ночами не спал, боялся, что украдут. Как сторожевой пес жил. Боялся людей — зарежут, если узнают, что в нем лежит. Устал я. Григорьев... Скажи, если я тебе сто, нет двести тысяч дам — отпустишь?

— Нет.

— Сколько мне тюрьмы будет, а? Много?

— Этого я не знаю. Если добровольно придешь в милицию, меньше получишь. Это точно. Называется — явка с повинной.

— Ты же поймал меня! Какое это «добровольно»?

— Я скажу, что ты мне сдался. Я узнал тебя, а ты сдался.

— Правду говоришь?

— Правду. Ты же не сопротивляешься...

— Ладно... Тогда я спать буду. Можно, одеяло из мешка выну, у тебя в ногах лягу?

— Ложись. Но не вздумай дурака свалить.

Рахимов извлек из мешка одеяло и расстелил на полу кузова, кинул к ногам Григорьева хурджун:

— Теперь ты сторожи.

Он улегся на курпачу. Через минуту спросил:

— Кто вместо меня председатель?

— Ахмадалиева... Она объединила колхозы...





## Владислав Молочников

### *К Родине*

У каждого народа своя вера,  
Свои проблемы, большие и малые,  
Свои иисусы и изуверы,  
Свои прогрессивные и отсталые.  
А наша эпоха начиналась с Ленина,  
С голоса неутомимо призывного.  
И мы, двадцатилетние семидесятилетней империи,  
Истину впитываем от противного.  
От противного, потому что противно.  
Кислый уксус непонимания  
Льется на головы наши обильно  
В знак всеобщего к нам внимания.  
Пророк и Порок все про то же:  
Про время, высохшее до времени.  
И у века на истерзанной войнами коже  
Зарешеченное затмение.  
Россия двуглаво-пятиконечная,  
Глазами усталыми сверлящая даль,  
Где твоя пристань любви беспечная,  
Не отгружающая свинец и сталь?  
Дети твои веру утратили.  
Верни им веру, земля моя,  
Тогда у богатой, великой матери  
Станут гордыми сыновья.

### *Перепалка пернатых*

«Гыр, гыр: гыр, Пропал сыр!», — Кричит ворона С балкона.	Бо-ольше, до-ольше Обычного, За счет энтузиазма Личного».
«Ложь! Врешь, ворона!» — Затрещали чижи С крыш исполкома.	«Кар, кар, кар, Чиж чайку украл!» —
«Герб, герб, герб, Подорожал хлеб!» — Кричит ворона С балкона.	Кричит ворона С балкона. Подумали чижики, Покумекали зяблики, Поставили ворону Директором фабрики.
Возмутились зяблики С хлебной фабрики: «В этом месяце Тесто месится	С тех пор там тихо, Не слышать вороньего крика.

## Собрание

Объявили на митинге «перекур».  
Как школьник, вырвавшийся на перемену,  
Один обиженный, зол и хмур,  
Начал кричать, сокрушая стены.

— Тяжко, товарищи! Крестовый поход  
Нам объявила румяная гласность.  
Где раньше был выход, теперь будет вход,  
Что было белым — объявлено красным.  
Что скажет всеми любимый разврат?  
Да полноте, глупости, жизнь изменилась.  
Но мужчины и женщины того же хотят,  
И это в людях прочно прижилось.  
Ох, разомкнулся политиков круг.  
Даже «элиту» назвали врагами,  
Старших желают взять на испуг.  
Где им, с чистыми-то руками?  
А секретарша, прижавшись к стене,  
Дама в летах, промолвила стойко:  
«Вы извините, но нравится мне  
Дух новоявленной перестройки».  
А после перекура старик бюрократ  
Просил у собрания законного слова.  
Но слово взял молодой казнокрад  
В гладком костюмчике от западного портного.

## Игра

Меня поставили на белую клетку,  
Тихий стилиага пригладил усики,  
Потом провел в стальную беседку,  
Где звучали аккорды кубической музыки.  
Вокруг небрежность

дощенного благополучия,  
Вокруг обаяние обнажаемой плоти,  
Валютное импортное безумие  
В нескончаемом круговороте.  
А по телевизору дикие африканцы,  
Возбужденные, обожженные, отрешенные,  
Вдавливают в землю грязные пальцы,  
Безумной пляской окрыленные.  
Беснуются черные академики,  
Социалисты с первобытными устоями,  
Акомпанируя бескультурной Америке,  
Засаевающей космос незрелыми «соями».  
Тихий стилиага, раздувая щеки,  
Все тычет пальцем в белую клетку.  
Демонстрируя электронные блоки,  
Включаемые в розовую розетку.  
На белой клетке поставили крест.  
Тихий стилиага — оглох бедняга.  
А между веток убитый рассвет  
В ладонях стиснул краюху оврага.

## Росток

Весенний дождь	«Воскреси!
Смывает ложь.	Омой мне душу
Уходит лень	Хоть теперь,
Из душных стен.	И я не струшу,
Встает восход	Ты поверь».
Иной земли.	
Иду счастливый,	Так,
Весь в грязи.	На излете всех дорог
Кричу призывно:	Пробился все-таки росток.



Азад Авликулов

## БАРАКА

Это узбекское слово произносится с ударением на последнем слоге. Близко русскому «прок», но применяется во многих смысловых значениях. Когда узбек обращается к кому-либо с просьбой, то предваряет ее словами «Барака топинг!» Дословно — «Найдите прок!» Или: «Меҳнатингиз баракали бўлсин!» — «Пусть ваш труд будет плодотворным». «Барака уруғи» — «Семя доброго урожая». Человек другой национальности никогда не скажет: «Найдите прок», а узбек — «барака топинг» воспринимает с благодарностью.

Впервые то, что заложено в слове «барака», я узнал, кажется, в пятилетнем возрасте. От матери, которая была набожной женщиной. Усадив меня и братишку за дастархан, она разрешала приступать к еде лишь после слов «бисмиллахи рахману рахим» — «с именем бога начинаю». Этого я тогда, естественно, не знал, но произносил, поскольку требовали.

— Иначе, — говорила она серьезно, — от еды барака не будет.

То есть прока. Мол, сколько бы пищи ни запихнули в свои животики, чувство голода останется. «Бисмиллахи» произносили вслух все, кого мы знали. И нам чудилось, что после такого вступления мы сыты, хотя, побегав часок-другой, мчались домой, чтобы, схватив кусок лепешки, удрать снова.

Между прочим, традиция приступать к еде или к другому делу со словом «бисмиллахи» сохраняется до сих пор, ее соблюдают даже самые яростные безбожники. Произносят, чтобы улыбнулась удача.

Если кто и не признавал в Узбекистане барака, так это, по-моему, мафия. Не потому, что ее члены не желали прока от наворованного, а потому, что понимали: барака возможна лишь в том случае, если пролит собственный пот. И только во имя доброго дела.

Печален конец подпольных миллионеров республики. А заплатились они потому, что в их деяниях не было главного — основы для барака — честного труда.

Думаю, небесполезно поговорить подробнее о барака в применении к делам нашим — писательским и иным. Потому что все мы, общество наше в своей деятельности изрядно порастеряли эту самую барака...

Апрельский Пленум ЦК КПСС 1985 года открыл перед нами шлюзы гигантского очистительного потока — Перестройки. Открыл, чтобы люди поняли, что существуют честь и достоинство в каждом, что они имеют право выражать свои мысли вслух, размышлять о жизни, предлагать решения, бороться за свои убеждения.

С моей точки зрения, смысл, заключенный в слове «барака», постепенно исчезает, как это ни грустно сознавать, из нашего бытия. Сельхозпродукции, судя по сообщениям Госкомстата, мы производим вполне достаточно, а на стол мало что находится подать. Мы больше всех в мире выплавляем стали, а пойдите на любую стройку и узнаете, что она задыхается без металла.

Хлопка-сырца собираем с полей миллионы тонн, а рубашки предпочитаем австрийские, пакистанские, китайские, индийские — чьи угодно, только не наши. Странно, что КНР, производя на каждую душу своего миллиардного с гаком населения по семь килограммов сырца, продает рубашки нам — обладателям аж 30 килограммов тоже на каждую душу. Нет барака!

Хорошо помню начало пятидесятых. Хоть почему-то и принято сегодня о том времени писать только черными чернилами, попытаюсь обойтись без них. В пятьдесят третьем году я работал в секторе партучета райкома партии и получал 790 рублей в месяц, что по нынешним — 79. Моя молодая жена была бухгалтером и приносила домой 430 рублей, или же 43 нынешними. Если из нашего заработка вычест налоги, разные коммунальные и прочие платежи, то нам с женой и двумя малышами оставалась тысяча рублей максимум. Или сто теперешними деньгами. Сейчас на работу с таким окладом даже выпускница средней школы вряд ли пойдет. А нам на четверых

той тысячи хватало. Мы даже ухитрились откладывать сотню — другую, чтобы приобрести что-то для дома. Что же с ними стало, с деньгами-то? А ничего, барака почти вся из них исчезла. Как и икра с прилавков. Помнится, черную и красную икру продавали даже в нашем захолустном райцентре из деревянных бочек. Но не было денег, чтобы эту икру покупать. В то время ни одна душа не ходила в магазин за молоком или кефиром. В каждом дворе была колова, на худой конец — коза. А нынче из кишлака стали ездить в город за молоком. Парадокс!

Покуда будет существовать такая практика, проку от Продовольственной программы не будет. Каждая сельская семья, в том числе живущая в районном центре, должна иметь и корову, и овец, и птицу. Говорят, что в США только пять процентов населения занимается сельским хозяйством. Они кормят свою страну, причем обильно кормят, да еще и нам ежегодно продают по 20—30 миллионов тонн только зерна. Еще известно, что там государство сдерживает производство того же зерна, чтобы поддерживать на нужном уровне цены. Мало того, компенсирует фермерам убытки.

У нас на селе проживает каждый третий. Государство, как в прорву какую, вкладывает миллиарды, а барака нет. За последние тридцать с лишним лет страна в сельское хозяйство вложила свыше 800 миллиардов рублей, а толк какой?! Депутаты-аграрники то и дело требуют, чтобы туда все больше вкладывали и вкладывали! Ведут умные речи про долги и так далее. Ей-богу, на те миллиарды легче было бы прожить, приобретая продукты на стороне. А долги? Разве шахтер, металлург, машиностроитель, врач или учитель винограду в том, что село не могло умно распорядиться теми миллиардами? Конечно, воздухом сыт не будешь, так что «долги» придется платить, но ведь обидно, черт возьми, что село по существу растранило все полученное. Потому и барака нет на селе.

Экономисты и специалисты по селу лет десять, пожалуй, бьют тревогу, что тридцать процентов произведенного в сельском хозяйстве пропадает, потому что не умеем сохранить, вовремя переработать, доставить. Примечательно, что к этому хору подключились — сначала Госагропром, теперь — Агропромсоюз, комиссия Верховного Совета по аграрным вопросам. Удивительно и другое. За эти десять лет цифра тридцать ни на йоту не уменьшилась. Чего ж тогда стоят разговоры, авторитеты?

Сельчане, да и многие жители райцентров утверждают, что рады бы держать коров, овец, птицу, но беда — нечем кормить. Впрочем, об этом говорят и руководители, так сказать, «от имени». Но ведь никому в голову не придет, что те тридцать процентов потерь можно ведь просто раздать сельским жителям или продать по минимальной цене, — все, как говорится, хлеб, — и пусть люди пьют их в дело. Ведь эти тридцать процентов — все то, чем можно досыта накормить скотинку. Раз уж мы бессильны сохранить выращенное, пусть Госплан позволит местным властям распорядиться им по своему усмотрению, ну а тех, кто после этого начнет ссылаться на потери, наказывать, да пострее.

Нынче в республике будут выделены новые приусадебные участки, общая площадь их составит свыше 200 тысяч гектаров. Надо приугадать, что благодаря этому резко увеличится производство продукции села — при условии, что дехкане будут трудиться с барака, а руководители станут по-настоящему заботиться о них.

Угроза, нависшая над природой, волнует всех. Не может не волновать, потому что природа — достояние всех. Никому не будет здоровой жизни, если нет чистого воздуха, чистой воды, чистого хлеба. Люди стали чаще болеть, особенно страдают дети, а в моей Сурхандарьинской области детская смертность самая высокая в мире. И это при том, что область в целом — аграрная, тут мало чадящих производств, хлопкозаводов да комбинатов стройиндустрии. Зато немало машин, выхлопы которых никем не контролируются, нитратов и пестицидов, дефолиантов и прочей гадости, отчего и хлеб не в радость, и молоко не впрок.

Земля наша, некогда плодородная, истощается, а пуще всего — засоляется, превращается в мертвые солончаки, где даже верблюжья колючка не растет. Слава аллаху, есть еще пески. Их-то мы начали интенсивно осваивать, вкладывать в это дело десятки и сотни миллионов рублей.

Однако барака от этого дела нет... Мы тут превратились в Сизифов. Делаем то, от чего нет прока. Известно, что в республике до 1985 года на каждые сто тысяч гектаров вновь освоенных земель приходилось столько же вышедших из оборота по причине засоления. Писатели, журналисты, ученые и просто те, кому небезразлична судьба узбекской земли, стали нападать на Минводхоз (благо, гласность помогла) и добились, что это министерство приказало долго жить, а его подразделения на местах занялись вплотную мелиорацией.

Это правильно. На освоение или же на улучшение мелиоративного состояния расходуется примерно одинаковое количество рублей, но старопахотная земля дает эффект быстрее, тогда как на целине его надо ждать пять — шесть лет, и то при бла-

гоприятных условиях. Практика показывает, что дехкане, переселившиеся на целину, за это время «успешно» превращают новые земли в солончаки. Таких примеров сколько угодно, и совсем мало положительных.

Известно, что земля сохраняет свое первоначальное плодородие, а если ее структуру улучшать разумным внесением органики, то и превосходит прежнее только в том случае, когда подпочвенные, насыщенные солями, воды находятся на глубине в 2,5 — 3,5 метра. Из двухсот тысяч гектаров пашни Сурхандарьи ни на одном не соблюдается такая норма. Всюду на глубине одного метра, а в северной зоне — и полуметра — грунтовые воды. Даже в самый зной — саратан — они не уходят ниже. Не уходят потому, что хлопкоробы сплошь и рядом перестраховываются и не жалеют воду на поливы.

Но вот что парадоксально. За те четверть с лишним века, что я прожил в Сурхандарье, тут было по меньшей мере три года очень засушливых. Обком партии и сельскохозяйственные органы направляли уполномоченных в колхозы и совхозы, чтобы строго следили за расходом воды, чтобы ни одной капли ее не уходило на огородах сельчан. Я и сам, бывало, неделями сидел у шлюза-распределителя и отпускал воду чуть ли не килограммами, как дрова в республике Афганистан.

А уж какие страхи перед предполагаемыми последствиями засушливого лета обрушивали мы, журналисты, и писатели, на головы сельского жителя! Предсказывали апокалипсис, если будет нарушено требование строжайшей экономии воды. И, между прочим, в такие именно годы село давало больше всего продукции, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Раньше обычного завершались работы на полях, в срок поднимали зябь.

Вывод: в засушливые годы подпочвенные воды уходят на большую глубину и своими солями не оказывают губительного влияния на урожай. Поливы через борозду, короткими гонами очень эффективны. И вывод второй: наверняка надо широко пользоваться практикой засушливых лет — держать поливные площади как бы на голодном пайке, тогда от воды будет барака.

А сколько кубокilометров дополнительно это могло бы дать усыхающему Аралу, этой кровоточащей ране всей Средней Азии?! Необходимо немедленно пересмотреть нормы поливов, технологию их, а лучше всего ввести плату за воду, и не символическую, как предлагается некоторыми, а весомую. Тогда у села сразу сработает инстинкт рачительного хозяина. И... может, выживет Арал!

Я внимательно слежу за всеми публикациями об Арале. Расписываюсь под каждой строчкой выступлений моих коллег — писателей Туленбергера Каипбергенова и Адыла Якубова на Первом съезде народных депутатов СССР. Арал нужно спасать, и спасать так, чтобы он был не просто «зеркалом», а живым морем, с рыбой, как прежде, с другим живьем. Однако, судя по статье в «Правде Востока» (22 марта 1989 г.), морю уготована смерть. Оно станет вторым Сивашем на карте нашей страны, вторым Мертвым морем — на карте мира. Правобережный Главный республиканский коллектор, что протянется на 4,5 тысячи километров, понесет в Арал сбросные воды с полей пяти областей. А воды эти, если судить по выступлению министра здравоохранения Е. И. Чазова на мартовском (1989 г.) Пленуме ЦК КПСС, насыщены пестицидами в десять раз выше нормы. О каком живом море можно говорить?! На этот коллектор возлагаются большие надежды. Публикации о нем как бы исподволь готовят общественное мнение к тому, что море обречено, так пусть уж оно выполняет главное свое извечное назначение — служит аккумулятором микроклимата Средней Азии, а с рыбой как-нибудь обойдемся.

Я не специалист по водному хозяйству, но убежден, что если коллекторы каждой из этих областей привести в образцовый порядок, свести их к одному или максимум к двум сбросам в Амударью через систему отстойников и водоочистных сооружений, то сотни тысяч гектаров пустыни сохранятся для братьев наших меньших — всяких тварей, которых человек теснит, лишая среды обитания. А сколько пастбищ сохранится! В конце концов, из той суммы, что предусмотрено израсходовать на коллектор, часть можно заплатить науке (своей или зарубежной), чтобы она придумала надежный и безвредный для человека нейтрализатор всего, что накапливается в дренажной сети. Ведь тогда и Амударья на всем протяжении станет чистой.

Однажды я смотрел передачу по Центральному телевидению о Байкале. Не помню уж, кем она была подготовлена: то ли американцами, то ли англичанами. Неважно это. Главное, в ней приводилась стоимость чистой пресной воды в мире — 600 долларов за один кубометр. Если исходить из этого, то в нашей республике в стоимостном выражении продукции производится меньше, чем расходуется на нее воды.

И я думаю вот о чем. Пусть амударьинская вода не отвечает высоким требованиям стандарта на пресную воду, пусть ее кубометр стоит вдвое дешевле. Даже в этом случае выходит, что только в нашей солнечной Сурхандарье 30 миллиардов долларов разбросаны в теснинах адыров седого Бабатага, где теряются живительные весенние потоки, не принося пользы хотя бы на цент. Ну как же при таком отношении можно

говорить о бараке в областном агропромсоюзе или местном водстрое? И в нашей экономике вообще?!

Миллионы кубометров воды фильтруются в каналах, которые не забетонированы, испаряются с поверхностей водохранилищ, сбрасываются как избыток с полей. И каждый кубометр стоит 300 долларов! До чего же все мы — от низов и до самых верхов — транжиры! Ничего не жалко!

Строители водохозяйственных объектов обладают мощной техникой. И сегодня, мне кажется, самое время им заняться ликвидацией потерь воды. Пусть техника используется для бетонирования каналов, строительства приличных оросителей непосредственно в местах потребления воды, а на каждой карте или участке пробуриваются колодцы для определения уровня грунтовых вод. Колодец, может, — громко сказано. Думается, нужна обыкновенная асбоцементная труба метра три длиной, чтобы установить ее в шурфе. Тогда любой колхозник с мерной линейкой сможет узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды, и, если они выше нормы, попридержат поливы. И всего-то! Этой работы Госкомводстрою республики хватит на всю пятилетку. И на следующую останется, поскольку ни одно хлопковое, да и всякое другое в республике хозяйство не имеет такого устройства.

Пишу я эти заметки, и не покидает меня мысль, что больше всего рассказываю о сельских «болячках». Видимо, это оправдано, ведь я в общем-то житель аграрной области. Значит, и проблемы ее мне более ясны и близки.

Нынче стало модным писать о различных формах подряда на селе. Понятно, что это пока единственный путь, ведущий к быстрой ощутимой отдаче. Уже и закон принят, защищающий права арендаторов. Но все равно перед ними ставятся всевозможные преграды. То руководители хозяйств не соблюдают условия договоров, то финансовые органы пытаются поправить прорехи бюджета за их счет, не позволяют развернуться в полную силу.

Вместе с тем, по моим наблюдениям, рвущихся в арендаторы пока не ахти как много. Опыт тех, кого прижимают, делает людей осторожными. Кроме того, многие сельчане привыкли довольствоваться тем, что есть. Сумеем мы сломать эту психологию — пойдет аренда и будет барака, не справимся — то и ждать нечего.

Почему, например в Сурхандарье к аренде относятся с прохладцей? Просто потому, что сложившиеся формы хозяйствования привычны тем, что не дают умереть с голоду. Наш сельчанин десятилетиями сколачивал свое благосостояние на три четверти из своего приусадебного участка. Он это научился делать так исправно, что ему мог бы позавидовать самый предприимчивый американский фермер. У дехканина, как правило, в глубине двора располагается собственная минитеплица, где на двенадцати квадратных метрах под пленкой, обогреваемой масляной батареей, выращивается рассада огурцов и помидоров. В стаканчиках из органики, которые с наступлением теплых дней сразу же переносят в открытый грунт. Этот метод не требует акклиматизации рассады, и она начинает быстро тянуться к солнцу, обеспечивая рынок ранними овощами и опустошая наши карманы высокими ценами. Я знаю многих сельчан, которые снимают по три урожая в год и с пятнадцати соток земли получают до двенадцати тысяч рублей чистой прибыли. Скажите, какой колхоз или совхоз способен похвастать такими результатами?

Теперь вот наделяют землей еще десятки тысяч хозяйств, по норме 15 соток. Это, несомненно, ощутимо скажется на рынке, на ценах, которые, может, не будут столь хищными. Из многолетних наблюдений за жизнью кишлака я знаю, что дехканин на своем приусадебном участке трудится куда плодотворнее, чем на общественной земле. Нередко он отправляет в поле сына или дочь — школьников, а сам копается дома. А если бригадир, скажем, пожурит его за это, то он может запретить детям ходить туда. И бедный бригадир вынужден уступать.

Не приведет ли увеличение числа приусадебных участков к тому, что на полях колхозов и совхозов кроме механизаторов никого не останется? Видимо, наделение участками нужно сопровождать жесткими условиями, выполнение которых привело бы к лишению надела. Иначе дехканин, и так изрядно остывший к общественной земле, вовсе забудет ее.

Есть еще один очень серьезный фактор, угрожающий Перестройке не меньше, чем наша родная бюрократия. Это — впитавшаяся в плоть и кровь привычка получать зарплату и премии просто за то, что отсидел восемь часов в конторе, на строительной площадке в ожидании бетона или в поле под семью шелковицы. Никто из этих людей не спросит себя, что он лично сделал за целый рабочий день, имеет ли моральное право получать зарплату? Им это и в голову не придет. Думать — привилегия начальства.

Такой психологией, к сожалению, заражены не только лодыри: почти в каждом трудовом коллективе есть ничего не делающие люди. До каких пор нахлебники будут сидеть на шее народа?

Что бы ни писали и ни говорили, не желаем мы считать народные, то есть собственные, деньги. Не хотим понять, что из-за этого пока ничего нет и в собственном кармане. Это можно подтвердить еще одним примером из жизни Сурхандарьи. После того, как государство, что называется, повернулось лицом к социальной сфере, начатое до этого строительство административных зданий немедленно было заморожено. Например, в Термезе два таких объекта: пятнадцатизэтажный штык несостоявшегося здания обкома партии и шестизэтажная коробка здания облисполкома.

Чтобы возвести эти два здания, затрачены миллионы, осталось израсходовать гораздо меньше средств и довести дело до конца. Но это не делается, потому что нет указания свыше. Высотное здание, будь оно достроено, можно приспособить под гостиницу «Интурист», поскольку оно в центре города рядом с площадью имени Ленина, и наладить там приличный сервис. В Сурхандарье множество знаменитых мест, которые могут заинтересовать туристов. Это и пещера Тешикташ, где был найден скелет мальчика-неандертальца, чей бюст, воссозданный академиком Герасимовым, красуется чуть ли не во всех музеях мира. Это и пещеры в Зараутсае, где сохранились почти в первозданном виде наскальные рисунки первобытных людей. Это — мавзолей, буддийские храмы, дворцы. Можно открыть десятки пеших и конных туристских маршрутов и зарабатывать валюту, которая для нашей экономики не менее нужна, чем варшавская колбаса на столах. Ан нет, стоит недостроенное здание как памятник преступной бесхозяйственности, и никому до него дела нет. А коробка несостоявшегося здания облисполкома в шесть этажей! Ведь если его достроить, то можно там разместить детский комбинат на полтысячи мест и одним махом решить проблему обеспечения города дошкольными учреждениями. А краеведческий музей, что сейчас ютится в убогом здании, а экспонаты хранятся в самых невыносимых условиях! Да мало ли для каких целей можно все это использовать! Неужели у нас так много денег, что мы позволяем себе замораживать миллионы и миллиарды по стране?! Зачем же тогда жаловаться на дефицит бюджета? Непонятно мне все это.

Основой процветания любого организованного общества всегда была дисциплина, твердо и четко определяющая место и обязанности каждого его члена. Отношение к ней нужно воспитывать с самых первых шагов человека, и лучше, если это делается прежде всего на примере родителей.

Раньше нам постоянно твердили, что трудовая дисциплина в буржуазном, стоящем на грани полного загнивания, обществе поддерживается страхом оказаться безработным. Теперь стало известно, что уважение к труду там воспитывается с малых лет, всемерно поощряется стремление детей заниматься полезным трудом и зарабатывать деньги. Кроме того, оказывается, владельцы фирм и компаний в целях усиления заинтересованности своих рабочих, служащих и инженеров создают для них нормальные условия, заботятся, чтобы каждый из них проникся чувством ответственности за честь марки, гордился этим.

У нас, бесспорно, нет страха перед безработицей у того, кто хочет трудиться. В то же время любой другой страх для нас ничтожен. Уволят в одной конторе за недисциплинированность и недобросовестность, так в конторе через дорогу возьмут, поскольку та, которая решила распрощаться с тобой, даст тебе такую характеристику, что впору хоть к званию Героя соцтруда представляй. Даст, чтобы ты перестал мотать ей нервы своими жалобами в разные инстанции. А на новом месте, пока суть да дело, пока разберутся, кто ты есть, успеешь акклиматизироваться, прижиться, обзавестись добротами в месткоме.

Ни трудовой, ни государственной, ни финансовой — никакой дисциплины у нас нет в их изначальном понимании. Опоздать на работу, уйти в рабочее время на базар, в парикмахерскую или просто на лестничную площадку поболтать с подругой — не исключение, а правило.

Ю. В. Андропов сразу же нащупал эту болевую точку и начал бороться с разгильдяйством: люди немного подтянулись, поверили в перемены. Сегодня опять упор на экономические факторы. Дай бог, чтобы они сработали в нашей разболтанной среде. Только вот вопрос: позволит ли бюрократия восторжествовать этой линии?

Мы дожили и до забастовок. И разрушили стереотип, продержавшийся семьдесят лет, что в пролетарском государстве забастовки невозможны. Оказалось, возможны. Тогда, выходит, мы не пролетарское государство? А какое? Забастовки, как правило, объявляются против предпринимателей. В нашем государстве таковых нет. Значит, государство наше выступает в роли предпринимателя? В принципе такого не может быть, потому что мы, какие бы ни были, — все же общенародное государство. Народ бастует против аппарата, потому что аппарат — партийный, хозяйственный, министерский, — взяв на себя функции предпринимателя, лишает трудовой народ элементарного, а для себя создает массу благ, начиная от спецбольниц и спецмагази-

нов, кончая «охотничьими» домиками, шикарными санаториями, домами отдыха, саунами и так далее. Народ бастует против социального неравенства, социальной несправедливости.

Читая в прошлые времена постановления ЦК по любому вопросу, я непременно наткался на такую формулировку: «В целях усиления партийного руководства...» И тогда сильнее закручивались гайки, инициативе и поиску связывали руки и ноги. В конце концов все приводилось к тому, что принималось новое постановление, поскольку прежнее не выполнялось. А в новом опять то же самое: «в целях усиления...» Мы справедливо упрекаем сталинщину в том, что она под флагом усиления классовой борьбы загубила миллионы преданных делу партии, ни в чем не повинных людей. А разве «В целях усиления...» никакого ущерба нам не нанесло? Мне кажется, равнодушие, поразившее большинство сердец, и есть следствие такого «усиления». Пустая фраза, как бабочка-однодневка, сверкнула и умерла. Когда она становится непременным атрибутом документов, подрывается вера народа в слово, в собственные силы.

Уже давно партия в глазах простого человека ассоциируется с работниками партийного аппарата. Всякий знает, что партия — это райком, обком, ЦК, и работающие в них товарищи больше всего заботятся о собственном благополучии, о своей карьере, но произносят высокопарные слова о любви к народу.

Сколько написано и сказано, особенно на Первом съезде народных депутатов СССР, о том, что необходимо ликвидировать всевозможные привилегии, которыми несправедливо пользуются руководители разных рангов. А что изменилось? Разве что вывески? Привилегии никто не хочет терять. На Втором съезде народных депутатов многие из тех, кто был яростен в своих суждениях, поутихли, видимо, отведав какую-то толику люкс-сервиса.

Мы много говорим о разграничении функций между Советами и партийными органами. Подчеркиваю, что партия как масса единомышленников никакой власти не имеет. Власть в руках партаппарата. И он пока что распоряжается самой главной ее функцией — правом «подбора и расстановки кадров». И пока эта функция находится в его руках, никакие беды ему не страшны. А без этой функции и власть Совета — фикция.

В партии я около сорока лет. Вступал в нее не из конъюнктурных соображений, как кое-кто в последние десятилетия. Вступал по искреннему убеждению в том, что «буду настоящим строителем коммунизма», отдам все силы и знания этой великой цели. Я каждой клеточкой своей — коммунист. И мне больно, когда некоторые товарищи атакуют партию за провалы в недавнем прошлом, да и за то, что сегодня она еще не в силах что-либо сделать более решительно. Партия, во всей своей двадцатимиллионной массе, товарищи дорогие, абсолютно невиновна. Виноваты партийные вожаки, которые принимают единоличные решения, не считая нужным посоветоваться с партией. Виноваты те, кто на съездах и пленумах забыли, что за свои мандаты надобно честно отчитаться. Правда, уже есть примеры, достойные подражания. Областные, городские и районные партийные вожаки уходят по собственному желанию. Когда это станет правилом, люди поймут, что партию обвинить нельзя. Мне бывает еще больней, когда некоторые руководящие лица строгую критику в свой адрес воспринимают как критику партии. Мы должны, наконец, понять, что даже генсек еще не вся партия. Он всего лишь облеченный доверием рядовой коммунист. Что и для него Устав так же писан, как и для только что получившего партийный билет.

Тому же партийному аппарату, во всяком случае, очень многим из его числа, знаю по своему горькому опыту, настоящие перестройщики не нужны. Они неудобны, с ними хлопотно. И потому, как я уже говорил, пользуясь правом «подбора и расстановки», аппарат убирает таких людей под любыми благовидными предлогами. То на пенсию отправит, лишь прозвонит срок, хотя в самом аппарате лица гораздо старше могут прекрасно восседать в креслах. То пошлют «на укрепление» туда, где никакое укрепление уже не способно что-либо сделать. Словом, избавятся. Свежие мысли этому аппарату не нужны, нестандартные действия — тем более. Аппарат сам — истина в последней инстанции. Хочешь продержаться на плаву — слушай и точно исполняй, не вздумай сомневаться в указаниях!

Некоторые из этого аппарата, порой облеченные высокой властью, если обиженный пожелает с ними встретиться, чтобы высказать свое мнение, не примут. Как это я опущусь до уровня рядового партийца! Таких десятки тысяч, а я один. И у меня ответственная работа! Никак не могу понять: почему к людям вместе с высокой должностью сразу же приходит уверенность, что они получили право и на свою абсолютную истину? Как случилось, что в нашей стране утвердился авторитет Должности? Перестройка предполагает приоритет Личности, но... Должность не такая уж дура, чтобы уступить. Она все еще продолжает командовать, принимать единоличные, порой головотяпские решения.



Летом 1989 года в Термезе и в области вдруг начался ажиотаж, присущий прошлым временам. Тысячи студентов и учащихся высыпали на улицы и стали подметать их, подбеливать деревья, драить окна: чувствовалось, что едет кто-то из высокопоставленных. И точно. Приехал член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК Е. К. Лигачев. Вскоре было созвано областное собрание партийного актива, где объявили, что Сурхандарья собирается вырастить один миллион тонн овощей. В «Правде» и в других центральных, а также во всех республиканских газетах под броскими шапками «Сурхандарья — всесоюзный огород» появились сообщения ТАСС об этом знаменательном событии. Первый секретарь обкома партии С. М. Мамарасулов (теперь он работает первым секретарем Ташкентского обкома) нарисовал перед собравшимися захватывающую картину будущего огорода. Правда, он не сказал, с кем, когда и как он обсудил этот вопрос, был ли привлечен к этому мероприятию народ или хотя бы авангардная его часть — коммунисты, ведь миллион тонн должны производить люди. Так вот, пошумели в прессе, и на этом огород умер, не успев появиться на свет.

После трагических событий в Фергане, куда С. Мамарасулов, оказывается, ездил по поручению Первого съезда народных депутатов СССР, мне довелось встретиться с ним.

— Двести тысяч безработных в долине, — сказал он, объясняя истинные причины конфликта, — и это главным образом молодежь. Была взрывоопасная ситуация, а меры предотвращения ее не принимались. Вот и вспыхнул пожар.

— Салиджан Мамарасулович, — сказал я, — вот там, в Фергане, и надо было создавать всесоюзный огород. Овощеводство — трудоемкое производство, безработные оказались бы при деле. Это — первое. Второе: культура земледелия в долине самая высокая в республике, там живут настоящие мастера. И, в-третьих, — через нашу область проходит единственная однопутная железная дорога, построенная еще в 1916 году и пущенная спустя десять лет. По этой магистрали доставляются грузы в Кашкадарью, в некоторые районы Туркмении, в нашу область, в Таджикистан. Кроме этого, еще в Афганистан. Дорога и сегодня-то задыхается, не справляясь с грузопотоком, что же станет потом?.. А транспортные связи Ферганской долины развиты лучше.

Он промолчал. А потом, оказывается, приказал убрать меня с работы... Ему не понравилось, что кто-то другой, пусть даже писатель, посмел оспорить его высокое мнение, которое дано ему самой Должностью!

Были за мной и прежние «грешки». Годы четыре назад С. Мамарасулов при встрече с журналистами области потребовал, чтобы мы 70—80 процентов газетной площади и эфирного времени отдавали критике. Через несколько месяцев после этого состоялась очередная областная конференция журналистов. Я выступил в прениях и оспорил это указание, заметив, что гласностью надо пользоваться с головой. «Победоносные» рапорты, которыми пестрели газеты и радиопередачи страны, в том числе и области, привели к тому, что люди воспринимали их равнодушно. «Массовая» критика может привести к тому же.

В общем, неудобный я человек. Пришлось уйти на пенсию, но я на это не в обиде.

Когда архиереям и митрополитам разрешили участвовать во всевозможных встречах и даже на съездах, причем на виду у всей страны, и особенно, когда высшие чины православной церкви были приняты М. С. Горбачевым в Кремле, телезрители были шокированы. Яркие атеисты возмущались: как это партия пошла на сближение с «мракобесами», главными поставщиками «опиума» для народа? Что теперь будет с нашей философией — воинствующим марксизмом-ленинизмом? Люди направляли возмущенные письма в редакции и партийные органы. Потом поняли, что православная религия, впрочем, как и любая другая, — хранительница культуры народа, воспитатель здоровой нравственности и обращается она прежде всего к сердцу человека.

Разве можно отказаться от союза с такой силой в перестройке? Ни в коем случае! Ведь перестройка — это не только изменение экономических отношений и всей структуры экономики, но главным образом — внутреннего мира людей. Душа должна быть раскрепощена, высвобождена из той прочной скорлупы, в которую ее загнали сталинщина и застой.

Теперь, когда гласность позволяет высказаться о наболевшем, мы, «инженеры человеческих душ», вместо того чтобы лучше осмыслить прошлое и по-честному признаться в своих просчетах, принялись искать «козлов отпущения». Удивительно, как легко мы «перестраиваемся». Вчера возносили «отца народов» и его преемников, а сегодня всеми силами предаем анафеме то время, забывая, что и тогда было что-то стоящее. И мы призваны своей совестью защитить это хорошее, хотя бы для того, чтобы не создавать превратного представления у своих детей и внуков о том времени. Я убежден, что даже тогда добросовестно исполняли свой гражданский долг настоящие люди, патриоты своей страны, верившие в высокий смысл своего существования.

Не будь таких людей, не было бы Победы. Не было бы возрождения из руин. Может, и самой Перестройки.

Нравственные нормы лишь тогда воспринимаются массами, когда их соблюдают прежде всего те, кто предлагает и пропагандирует. У нас же происходит противоположное. Говорим одно, делаем — другое. Разве можно при этом добиться желаемого, людей ведь не обманешь. Все мы тонко чувствуем, где ложь, а где правда, и любую фальшь обнаруживаем сразу.

Я вырос в интернациональной среде. В детском саду, куда я ходил, были дети узбеков, русских, казахов, татар, таджиков, чувашей. Все мы говорили по-узбекски и по-русски. Ни тогда, ни потом в школе, и ни позже, когда война загнала нас, тринадцати-четырнадцатилетних пацанов в мастерские МТС, никому из нас и в голову не приходило, кто какую национальность представляет, жили одной семьей, общими тревогами и бедами.

После войны поступили мы в институты и университеты, где также было многолико и многоязычно. И тогда нам, казалось бы более просвещенным, тоже не приходила мысль о национальной принадлежности. Мы одинаково любили русского Илью Муромца, киргиза Манаса, грузина Тариеэла, армянина Давида Сасунского, узбека Алпамыша. Все эти герои были нам близки и понятны, потому что боролись за счастье народа.

Русский язык как язык межнационального общения помимо нашего сознания внедряется в словарный состав любого национального языка. Ни одна женщина-узбечка кофточку не назовет по-другому. Или — холодильник. Или — кружку. И таких слов много. И не нужно, по-моему, их препарировать на свой лад, пусть они живут в том виде, в каком вошли. Ведь и у русских стало приживаться узбекское емкое и короткое, как выстрел, «хоп». И башкирское «сабантуй». Идет взаимообогащение языков.

Сейчас почти все союзные, многие автономные республики приняли законы о государственном статусе своих языков. Но чтобы возродить национальный язык, думаю, надо в корне менять язык средств массовой информации. Ведь, право же, смешно, когда узбекское телевидение, надев на голову диктора тюбетейку, республику называет «джумхурия», а область — «виллайят», кстати, словами из арабского языка, и, по-видимому, уверено, что уже выполняет Закон о статусе узбекского языка?! Или еще один пример: на многих киосках, где торгуют мороженым, появился узбекский эквивалент — «Муз каймоқ». А теперь послушайте: «муз» — лед, «каймоқ» — сметана. Получается «ледяная сметана». Если с натяжкой — «мороженая сметана». Но разве мороженое — только сметана? А фруктовое, молочное? Не лучше ли оставить, как было? Даже годовалый малыш не попросит, чтобы ему купили «муз каймоқ», а произнесет — мороженое. Или же «Улугбек посёлкаси», что увидел на одном из «Икарусов»... Вот уж поистине: поспешишь — людей насмешишь. Давайте, дорогие коллеги, подумаем хорошо, а потом уж и порекомендуем наиболее приемлемый вариант.

Мы дети одной великой страны, — а в том, что она Великая, думаю, никто не сомневается, — и должны быть ее равноправными гражданами, где бы ни жили — в Прибалтике, на Кавказе или в Молдавии. В США — также многоязычной стране — нет другого гражданства, кроме американского.

Почему в нашем многонациональном государстве вдруг заговорили о гражданстве отдельных республик?! Правы те, кто утверждает, что такое «нововведение» не что иное, как пробный камень на прочность интернационализма. Если сойдет, можно ставить вопрос о самоопределении, а затем и о выходе из СССР. Но ведь такие, простите, игры чреватые непредсказуемыми последствиями! Если перестройка приведет к развалу Союза, то я как гражданин скажу: лучше не надо такой перестройки! Нельзя приносить в жертву узкогрупповым интересам наши Дружбу и Единство.

Вообще я должен заметить, что мы, назвав Перестройку временем радикальных перемен, движемся черепашиным ходом. Оттого и ощутимых перемен не видно. Все пока что ограничивается разговорами да оптимистическими сообщениями Госкомстата. Поражает то, что члены Верховного Совета, равно как и собирающиеся на очередной съезд, при обсуждении того или иного вопроса начисто забывают об общенациональных проблемах, стараются урвать побольше для своего избирательного округа.

...Настоящий узбек, впитавший все лучшее от своего народа, от его мудрости и совести, если найдет на пустынной дороге сто рублей, никогда не позволит себе добавить эти деньги к тем трудовым, что копит для приобретения необходимой вещи. Он знает, что от таких денег проку не будет. И потому, если не найдется хозяин, израсходует их бездумно. Хотя бы соберет соседей на плов и объявит, за какой счет устроен пир.

Мне порой кажется, что все мы относимся к самим себе, к своей стране, как человек, который случайно нашел сто рублей и обрадовался этой находке. Потому и барака нет... Вернуть барака мы сможем только честным трудом, тем же революционным энтузиазмом масс до- и послевоенных пятилеток, что навсегда вошло в историю нашей Советской страны.



## Адхат Син-Угыл

### *Корни чинары*

Сильны ее корни,  
и так глубоко  
Земля их к душе приняла,  
Что воду,  
как мать мне  
свое молоко,  
Чинаре  
земля отдала.  
Хотел бы я стройной чинарою быть,  
Чтоб в холод и в солнечный зной  
Хоть тысячу лет в этом мире прожить  
С моею землею родной.  
Чтоб в самый счастливый и радостный час,  
Средь самого ясного дня,  
Как будто с чинары, все, что я припас,  
Народ бы мой взял от меня.  
Глубокие корни пустить нелегко  
И в землю свою, и в народ...  
Об этом —  
От родимой земли далеко —  
Чинара сегодня поет.

### *Откуда знать тебе?..*

Откуда знать тебе, как Волга широка,  
Когда ее твоя не тронула рука?  
Откуда знать тебе о глубине тоски,  
Когда не знаешь теплоту руки?

Откуда твердым быть тебе, как сталь?  
Попробуй в жизни этой сталью стать...  
Ты гор не ощущаешь высоту,  
Считал в степи ты за верстой версту.

Откуда знать тебе, что чувствует больной?  
Ты не болел болезнью ни одной.  
Ты не был и не будешь сиротой,  
Сиротство — век...  
Но век не золотой...

## *Свое гнездо*

Замолкнут песни, и пойдут птенцы,  
Попробуй их гнездовые потревожь,  
Наохлятся пернатые бойцы,  
Ударят так, что перьев не найдешь...

В потомстве их —  
Есть продолжение их.  
Нельзя не постоять за птичий род!  
Не потому, что жаль птенцов своих,  
А потому, что птичий жил народ.

Судьба кукушки не для певчих птиц,  
Счастливой не назвать ее судьбой...  
Гнездовые в роце родовых границ  
Гораздо лучше, скажет вам любой.

## *Народ*

Народ в беде — вдвойне народ,  
Сильнее во сто крат,  
Когда из пепла восстает,  
Возврата нет назад.

Народ не может умереть,  
Ни мой и ни другой,  
Лишь мы предпочитаем смерть,  
Чтоб он обрел покой.

На уговоры не пойдет  
Он никогда, ни с кем,  
И не уговорить народ,  
Чтоб был он тих и нем.

Немой протест не для людей,  
Он знает свой язык.  
Попробуй-ка к нему приклей  
Кощунственный ярлык.

Перевод с татарского В. Парфентьева.

Евгений Григорьянц

## *Корабль*

Сегодня мы останемся вдвоем.  
Я расскажу тебе кусочек были,  
Что приключилась с неким кораблем,  
Когда его на пристани забыли.

Он был под флагом, значился в цене,  
Когда произошла его премьера  
В том плаванье к далекой стороне,  
Где есть надежда, и любовь, и вера.

Бедняге в жизни так не повезло,  
Он здесь на якорь на бессрочный брошен.  
Ему не выдать больше тех узлов,  
Которые легко давались в прошлом.

Но мачты гордо смотрят в вышину.  
И он готов отчалить от барьера  
В то плаванье, в далекую страну,  
Где есть надежда, и любовь, и вера.

Он был богаче множества царей,  
Когда узнал стихии притяженье,  
И тайные течения морей,  
И океанский ветер наслажденья.

И встречу на отчаянной волне,  
Когда к нему причалила галера  
В том плаванье к далекой стороне,  
Где есть надежда, и любовь, и вера.

\* \* \*

Прикоснись рукой или губами,  
Забери последнюю вину.  
И не надо лишними словами  
Портить дорогую тишину.

То ли явно, то ли очень скрытно  
Отведи нелепую грозу.  
И, в глаза уткнувшись ненасытно,  
Оброни жестокую слезу.

Слишком много нежностей у мая,  
Их так мало выпало зимой...  
Разомкнись на вздохе, обнимая,  
И уйди, забыв себя со мной.



Леонид Шорохов

## РОТ ФРОНТ

РАССКАЗ

I

Евдоким Семенович Иванов ушел на фронт в числе вторых пяти возрастов, мобилизованных на службу в армии в черном для страны сентябре 1941 года.

Возраст его был самый цветущий — сорок лет. Ушел он в действующую с высокого поста председателя сельсовета своей же родной, по рождению и жизни, деревни.

Должность позволяла прикрыться «броней», старые, еще с гражданской войны, раны перманентно напоминали о своем существовании, обезмуживший аппарат власти манил сладкой перспективой быстрого служебного роста, но немец стоял в центре страны, но самые исконные, древние, коренные русские места попрали и опоганил кованый тевтонский сапог — хуже смерти показалось матерому мужику Евдокиму притаиться у бабьих подолов.

До сентября Иванов трижды бомбил военкоматское и районное начальство просьбами о снятии «брони» и подумывал уже съездить в область, к старым, еще по коллективизации завязанным с ним в тугой узел непростых отношений, высоким друзьям и там поставить ребром свою незадачливую судьбу, но в сентябре все решилось само собой.

Немец то тут, то там протыкал Западный фронт остриями бронированных колонн, и спешно бросаемые навстречу ему маршевые роты, танковые заслоны и курсантские школы, вооруженные учебными, изношенными до предела «сорокапятками», таяли, как комья снега на жарком огне.

Частая гребенка мобилизационных комиссий снова прошла по редевшим тылам. После ее прохода на месте густых человеческих травостоев остались отдельные, случайно уцелевшие колоски.

В числе очередной порции живого топлива Евдоким Семенович был брошен в самое пекло невиданного пожара.

2

Неясное томление мучило Иванова по дороге к фронту. Все его прежние представления о войне вступили в мучительное противоречие с открывшейся глазам военной явью.

Теплушки шли к полям боев с невероятной по довоенным меркам скоростью. Целых семьдесят километров выжимал из своей огнедышащей утробы спаренный

«ФД». Колеса ритмично пощелкивали на стыках рельсов — вперед и вперед, вперед и вперед!

Эшелон шел днем и ночью, не прерывая упрямого пути. Двери в вагонах были открыты. Внутрь врвался напоенный запахами осеннего увядания воздух, навстречу ему ползли тягучие клубы махорочного дыма и крепкие мужские запахи.

Рядом с Евдокимом Семеновичем шли негромкие, длинные разговоры о доме, о семьях, о счастливом довоенном времечке. По мере приближения эшелона к фронту веселые воспоминания сменялись менее веселыми. Наконец затихли и они. Объявлено было по вагонам, что нынче в ночь выгрузка. Люди совсем смолкли.

Пока бог и немец миловали — по дороге, отнявшей восемь полных суток, под самолеты попали всего два раза, да и то оба случая закончились, почитай, благополучно.

Первый раз одинокий немец вывернул из-за леска на бредущем поперек эшелона, трахнул из пулемета по бегущим резво вагонам да и ушел неведомо куда. Проводить его огоньком не успели — головная «четверенка» была развернута мордой по ходу поезда (именно оттуда ждала пулеметная прислуга всякой беды и напасти, и пока расчет успел разобрать, откуда на самом деле выскочил проклятый фашист, того уже и след простыл).

Отделались двумя легко пораненными. Немец зависил прицел, и пострадала в основном верхотура двух смежных теплушек да произошла еще одна малая и смешная беда — пуля от крупнокалиберного немецкого пулемета пошла вдоль движения поезда и, пронизав насквозь две теплушки подряд, попала в санлетучку, прицепленную к эшелону с живой силой в самый последний перед отправлением момент.

Гнусней попадания нельзя было и придумать — раскаленный кусочек свинца, одетый в никелевую рубашку, угодил прямо в восьмилитровый стеклянный баллон с запасом операционного спирта и начисто снес всю верхушку бутылки. По колбе мигом пробежали лучезарные сквозные трещины. Пока аптечный фельдшер успел сообразить, что заниматься невиданным хулиганством, бросая камни в запертом изнутри на ключ помещении, некому, спирт весь вытек наружу из расхлупанной пудей посуды.

Раненых перевязали, перевели в санлетучку и забыли. Спиртовая катастрофа мучила весь эшелон двое последующих суток. Мало кто из солдат не помянул германского разбойника непечатным словом; впрочем, иные сомневались, что спирт так уж вытек весь — небось, кой-чего и тому фельдшерюге досталось.

Второй самолетный случай был посерьезнее, хотя тоже дело обошлось в основном легким и средним испугом.

Немец опять случился один, и уж на сей раз заметили его издалека. От головы состава к повисшему в небе серебряному, чуть ли не игрушечному самолетику потянулись трассы. Фашист, словно от смертельного приглашения, заложил крутой вираж, вошел в пики и капнул пару «соток», целя в остановившийся посреди голого поля эшелон.

Бомбы легли в сотне метров от вагонов. Взрывная волна вынесла все еще целые стекла в командирском пультмане. Один из осколков перебил вагонную ось санлетучки.

Тем дело и кончилось. Воздушный пират, совершив свой злодейский подвиг, отбыл восвояси.

Урону особого не оказалось, если не считать малого страха ходивших смотреть на большущие воронки и на перебитую толстенную ось легучки новобранцев. Силнца у гада с неба действительно оказалась такая, как те мороз невольной тек по коже.

Средний страх своим черным крылом опажнул маршевый комсостав — двое солдат пропали без вести неведомо куда. Дело запахло керосином, но нашлись, к счастью, два отделенных очевидца, своими глазами наблюдавших прямые попадания клятых бомб в исчезнувших начисто людей.

Рассказы сержантов выглядели тем более достоверными, что совпадали в мельчайших подробностях. Что же касалось того неважного обстоятельства, что разорванные бомбами в микроскопические клочки бойцы находились ранее под непосредственным началом самих очевидцев — это к совершившемуся факту не шло и роли никакой не играло. Убитых в нуль заактивировали, как, собственно, и было положено для таких неизбежных случаев, и эшелон, отцепив поврежденную санлетучку, покатила дальше.

Евдоким Семенович в этот второй самолетный раз впервые побывал под бомбежкой. В гражданскую слышать команды «воздух» ему не приходилось. Все его знакомство с современной авиацией исчерпывалось просмотром фильма «Если завтра война», показанного в родном райцентре аккурат перед самой войной.

В кино фашистские стервятники не осмеливались бомбить советские эшелоны; красноармейцы также не пропадали среди бела дня и ровного поля бесследно, —

только теперь Евдоким Семенович с невольным испугом ощутил, как сильно могут расходиться экранные были с подлинными.

Особенно неприятно поразило его поведение отделенных командиров, с застывшим ужасом в глазах напропалую молотивших несусветную чушь о якобы разорванных начисто подчиненных. И хотя дело явно запахло бы трибуналом, оказались пропавшие бойцы просто трусами, ударившимися в бег при первом соприкосновении с реальной опасностью (прямо от шпал начиналась ложбина, приводившая к недалекому перелеску), но командир, даже и самый маленький по должности и званию; врать, в представлении Евдокима Семеновича, просто не имел права.

Чего они там врали о разорванных напроочь бойцах, когда Евдоким Семенович лежал в двух шагах от одного из сержантов и самолично наблюдал, как тот роет себе индивидуальный окопчик собственным курносим носом?

Но фронт был еще далеко, а трибунал под самым боком, и Евдоким Семенович промолчал о виденном, не желая добавлять к двум выбывшим из строя еще до боев с противником бойцам двух младших командиров. Кроме того, он все же не видел собственными глазами, куда и в кого попали бомбы, так что в утверждениях перепуганных отделенных вполне могла быть какая-то своя, неведомая Иванову, доля правды.

Он построжел и стал внимательней приглядываться к людям.

В следующую ночь их батальон выгрузили в десяти километрах за Можайском. Выгрузка заняла десять минут. На освещенной горевшими нефтяными цистернами станции не задержались и секунды. Предыдущий налет немецких бомбардировщиков произошел час назад, следующую волну самолетов можно было ожидать с минуты на минуту.

— Первая рота, вторая, третья...

Командирский голос в напряженной, подсвеченной вспышками близкого пламени темноте был особенно настойчив и резок. Люди невольно подтягивались, заслышав его. Тут впервые в лицо каждого отдельного человека явственно пахло тяжелым, смрадным дыханием войны.

...Разбитые в крошево тяжелыми ударами бомб стационарные постройки, вывернутые из насыпи и закрученные штопором рельсы с болтающимися на них огрызками шпал, багровые блики разгорающегося пожара, тревожные гудки перегоняемых в хвост состава паровозов, грязные пятна бинтов на десятках раненых, скучившихся в ожидании погрузки на самом краю станции, и нарастающее, тревожное ожидание нового близкого налета немцев с воздуха — грозная действительность войны вопила здесь из каждого разбитого ударом немецкой фугаски деповского домика, выглядывала из поуродованных взрывами окон здания вокзала, отдавалась в ушах ревом и вспышками нефти в горящих цистернах, стонами и нервным смятением раненых бойцов.

От станции батальон сделал марш-бросок на двадцать километров к северо-западу. Первые пять километров шлепали по булыжнику. Евдоким Семенович проклял и дорогу, и войну, и саму матушку-родину — ноги оскальзывали по запотевшим ночной сыростью булыжниковым бокам, а отделенные и взводные все торопили хриплыми, приказными голосами:

— Шире шаг, шире шаг!

Евдоким Семенович шел во второй пятерке первой роты. В трех сотнях шагов впереди держалось боевое охранение.

Комбат, шагавший в голове батальонной колонны, глянул на подсвеченные зеленью часы и ругнулся:

— Не поспеваем, мать твою так! Передать по колонне: сто шагов шагом, сто шагов — бегом!

Приказ ушел в хвост батальона. Ротные колонны перешли на прерывистый бег.

Наконец проклятый булыжник кончился. Люди повеселели. По грунтовке оно и бежать-то выходило приладистей, чем по булыганам шагать.

— А ну, наддай! Шире шаг! — опять пролетело по колонне.

Оставшиеся пятнадцать километров сделали за два часа. Перед самым рассветом батальон занял позицию и окопался. Заморосил мелкий дождь.

Серое, тягучее начало дня застало Евдокима Семеновича в маленьком одиночном окопчике, вырытом им с превеликим трудом полуигрушечной саперной лопаткой в тяжелом сыром суглинке.

Здесь он должен был принять первый бой во второй своей войне.

Светало.



Евдоким Семенович высунул из окопчика голову и сдвинул тяжелую каску на затылок, огляделся.

Перед ним лежало ровное, чуть всхолмленное поле, кой-где подпорченное кривыми шрамами оврагов. Виднелись стежки коровьих следов, идущие к недалекой речке. За ней чернели небольшие перелески, а километрах в трех к горизонту зубчатой, угрюмой стеной подымался островерхий лес.

Проселок, которым батальон пришел на позицию, перепрыгивал через речушку и скрывался в лесу.

Евдоким Семенович оглянулся. В сотне метров позади него поднимались к небу могучие дубы. Елочный подрост не давал просматривать глубину леса.

Батальон занял позицию на опушке. В километре впереди Иванова, почитай у самой речушки, расположилось боевое охранение.

Слабенький ветерок постепенно растянул завалы темно-серых туч, скопившихся над горизонтом. Небо очистилось. С первыми лучами солнца над далеким лесом, на той стороне воды, прошли два немецких самолета.

Евдоким Семенович невольно поежился. Развиделось, будь оно неладно. Первый бой, — шутка сказать, первый бой, — как бы не оплошать ненароком.

Евдоким Семенович уже понимал про себя, что та война, на которую он попал, будет иметь мало общего с хорошо знакомой ему гражданской. Все изменилось — и в жизни, и, как видно, на войне, — за истекшие длиннющие годы. Не изменилось, пожалуй, только то, что на нынешней войне убивали, конечно, никак не реже, чем на предыдущей.

Вот только враг был Евдокиму Семеновичу совершенно незнаком. Киношные о нем представления явно не годились, раз уж немец ухитрился допереть почти до самой матушки-Москвы.

Прежде Евдоким Семенович представлял себе, что враг сплошь состоит из холеных, наглаженных офицериков в бутылочных сапогах, с талиями в рюмочку, с блестящими моноклями в надменных глазах. Никаких других фашистов Евдоким Семенович в кино не видел.

Но в орбиту войны были втянуты миллионы немецких солдат. Даже при самом пылком воображении невозможно было поверить, что все они таковы, какими их показывали на экране.

Враг сидел за штурвалом самолета, крутил баранку грузовика, переключал фрикционы танка — Евдоким Семенович хорошо представлял себе, какими грубыми и мозолистыми должны быть руки, перебортовывающие на двадцатиградусном морозе проколотый баллон трехтонки или набивающие пудовой кувалдой на ленивец танка соскочивший с него на выбоине трак.

И стоило Иванову представить это, как привычный образ омонокленного противника начинал плыть, дробиться в его воображении. Человек с плетеными золотыми погончиками на отутюженном шевиотовом френчике вряд ли полезет с гаечным ключом под заглохшую машину, чтобы отвинчивать замасленные гайки с пробитого камнем картера.

Новая фигура врага, возникающая в голове Иванова взамен растаявшего золотопогонника, выглядела совсем иной, чем он прежде думал, и именно это новое обличье топтавшего землю его Родины врага крайне не устраивало Евдокима Семеновича. Оно никак не вмещалось в его привычное, довоенное мировосприятие.

Нет, в самом деле, что же получалось с врагом? Кто же он был на самом деле?

#### 4

Ведь было ясно как день, что вражеская армия, германская армия, состоит в основном из рабочих, то есть из прямых братьев по классу. Никак не верил Иванов в буржуа за шоферской баранкой. Буржуй, тот сидел в мягком кресле своего золотого дворца и высасывал кровь из изможденных немецких рабочих.

По всем впитанным за десятилетия Евдокимом Семеновичем меркам, канонам и теоретическим правилам, германский рабочий класс давным-давно должен был взбунтоваться против антинародного гитлеровского режима и протянуть руку дружбы братским пролетариям советских республик.

Чего же они ждут? Теперь уже прямо настала пора взять власть в Германии в свои мозолистые руки и скинуть с буржуйского места народного кровопийцу Гитлера!

Однако о бунтах немецких пролетариев пока что-то не было слышно.

«Конечно, — вздыхал по дороге на фронт удрученный Евдоким Семенович, — пропагандой заморочил Гитлер простые рабочие головы. Опять же и Тельман их-

ний в тюрьме, а без вождя, конечно, трудно бороться рабочему классу с мировым капиталом».

Газетным сообщениям о зверствах фашистов над мирным российским населением Евдоким Семенович не вполне верил. Слишком уж невероятным выглядело сообщаемое.

«Перегибают,— думал он про себя, слушая сообщения Совинформбюро.— Ну, одели рабочего человека в фашистскую форму, ну так что? Злодеем он от этого все равно не сделался, как был раньше трудовым пролетарием, так им и остался. И сознание его пролетарское. Ему русский рабочий — прямой брат. Станет разве рабочий человек чужой дом жечь да детишек стрелять? Сейчас ясно, что не станет, будь он хоть немец, хоть русский, хоть француз. Это ведь не буржуй. Те — да, те могут, от их простому человеку добра не ждать, они на все способны. А рабочие, что же? С ими нам просто перетолковать бы надо...»

Оставалась у Иванова тайная надежда, что надо просто объяснить одетому в сине-зеленую суконную форму, с «готт мит унсом» на поясной пряжке, братскому немецкому пролетарию, что не к лицу ему врываться на танке на землю победоносного социализма, чтоб грабить дома и убивать таких же, как он сам, трудовых рабочих, и что должен же, непременно должен понять распропагандированный обратно немец всю великую правоту прекрасных пролетарских идеалов и что должен же он, наконец узрев, где собака зарыта, повернуть свой распропагандированный штык против собственного пузатого немецкого буржуа и того самого омонокленного офицера, что гнал его на братоубийственную войну!

Это глубинное чувство необходимости объяснить заплутавшему в трех соснах немецкому брату, что его нагло надули акулы империализма и что пора прекратить нелепую войну с собственными собратьями по классу, войну, идущую на пользу только тем же самым чемберленам и гитлерам,— это чувство Евдоким Семенович пронес через самолетную штурмовку и бомбежку своего эшелона; не поколебалось оно и видом горящей станции, на которой разгрузили их батальон.

Иванов только больше уверился, увидев полыхающие цистерны с народным добром, как немедленно необходимо остановить бессмысленное побоище, устроенное мировым капиталом, конечно же, вопреки желанию самого германского пролетариата.

Ну никак не воспринимал Евдоким Семенович одетого в военную шинель простого рабочего как своего классового врага только потому, что тот говорил на чужом языке.

Память гражданской войны, когда в одном строю с Евдокимом Семеновичем стояли одетые в красноармейскую истрепанную и бедную одежку китайцы, венгры, австрийцы, чехи, немцы — бессмертные и пламенные интернационалисты, на заснеженных полях России защищавшие первые социальные завоевания пролетариата,— память этой первой своей войны и первого классового опыта пламенем стучала в сердце Иванова и не давала ему разглядеть врага в немецком пролетариате.

Ведь и тогда, в гражданскую, такие же, как и он сам, Евдоким Иванов, нищие, серошинельные крестьяне противостояли ему, подгоняемые на братоубийство выхолощенными, барственными офицерами. Какие они были политбойцу Евдокиму Иванову враги — те, темные крестьянские парни, лежащие в окопах враждебной стороны. Никакие они были не враги, а обманутые братья, которых самих надо было спасать и отстаивать от барской, от дворянской лжи, в хитроумных сетях которой они, запутавшись, первыми же и погибли.

...Первой встречи с германцем, вплотную, лицом к лицу, глазом в глаз, Евдоким Семенович Иванов ожидал с великим трепетом, затаенной надеждой и опасливым нетерпением.

Может, выпадет случай поговорить?..

## 5

Из-за края дальнего черного леса выглянуло солнце. Прямо перед Евдокимом Семеновичем, разделяя расстояние от него до речушки на два почти равных отрезка, лежал небольшой пологий холм.

«С горушки этой далеке видно,— невольно прикинул про себя Евдоким Семенович.— Не дай бог, какой фриц на этот пупырь заберется — сразу вот они мы перед ним, как на ладошке. Может слупа наделать дел».

Евдоким Семенович поехал. Как ни хотелось допреж драки потолковать с немцами, а старый вояка невольно сказывался — бог-то бог, да сам не будь плох,

выпадет ли случай обговориться — неизвестно, а под дурную пулю лишний раз нос высовывать не след. Он нахмурился.

«Ладно, в случае чего, авось, трехлинейка не выдаст, немец не съест. За речку, даст бог, не пустим».

Евдоким Семенович смущенно оглянулся. Чего-то бог последнее время стал через слово приходить на язык старому антирелигиозному борцу. В гражданскую такого не случалось, там если и поминал молодой красноармеец Евдоким мифического распорядителя человеческих судеб, то не иначе как веселым матерком да прибауткой. А теперь, видно, года сказывались.

Иванов поглядел направо. В сотне метров от дороги окапывалась приданная батальону артиллерия. Две сорокапятки расположились уступом по обе стороны грунтовой дороги.

Мелькали допаты, летела в стороны земля, поблескивали на выбежавшем солнышке голые потные спины — пушкари спешили изо всех сил.

Евдоким Семенович опасливо глянул на небо. «Успели бы. Эх, не ко времени погодка разыгралась. Тучицу бы сейчас сюда да дождя побольше. А то ведь вот-вот припожалуют небесные гости».

Однако артиллерия успела надежно зарыться в землю — и эскарп был нарезан, и примитивный капонир, немец подарил еще полтора часа ненарушимого покоя.

За это время по взводам дважды пробежался ротный, велел зарываться поглубже — родная земля-матушка не раз русского человека от всякой беды и напасти спасала.

Евдоким Семенович ушел в суглинок так, что только каска чуть высовывалась округлой верхушкой поверх бруствера. Теперь можно было и немца встречать.

В половине одиннадцатого дорога на выходе из дальнего, заречного леса запылила. Послышался далекий треск мотоциклов. Бойцы разом насторожились и притихли.

Евдоким Семенович напряженно взгляделся в мутноватую, колышущуюся даль. Он различил в плавающем мареве несколько маленьких движущихся точек, быстро вырастающих в жирных черных мух. Мухи приближались.

«Разведка, — догадался Иванов. — Ну вот оно, началось».

Однако пока еще ничего не началось. Немцы шустро подкатили к деревянному мосту через речушку, за которыми притаилось боевое охранение батальона, и остановились. Пятеро мотоциклистов съехались в кружок в двухстах метрах от мостика и постояли так минут пяток, видимо, решая, что предпринять дальше.

Евдоким Семенович явственно различил из своего окопчика дальние посверкивания линз биноклей. Наконец, как видно, последовала какая-то команда: двое мотоциклистов отделились от группы и, пригнувшись к рулям тяжелых «БМВ», резко мотанули к мостику. Остальные ожидали их, не двигаясь с места.

Ревели мотоциклы, блестели каски — с разрывом метров в тридцать друг от друга мотоциклисты проскочили мостик и резанули прямо по дороге.

Евдоким Семенович, вжавшись лицом в бруствер и позабыв все свои недавние мысли о переговорах с обманутыми зарубежными пролетариями, шептал пересохшими губами:

— Пропустить, пропустить надо. Пусть и энти, что за мостом, проскочат речку.

В эту секунду в напряженной тишине, разрезаемой только ровным рокотом мотоциклетных моторов, грохнул одинокий винтовочный выстрел. В ответ ему тут же залились нейстовым лаем два немецких пулемета. Мотоциклисты разом крутанулись почти на месте и, завивая за собой пыль, понеслись назад. Вслед им загремела беспорядочная ружейная трескотня.

— Уйдут, уйдут! — отчаянно закричал Евдоким Семенович, по пояс высываясь из окопа. — Упустите, дьяволы!

Он дернул затвор винтовки, торопясь дослать патрон в казенник ствола, нетерпеливые руки обогнали отжим боевой пружины — высунувшийся из магазинной коробки длинный желтый патрон пошел боком и заклинил.

Пока Евдоким Семенович, матерясь и в кровь обдирая ногти, выковыривал его из патронника, все впереди него было уже закончено.

Мотоциклисты не дошли до спасительного мостика какого-нибудь десятка метров, когда позади них ударил «максим». Две коротенькие, по три патрона каждая, очереди понадобились пулеметчику, чтобы сразу свести дебет с кредитом.

Первого немца прицельная, выверенная до миллиметра порция свинца хлестанула поперек лопаток и разом выбила из резинового седла.

Евдоким Семенович явственно увидел, как фриц вылетел из-за руля и кубарем покати́лся по дороге. Второй мотоциклист, получив пару свинцовых пломб ниже обрезки каски, вильнул мимо мостика и въехал прямо в воду.

Поднялась и упала туча брызг; когда водяной дым улегся, ни мотоцикла, ни немца не было видно.

Исчезла и троица, остановившаяся за мостиком. Только пыль, завивавшаяся кудрявым облаком, еще минуту-другую висела над опустевшей дорогой.

Вслед умчавшимся немцам лениво твякнул было пулемет, но тут же и умолк. Достать было далековато, а попусту жечь патроны пулеметчик не захотел.

Евдоким Семенович уважительно шмыгнул носом. «Спец. Сразу видно масте-рового мужика. Ни одной лишней пули за молоком гулять не послал. Рядом с таким умельцем куда как спокойнее. А то начали палить неведомо куда. Эх, всех можно было бы прибрать, немцев-то, окажись у засады нервишки покрепче, — еще раз пожалел Иванов. — Ну да хоть этих не упустили, и то хлеб. Уж им с нами больше не воевать».

К побитым мотоциклистам побежали несколько солдат. Евдоким Семенович отвернулся и начал внимательно прощупывать глазами затвор. Не пристала ли где какая помешанная соринка? Ведь с чего-то же он заклинил, проклятуший! А доведись случиться такому чертову невезению в настоящем бою? Пропадешь ни за грош.

Он разобрал, тщательно протер, смазал и снова собрал затвор винтовки. Вставил в магазин обойму и пощелкал затвором, проверяя, как работает нехитрая трехлинейная механика. Патроны ныряли в патронник, как мыши в нору. На душе у Евдокима Семеновича стало поспокойней. Теперь родимая «мосинка» подвести не должна была.

Еще полчаса над будущим полем боя стояла тишина. Потом начался ад.

## 6

Шестую атаку немцев отбивали уже в сумерки. Противник окопался на той стороне речушки, у самого леса, и раз за разом накатывался на позиции батальона.

Бомбоштурмовой удар с воздуха, короткий артналет из гаубичных артиллерийских — и через речку резво переползал десяток «Т-четвертых». В трех сотнях метров за ними держались бронетранспортеры с пехотой.

Танки, одолев брод, набирали скорость и уходили вперед. Броневики выметывали солдат в каких-нибудь пятистах метрах от русских окопов — топтать пехом лишнего немцы не желали.

Здесь впервые увидел Евдоким Семенович немецкую войну — войну по уставу. При малейшей заминке в атаке над полем боя появлялись «Юнкерсы», артобстрел продолжался весь день, чередуясь с усиленными артналетами, в обед немцы не воевали (издали видно было, как там, у леса, задымились походные кухни), а в семь ноль-ноль вечера последовала отчаянная, последняя за день попытка смять русских.

Ее отбили на голом энтузиазме — людей в ротах не осталось и половины утреннего состава, последняя «сорокапятка» была раздавлена вместе с расчетом проравшимся к огневой позиции танком еще в полдень, из шести батальонных минометов в живых к вечеру остался только один, а немец сыпал и сыпал минами, перепаживая усеянное воронками поле снова и снова. От полного разгрома батальон спасло только несокрушимое русское упрямство и нежелание уцелевших людей оставить за врагом так обильно политый собственной кровью кусок родимой земли.

Бог в этот день был за русских и миловал он пока Евдокима Семеновича. Дважды осколки близко рвавшихся бомб просекали бруствер и врезались в стенки окопчика в нескольких сантиметрах от Иванова. Крупнокалиберная пуля из танкового пулемета пролупила насквозь борт его каски и оставила широкую кровотокающую ссадину на виске. Возьми немецкий танкист чуть левее, лежать бы Евдокиму Семеновичу в вырытой собственными руками могилке с разбитым в мелкое крошево черепом.

Мина, разорвавшаяся позади окопа, посекала мелкой россыпью осколков шинельку на спине — ходила смерть весь день, с утра и дотемна, возле русского солдата, ходила, примеривалась, принимывалась, прилаживалась, да так ничего и не выходила: знать, не вышел его срок.

В сумерках немцы угомонились.

На распаханном взрывами поле перед Евдокимом Семеновичем лениво подымливали три сгоревших немецких танка. Дальше виднелись два подбитых бронетранспортера. Три сотни метров земли, начиная прямо от батальонных окопов, были густо усеяны воронками и неприметными серыми холмиками — здесь вперемежку лежали свои и чужие убитые.

Дважды немцы выходили на дистанцию ближнего боя, дважды за сегодняшний день Евдоким Семенович видел страх в глазах противника — русский штыковой удар был последним средством обороны, и потому так густо громоздились впереди русских окопов побитые люди.

В рукопашной немец не устоял, кишка его оказалась тоньше русской, и в за-

бегах назад, под защитный танковый заслон, показал он прыткость не меньшую, чем в самих атаках.

Евдоким Семенович нет-нет да и косил глазом в сторону большой воронки от авиафугаса, разбросавшейся кучами ярко-желтого суглинка метрах в ста от его окопчика. Там, за воронкой, вдавленный кричащим ртом в мокрую землю, лежал заколотый Ивановым в штыковой контратаке немецкий гренадер.

Встретились они лицом к лицу в середине дня. Немец оказался невысокого росточка, но коренастый и верткий, как вьюн. Не поскользнулся он на мокрочей пузыристой глине (знать, помогла-таки Иванову родная земля!), лежать бы теперь не немцу, упершись носом в желтую грязь, а самому Евдокиму Семеновичу.

Как козявку, приколов немца к суглинку четырехгранный, работы знаменитых туляков, русский штык; плоский ножевой штык противника оказался неповоротливее. Не золингеновская — лучшая в мире — оружейная сталь подвела, подвела чужая немцу земляца!

Сходить поглядеть на убитого собственноручно врага не хотелось. Какой бы ни был распоследний, может быть, фашист и как бы ни хотел он убить Евдокима Семеновича, а убитый сам, он уже переставал быть врагом и становился просто мертвым человеком, каких впереди лежали десятки и любоваться которыми противилось все существо Иванова.

## 7

Ночь прошла беспокойно: противник нервничал и зря жег ракеты. Темнота не установилась, кажется, и на минуту. То и дело от невидимой в ночи речки, где засел немец, тянулись в сторону русских позиций прерывистые, длинные трассы пулеметных очередей.

Русская сторона молчала. К середине ночи подвезли на подводе и раздали по окопам патроны и пузатые бутылки с горючей жидкостью.

Теперь Евдоким Семенович опасно косился в дальний угол своего окопчика, где впритык одна к другой дожидались утра шесть высоких, темного стекла бутылок из-под водки с прикрученными к горлышкам картонными трубочками толщиной в палец.

При появлении вражеского танка в непосредственной близости от окопа следовало разбить бутылку о решетку моторного отсека бронированного чудовища.

Иванов тяжело вздохнул. Попади в бутылку случайная пуля или осколок, или чуть замешкайся с броском, и сам сгоришь в момент ни за понюх табаку. Не от хорошей жизни, понимал он, появилось такое, проще кирпича, средство для борьбы с главной немецкой ударной силой. Но не с голой же рукой выходить на танк, даст бог, придет такое время, когда и у нас появятся, чем достойно употчевать незнамого гостя. А пока, что ж... Горели танки и от этих самых бутылок — Евдоким Семенович сегодня это своими глазами видел.

К исходу ночи он все же не утерпел, слазил с бойцом из соседнего окопчика Федькой Соловьевым к убитому фрицу. Сам бы Евдоким Семенович сроду не решился на такое рискованное дело, чтоб без приказа командира хоть на минуту оставить пустым свой окоп, но Федька, самолично видевший, как ловко его сосед впечатал штыком немца в мокрую глину, перелез в стрелковую ячейку Евдокима Семеновича и начал подбивать Иванова сползая поглядеть на убитого немца, а заодно и пошустрить в смысле трофеев.

— Во фляжках-то у них, оказывается, коньяк! — жарко подбивал он на нарушение устава примолкшего Евдокима Семеновича. — Точно, я вечерком приглядывался к нему — фляжка на боку торчит. Што тут — сто метров. Да и часишки наверняка есть у фрица, так чего им пропадать? В один секунд обернемся.

Евдоким Семенович недовольно завозился.

— Барахольщик ты, Федька, как я погляжу. Этому ли тебя советская власть учила, чтоб у мертвяков по карманам шарить?

— Так ведь фашист же! — отмахнулся Федька.

— А может, фляжка та у него отравленная, — попробовал пугануть его Евдоким Семенович. — Глотнешь — и с ходу тебе каюк. Слышал, что комиссар сказывал об ихних коварных уловках?

— Хе! — недоверчиво хмыкнул Соловьев. — Выпивку в собственной фляжке травить — у кого ж рука на такое дело подыметя?

Евдоким Семенович смущенно умолк. Он и сам чувствовал, что несколько перегнул с фрицевским коварством.

Федька решил зайти с другого бока.

— А ведь там у него вроде и полевая сумка была, — как бы припоминая, за-

думчиво протянул он. — Может, какие бумаги в ней секретные хоронятся? А мы с тобой зря дурака валяем, прохлаждаемся. А тут в ста шагах военная тайна. Все зловредные планы Адольфа Гитлера. Неужто не поглядим?

Евдоким Семенович недоверчиво засопел.

— Так-таки и Гитлера? — спросил он погодя. — Не брешешь про сумку?

Федька обрадовался так, что его пронзительные глаза видимо заблестели в темноте.

— Бог как бог свят, дяденька, — быстро побожился он. — Я, когда мы назад бежали, ее увидел.

— Чего же сразу не взял? — строго спросил Евдоким Семенович.

— Как же возьмешь? — загорячился Федька. — До того ли было? Забыл, как он крупнокалиберным понизу повел? До сумок ли тут? Веришь, нет — перед самым носом пули пошли. Чуть задержался бы я — и каюк, и поминай, как звали. Ну, поползли, что ли!

Вместо ответа Евдоким Семенович начал молча вылезать из окопа. Обернувшись действительно быстро. Полевой сумки на фрице не оказалось, оказался обычный солдатский ранец, но насчет фляжки и часов глазастый Федька угадал верно.

Пока Иванов, морщась, выдирает из-под убитого врага заляпанный глиной ранец, Федька управился и с фляжкой, и с часами. Коварный фашистский яд он опробовал немедленно — в ноздри Евдокима Семеновича шибануло резким запахом крепкого солдатского шнапса.

Из темноты донеслось до него довольное Федькино похрюкивание.

— Вот это, батя, да. Это стоит глотнуть. Градус самый наш, российский.

Евдоким Семенович с усилием стянул через мертвые плечи широкие холщовые ремни и повернул было ползти назад.

Низко, настильно, почти над самой землей пошли красные трассы немецкого пулемета. Вжавшись в траву, Иванов переждал очередь и прислушался в темноте. Кругом было тихо. Евдоким Семенович сунулся туда, сюда — Федька как сквозь землю провалился.

— Эй! — испуганно шумнул в сторону Иванов. — Где ты, Федор?

Темнота отозвалась голосом Соловьева:

— Не шуми, батя. Здесь я. Тута еще побитые гансы.

— Давай, давай назад, — заторопил его Евдоким Семенович. — Неровен час, ротный набежит, а нас нету.

— Эге ж!

Через минуту Федька вынырнул из темноты с безобразно распухшей пазухой и шустро полез к своим окопам. Евдоким Семенович рубанул следом. Приползли, сунулись в окопчик, огляделись.

Над головами мерцали редкие звезды. Плыл месяц. Накрылись шинелькой. Зажгли самодельную коптилку. Федька соорудил ее из клочка пакли, пустой пулеметной гильзы и ложки ружейного масла, запасливо сохраненной было Евдокимом Семеновичем.

Иванов отбтер от грязи шелковистую телячью кожу ранца. Открыли. Соловьев жадно сопел над самым ухом, верно, и сам поверил, что вылезет из темного чрева никак не меньше, чем подписанный самим Адольфом план дальнейшей войны с Красной Армией. Но в ранце никаких секретных или несекретных документов не случилось, а нашлось в нем обычное мужское приладьё — мыльный камень «заза», сапожная да одежданая щетки и кожаный, бритвенный несессер. Да еще лежали три плитки шоколада в яркой коричнево-золотой упаковке с нарисованными на лицевой стороне откормленными коровами.

— Ни-дер-ланд... — прочитал по слогам Евдоким Семенович чужеземное слово. — Это, выходит, чего?

Федька изумленно выставился на него.

— Шурупишь, батя?

Евдоким Семенович смущенно кивнул.

Вишь, когда пригодилось ему усильным изучением постигнутое непростое знание.

В незабвенном 1923 году, в чаянии вот-вот долженствующей совершиться мировой революции, записался Евдоким Семенович в кружок немецкого языка и занимался постижением дьявольски трудной премудрости целых два месяца. Именно тогда въелось в него и навсегда застыло в памяти трудное понимание двух десятков звуков, наполняющих латинские буквы.

Однако мировая революция подзапоздала, вовремя подоспела только мировая контра, и всех работников сельсовета срочно мобилизовали на бандитизм. Да и было их, тех работников, всего только сам Евдоким Семенович — председатель, да семнадцатилетний Микитка, пастухов сын, — секретарь, тоже загоревшийся изу-

чать на пару с начальником чужеземную речь, чтоб при случае донести до всех трудящихся и угнетенных народов мира великую правду пролетарской революции.

Но по лесам в тот год много хоронилось матерого бандитья всех цветов, сортов и политических окрасок — белые, зеленые, черные и чуть ли не малиновые или еще какие (черт их там всех разберет), и лег Микитка в матушку-землю, подстреленный темной ночушкой в глухом таежном селе, за сотню верст от родимого дома и за многие тысячи верст от не встреченных друзей-товарищей, за счастье которых он и отдал свою короткую молодую жизнь. Так и не пришлось секретарю Микитке разяснить им всю правду про проклятого классового врага.

Осталась с тех пор в цепкой памяти бывшего двадцатилетнего комбедовца Евдокима Иванова жгучая ненависть к зарубежным буржуям, через своих бандитских холопов местного обличья беспощадно сгубивших нерасцветшую Микиткину жизнь, да еще осталось плывущее понимание десятка чужеземных, вызубренных на пару с Микиткой, букв.

## 8

Федька, донельзя разочарованный отсутствием в трофейном ранце жутких Адольфовых секретов, завидев шоколад, обрадовался.

— Дер-лан, говоришь? Это хорошо. Самый закусь, этот дерлан. Давай-ка сюды, сейчас мы под него кой-чего сговорим.

Он поддел грязным толстым пальцем шоколадную плитку. Из-под нее вывалилась наружу малая книжица, в карточную колоду размером. Федька обрадованно охнул.

— Документ! Вот он, секрет фашистский. Ты, батяня, я вижу, по-ихнему кумекаешь, тебе и карты в руки — гляди, чего там написано?

Евдоким Семенович бережно поднес книжечку к глазам. Он раскрыл ее и несколько секунд смотрел на страницу непонимающими глазами, изо всех сил силясь уразуметь, что же перед ним такое, но не понял и машинально перевернул листик. На следующем развороте было изображено примерно то же самое, что и на предыдущем, — Евдоким Семенович ошеломленно ругнулся и брезгливо отшвырнул фашистскую пакость.

Книжечку тут же подхватил почуявший жареное Федька.

— Чего в ней, батяня? Не понял, что ли?

Он сунулся в разворот листов, минуту сидел, тараща глаза, и, позабыв закрыть рот, восхищенно хлопнул себя по ляжке.

— Мать честная, вот эта да!

Соловьев жадно листнул страницу и впился в картинку зачарованным взглядом.

— Вот дьяволы полосатые! Ну дают, так дают. Ай да фрицы, ай да Европа! Это тебе не наши маньки!

С зеркального глянца фотографий торчали и лились во все стороны пудовые женские груди и слоноподобные женские зады. Похоть во всех своих видах, смыслах и проявлениях; похоть откровенная, начисто лишенная и грана какой-либо духовной окраски; похоть извращенная, глумливая и торжествующая, потоком липкой, зловонной грязи струилась с плотных, добротнo выделанных страничек фрицевской книжонки.

Рядом восторженно подхихкивал и шумно сопел Федька, в десятый раз влиная носом в особенно поразившие его женские формы и габариты, а Евдоким Семенович, откинувшись натруженной спиной к сырой стенке окопа, напряженно думал об увиденном.

Немецкое чтиво поразило его.

«Так вот они какие! — удивленно восклицал Иванов про себя, силясь тяжелым прижимом мысли запереть в мозгу нечто, не поддающееся уловлению. — Вот, стало быть, с чем они к нам пришли. Это как же так, это почему же?»

Всю свою нелегкую трудовую жизнь Евдоким Семенович страстно любил и уважал книгу — писаное, печатное слово. Легко давалась грамота смышленому крестьянскому пареньку, да трудно далась учеба: семь голодных ртов, мал мала меньше, кроме жениного, ждали в покосившейся избенке замученного нуждой и недоимками Евдокимова отца.

Клин выделенного ему деревенским миром душевого надела насчитывал три десятины пашни, старая корова третий год ходила в нетелях, во всей избе только и было богатства, что печь, широкие полаты у стены да несчитанный выводок голодной детворы. О какой учебе для голой нищеты могла идти речь, когда и впроголодь-то кормиться было нечем. Подрастающая детва попадала в пастушки к общинному стаду, потом, чуть проклюнутся силенки, шла в батраки к деревенским миро-

едам, начиная за кусок хлеба гнуть до седьмого пота хрип на чужом подворье. Те, кому не выпадало и этого горького счастья, надевали через плечо заплатавшую суму и шли христарадничать по великой и невыносимой для жизни Руси.

Евдокиму повезло ходить в сельскую церковно-приходскую трехлетку две зимы. Он успел выучиться чтению и начал арифметику, до дробей доходил уже сам, собственным умом и старанием постигая науку у ночного каганца в сенях отцовской избы, да на том и закончил все свое высшее и низшее образование.

С той самой детской, ночной науки Евдоким Семенович брал в руки любимую книжку с опасливым и радостным трепетом — ведь вся премудрость мира, все непознанное им объяснение тайны и предназначения человеческих жизней таилось в книгах; запойное чтение стало для него мучительным и волнующим постижением смысла бытия.

«Вона, как по-разному жили люди, вона, как человек на свой лад судьбу поворачивал. Доискаться бы — почему? А каким же надо быть головастым и добрым человеком, чтоб написать сотни набитых всевозможными чудесными знаниями страниц!» Этого и представить себе было невозможно без сердечного трепета.

В молодые годы любой человек, сам собой, из головы пишущий книги, стоял для Евдокима Семеновича ну, если не наравне, так только чуть пониже комиссара его полка или, скажем, командира дивизии. И посейчас брал он в руки любую незнакому случившуюся книжицу с забытым чувством предвкушения удивительного и радостного чуда. А ну, как в ней что-нибудь уж очень хорошее, полезное для жизни прячется? То-то любопытно будет узнать.

Немецкая книжечка ошеломила Иванова.

Ведь это пакостное изделие кто-то же создавал! Придумывал, как ловчее сделать, снимал фотографическим аппаратом голых, в чем мать родила, непотребно раскинувшихся баб, брошюровал, прессовал, обрезал торцы специальной типографской гильотинкой, оклеивал переплетом — и кто же делал все это? Ведь чертова уйма народу должна была не один день в этом дерьме добровольно купаться, и какого народу? Сейчас ясно, что грамотного! И ведь у каждого из них наверняка и жена есть, и мать, и дочери, и сестры; да неужели согласился бы хоть один изготовитель гнусного альбомчика продемонстрировать в нем в указанной позе и ракурсе свое родное женское существо?!

Евдокима Семеновича замутило.

— Господи, баб-то этих голых, мужиков-то этих срамных, где их-то понабрали? Совесть-то у них есть, или нет? Стыд-то какой хоть? — с болью выговорил он.

Смутное понимание страшной истины впервые коснулось самой глубины души Иванова.

«Книжку-то эту срамную ведь не буржуй делал, — невольно подумал он. — Рабочий ведь ее набирал да печатал. Что же, выходит, лишь бы деньги платили, а там пролетарию на все начхать? Нет, — встал на защиту неведомых ему немецких печатников Евдоким Семенович, — не может быть. Просто буржуй работяг прижал, мол, делайте, что велю, а не то с голоду сдохнете. Тем, конечно, и деваться некуда!»

— А солидарность? — взволнованно выдохнул Иванов. — А выйти всем миром на улицу да за горло его, буржуя, взять — мол, хватит пакостничать, мол, не позволим!

«Эх, — подумал он, — что-то тут не так. Где-то немецкие рабочие, видно, оплошали. Буржуи... да, буржуи... А только этот, убитый немец, он ведь на буржуя не шибко смахивает».

Вспомнилось Евдокиму Семеновичу мгновенно мелькнувшее перед его глазами, обоженное яростью лицо и широкий, крестьянский замах штыка. Тут знающему человеку никак не спугать — сразу видно, что знатным косарем был когда-то тот, лежащий теперь у воронки немец.

Рядом завозился, оторвавшись, наконец, от любованья смачным бабьим товаром, Соловьев.

— Ну, чего ты там, батяня, бормочешь? Не трусь — фрицевских секретов не добыли, зато ихняя консерва теперь наша!

Он вытряхнул из-за пазухи две высоких консервных банки.

— Этое дело, батя, то есть насчет пожрать, оно на войне самое главнющее, дороже любых Адольфовых секретов стоит!

Светало.

Евдоким Семенович машинально прочел на жестянке — «Данмарк».



— Во, во,— подхватил довольный Федька,— дамское, значит, едово. Ну, красному бойцу оно и дамское сойдет, было бы мяса побольше!

Он выдернул из-за голенища широкий нож — миг! — и одним ходом лезвия вырезанные донышки отлетели в сторону. Федька сунул носом в банку.

— Тушенка,— сладко выдохнул он, щупая ноздрями воздух.— А ты толковал, что бабская жратва, батяня. Самая что ни на есть мужицкая оказалась.

Он заглянул в жестянки и одобрительно покачал головой.

— Тоже и у немца губа не дура. Гля, как поверху салом залил. Соображает. Двигайся ближе, батя.

Евдоким Семенович сидел молча, весь во власти своих дум, и, казалось, не слышал Соловьева.

Тот засопел и дернул Иванова за рукав.

— Давай рубать, батяня. Всего не передумаешь. А то, гляжу, ты чего-то заскучал. Ничего, рубанешь фрицевской тушенки, повеселеешь. И опять же,— он поболтал в воздухе трофейной фляжкой,— главное, запить есть чем. Это, знаешь, как в песне поется: «А без воды, а без воды — ни туды и ни сюды!»

— Хороша водичка,— усмехнулся Евдоким Семенович.

— Градус есть,— охотно согласился Федька.

Поели. Соловьев уполз в свою стрелковую ячейку. От него в окопчике Иванова осталась резкий запах немецкого шнапса да ощущение сытости в желудке.

Евдоким Семенович свернул махорочную сигарку, закурил.

«Как там мои?— подумал он.— Настюшка-то, чай, скучает?»

Настюшку, дочку, последыша, любил Евдоким Семенович до дрожи в сердце. Дочке недавно исполнилось пять лет. Сыны, оба с июня месяца, были на фронте. Писем от них не приходило с июля. О сынах Евдоким Семенович боялся и думать. Живы ли? Только бы живы были. Остальное что? Чепуха остальное.

Он задремал.

## 10

Наступило утро.

Немец по ту сторону речушки как вымер. Только вдали от позиции батальона, с правой стороны шоссе, как загромыхало с рассветом, так не стихало до вечера. Бой там, слышно, шел свирепый, коли рев разрывов доходил сюда неумолчным, непрерываемым даже минутой тишины грозным гулом.

С утра гул был слышен немного впереди батальонных окопов, к обеду слился вровень с позицией войск, а к вечеру уже доносился далече из-за спины. Значение этого нарастающего перемещения звука было понятно всем без слов.

Евдоким Семенович вслушивался в далекий шум боя и постепенно мрачнел. Немцы явно продавили фронт армии севернее их позиций и к вечеру продвинулись по магистральному шоссе никак не меньше, чем на десять километров за спину батальона.

К обеду Иванов, наконец, понял, почему так благодушно настроен нынче вчерашний свирепый противник.

Немец щупал русский фронт и там и сям, пробуя, нельзя ли где пробить его с налета; нахально напирал передовыми отрядами, ведя по всей линии русской обороны силовую разведку; но свои основные силы он бросил туда, где обозначился явный успех, где обороняющиеся части либо дрогнули и отошли, либо были выбиты начисто в скоротечных, кровавых схватках и где по оголившимся асфальтовым магистралям можно было бросить в зияющий прорыв плотные моторизованные колонны войск и боевой техники.

В тех же местах, где прорыв с ходу не удавался, немец останавливался, притихал и только изредка тревожил малыши булавочными уколами противостоящие ему войска, с тем, чтобы русское командование не снимало их с второстепенных направлений и не перебрасывало на затычку прорванных рубежей.

Вот и сейчас время от времени от речки лениво постукивал пулемет да когда-когда бросал немец мину-другую по батальонным окопам. Но все эти нестрашные пулеметно-минометные угрозы были пустяками, «семечками» в сравнении с крайне болезненным для батальона чирьем, выросшим неожиданно-негаданно на самом неудобном для излечения месте.

Как знал вчера Евдоким Семенович, приглядываясь к невысокому лысому пригорку посреди впердележащего поля, как чуял он, что доведет этот пупырь родную роту до беды.

Теперь на самом верху пологого холмика стояла горелая немецкая техника: справа — танк с распущенной гусеницей и закоптелой в пламени недавнего по-

жара башней, слева — бронетранспортер с дырявым бортом, насквозь проломленным свирепым ударом подкалиберного снаряда «сорокапятки».

Где-то под одним из этих укрошенных вчера русскими железных зверей притаился немецкий снайпер.

До горушки расстояние было аккурат по полкилометра от наших и немецких позиций. Бой весь вчерашний день кипел такой, что занять после него подозрительный холмик хоть отделением солдат никто не догадался, да и людей уже оставалось не так много, чтобы можно было разбрасывать их сторожевыми постами по всему полю. Ну а ночью, видно, какой-то шустрый немец, высмотревший все выгоды будущей снайперской позиции, залез на вершину холма и хитро там замаскировался то ли под одной из подбитых днем боевых машин, то ли вообще где-нибудь сбоку да с краю. Главная беда была та, что выгладеть его нору никак не удавалось.

До двенадцати дня проклятый фриц молчал, как в рот воды набравши, видно, приглядываясь да прилаживаясь, как ловчее нанести русским наибольший урон, а уж высмотрев все и пообвыкнув, он начал свою кровавую охоту.

К трем часам в роте было восьмеро убитых да двое тяжело раненных. Всякую окопную жизнь начисто оборвал проклятый немец. Стоило приподнять голову из-за бруствера хоть на вершок, как впереди немедленно хлопал негромкий выстрел, и неосторожно полюбопытствовавший боец сползал вниз и начинал скрести ногами родную земельку.

Двух пулеметчиков, попытавшихся было нащупать его укрытие жалами коротких очередей, снайпер убил одного за другим в течение какой-то минуты — девятимиллиметровая немецкая пуля, выпущенная из тяжелой «шкодовской» винтовки, попадая в русский лоб, пробивала в нем дыру величиной со стакан. Пятьсот метров было не расстояние для точнейшей «цейссовской» оптики, любовно прилаженной поверх обтянутого буковыми накладками вороненого ствола.

После погибших пулеметчиков никто больше не рисковал вступать в единоборство с беспромашным стрелком.

К четверем, впервые за двое суток, подвезли обед — снайпер не дал похлевать жидкого. Солнце поднялось к зениту и разгорелось во всю ивановскую — у солдат опустели фляжки. Вода была вот она, рядом, в ста шагах позади окопов — на выходе из ельника журчал прозрачный холодный ручеек. Но эта сотня шагов оказалась дорогой смерти. К вечеру на ней лежали двое убитых красноармейцев, не выдержавших изнурения жаждой и попытавшихся добраться до воды.

Рота Евдокима Семеновича, непоенная, некормленная и с головой зарывшаяся в землю, так и пролежала в окопах до темноты, не смея высунуть и маковки на бойкий свет.

К вечеру счет немца дошел до четырнадцати убитых и четырех раненых русских бойцов. Рота скрежетала зубами, дожидаясь темноты.

Неутоленная злоба к меткому стрелку стусилась в туман над кровавым полем.

## 11

К семи вечера упали сумерки. К восьми они незаметно перешли в темноту. Немец за той стороной речки снова начал кидать ракеты.

Поле перед русскими позициями напротив снайперова гнезда все разом покрылось темными движущимися бугорками — в охоте на обнаглевшего убийцу захотели участвовать все.

Через двадцать минут после наступления темноты бугор позади створенных машин был замкнут плотным кольцом облавы. Немец, видимо, не ожидал от прижатых им к земле русских солдат такой отчаянной прыткости. Евдоким Семенович, затаившийся на срезе бугра с немецкой стороны в полсотне метров от горелого танка, с радостно забившимся сердцем увидел, как затлел в чернильной темноте, у самых расхлупанных гусениц, красный уголек снайперовой сигареты. До Иванова даже донесло сладкий запах табачного дыма.

Немец легонько кашлянул. Красный уголек погас. На фоне черного неба нарисовался серый колышущийся силуэт. Евдоким Семенович ненавистно заскрежетал зубами — даже не пригнувшись, совсем, как видно, не труся противника, снайпер спускался с откоса холма. Зашуршали под его сапогами торчки сухой травы.

Вот до Иванова снайперу осталось двадцать шагов, вот десять, вот пять...

Кинулись разом со всех четырех сторон. Немец только хрюкнул удушенно с перепугу и тут же был уложен на земле, спеленатый по рукам и ногам холщовы-

ми солдатскими ремнями, с забитым в горло до самого хрипа грязным носовым платком.

Прижав его к траве и не давая пискнуть, солдаты несколько минут власть молотили кулаками дергающееся тело. Приложился своим пудовиком и Евдоким Семенович.

«Хоть первую-то злость маленько отвести! Сколько добрых мужиков побил фашистский ирод!»

Потом, ухватив за шмотье, поволокли пойманного зверюгу к своей стороне, хотя, ох, как хотелось тут же на месте гада и прикончить.

Один из бойцов, худощавый черноватый парень, страшно жилистый и сильный на вид, тот, что первым впечатал фрица в землю, выдернул было из-за голенища собранного в гармошку хромового сапога тускло блеснувшую полоску стали.

— А чего с ним зазря возжаться? Вон скольких ребят положил — к чему его таскать неизвестно куда? Оставить тут, да и дело с концом!

И пришлось бы, конечно, фрицу лечь в полсотне шагов от своего добычливого окопчика, в чужой, неласковой к захватчикам стороне, да воспротивился быстрой и праведной расправе с врагом Евдоким Семенович.

— Годи, братцы. Допросить бы сначала надоть. Может, знает он чего. А там никуда не денется, так и так наш будет.

Чернявый боец, зло заматерясь, спрятал нож.

— Дюже ты правильный будешь, дядя. Видать, не чирикнуло тебя еще остреньким по сердцу. А то бы таких, как этот немчура, не стал много распрашивать.

— Мы пленных убивать не можем, — глухо ответил Иванов. — Не по уставу это, не по совести. Даст командир приказ стрелять его — стрельнем, а так, самовольно, без приказа — добра не будет.

— Спроси, спроси приказу, — фыркнул чернявый. — Только ты и у тех не забудь спросить, каким он черепашки на ломтики развалил. Они те ответят про приказ.

Евдоким Семенович промолчал.

«В этом деле нам с фашистами не ровняться, — упрямо думал он про себя. — Красный армеец пленных не убивает. И в гражданскую таких приказов не было, чтоб пленных самовольно стрелять. Неужто сейчас можно? Нет, никак нельзя без приказа».

Назад добирались трудно.

Немцы то ли заметили неладное, то ли просто не хотели давать русским ночного передыха, но их сторона внезапно затрещала десятком пулеметных стволов. Наша ответила, и над передовой вновь забушевала огненная метель. Светляки трассеров летели и перекрещивались во всех направлениях. Они то поднимались по-над черным ночным лесом, то шли настильно, так, что чуть ли не брили землю.

Ползти и волочь за собой немца пришлось с частыми остановками и пережиданьем особо сильной стрельбы.

В середине дороги пленный как видно очухался от боя по ребрам и неведомым путем ухитрился вытолкнуть изо рта кляп. Захлебываясь от торопливости, он забубнил, залопотал что-то непонятное на своем лягушином языке. На него испуганно накупились.

— Цыц, фашистская морда, мать твою, перемать! Нишкни!

Немец мотал головой, не хотел глотать обратно слюнявого кляпа, однако проглотил и успокоился, только блестели в мертвом свете ракет его выпученные глаза.

В квакающем фашистском лопотанье послышалось Евдокиму Семеновичу что-то знакомое. Вроде бы «коммунист» да «Тельман» силился кричать недобитый фриц.

— Чего это он орет насчет коммунистов? — шепотом обратился Иванов к передыхающему соседу.

Тот хрипло, придушенно матюкнулся в ответ, отдышаваясь от фашистского веса.

— До чего тяжелый гад. Ровно мешок с дерьмом. Чего орал? Ясно чего. Тут любой дурак споймет. Тельмана лаял да коммунистов. Чего он там может еще орать? Видать, матерый зверюга. Вон скольких побил, а все не утомонится.

Евдоким Семенович сморгнул глазами, поражаясь фрицевскому нахальству. Надо же, на волосину от смерти проклятый немец, а на секунду язык развязал, так не о пощаде взмолился, не о прощении, а нас же и начал поносить! Ну, фашист!

И Евдоким Семенович с досадой ткнул кулаком в немецкий бок.

— Погоди, вот поглядим, что ты сейчас на допросе у ротного запоешь, злодейская твоя харя!

Через полчаса немец, Евдоким Семенович и худощавый черный боец (тот, что хотел пришить снайпера на месте поимки), неудобно согнувшись, стояли перед грубо сколоченным из свежошкуренных горбылей столом командира роты лейтенанта Яцкина.

Комротовская палатка была низка — никак не удавалось распрямиться в ней в настоящий мужской рост. Мерцал в темноте фитилек самодельной лампадки. Яцкин, увидев немца, вытаращил глаза.

— Откуда? Сам сдался? Перебежчик?

— Как же, перебежчик, — фыркнул, что рассерженный кот, чернявый солдат. — Снайпер это. Ну, тот, что весь день над нами разбойничал.

Лейтенант разинул рот.

— Да ну! Да как же вы его, гада? Откуда?

— Да вот... — Евдоким Семенович неловко замаялся. Приложить бы руку к козырьку и доложить, как положено по уставу, да ведь низко и башка набок, толком не откозыряешь. Он откашлялся. — Поймали мы его. Тама, у танка.

— Без приказа? Кто велел?! — вскинулся было ротный, и Евдоким Семенович заторопился объяснить:

— Да ребята сильно разозлились. Ни пожрать, ни воды за весь день не дал попить, и опять же — чуть голову покажешь, так и влепит в лоб. Рассердился народ. Где тут кого удержишь? Все разом и кинулись. Ну вот и поймали. Он уже было к своим уходить наладился, да не поспел. Вот и винтовка его — та самая, что наших ребят побила, с прицелом.

Он подал ротному снайперову винтовку.

Лейтенант заинтересованно взял в руки увесистый немецкий инструмент, повертел его, взвесил на руке и машинально сказал:

— Тяжелая, черт.

Но тут же, уловив усмешливый взгляд чернявого бойца, покраснел и сунул винтовку обратно.

— Чего вы мне ее даете? Что я, винтовки не видал?

Он сердито повернулся к немцу и только тут разглядел в полутьме палатки туго забитый кляп, торчащий из немецкого рта.

— Чего же вы так? Тут-то можно было вынуть, — обратился он к чернявому бойцу, укоризненно качая головой. — Как же я его допрашивать буду — с тряпкой во рту?

Евдоким Семенович исполнительно повернулся к пленному.

— Это сейчас. Это мы мигом.

Он выволок из вражеских зубов измусоленный платок. Немец, очухиваясь, ошалело помотал головой.

— Да развяжите вы его, — с досадой подсказал ротный. — Уж отсюда не убежит.

— Это верно, — согласился Евдоким Семенович. — Здесь не набегаешься. Отгулял фашист свое.

Он распутал поясные солдатские ремни, затянутые вкруговую снайпера, и отступил назад.

Ротный поднял со стола копилку и поднес ее к лицу пленного. Все жадно взгляделись в немца. Что ни говори, а это был первый вот так, вплотную, глаза в глаза увиденный враг, один из тех, кто вчера беспощадно бомбил, обстреливал и штурмовал их позицию. Бил по ней из пушек, пулеметов и минометов, сидел за рычагами танка, раздавившего братьев-артиллеристов (Евдокиму Семеновичу невольно вспомнились мокрые от пота, широченные мужицкие спины «сорокапяткиных» расчетов, которых уже нет на этом суровом свете); один из тех, кто вчера в полуверсте от Иванова выскакивал россыпью гороха из стальных чрев бронетранспортеров и, выстроив на русской земле ровные, уверенные немецкие цепи, упрямо шагал вперед на жалкий стрелковый окопчик, в котором хоронился Евдоким Семенович с горстью считанных-пересчитанных патронов и последней солдатской надеждой — четырехгранным отточенным жалом штыка, примкнутого к стволу трехлинейки.

И каждый новый приступ врага оставлял за собой раздавленные гусеницами молодые тела, оторванные у живых людей руки и ноги, выжженные глаза и изуродованное, изодранное в клочья беспощадным крупшовским металлом человеческое мясо.

И весь сегодняшний день этот испуганный, невидный человечиска с разбитым, хлюпающим носом влежку держал, не давая и на сантиметр поднять голову, целую сотню здоровых вооруженных мужиков и убил-таки и навсегда искалечил чуть ли не целый взвод.

И Федька Соловьев, сосед Евдокима Семеновича, еще вчера ночью с приба-

утками евший вместе с ним фрицевскую тушенку и от души поражавшийся нахальству фрицевских голых баб, открыто демонстрировавших на фотокарточках на весь белый свет то, что Федька за свою недолгую жизнь и видел-то всего раз да и то не въяве, а лишь на ощупь, под лоскутным деревенским одеялом,— русский парнишка Федька лежал теперь, по милости этого пойманного нынче фрица, в своем окопчике, в пяти шагах от окопчика Иванова, лежал, подогнув колени скорчившись в неестественной мертвой позе, и сгустки крови и растекшегося мозга медленно стлыли на его затылке, спекаясь в твердую коричневую корку.

А его убивец, выцеливший широкий Федькин лоб в зеркальную цейссовскую оптику, вот он, стоял теперь рядом с Евдокимом Семеновичем, и дыхание его смешивалось с дыханием людей, которых он вчера с такой прилежной немецкой пунктуальностью аккуратно подводил под черное перекрестье своего беспромахного прицела.

Тесная палатка, куда немца привели поймавшие его солдаты, чуть мерцающий свет коптилки, тяжелое и угрожающее молчание напряженно всматривающихся в него угрюмых людей, как видно, вконец испугали пленного. Он поднял, словно защищаясь, на уровень лица свои руки и быстро забормotal что-то, проглатывая окончания слов и путаясь. В спотыкливой скороговорке его, часто повторяясь, вновь замелькали слова «Тельман» и «коммунист».

Евдоким Семенович опять поразился упрямству немца. «Нет, скажи на милость, ведь и невооруженным глазом видно было, что пленный чуть ли не под себя делает (да и чего ему было ждать хорошего от своих разозленных супротивников?), и все равно злит и дальше бойцов проклятый фашист. Все не успокаивается, все добивается доказать что-то свое, насквозь, по убеждению Иванова, гитлеровское.

Яцкин, послушав немца, сморщился, как от зубной боли.

— И чего это он лопочет, не разберу?— досадливо спросил лейтенант.— Полк какой, дивизия, танков сколько?— устремился было к нему ротный, но пленный все бубнил свое, все доказывал про Тельмана, и только одно новое слово замелькало в быстром потоке его захлебывающейся речи.

— Arbeiter, Arbeiter, ich bin Arbeiter!<sup>1</sup>

Это слово «Arbeiter» Евдоким Семенович знал. Оно всегда отдавалось в его ушах сладкой музыкой на любом языке земли.

«Arbeiter» — рабочий, это и был тот единственный заграничный термин, который Иванов когда-то намертво врубил в свою память на полузабытых курсах немецкого.

«РАБОЧИЙ» — соль земли, главный хозяин всемирной человеческой жизни, святое название, почти имя, за которым стояло все самое для Евдокима Семеновича дорогое и кровное.

Чего он там врет, фашистский убивец, чего он там сепетит против рабочих?

— Вот черт, что делать-то?— заругался Яцкин.— Пойдут они на нас завтра, не пойдут? Сколько их там — полк, дивизия?

Он на секунду задумался. Вдруг лицо ротного повеселело.

— А ну-ка, батя,— обратился он к Евдокиму Семеновичу,— добеги до ручья. Здесь рядом. Там перевязочный пункт. Найдешь возле раненых санитаря такого, Рахлис по фамилии. Тащи его сюда. Уж он-то должен по-немецки кумекать, Листовку ихнюю вчера комиссару переводил. Сейчас мы фрица враз расколем, чего он там болтает.

Евдоким Семенович неловко козырнул и вышел. Оборотился он с предполагаемым переводчиком в пять минут.

Рахлис оказался тщедушным чернявым еврейчиком, лет тридцати от роду, в пилотке с опущенными ушами и толстых мутных очках.

Вдвоем, впереди санитар, позади стрелок Иванов, они втиснулись обратно в палатку ротного. Яцкин повеселел, завидев переводчика. Однако командирская жилка не дала ему прямо приступить к делу.

— Уши-то чего опустили, боец Красной Армии?— укоризненно заметил он санитару.— Устава не знаете? Форму одежды нарушаете?

Рахлис, испуганно суетясь, поднял пилотские уши.

— Ну вот, это другой макар,— смиловился над нарушителем ротный.— Тут вот какое дело, «языка» мои орлы только что у немца взяли. Надо бы его разговорить. А ну, спросите, какой он дивизии?— с жадным нетерпением обратился Яцкин к маленькому переводчику.

Рахлис поправил на носу очки, повернулся к немцу.

— Welche Nummer hat die Division, in der Sie dienen?<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Рабочий, рабочий, я рабочий (нем.)

<sup>2</sup> Какой номер дивизии, в которой вы служите?

Пленный, заслышав родную речь, с надеждой обернулся к переводчику.

— Grenadier des Regiments 17, der Infanteriedivision 123, Klaus Fogt, Herr Kommissar.<sup>1</sup> — ответил он, щелкнув каблуками и выпятив грудь.

И тут же, видимо, не выдержав страшного внутреннего напряжения смертного страха, глухой темноты русской палатки, призрачно колеблющегося светляка копилки, черных небритых лиц обступивших его людей и уловив ясно различимую картавость в звуках речи заговорившего с ним на немецком языке человека, он умоляюще протянул перед собой дрожащие руки и снова зачастил сбивчиво и взволнованно, обращаясь то к переводчику, то к чернявому солдату, захватившему его в плен.

— Да не комиссар я, не комиссар! — отмахнулся переводчик от немца. — Ich bin kein Kommissar, ich bin Dolmetscher.<sup>2</sup>

— Ну, что он говорит? — нетерпеливо выскочил Яцкин.

Рахлис облизал губы и ответил с расстановкой:

— Он из сто двадцать третьей пехотной дивизии. Гренадер семнадцатого полка. Зовут Клаус Фогт.

Пленный снова заговорил.

Рахлис уже более внимательно вслушался в то, что, не переставая, бормотал и бормотал немец.

— Man darf mich nicht toten, Herr Dolmetscher, denn ich bin Metall-Arbeiter und die Russen toten nicht ihre Bruder Arbeiter.<sup>3</sup>

— Sind Sie wirklich Arbeiter?<sup>4</sup>

— Ja, ja, ich bin Arbeiter, Metall-Dreher.<sup>5</sup> — обрадовался пленный.

— Ну, — подтолкнул переводчика Яцкин.

— Просит, чтоб не убивали. Говорит, вы рабочие и я рабочий. А все рабочие — братья.

Немец, услышав слово «рабочий», радостно закивал головой. Он, видно, тоже, как и Евдоким Семенович, разобрал это слово на любом языке.

— Ja, ja, ich bin Arbeiter, ich bin Arbeiter!<sup>6</sup> — совал пленный под нос Рахлису свои руки.

— Братья? — поразился Яцкин. — Рабочий! Ну и дела. Ничего себе братишка сыскался. Чего он руки-то сует?

Переводчик дернул плечом.

— Говорит, пусть, мол, все посмотрят. Он честный человек. Он не врет, что рабочий. В общем, мозоли показывает.

— А-а-а... — разочарованно протянул Яцкин. — Нужны нам его мозоли, как мертвому припарки на известное место. Этого добра у нас самих хватает.

Евдоким Семенович прикусил губу.

Он уже и до переводчикова объяснения догадался, чего добивается доказать проклятый фриц. Ясно виднелись на немецких ладонях грубые плиты невыводимых окостеневших мозолей. Каждая трещинка кожи, каждая пора словно были прочерчены черно-синей тушью — несмываемая инструментальная грязь намертво впалялась в руки стоявшего перед ним человека.

В жизни не поверил бы Евдоким Семенович до этого пойманного снайпера, что свой брат-рабочий, пусть и говорящий на чужом языке, но с такими вот надежными трудовыми клешнями, какие тянул к ним отчаявшийся фриц, что может он, явный пролетарий, взять да и убить, не моргнув глазом, полтора десятка таких же, как и он сам, рабочих людей. Убить единственную на земле по сути дела, по идее, по классу родню!

Да ведь он по пролетарскому братству должен был быть ближе отца-матери Евдокиму Семеновичу, этот стоящий рядом гад! Да когда же он так вчистую продался мировому капиталу, как оказался таким верным наймитом буржуазии? Как смел он предать и свой класс, и свою рабочую честь, и пролетарское самосознание?

В голову Евдокима Семеновича не вмещалось подобное низкое падение и предательство.

В палатке напряженная тишина. Всем стало не по себе. Немец сказал еще что-то и умолк. Переводчик беспомощно повернулся к Яцкину. Лоб его вспотел.

— Тут он такое говорит. Даже и не знаю, переводить ли?

<sup>1</sup> Гренадер семнадцатого полка, сто двадцать третьей пехотной дивизии Клаус Фогт, господин комиссар.

<sup>2</sup> Я не комиссар. Я — переводчик.

<sup>3</sup> Меня нельзя убивать, господин переводчик, ведь я рабочий-металлист, а русские не убивают своих братьев рабочих.

<sup>4</sup> Вы действительно рабочий?

<sup>5</sup> Да, да, рабочий, токарь по металлу.

<sup>6</sup> Да, да, рабочий, рабочий!

— Что такое?— вскинулся лейтенант.— А ну давай, выкладывай!

— Говорит, коммунист он. Тельмановец. Мол, до тридцать третьего года, пока не запретили, состоял в компартии.

Яцкин подавился воздухом. Все замерли. У Евдокима Семеновича волосы зашевелились на голове.

— Стой!— хрипло выдохнул Иванов.— Врет он, сукин сын. Подожди, сынок,— остановил он набравшего в грудь воздуха для большого мата лейтенанта.— У меня партстажу двадцать три года. Дай я спрошу.

Евдоким Семенович тяжело шагнул к немцу, ухватил его за грудки френчика и, глядя прямо в блестящие, бегающие глаза пленного, тихо спросил:

— Врешь ведь, жизнь свою спасаешь? Ну, сознайся, что врешь? Ведь фашист ты, фашист, да?!

Немец понял вопрос без перевода. На лбу его обильно вскипела светлая полоса пота. Он отчаянно замотал головой.

— Ich bin kein Brauner, ich bin kein Nazi, Herr Soldat; ich war Kommunist. Ich trat in die Partei 1930 in Gamburg ein. Ich habe immer meine Stimme für Thalmann abgelegen.<sup>1</sup>

Рахлис быстро перетолмачил на русский.

Немец задохнулся и, видя в остановившемся, страшном взгляде Евдокима Семеновича тяжелое неверие в его слова, выкинул вперед сжатую в кулак руку и отчаянно крикнул:

— Rot front!<sup>2</sup>

Иванов впился в испуганные глаза пленного так, словно хотел влезть через них в самую сердцевину вражеского мозга. Немец беспомощно облизнул пересохшие губы. Рука его задрожала и опустилась. И по усталой готовности пленного к полной невозможности доказать свою правдивость Евдоким Семенович вдруг ясно понял, что немец не лжет. Не желая поверить открывшейся его глазам правде, Иванов потерянно спросил:

— Если ты коммунист, так почему пошел воевать с нами?

Рахлис быстро перевел. Все замерли, ожидая ответа.

— Alle waren gegangen und ich auch. Es wurde der Befehl erteilt. Zuerst bin ich ein Deutscher und dann — Kommunist,<sup>3</sup> — ответил пленный.

Иванов отпустил немца и отошел в сторону. Страшная пустота поразила его душу. Как будто рухнул в мозгу Евдокима Семеновича какой-то гранитный уступ, контрфорс, мощно подпиравший самое святое, самое выношенное сердцем и важное, что считал он всегда нерушимо надежным, правильным и справедливым.

Рядом возбужденно заговорил лейтенант:

— Да врёт фриц, ей-богу, врёт. Ты спроси, спроси его,— снова повернулся ротный к переводчику,— как же его тогда фашисты в армию взяли, раз он коммунист?

Немец внимательно выслушал вопрос.

— О! — оживился он, поняв, о чем спрашивают.— Aber Herr Reichskanzler hat die Kommunistische Partei aufgelöst und erklärte sie verboten. Das heist, ich hörte auf ein Kommunist zu sein und könnte in der Wehrmacht dienen.<sup>4</sup>

Пленный учительно поднял вверх палец:

— Wir, Deutsche, sind ein diszipliniertes Volk. Wenn Herr Reichspräsident oder Herr Reichskanzler dem deutschen Volk einen Befehl erteilen müssen wir uns unterordnen. Ordnung ist Ordnung. Aber wenn Herr Reichskanzler die Arbeit der Kommunistischen Partei wieder erlaubt, werde ich in diese Partei wieder eintreten. Denn ich bin Arbeiter.<sup>5</sup>

Рахлис закончил переводить. Присутствующие ошеломленно молчали. Наконец Яцкин опомнился и зло выкрикнул:

— Это какой же рейхсканцлер тебе должен разрешить обратно вступить в компартию, Гитлер, что ли?!

— Ja, ja. — радостно подтвердил немец.— Herr Reichskanzler Hitler.<sup>6</sup>

Ротный задохнулся.

— Тащите его отсюда к чертовой матери! — крикнул он.— Все, хватит, кончай

<sup>1</sup> Я не коричневый, я не наци, господин солдат. Я был коммунистом. Я вступил в партию в 1930 году, в Гамбурге. Я всегда голосовал за Тельмана!

<sup>2</sup> Красный фронт.

<sup>3</sup> Все пошли, и я пошел. Был отдан приказ. Я сначала немец, а потом коммунист.

<sup>4</sup> О! Но ведь господин рейхсканцлер распустил компартию и объявил запрет на нее. Значит, я перестал быть коммунистом и мог служить в вермахте.

<sup>5</sup> Мы, немцы, дисциплинированный народ. Если господин рейхспрезидент или господин рейхсканцлер отдадут германскому народу приказ, мы должны подчиниться. Порядок есть порядок. Вот если господин рейхсканцлер снова разрешит функционирование компартии, то я опять вступлю в нее. Ведь я рабочий.

<sup>6</sup> Да, да! Господин канцлер Гитлер.

волянку! Ни хера мне больше от него не надо, никаких его полков и дивизий! Только уберите эту пададь с моих глаз.

— Так куда его? — оживившись, переспросил молчавший доселе чернявый боец. — В мусор носом сунуть?

Яцкин задумался.

— Нет, — неохотно ответил он чуть погодя. — Отведите его на КП батальона. Пусть его комбат расспросит. Может, узнает чего. А я сыт по горло. Слишком уж от этого фрица воняет.

Чернявый боец недовольно пробурчал:

— Води тут всякого, время на его зазря трать. То-то он наших ребят сегодня много водил. Шлепнуть — и вся недолга! А ну, пошли, фриц!

— Подождите, — остановил чернявого Яцкин.

Он глянул на бойца, помолчал, потом, видно, что-то решив про себя, сказал:

— Отставить. Возвращайтесь в свою стрелковую ячейку. Вы свободны.

Чернявый боец сожалеюще глянул на немца, хмыкнул и вышел из палатки.

— Водите, водите, жалостливые, — донеслось из-за брезента.

Яцкин промолчал. Потом он поднял глаза на отчужденно замершего Евдокима Семеновича.

— Пожалуй, не довел бы он его до батальона, а? — спросил он.

Вопрос повис в воздухе. Переводчик, сгорбившись, протирал очки.

— Давай, батя, — тихо сказал лейтенант, — веди его, дьявола германского. Авось, там, в батальоне, его разговорят до чего-нибудь путного. А я, как видно, не умею с ихним братом кроме как через прицел толковать. Ну, заснул, что ли, батя?

— А? — очнулся от своих тяжелых дум Евдоким Семенович. — Есть отвести пленного на КП батальона.

Он поправил ружейный ремень на плече.

— Давай вперед, пошел. Шнель, шнель! — вдруг припомнил Иванов, как сквозь сон, видимые из прошлого слова.

Немец шагнул в проем палатки.

Выйдя наружу, Иванов переложил винтовку на руку и дослал патрон в казенник. Пленный, услышав клацанье затвора, остановился.

— Шнель, шнель, — успокоил его Евдоким Семенович.

Они гуськом пошли к лесу в подсвеченной мутными лучами луны и проштопанной вспышками немецких ракет темноте. Пленный шел впереди.

Сзади резко зарокотал и так же внезапно стих пулемет. Плотные, кольшущиеся в такт шагам тени медленно передвигались по неприметной тропке между деревьями подлеска.

Отошли сотню шагов, вторую.

Внезапно Евдоким Семенович остановился. Немец, продолжавший идти дальше, вдруг заметил свое одиночество и резко остановился.

— Was ist los, Herr Soldat? <sup>1</sup> — донеслось до Евдокима Семеновича.

Иванов молчал, тяжело и натужно дыша. Грудь его ходила ходуном.

— Коммунист? — пробормотал он. — Рабочий? Врешь, фашистская паскуда, что ты коммунист. Двадцать три года партстажа — это как? Юденичский фронт, потом Деникин, потом Врангель, потом белопаны, пять тяжелых ранений — это что, псу под хвост через тебя? Все врешь, гад. И никакой ты не рабочий, и никакой ты не коммунист. Тебе Гитлер разрешение даст, чтобы назад в партию вступить? А у Тельмана ты спросил? А у меня? У меня ты спросил, белогвардейская морда?! — внезапно закричал он застывшему немцу.

— Was ist los? — донеслось до Иванова от чернеющей впереди фигуры. — Warum bleiben wir an dieser Helle? <sup>2</sup>

— Будя! — с суровой решимостью прошептал Евдоким Семенович, прикладывая окованный металлической полоской приклад винтовки к своему широкому плечу. — Назад не примем. Это я тебе за себя и за товарища Тельмана отвечаю!

Резко дернулась в его руках винтовка. Немец пошатнулся и сполз на землю.

Выстрел словно сорвал замок с переполненной копилки звуков. Сразу вслед за ним горохом покатились по лесу затяжная, патронов на двадцать, пулеметная очередь с немецкой стороны. Ей отозвались наши пулеметчики. Далеко за лесом ударила мина. Застучало несколько автоматов. Ракеты начали вылетать целыми сериями, штук по пять сразу.

Под звуки разгорающейся стрельбы Евдоким Семенович благополучно добрался до своего окопчика.

Вся война была еще впереди...

<sup>1</sup> В чем дело, господин солдат?

<sup>2</sup> Что случилось? Почему мы стоим на этом месте?





Николай Красильников

### *Вторая Сарыкульская*

Вторая Сарыкульская,  
Трамваями звеня  
И семечками лузгая,  
Учила жить меня.

Там первый раз я в школу  
С ребятами бежал.  
И недоτροгу Лолу  
До дому провожал.

Сияли в окнах лучики,  
Ташкентский знойный свет!  
Друзья со мною лучшие —  
Алешка, Туз, Валет...

С компанией случайной, —  
А ну, смотрите все! —  
Мы мчались на трамвайной  
Железной «колбасе».

Сапожник дядя Сеня  
Любил ворчать в тиши:  
«Уж лучше жить без денег,  
Чем вовсе без души».

А кто она такая,  
Волшебница душа?  
Мечтал я, размышляя,  
Поступки вороша.

Гудки вокзала дальние  
Будили по ночам.  
Стихи исповедальные  
Легко писались там.

В них проносился ветер,  
И Лола в них жила,  
Душисто на рассвете  
Акация цвела.

Таких мне строк вовеки  
Теперь не написать.  
Никто не может реки  
Бежать заставить вспять.

Жизнь повернула к спуску.  
На радость иль беду,  
Но все ж на Сарыкульскую  
Когда-нибудь приду.

### *Баллада о глотке воды*

Погполковнику Н. В. Черевачу

Третьи сутки отдыха не зная,  
Мы петляли по крутым горам.  
А жара, жара вокруг такая,  
Жарче не придумать и врагам.

Гимнастерки превратились в латы,  
И ладони обжигал приклад,  
Но шутил ефрейтор конопатый:  
— Выпью речку, бьемся об заклад!

Парень из далекого Тамбова,  
Не терявший к жизни интерес,  
Вспоминал пробег дождя косога,  
И поля пшеничные, и лес...

А на донцах фляг, дразня, плескалась,  
Лучшая на всей земле вода...  
Только пить ее не полагалось,  
Для НЗ нужна страшней беда.

Но случилось так: на перевале,  
Где нельзя ни съехать, ни свернуть,  
Две машины головные стали,  
Преграждая всей колонне путь.

И сказал комбат Скоробогатов:  
— Хоть бы лужа рядом, как же быть...  
Надо радиаторы, ребята,  
Кровь из носу, влагой напоить!

Встал ефрейтор: — Жадными не будем, —  
И к машине с флягою своей. —  
Мы-то что?.. Мы выдержим. Мы — люди!  
А машины, им всегда трудней...

### *Девичий мост*

Мне не постичь величья звезд  
И тайн иных очей...  
Но кто назвал Девичьим мост,  
Мосток через ручей?

То был, наверное, поэт  
И тайный сердцеед.  
Серьгой струился лунный свет  
Сквозь жухлых листьев бред...

Сюда красавицы несли  
Всю грусть своих ночей.  
Чтоб струи потопить могли,  
Чтобы унес ручей.

Бежит вода, светла до дна,  
По камешкам скользя.  
И весела... Но солона,  
Как девичья слеза.

### *Поединок, или Как поэт ловил сома*

Говорили: в глубоком затоне  
Обитает подводный черт.  
Я — рыбак. Я потер ладони,  
Трижды плюнул за низкий борт.  
И расставил крепкие снасти.  
День проходит. Ползет второй.  
Преисполнен охотничьей страсти,  
Объезжаю затон с зарей.  
Пуст кармак.<sup>1</sup> И на сердце пусто.  
Я шепчу себе: как же так?

На втором — ничего. Неужто  
И на третьем?.. Но вздрогнул кармак!  
Шнур помчался, волну разрезая,  
За собой челнок поволок.  
Ну и силища! Я ведь знаю  
В поединке подобном толк.  
С детства вовсе не из насильников,  
Доли легкой ни в чем не хочу.  
Я — рыбак и поэт Красильников,  
Мне такая борьба по плечу.

<sup>1</sup> Кармак — снасть с большим самодельным крючком.

Но и черт мой — не лыком шитый!  
Распалил ладонь до огня.  
Вот уж час с четвертушкой битый  
По затону возит меня.  
Все ж не выдержал, просчитался,  
Человек не сильней — хитрей...  
Поостыл, пообмяк и сдался  
Сом огромной тушей своей.

Собрались рыбаки округи.  
— Ну и ну, — восхищались, — сом!  
Бился он на песке упругим  
Толстым мазовским колесом.  
Пообвяли усы голубые,  
Но глаза буравили даль...  
И за всю охоту впервые,  
Как себя, стало рыбу жаль.

По паркету подойдешь босая  
К настезь растворенному окну,  
Там Салар, на гребнях волн бросаю,  
Катит мячик — желтую луну.

Тополя, как сказочные стражи,  
Пиками латунными искрясь,  
Твой покой оберегают. Даже  
Пошептать боятся в этот час.

Тишину прострочит электричка,  
Камушек покатит по тропе.  
У меня давно вошло в привычку,  
Засыпая, думать о тебе.

Ветреной — с утра, а ночью — грустной,  
С родинкой над верхнею губой...  
Ты не думай, вовсе не казнюсь я,  
Что не стала ты моей судьбой.

Только почему-то грустно очень,  
Да из сердца прорастает песнь...  
Про тебя не только двадцать строчек.  
Хорошо, что ты на свете есть!

## *Аэроплан над Бухарой*

(1924)

Не птица это кружит, Азраил  
В арбе возмездья по небу грохочет?  
Давно в Кабуле прячется эмир...  
Кого же смерть призвать в объятья хочет?

Попадали ремесленники ниц,  
Замолкли сразу шумные базары.  
И слезы рукавом смахнув с ресниц,  
Застыли муллы, ожидая кары.

А он прошел — кузнечик, тихоход, —  
Над куполами медресе, домами...  
И аисты безгрешные из гнезд  
За ним следили зоркими глазами.

Махнув фанерным латаным крылом,  
Аэроплан растаял в знойной сини.  
«Фарман» был авиатором ведом  
Молоденьким из молодой России.

## *Устюрт*

Вряд ли знает молодой историк,  
Что на этом выжженном плато  
Некогда плескалось буйно море  
Синее, как летний твой платок.

Зной июльский не казался адским,  
Птиц струилось вдаль веретено.  
В старой книге прочитал, — Сарматским  
Называлось в древности оно.

Наползала на пологий берег,  
То шурша, а то звеня, волна.  
Что за птицы жили здесь и звери,  
И какие люди-племена?

На каком наречьи говорили,  
Каково их было ремесло?..  
Жаль, века следов не сохранили,  
Все в пучину Леты унесло.

Только чинки древнего Устюрта  
Эту тайну до поры хранят.  
Да польнь, что светозарней утра,  
Расстилает горький аромат.

## *Верблюды на Учсае*

Задумчивый, как Сфинкс, губастый, словно Будда.  
По Цельсию в тени почти за пятьдесят.  
Не то чтоб хорошо, не то чтобы уютно,  
А все ж при деле он, барханов рыжих брат.

Вот так когда-то шли давно, во время оно,  
Прапрадеды его цепочкой на Восток.  
Несли, несли товар — красавиц, чай с Цейлона,  
И под пятой песок струился, словно шелк.

Что видит он сейчас, смежив устало веки?  
Железных птиц полет, судов пустой каркас...  
И столько грусти в нем, как в добром человеке,  
Что мог спасти Арал, да спасовал, не спас.

## *Воспоминание о старом городе*

Выкатывало утро на востоке  
Пылающее солнце-колесо.  
Бухарские евреи, как пророки,  
Брели по тротуару в канесо.<sup>1</sup>

Слепило одеянье белизною,  
И базиликом веяло сухим.

Дома из глины, желтые от зноя,  
Напоминали Иерусалим.

Поглаживая бороды, устало  
Брели, вели беседы без конца.  
И это действие жизни замыкала  
Соседская библейская овца.

<sup>1</sup> Канесо — молеальный дом.

## **Кок-Коль**

Побывай на озере Кок-Коле,  
Здесь вода прозрачная насквозь.  
Ветер с вольного степного поля  
Гонит волны, словно стадо коз.

А в часы полудневого затишья  
Пар от голышей, как от углей.  
И тогда со дна совсем неслышно  
Выплывает огнеокий змей.

Всемогущ, с жестоким постоянством,  
Вод озерных злой ли, добрый дэв,  
Он в свое загадочное царство  
Завлекает юношей и дев.

Не напрасно, зная, в округе лунной,  
Стоит только гостю слух напрячь, —  
И услышит смех он чей-то юный,  
Чей-то горький, безнадежный плач...

## **Чистильщик обуви**

Шагай — и прошлое не хай,  
Не все ведь в жизни плохо было...  
Чистильщик обуви Мирхай,  
Тебя из памяти не смыло.

Волшебник щеток и ножей,  
Великий мастер гуталина,  
Ты другом был округи всей —  
Лепешечника и раввина...

В той будке, серой от дождя,  
Где от обувок места мало,  
Портрет всевластного вождя  
С обложки шурился журнала.

Пестрела улица от лиц,  
Сапог, ботинок, женских ножек.

И песни радиопевиц  
Сюда уют вносили тоже.

Ты состоянья не нажил,  
Твое богатство — семь детишек,  
И старой шуткой дорожил:  
«Нет счастья без шипов и шишек».

Да, мнения иные есть,  
Теорий множество найдется.  
Но всякому ль такая честь —  
Увидеть на ботинке солнце!

Жизнь, право, никогда не рай.  
И я не осужу облыжно  
Ни время, ни тебя, Мирхай,  
Свернув с асфальта на булыжник.

## **Индустриальный скворец**

Привет, индустриальный мой скворец!  
Высоких крыш, деревьев чахлах житель.  
Рассыпь же цепь серебряных колец  
Над сотами бетонных общежитий.

Нет, голос твой не задушил бетон,  
Трамвайный скрежет, лет машин и лифтов.  
И оттого навек бессмертен он,  
Как травка — из-под плит, смолой облитых.

\* \* \*

Видно, стал я забывчивым слишком.  
Соломоново жизни кольцо...  
Все же память порой фотовспышкой  
Озарит дорогое лицо.

В толчее центробежного круга,  
Сквозь великое множество лет,

Окликаю по имени друга...  
— Обознались, — бросают в ответ.

Сразу станет душе неуютно.  
Но, хоть память моя — не музей,  
До конца окликать, видно, буду  
И живых, и ушедших друзей...

Атаяр

## УВИДЕТЬ СОЛНЦЕ...

ФРАГМЕНТЫ ИЗ РОМАНА-ЭССЕ

«У нашего поколения не было такого неуместного зазнайства и жажды славы, как у теперешних начинающих писателей. Так мы были воспитаны. Я призываю своих собратьев по перу к человеческой скромности».

(Миртемир)

### ТУРКЕСТАНЕЦ

Каждое воспоминание — осколок прекрасной, мужественной жизни. Учитель вспоминает...

Раскрасневшаяся мать печет в тандыре лепешки. От нестерпимого жара не спасает vareжка-энгасак, мама отдергивает руку от тандыра, дует на нее. А рядом крутится малыш, скачет на талочке-жеребенке. И дожидается своего, получает свежее испеченную, необычайно вкусную лепешку. Радость такая, словно обрел несказанное богатство. И каждый раз, как вспоминается детство, родной кишлак, во рту — вкус той лепешки из рук матери.

Воспоминание — черновик, необработанный семя. Медленно он приобретает форму стиха. А потом шлифуется и шлифуется.

Сожаление и гордость, несбывшиеся и сбывшиеся желания переполняют душу стареющего поэта. Бессонные ночи тревожны. Поэту видятся роб и люлька. Словно кто-то стучится в дверь, стучится долго и требовательно. И снова перед глазами — далекий Туркестан, родной кишлак. Это видение стирает память о годах духовной лепоты, блужданий впотьмах. Словно не было испытаний, горестных странствий, страданий. Зот — снова мать наливает в кленовую чашу оджу, похлебку из размолотых кукурузных зерен. Выглядывает из-за забора дочка соседа-адовника, как красива она в своем простом платьишке! А вот и он сам, мчится вместе со тайхой мальчишек, распеваящих песенку праздника рамазан. Узкие извилистые улочки, шум и крики — это люди махалли ссорятся из-за во-

ды. Вновь — тепло той испеченной мамой лепешки, и словно рассвет озаряет душу. Мать достает из тандыра лепешки, и щеки ее пылают, как солнце.

Золотые иглы света от тихих ночных лампочек, пересверк фонарей за окнами поезда. Пассажирский скорый стремительно несется вперед, наигрывая на струнах дороги свою нехитрую мелодию. Поэт достает блокнот и записывает:

Под этим небом страха нет страшной разлуки...

До сих пор неизвестно, кем и когда основан древний Туркестан, еще в старинные времена славившийся своими ремесленниками и торговцами. Когда-то здесь стоял город Шавгар, позже получивший имя Ясси. Здесь же — место паломничества мусульман, Хазрет Султан.

Учитель произносит свое неизменное «Хум!» («Итак!»):

Да, туркестанец я. И край мой — Туркестан.

Здесь — золотая степь, земля далеких предков. Многострадальный мир, их грустный мир мне дан, Их племя древнее я получил в наследство.

— Об этих местах много рассказывала моя бабушка Биби Зейнаб, — говорит учитель, поудобнее устраиваясь в кресле. — Предания, сказки, поучительные истории. Если не умру, надеюсь вложить все услышанное в стихи. А имя свое, широкое, как весь наш край, Туркестан получил где-то в XV веке. Здесь останавливался

эмир Тимур во время своего похода на Золотую Орду. Он поклонился могиле суфия Ахмада Ясави и приказал возвести над ней мавзолей. Замечательное здание это стоит и по сей час, восхищая своей красотой людей. Красоту создает народ. Если я хоть чуть-чуть владею карандашом-калямом, если стихи хоть немного согревают людей — это во мне от моего народа. Мне дают высочайший титул «Поэт», но как оправдать такой титул? Зов поэзии, который слышится мне постоянно, — от этой земли, от Туркестана. Эта суровая природа и простые люди вдохновляли меня, здесь я впервые увидел мир, здесь слушал сказки бабушки, отсюда упорхнул неоперившимся наивным птенцом.

Учитель чем-то взволнован, произносит свое обычно «Итак!» и начинает что-то быстро писать в воздухе, перечеркивает, снова пишет...

— Стихи вдохнет некий толчок, за которым проливается вдохновение, — наконец прерывает он молчание. — Сегодняшний день — это чудо, переходящее в день завтрашний. Человек, причастный тайне, очень хорошо понимает это. Он знает, что должен оставить свою личную печать на превращающихся в чудо днях, на мимолетущем времени. Но беда всех — ненужные мелочи, трясина второстепенных, порой оскорбительных для человека хлопот. Отсюда у некоторых — обида на жизнь.

Встречали ли вы

Запачканных черной грязью подвижников и творцов?

Учитель неожиданно встает, прохаживается по комнате.

— Разве трусливым улыбается счастье в этом мире?!

— Итак!.. — продолжает он. — Как прекрасно, что после страшных мыслей о бесконечной ночи, когда страхом охвачено все твое существо — как прекрасно, что наступает утро и исчезают тени.

Чтобы вся вселенная  
Песню слышать могла...

— Как прекрасно! — говорит Миртемир.

## КЛЕВЕТА

Обэриуты, «Серапионовы братья», ЛЕФ, конструктивисты — послереволюционные группы и группки, школы и школки, каждая из которых на свой лад стремилась самовыразиться за счет «сбрасываемой с корабля современности» великой классической традиции. Может быть, их искания были плодотворны, а быть может — и не очень. Во всяком случае, с начала 20-х годов по их поводу все чаще звучала директива: «Пресечь!»

Однако «пресечение» постигло не только экспериментаторов и «разрушителей буржуазной культуры». Солоно пришлось и тем, кто говорил с народом на понятном ему языке. В те времена было опасно просто выделяться чем-то из общей массы. Преданность Родине и идеалам революции в зачет не шла, в чести были гнусные доноски.

В конце 30-го — начале 31-го года в газете «Кизил Узбекистон» и журнале «Кирилиш» («Строительство») появились статьи некоего Касыма Бабаева. Автор статей называл Хамида Алимджана и Миртемира прислужниками, мюридами контрреволюции. За честь поэтов всту-

пился Сатти Хусейн, доказывавший абсолютную беспочвенность и абсурдность этих обвинений. Что в результате? Наказан клеветник? Нет, репрессирован Сатти Хусейн.

— Та беда, которую обрушили клеветники на голову благородного Сатти Хусейна, вскоре настигла и меня, — говорит Миртемир. — Поэтому речь моя несколько горчит...

Вспоминает старший сын Учителя Мирджалал:

— Однажды отец диктовал мне важное письмо. Я уже исписал половину листа, когда ручка наткнулась на что-то твердое и проткнула лист. Я растерялся, а отец подошел поближе и приподнял бумагу, под ней оказалась неведомо откуда взявшаяся песчинка. Отец помолчал и долго молчал. Не знаю точно, о чем он думал в те минуты. Но мне кажется, что он вспоминал годы, когда ничтожные и злобные, как хорьки, людишки, оказавшись «при деле», уничтожали цвет узбекской культуры и науки... «Песчинка, а все перевернула вверх дном, — как-то обреченно промолвил наконец отец, — бери новый лист». Мне показалось в тот миг, что я заглянул в незащищенное, бесконечно ранимое сердце поэта...

— К несчастью, и по сей час есть клеветники, — говорил Учитель. — Много их среди писателей-завистников, получающих удовольствие от злополучия талантливых людей. Это они стравливают друг с другом истинных мастеров пера, а потом любят делом рук своих. О, они очень ловки, опытные, искусны. Вспоминаю пережитое, я начинаю подозревать, что кляузничество и интриганство — это тоже своеобразная «профессия». Было время, когда почти все газеты обливали моих друзей и меня самого грязью. А «доброжелатели» нашептывали: «Брось писать! Не переводи Пушкина!» Хищники, они не гнушались ничем. Звучали песни на мои слова, а автором называли одного из моих «благожелателей». Они «теряли» мои рукописи, а потом мне приходилось встречать в печати собственные стихи под чужой фамилией. Как найти управу на наглецов? У них была власть. Ну а потом, не удовлетворившись обворовыванием меня, они на долгие годы заглушили мой голос, попытались навсегда очернить и вычеркнуть из памяти народа мое имя. Однако я выдержал и снова пустился в путь..

Коварство меня истерзало,  
Израило душу мою.  
Как я удержался, не знаю,  
У пропасти на краю.  
Злоба людская чернила,  
Втапывал в грязь подлец.  
Все в прошлом. Почти забылось.  
Лишь на сердце остался рубец.

— Почему вы вздрагиваете всякий раз, когда речь заходит о плохих людях? — спрашиваю я.

— По дороге, которую пересек плохой человек, брезгует ползти даже змея, дружок! Только подлец может помериться силами с подлецом, даже их черный бог не в силах справиться с ними. Вот так-то. Не зря говорится в народе: нет напасти хуже скверного человека. Если бы я верил в аллаха, я бы беспрестанно молился: О всемогущий! Упаси нас от тех, кто радостно хохочет при виде чужих горьких слез! Упаси нас от тех, кто горько рыдает при виде чужой радости!.. Почему вздрагиваю? Да потому, что часто встречал клеветников. Вот недавно прочел я в книжке: яд одной кобры может убить шестьдесят лошадей, три тысячи голубей. А я убежден, что ря-

дом с отравой клеветы яд кобры — это сладкая халва...

В 1927 году в «Весенних напевах» Миртемир писал: «Ох, и влюбчив же я...» Пройдя через ужас репрессий, он сохранил чистое сердце и свет души, остался пылким и страстным певцом любви. Пламенные строки поэт посвятил своей суженой. Столь же огненна была любовь к Родине.

— Среди сказок моей бабушки была легенда о драконах, — рассказывает Учитель. — Эти чудовища бились насмерть каждый за свой край, сражались, пока один из них не падал бездыханным. Если чудовищным тварям так дорога Родина, то чем она должна быть для сынов человеческих? Дороже тела и души, не так ли?

Замечали ли вы, как красна заря?  
Кровь рассвета постигли ли вы?

Клеветники не сломили поэта. Он стал знаменит, любим, окружен родными и учениками. Миртемир был народный поэт — не потому, что ему присвоили именованное так почетное звание. Он любил народ, и чувство это стало взаимным.

Тучи не помешают  
Солнце увидеть...

— Нет, не помешают, Учитель, — шепчу я ему вслед...

### ХОДЯТ ЛИ МИРТЕМИРЫ ПЕШКОМ!

Обивая пороги редакций в канун своего пятидесятилетия, Учитель припозднился. «Шесть часов, а уже темно», — удивился он. Под ногами шуршали опавшие листья. Учитель шел, погруженный в свои мысли, как вдруг дорогу ему преградили четверо молодых парней.

— А ну, вытряхивай кошелек!

— А где «кассала алайкум»? — поинтересовался Учитель. — Поздоровались бы хоть сначала со старшим.

— Деньги давай, дядя!

Осознав нешуточность ситуации, Учитель впервые в жизни «kozyрнул авторитетом»:

— Постыдитесь бы, Ведь я поэт Миртемир...

— Рассказывай сказки! — возмутился один из парней, — Миртемиры пешком не ходят!

— Ладно, не хотите, не верьте, — согласился Учитель. — Все равно у меня денег с собой нет. Проводите меня до улицы Уста-Ширин, это недалеко. Зайду домой, и вынесу вам. Заодно и дом свой покажу.

Парни посмотрели на Учителя недоверчиво — вдруг обманет, вызовет милицию. Однако двинулись следом.

Учитель на несколько минут зашел в дом, вышел, протянул юношам деньги.

— А вообще-то вы очень молоды, — задумчиво сказал он. — Приехали в Ташкент учиться, да? Жалко мне родителей ваших, да и вас жаль. Как бы хорошо было, если бы вы свернули с этого пагубного пути вовремя. А деньги берите, берите. На первое время достаточно, да.

— Рахмат (спасибо), — буркнул один из парней, и они скрылись...

— Прошли годы. Однажды в дверь дома Учителя вошли четверо юношей. Поздоровались. Вежливые, воспитанные, культурные ребята. «Наверное, молодые поэты», — подумал Учитель.

— Мы из Андижана. Закончили учебу, и пе-

ред отъездом не могли не зайти к вам. Нам очень стыдно, простите нас. Вот ваши деньги, возьмите...

Прошло столько времени. Учитель с трудом вспомнил тот случай и понял, кто перед ним.

— Порадовали вы меня, джигиты, встали-таки на истинный путь. Деньги оставьте себе, ничего. Если нужна будет моя помощь — заходите...

Вспоминает Мирджалал, сын Миртемира:

— Мне казалось, что отец ничем не отличается от остальных людей. С детьми в меру ласков, требовательный воспитатель. Он совсем не был похож на поэта, образ которого создавало мое скудное воображение. Мне казалось, что у поэтов должны быть виллы в окружении райских садов (позднее я видел и таких литераторов), поэты разряжены в пух и прах, разъезжают в роскошных лимузинах... Ну, а мы жили достаточно скромно: ни машин, ни двухэтажных особняков у нас не было. Однако отец был очень гостеприимным, радушным и приветливым хозяином. С утра до самой полуночи к нам приходили люди: кто за советом, кто — поделиться заботой или радостью, а кто-то просто заглядывал «на огонек», на чашку чая. Знакомые, друзья, ученики...

Об этом-то Учитель и писал:

Бывало, в доме у меня  
Звенел веселых песен лад,  
И не было такого дня,  
Чтоб не манил гостей мой сад.

Мирджалал продолжает рассказ:

— Навсегда запомнился урок, преподанный мне однажды отцом. Когда пришло время идти служить в армию, «сердобольные» знакомые нашептали мне: зачем попусту губить три года молодой жизни? Военком — лучший друг твоего отца, стоит ему замолвить словечко... И я так и брякнул отцу: «Не хочу в армию! Попросите вашего друга военкома, пусть меня освободят...» Отец не сразу понял, чего я от него хочу, а когда понял — глаза его гневно сверкнули. Однако голос был ровен: «А ты подумал, сынок, каково мне будет идти по улице и слышать за спиной смешки: вырастил сына-дезертира? Нет, уж, уволь. Поезжай в армии, кое-чему научишься, да и крепче станешь». Действительно, служба в армии пошла мне впрок... Много позже я, набравшись храбрости, спросил у отца: почему он так часто бывал суров с нами, его детьми? Отец не удивился вопросу, лишь улыбнулся: «Много я знаю случаев, когда дети очень достойных людей ступали на кривую тропу и оказывались в тюрьме. По той же тропе нередко идут избалованные сынки академиков, профессоров, руководителей высокого ранга. Я не хотел для вас подобного жребия».

Миртемир воспитал не только целую плеяду учеников, он привил благородство своим детям и внукам. «Здесь я дедом стал, не исчезнет мой род», — с гордостью писал Учитель.

В воспоминаниях сына оживают простые человеческие черточки характера замечательного мастера слова:

— Отец каждые два-три месяца покупал себе новую обувь. Поносил немного, и отдаст нам, сыновьям, или кому-то из наших многочисленных двоюродных братьев, которые учились в Ташкенте и жили у нас. Однажды я не удержался и спросил, почему он так любит покупать новые башмаки. Отец усмехнулся: «Тебе трудно это понять. Я в детстве хаживал в рваной обуви, а то и вовсе шлепал босиком по грязи, по снегу.



В детдоме и кормили не густо: кусок черного хлеба да миска пустой похлебки на день. Никому не пожелано такой доли. Ну а сейчас благодать: в магазинах полно обуви, хоть каждый день покупай, хочешь — сам носи, хочешь — подари кому-нибудь...» Впрочем, мы ничего не имели против этой привычки отца. Мой младший брат может подтвердить: обуви мы были всегда отменно...

Мирджалал говорит, и в моей памяти возникает образ любимого Учителя. Погружаюсь в собственные раздумья, но внезапно вздрагиваю, услышав из уст Мирджалала фразу, которую Учитель однажды сказал своему сыну:

— Говори правду, даже если над твоей головой занесен меч.

## ВЕРА

Весенний день. Я снова в гостях у Учителя. Он произносит строку стихотворения своего покойного друга, Хамида Алимджана:

Песнь подвига нужна для жизни молодой.

А потом почему-то начинает перебирать свою родословную.

— Был у меня предок Гоиб бобо. Сын его — Султанмурад. У него сын Усман. У Усмана родился сын Умрбек, мой дед. У Умрбека — мой отец Турсунмухаммад. Потом я сам. А сейчас и у моего Мирджалала родился сын Сарварджан. Сколько еще будет у меня внуков? А у внуков — тоже дети, внуки, и еще, еще...

А еще моя родня: писатели прошлого, настоящего и будущего, — неожиданно заканчивает свою мысль Учитель.

К человеку светлой и открытой души всегда тянутся люди. Миртемир притягивал к себе талантливую молодежь, как магнит — железо. — Никогда в жизни я не говорил недостойных слов! — такова была гордость Учителя. Этого же он требовал от учеников.

В народе говорят: высокое имя выше высокого дворца. К вершинам поэзии Миртемир шел, не пугаясь усталости, презирая даже смертельную опасность. И на этой крутой дороге он охотно брал с собой «в связку» неокрепших, неопытных, молодых.

Те, кто по праву зовет себя его учениками, помнят: это он укрепил в них веру в святость и чистоту литературы, выпалывал в их душах сорняки чванства, пестовал их талант. Учитель ушел из жизни, но его многочисленным воспитанникам не грозит одиночество, тесен их дружеский круг.

Народ — море, он может нести на своих волнах десятки, даже сотни одаренных писателей, художников, музыкантов. Делить им между собой нечего. Этому тоже учил Миртемир.

— Каждое мгновение излучает собственный свет, — говорил Учитель. — Надо суметь вобрать этот свет в себя, а потом — отразить. Вспоминает поэт Эркин Вахидов:

— Однажды мы, компания молодых поэтов, сидели в доме Учителя. Один из нас все присматривался к обстановке, а потом вдруг спросил: «Наставник, почему у вас портреты Некрасова, Шевченко, Махтумкули — на рабочем столе, а Пушкин и Навои — в стороне, на книжном шкафу?» Учитель смущенно улыбнулся и отвечал: «Мне трудно смотреть в глаза этим гениям. Перед Пушкиным я виноват, не сумел по-на-

стоящему перевести на узбекский язык его вдохновенные строки. Виноват и перед Навои, до сих пор не могу постичь всей глубины и многообразия его мира...»

Миртемир не только учил молодежь, но и постоянно учился сам. «Сегодня нет человека несчастнее меня! — шутил он. — Весь день просидел на собрании, ничего не успел почитать».

Говорит поэт Тура Сулейман:

— Нас, молодых поэтов «из глубинки», до крайности раздражало несколько пренебрежительное отношение к нам «столичных штучек». Мы приезжали из далеких областей, из кишлаков за духовной пищей — и часто с чем приезжали, с тем и уезжали восвояси. Был сентябрь шестидесятого года. Учитель проводил занятия семинара молодых писателей. Я пришел на семинар, сижу, мною никто не интересуется. Не выдержал, вскочил: «Почему на нас внимания не обращают? Потому, что мы не из Ташкента, да?!» Вскочил за дверь, смотрю — следом спешит Юсуф Шамансур: «Вернись! Миртемир-ака хочет с тобой поговорить». Я вернулся, Учитель обратился ко мне полшутливо: «Вы, оказывается, потомок Сулеймана-пророка! Извините, вижу вас впервые, не узнал, но должен, должен был догадаться!.. Ну вот что, сынок, попались мне ваши стихотворные опыты, есть и интересные. А особенно хорошо, что собираете фольклор, прислушиваетесь к народному творчеству...» Я обрадовался: оказывается, знаменитый Миртемир знает о моей работе. А он продолжал: «В этом октябре будет семинар молодых писателей всей Средней Азии. Я вас приглашаю. Официально...» Тут я вообще почувствовал себя открытым...

— Причисляя себя к ученикам Миртемира, — говорит драматург Хуснутдин Шарипов, — надо помнить, что легкую лодку творчества может удержать на плаву только весомый груз. Иначе суденышко опрокинет самая маленькая волна. О дальнем странствии тут и мечтать не приходится. Учитель же своей дальней гавани достиг с честью.

Поэт Абдулла Арипов, вспоминая Учителя и тоскуя по нему, писал:

Да, сердце наше, хрупкий бубенец,  
Печалилось, бессонницею мучась.  
Но говорил народ: «Дерзай, певец!»  
И вы свою благословляли участь.

Иные ищут славы непростой,  
Из мрамора и в золоченой раме.  
Вы — в непарадной памяти людской  
Останетесь дехканином калама...

Свет ваших глаз — в зрачках учеников,  
Дала им голос ваша молчаливость.  
Увы, уста! Зачем я лучших слов  
Вам не сказал, пока вы были живы!

## БЛАГОСЛОВЕННАЯ ОБИТЕЛЬ

Учитель сам не мог объяснить, почему весною порой он чаще садится за письменный стол.

— Не знаю, не понимаю, — говаривал он. — Но почему-то именно весной ложится на бумагу, осуществляется то, что я долго обдумывал, что мечтал воплотить. Это не значит, что другие времена года бесплодны. Но все-таки весна для меня — это весна!

Интересуюсь, когда ему лучше пишется: утром, вечером, днем, ночью?

— Раньше я работал, когда все ложились спать, и наступала тишина. Работал до восхода солнца. Но теперь, увуй! Старость. Пишу в утренние часы, на рассвете. Этот переход дался, конечно, нелегко.

Учитель вставал, когда только-только начинало светать. Гулял по двору, настраиваясь на «творческую волну». А на рабочем столе уже ждал бумага, аккуратная стопка нужных для справок книг. Занятия длятся от шести до десяти часов. Потом можно немного отдохнуть.

— Стихи не пишутся ежедневно, — учил Миртемир. — Но путь к каждому стихотворению становится день ото дня ясней и ясней. Я переписываю однажды созданное по пять-шесть раз. Наслаждаюсь самой «шлифовкой» стихов, глаз радуется, когда стихотворение начинает все ярче «сверкать». Если чувствуешь, что написанное тобой еще несовершенно, но отказываешь ему в ласке, в дополнительном труде над ним — кому это во вред? Обманываешь сам себя, пытаешься обмануть читателя — ну а это вряд ли возможно. Непростительно предавать собственную работу.

Вспомнились слова Учителя из книги «Слушай, жизнь!»:

— Я обязан видеть души людей ясными, как стекло. Иначе кто поверит мне, что я услышу, кроме упреков?

В больнице, когда к Учителю уже подкрадывалась смерть, он сказал сыну Мирджалалу:

— Знаешь, сынок, скажи-ка в издательстве — пусть заменят название моей новой рукописи. Книжка должна называться «Ядгарлик» («Памятник»). Это вам на память от меня, всем на память...

К несчастью, предчувствие кончины не обмануло поэта.

Говорит Мирджалал, старший сын Миртемира:

— Странное ощущение не покидает меня. Хотя отец и умер у меня на руках после неудачной операции, мне все кажется: он вот-вот вернется и снова будет с нами, такой же строгий и требовательный. И я продолжаю «выверять» свои поступки, свою жизнь по отцовским законам. Вероятно, нечто подобное чувствует и мать. Каждое утро она входит в кабинет отца, протирает стол, смахивает пыль с книг, снимает с одежды не-

существующие соринки. Словно вот-вот появится хозяйка кабинета, и она станет его «куртаком» — другом, товарищем, как величал ее отец. Первым читателем, взыскательным критиком, мнение которого ценят. И — нежной подругой того, для которого создавала уют, чьих странностей не замечала, кого любила и баловала не меньше, чем нас, детей...

Младший брат Учителя Тура-ака не устал повторять Мирджалалу:

— Есть на свете птица, хохлатый жаворонок. Каждую весну эта птичка откладывает четыре яйца и высиживает птенцов. Из них один рождается соловьем, остальные — обычными жаворонками. Отец твой — этот соловей!

Да, Миртемир был соловьем узбекской поэзии.

Поэзия, ты мой высокий храм,  
Бокал бесценный с медом или ядом,  
Ночь с выбором бессонниц небогатым  
И чудо возрожденья по утрам,  
Приют любви, рубцы от старых ран,  
И отчий край, и долгих странствий карта...

— Легендарна преданность Кайса своей Лейли. И поэт будет дорог народу, если сумеет полюбить поэзию так же преданно, со всеми ее капризами, своеобразием, упрямством, — говорил Учитель. — Однако и этого недостаточно. Как вода и воздух, необходимы поэту чистота помыслов, точность рассуждений, глубина чувств. Тогда сердце вспыхивает столь ярко, что нет иного исхода, кроме воплощения этой вспышки в стихе. Пока поэт не научится вдохновляться самой жизнью — он не мастер, в лучшем случае только подмастерье. Для «разгрызшего ядро жизни» нет мелких тем, толчком к созданию шедевра может послужить булыжник на мостовой или лицо ночного сторожа. А что еще необходимо, чтобы быть поэтом? Неустанный труд...

«Дехканин калама», как назвал его Абдулла Арипов, вечный труженик на ниве поэзии — таков был Миртемир — Учитель, Поэт, Человек. И от труда его рук рождались сокровища, завещанные им новым поколениям.

Перевод с узбекского Л. Музафаровой.



Миртемир

### *На речке*

— Скорее, ребята, на берег речной,  
Туда, где играет волна...  
Пусть дома лежит крокодил надувной,  
А мама побудет одна.  
Нам время нельзя понапрасну терять.  
До ночи мы будем с тобой,  
Как чайки, в прозрачную воду нырять,  
Как рыбы, скользить под водой.  
И с берега,  
Выше которого нет,  
Кричать, разбегаясь, «ура!»...  
И бабушке скажет задумчиво дед:  
— Смотри, как растет детвора!  
— Скорее, ребята, к прохладной реке,  
Туда, где лишь ветер да зной,  
Где кустик зеленый в горячем песке  
Кудрявой поник головой.  
Напрасно он ищет в пустыне родник...  
Хотя бы глоточек воды!  
Лопаты возьмем и пророем арык,  
И встанут над степью сады.  
И в зелень оденется жаркий рассвет,  
И всюду цветы расцветут...  
И бабушке скажет с улыбкою дед.  
— Смотри, как ребята растут!

### *В отцовской кладовке*

В отцовской кладовке —  
Чудные дела!  
Среди инструментов  
Лежит пиала.  
Там есть и топор,  
И ручная пила,  
Рубанок стальной...  
И еще — пиала.  
— Зачем? —  
Вы, конечно, хотите спросить...  
— Топор,

Ну, затем, чтоб деревья валить,  
Пила,  
Чтобы ствол на куски разрезать,  
Рубанок —  
Готовые доски тесать...  
А эта пиалка  
С зеленым чайком  
За дружеским необходима столом,  
Когда позабыты долги и дела.  
...А вы говорите —  
Зачем пиала?..

Перевод с узбекского Л. Мезинова.



Юрий Мурадов

## ДЕВЯТИ ВЕКОВ КУМИР

Хайям мне никогда не нравился. Сборники его четверостиший в переводах Румера, Державина, Тхоржевского, Плисецкого попадали в мой дом разными путями — кто-то из друзей подарит, родственники купят. Сам я не приобретал. Разверну любой томик, прочту несколько четверостиший — набор банальных фраз, плохо зарифмованных, с трудом читаемых, — и откладываю на дальнюю полку. Пока однажды...

Тут я должен сделать небольшое отступление. Есть в Самарканде книжная лавка, которую я рекомендую всякому, кто хоть на день приедет в этот сказочный город. Она неприметна в ряду других магазинчиков, обступивших древний базар в Старом городе, и, как знаменитая лавка чудесных игрушек Уэллса, обладает способностью то возникать, то теряться. Продаются в ней книги, изданные в Таджикистане, — это, на мой взгляд, лучший вариант постпредства одной республики в другой.

И вот однажды в этой книжной лавке купил я сборник оригинальной восточной поэзии под многообещающим названием «Дурдонахо» — «Жемчужины». Книжка случайно раскрылась на той странице, где были убористо набраны четверостишия Хайяма, я прочел несколько рубаи и оказался в плену этих обвораживающих, поэтичнейших строк. Не отрываясь, прямо в неторопливом троллейбусе, везшем меня от базара домой, я «проглотил» все 80 стихотворений, приходя в восторг от общения с великим поэтом.

Вы уже догадываетесь — первое, что я сделал дома, — снял с дальней полки переводы, так пренебрежительно мной забракованные. Стал перечитывать их с другим настроением — но, увы, — меня постигло все то же разочарование.

Заинтригованный такой метаморфозой, я решил доискаться причин того, почему вино рубаи превращается в уксус четверостиший. Стал сравнивать оригинал со «списком». И обнаружил те семь смертных грехов, которым подвержены переводчики.

На дарийском языке, языке Хайяма, — искусство поэзии, богатая рифма на грани каламбура, а то и сами каламбуры. Поэту, жившему 900 лет назад, мог бы позавидовать и Маяковский, возводивший рифмовку в фетиш. А в переводах нашему взору предстает унылый, сто раз виден-

ный пейзаж: кровь-любовь, навек человек, скороходы-всходы, нажать-прижить, уставай-вставай, ищущи-возвращу, пожемем-вздохнем, и опять — век-человек, и снова — век-человек...

Хайям широко использует игру слов — при переводе она всегда теряется. Строка у него щедро инкрустирована внутренней рифмой (когда слова внутри строки рифмуются) — это передается очень редко. Аллитерация столь богатая, что, впитывая в себя краски созвучий, невольно восклицаешь: да это литературный импрессионист XI века! Он мог быть учителем многих поэтов — наших современников.

Ни один из переводчиков не уловил интонацию Хайяма. Не повторил его эпическую, неторопливую фразу. Далекий от оригинала и вальсирующий дактиль:

«Радуйся! Снова нам праздник отраднй настал»  
(В. Державин).

И танцующий танго 4-стопный анапест:

«Я однажды кувшин говорящий купил»  
(Г. Плисецкий).

И романсовый амфибрахий:

«О кравчий! Цветы, что в долине пестрели...»  
(В. Державин).

И короткое дыхание пятистопного ямба:

«От веры к бунту — легкий миг один»  
(Тхоржевский).

И безразмерные, безритменные, аморфные эксперименты того же В. Державина:

«Вино — прозрачный рубин, а кувшин — рудник,  
Фиал — это плоть, а вино в нем — души родник».

Читателям надо пояснить, что никакого злого умысла у переводчиков нет. Нет и вины большой. Дело в том, что современная русская поэзия и рубаи Хайяма представляют принципиально разные системы стихосложения. Русский стих — силлабо-тонический, все эти ямбы, хорей, дактили, амфибрахии. А стих Хайяма основан на чередовании долгих и кратких слогов. (Так Гомер сочинял, «тридцати веков кумир». Ученые называют этот стих силлабическим. И если, пере-

вода Гете, достаточно повторить ритмический рисунок оригинала, то в нашем случае стоит задача найти эквивалент там, где этого эквивалента в принципе быть не может. Наверное, надо смириться с тем, что истинная интонация Хайяма никогда не откроется тому, кто на дари не читает. Добавлю только, что более всего приближаются к ней шестистопные ямбы О. Румера:

«Лепящий черепа таинственный гончар...»

А еще ближе — ямб семистопный, несколько раз использованный Державиным:

«Ты не мечтай перевалить за семь десятков лет».

Это то, что касается интонации. Не меньший грех совершают переводчики, когда произвольно меняют местами строки. Можно сказать, что от перемены мест слагаемых и т. д. Но тут надо учесть, что рубаи — это не любое четверостишие. Оно, рубаи, имеет определенную, жесткую архитектуру. Первые две строки — нечто вроде экспозиции, предпосылка. 3-я — философский вывод и 4-я — пояснение 3-й, ее развитие. Нарушая порой заданный автором порядок, мы нечаянно облегчаем, принижаем часто очень трагичный финал четверостишия.

В рубаи каждая строка — обычно законченное сообщение. Напряжение мысли плавно нарастает от первого слова строки к последнему, от первой строки к четвертой. И ни в коем случае нельзя пренебрегать этой особенностью оригинала. Нельзя прибегать к анжамбеману — переносу части фразы из одной строки в другую.

«Будь все добро мое кирпич один, в кружало  
Его бы я отнес...» (О. Румер)  
«Вина подай, саки, и, кстати, заложи  
Тюрбан мой в кабаке...» (О. Румер)

А вот как одной фразой на три строки раскинулся Тхоржевский:

«...С моей женой,  
Бесплодной дочкой мудрости пустой,  
Я развожусь...»

Где уж тут — одна строка — одна мысль.

Подобные стилистические фигуры, затрудняя восприятие, делают очевидными проблемы переводчиков, снижают ценность созданного ими.

И понятное дело, Хайяма нельзя переводить так, как Пастернак Гете переводил: уловить общий смысл рубаи и изложить своими словами. Можно попасть впросак.

«Несовместимых мы всегда полны желаний.  
В одной руке бокал, другая на Коране.  
И так вот мы живем под сводом голубым;  
Полубезбожники и полумусульмане.»

(О. Румер)

У Хайяма в последней строке: Ни мусульманин истинный, ни конченый кофыр, безбожник. Эти две версии отличаются друг от друга настолько, насколько (прошу прощения у читательниц) женщина, не принадлежащая никому, отличается от женщины, принадлежащей наполовину одному, наполовину — другому. У Румера — благополучный и довольный своим положением персонаж. Утеряна трагедия поэта, живущего с неприкаянной душой. Н. Стрижков тут точнее:

«Не кофыров совсем, не совсем мусульман».

Но вот другой пример:

«Ты из праха меня изваял, я при чем?  
Ты наполнил вином мой фиал, я при чем?»

Все дурное и доброе, что совершаю,  
Ты ведь сам, наш творец, начертал — я при чем?»

(Н. Стрижков)

Увы, в оригинале немного не так. Там в первой строке: Господи, ты сам месил глину (из которой потом я был создан). Где же образ Бога, месящего глину? (Наверное, засучив рукава?) А во второй строке он пересаживается за ткацкий станок, чтобы выткать ткань судьбы. Если не в этом поэзия — тогда в чем?

И все же перевод Стрижкова предпочтительнее державинского перевода того же рубаи. В. Державин редиф — повторяющиеся слова после рифмы — переводит так: «Что же делать мне?» У Хайяма именно эти три слова: «Ман чи кунам» — Что делать мне? Но по всему контексту оригинала ясно, что Хайям тут говорит: Что я могу поделать? И стрижковское «при чем тут я?» точнее передает смысл высказывания. У Державина — жалоба растерявшегося человека. Герой же Стрижкова (и Хайяма) действует согласно предписанным ему правилам игры, возлагая ответственность на самого Бога. Здесь мы проникаем в мировоззренческие настроения древнего автора, и неточность в данном случае хуже десяти ошибок во многих других случаях.

Переводчиков подводит незнание реалий.

«Прославься в городе — возбудишь озлобленье.  
А домоседом стань — возбудишь подозренье,  
Не лучше ли тебе, хотя б ты Хызром был,  
Ни с кем не знаясь, жить всегда в уединеньи?»

(О. Румер)

Совершенно случайным кажется появление в третьей строке Хызра. У Хайяма случайностей не бывает. Нашел это рубаи в оригинале, и все сразу стало на свои места. У Хайяма читает: «Насколько лучше быть Хызром...» Хызр — покровитель путешественников, и каждый, кто выезжает из Самарканды на сторону Ташкента, слева на холме видит мечеть, носящую его имя. А особенность Хызр имеет такую, что никогда на глаза не попадается. Появится вдали, как мираж, и исчезает. Вот почему, считает Хайям, лучше всего быть Хызром, чтоб ни один человек тебя не знал, и ты бы не znalся ни с кем. А в сборнике дается такое объяснение: Хызр — чудотворец, хранитель источника живой воды. Нет, и комментатор не владеет реалиями.

Вот так — один грешок, второй, один штришок, второй — и перед нами другой Хайям. Точнее — совсем не Хайям, а плод воображения переводчиков.

И казалось бы — чего проще? Всего-то четыре строки. Но четыре Хайямовы строки вмещают в себя море поэзии. И переводчик пытается преодолеть это море на лодке своего умения. Вместо штормов, китов и пиратов его подстерегает множество других опасностей. Надо рифму богатую найти, и звукопись передать, и со смыслом бы не воротить, и метафоры-образы сохранить. Учтите и такую особенность языка дари: в нем масса слов односложных, коротеньких, обозначающих конкретные и абстрактные понятия. И слова эти не имеют привычки бесконечно удлинняться за счет суффиксов и приставок. А это значит, что там, где Хайяму легко вписать в строку 6—8 слов, русские переводчики с трудом втискивают 4—5. Вот и идет лодка чаще всего бесславно ко дну.

Но, конечно же, лучше читать переводы, чем вовсе не читать. Так что, остается одно — желать новым переводчикам большего успеха.



## ВЗРОСЛЕНИЕ

**Павел Шуф. Улыбка лорда Бистузье. Ташкент, издательство «Еш гвардия», 1989 г.**

Несовершеннолетние персонажи книг Павла Шуфа — и «Приключений юнкора Игрек», и «Улыбки лорда Бистузье» — часто суют свой нос туда, куда их не просят. Суются в серьезные, взрослые дела. Например, в систему торговли, где прячутся товары под прилавок, даются и берутся взятки, покупаются и продаются директора школ и корреспонденты пионерских газет. Могут и анонимку написать, и подсунуть неугоднему «компромат». Могут и папу с мамой запугать. Могут — почти все. Ясно, что связываться с подобным миром, тем более для несовершеннолетних, опасно. Однако герои Шуфа отваживаются на это.

На детстве юнкора Балтабаева и его друзей лежит черная тень Динэра Петровича Суровцева, «лауреата и коммерческого директора», мафиози среднего звена. Имя «Динэр» появилось в то же время, когда многим новорожденным девочкам давали имя «Сталина», и расшифровывается, как «дитя новой эры». Суровцев действительно отродье «кнувой» эры — эпохи дефицита, коррупции, мафии. Он почти всемогущ. Услужил по личному и общественному делу — достал импортную стенку и краску для ремонта школьного здания, — и директор школы у него в «кармане». Предложил журналисту вельветовый костюм по государственной цене — и благодарный писака славит его на страницах своей газеты. Все это нам, к несчастью, хорошо знакомо.

Суровцев-старший воспитывает целую династию суровцевых. Действительно, какими могут быть яблочки от такой яблони, вызревающие в климате вседозволенности и легких денег? Малолетний Суровцев-сын жарит на сковородке живьем золотых рыбок из аквариума. Он хочет выясниться, не заговорят ли рыбки человеческим голосом и не начнут ли исполнять его желания. Младший Суровцев таким образом «проверяет Пушкина на честность», это явно будущий литературовед. Ну а Кэт, Суровцева-дочь, с первых классов школы «девочка высшего света», обладательница адидасовской формы, шубки из ламы и прочих престижных вещей. Всем этим она обязана дорогому папе-Суровцеву и не случайно впоследствии становится его соучастницей в попытке упряпать за тюремную решетку честного человека.

За неискушенных ребят, сталкивающихся с суровцевыми, порой просто страшно. Например, в сцене, где Динэр Петрович обманом заманивает к себе в дом мальчишку-фотографа, принимает позу покойника и заставляет фотографировать себя в таком виде. Снимки явно нужны Суровцеву для каких-то темных дел, но пацан об этом не подозревает. Создавая декорацию похорон, Динэр Петрович приказывает мальчишке положить себе на веки пятаки, вложить в руки свечку. Так опытный негодяй использует в своих целях наивного пацана, — мертвец хватает живого.

И помимо суровцевской линии, Шуф дает ряд эпизодов, показывающих пороки нашего общества. Не буду зачислять «честь мундира», всем нам известны продажные журналисты, похожие на Олега Сиропова, который постоянно стоит в позиции «чего изволите?», продвигает в литературу бездарного сына председателя своего жилищного кооператива, готов за взятку воспеть кого угодно и что угодно. Кроме того, он до ужаса боится отрицательных материалов, готов в последнем жулике увидеть положительного героя. Это уже позиция «как бы чего не вышло». Вот такой человек работает в пионерской газете, воспитывает подрастающее поколение.

Показан и один из аспектов нашего школьного образования — атеистическое воспитание. Юной противнице религии видится в лечебной травке исирик «опиум для народа», и она своим атеистическим пафосом чуть не загоняет в гроб доброго старика, ветерана войны и труженика.

К несчастью, характерен для Узбекистана и эпизод с вручением почетным гостям взятки — «сувениров». Узнаваема профсоюзная деятельница, одевающая за государственный счет подарками подростков из подшефной школы.

Вот таким явлениям противостоят юные персонажи Шуфа. И хотя они не теряют чувства юмора, но приходится им порой очень и очень трудно.

О ком бы ни писал Павел Шуф — о пионерах-героях или об озорных современных школьниках, — главное для него всегда личностное начало в подростке. Пишет он давно, книги его выходили в свет задолго до нынешних разговоров о детском самоуправлении и перестройке школы. Естественно, деятелям Академии педнауки, которые хотели бы выращивать подрастающее поколение квадратно-гнездовым способом, как картошку, книги Шуфа понравиться не могли. К чему им эти юнкоры, лезущие разоблачать неприглядные дела взрослых? Сидели бы лучше тихо, учили бы стишки про счастливое детство и получали пятерки. Да и понравится ли ученым педагогам, например, учитель, которому пацаны сбрасывают на голую веник, а он только улыба-

ется? Из-за такого направления творчества Шуф и попал в число тех из наших писателей, кто наиболее обстрелян критикой. Академики били по нему со страниц центральной прессы из дальнебойных орудий. Удивляюсь, как Шуф в такой атмосфере умудрялся писать новые вещи. Отзвуком этой канонады представляется недавняя статья К. Севина (имя это слышу впервые), который довольно сбивчиво излагает содержание книг Шуфа, а потом вдруг заявляет: автор «разрабатывает пустую породу». Интересно, почему это критик-«геологоразведчик» пришел к такому выводу? Или просто посчитал, что ругать Шуфа модно и безопасно, сдачи все равно не получишь?

Я далек от того, чтобы превозносить творчество Шуфа, объявлять его «новым Гайдаром». Это просто честный писатель, который в своих книгах старается обрисовать то, что видит своими глазами. А для тех, кому не нравятся озорные непричесанные подростки, могу заметить, что именно из таких вырастают обычно будущие «примеры пионерам».

Счастье юных героев Шуфа в том, что рядом с ними порой оказываются и достойные взрослые, помогающие противостоять миру угроз и клеветы. Если бы не было таких старших, честных подростков «сломали» бы еще в самом раннем возрасте. Книги Шуфа, как это принято в детской литературе, имеют счастливый конец. Наверное, это правильно. Зачем насаждать отчаяние в новых поколениях? С другой стороны, зачем показывать нашей так называемой смене жизнь в розовом цвете? Чтобы изменить в корне нынешнее тяжелое положение страны, нам просто жизненно необходимы поколения борцов, верящих в собственные силы и в то, что зло можно победить. Вот тогда, может быть, счастливые окончания стычек с темным миром станут обычными не только в литературе для детей.

#### ИСФАНДИЯР.

---

### ЖИЗНЬ БЕЗ НРАВСТВЕННОГО УСИЛИЯ

Леонид Шорохов. *Черная радуга*. Роман. Ташкент, издательство им. Гафура Гуляма

---

Постараемся избежать сколь-нибудь обобщающего разговора об «индивидуальном почерке» и «творческом потенциале» Леонида Шорохова, автора романа «Черная радуга». Ограничимся гораздо более скромной задачей — суждением лишь об одном его произведении, о котором во вступительном слове сказано как об «очень русском романе». «Главное,— утверждает автор предисловия,— в теме, потому что пьянство на Руси издавна — беда народная». Однако по весьма странному стечению обстоятельств русская классическая литература как-то вообще не

очень и настаивает на «главенстве» этой темы. Да, пьют герои, но как-то между делом и нарочито. Откуда же пришло это ощущение «национальной характерности темы»? Уж не из анекдотов ли о незадачливом и вечно пьяном русском мужике? Остается лишь благодарить судьбу, что не довелось автору вступительного слова к роману «Черная радуга» в момент своих размышлений над ним вспомнить бессмертный роман Франсуа Рабле, а то (страшно подумать) явился бы Леонид Шорохов, как создатель «очень французского романа».

Впрочем, сам Л. Шорохов чрезвычайно много сделал для истолкования своего романа в ключе «анекдотного мировосприятия». И это становится понятным буквально с первой строки: «Прораб Семен Углов шагал по улице...» Ну конечно, прораб, а как же иначе! «Пьющий прораб» — это сегодня столь же естественное словосочетание, как в прошлом столетии «пьющий извозчик», а несколько позднее «пьющий сапожник». Прораб — это даже уже не профессия, а явление нашего повседневного быта (конечно же, со «ссылкой на анекдот»).

Итак, куда же «шагает по улице прораб», «вдыхая свежий утренний ветер»? Конечно же, на объект. Но зачем? Но это наш герой по неопытности «не может сообразить», а читатель, тоже по-своему «калач тертый», уже сразу смекнул. И не ошибся. Через страницу перед ним предстанет также не вполне понятно чем встревоженная героиня. Вот как о ней отзывается все тот же автор предисловия: «Образ страдающей и сострадающей, пылкой и порывистой Лизы написан Л. Шороховым в традиции русской литературы». А какой, спросите, традиции? Ну, это уж вообще вопрос для любителей разгадывать кроссворды. Скажем так: «Кем в русской литературе создан образ страдающей и сострадающей, пылкой и порывистой Лизы?» Правильный ответ — Карамзиным в «Бедной Лизе». И читатель погружается в сладкую дрему историко-литературных воспоминаний, перелистывая роман Шорохова. Перед ним разворачивается знаковый («до слез») сюжет: смутные чувства героя и героини постепенно превращаются в непреодолимую страсть.

Но параллельно, подспудно и также вопреки волевым усилиям героя рождается в нем и другая страсть. То проявляется ведущая линия романа Л. Шорохова — повествования о деградации спивающегося человека. Лавинообразно нарастает страсть героя к спиртному, сметая на своем пути все внешние и внутренние преграды, притупляя все человеческое: чувства любви, долга, сострадания...

Конечно, и здесь достаточно эпизодов, «возбуждающих улыбку» неожиданными аналогиями, невольно возникающими в сознании читателя. То живучей традицией производственного романа повеет со страниц «Черной радуги», то пахнет «удушливой» назидательностью, то вдруг начинаешь ощущать удивительную близость только что прочитанного то ли наблюдениям врача-нарколога, опубликованным в журнале «Здоровье», то ли исповеди алкоголика, представленной с пропагандистской целью на страницах аналогичных изданий. А вот, например, как «сочно» звучит авторская ремарка, завершающая диалог двух прорабов о всяческих нарушениях в делах строителей: «... и цвела и жирела под роскошным солнцем этим пышная бабежа — ПРИПИСКА!» (стр. 44). Но почему-то не трогают. То ли не всем дано представить себе «жиреющую под солнцем бабежу», то ли уж слишком

откровенно стремление автора сказать как-нибудь покрепче, и... перегнул незаметно для себя. А вот несколько выше, в том эпизоде, где любовные чувства героя достигают своего апогея, читаем: «Нет, не мертва есть душа человеческая!...

Так смелее же, смелее шагайте под жаркие лучи простых и добрых человеческих чувств!..

И будьте же счастливы, будьте очень счастливы, ибо счастье и есть единственное достойное человека состояние!» (стр. 21). Понятно, что, обращаясь таким образом к своему читателю, автор хотел сказать нечто очень для него важное, сокровенное, выстраданное, соединяющее его, героя и читателя в едином душевном порыве. Но опять «перегнул», или, может, в данном случае точнее будет сказано, «недогнул», и... эффект, прямо противоположный ожидаемому.

И все-таки, несмотря на очевидные промахи, роман Леонида Шорохова «Черная радуга» (говорю об этом без скидки на неопытность) написан человеком одаренным, хорошо чувствующим глубинные мотивы человеческих поступков, природу страстей и пристрастий, способным увлечь своего читателя. Все эти качества для писателя весьма многообещающие.

Я говорю прежде всего о тех страницах, которые посвящены состоянию крайнего падения героя, когда его связи с миром и людьми деформированы и предстают в ужасающе примитивной схеме: жена как «надежда выманить, вымолить, выцганить» (167 стр.) полтинник на утренний «опохмел»; стекающиеся, как муравьи, к винным ларькам мужики, озабоченные, деятельные, соединенные общим стремлением, но абсолютно ненужные, безразличные друг к другу за пределами расписной бутылки. Связь героя с реальным миром возникает, лишь когда нестерпимая жажда очередной дозы алкоголя толкает на поиски денег и собутыльников. Все остальное время грезы, кошмары, подсознательные, неконтролируемые действия и поступки. И так до страшного предела — смерти дочери, маленькой Аленьки. Вся эта часть романа Л. Шорохова выполнена рукой вполне зрелого и требовательного в деталях художника.

Однако здесь возникает еще одна чрезвычайно важная в оценке романа «Черная радуга» грань, о которой уже совершенно невозможно говорить в насмешливо-фельетонной тональности, которую я счел для себя позволительной несколько выше.

Погружая своего читателя в атмосферу шокирующей правды, в мир, реально обнаженный своей наиболее бездуховной, нечеловеческой стороной, Леонид Шорохов, строго говоря, не открывает никаких новых путей, а следует довольно глубокой и разветвленной в русской литературе традиции, восходящей к так называемому «физиологическому очерку», потрясшему своего читателя еще в первой половине XIX века. Чрезвычайно сильная и своеобразная вспышка этой традиции наблюдается именно сегодня, и не только в беллетристике, но и в смежных и даже отдаленных областях духовной культуры: в публицистике, в кинематографе, в живописи... В некоторых сферах это явление получило устойчивое, хотя и незаконное обозначение — «чернуха». «Чернуха» — это обнажение области социального дна, мира проституток, воров, наркоманов, пьяниц, бомжей и насильников, людей, выступающих попеременно то «хищниками», то «жертвами». И такого рода литература существовала практически всегда. Но только сегодня она нависла над нашими душами тенью

страшной, разрушительной опасности. Нет, я не оговорился, речь идет не о явлениях, которые эта литература сделала своим главным предметом, а о самой литературе и опасности, которую она «несет нашим душам».

Так в чем же собственно эта опасность? Не в том ли, спросите вы с испытывающей иронией, что литература подобного рода потрясает самые устои, порождающие столь грязные явления жизни? В таком случае она опасна только для тех, кто кровно заинтересован в сохранении «прогнивших устоев». Однако не спешите с выводами. Проблема, как представляется, много сложнее ожидаемого.

На что рассчитана литература, которая обозначена словом «чернуха»? На шок, на потрясение, вызванное резким обнажением наиболее уродливых сторон жизни. «Жизненная правда» — сильнейшее и вернейшее оружие литературы этого рода. И это не просто правда, а так сказать, «правда-матка», несогласие с которой мгновенно и самопроизвольно записывает возражающего в число сторонников всего прогнившего и ненавистного. Это «правда» экспансивная, подавляющая всякую рассудительность. С учетом этого обстоятельством любая нормально развивающаяся культура вырабатывает в себе естественные противовесы, когда (по самой огрубленной схеме) страхи и ужасы уравновешиваются смехом и радостью, смерть и похороны соседствуют со свадьбой и рождением. Создается целостная система, сохраняющая внутреннее равновесие, баланс своих составляющих.

Однако система неизбежно разрушается, когда логика административных запретов заменяет логику естественных процессов. Когда же запреты сняты, то разрушительный поток «чернухи» хлынул на печатный станок. Атмосфера тревоги, страхов, повышенная агрессивность и, как следствие, рост миграционных и эмиграционных настроений части наших сограждан — это не только и не столько плод экономических и политических проблем, сколько результат утраты гармонии, равновесия нашей духовной жизни.

Было бы, конечно, нелепо обвинять во всех бедах создателей «чернухи». Тем более, что большинство движимо чувствами гражданского долга, профессиональной честности, когда «набатным колоколом» возвещают о той или иной беде, выводя соотечественников из состояния нравственного сна. Хотя именно в этой установке «на пробуждение» кроются основные просчеты многих и многих современных литераторов.

Пробуждать ото сна... Кого (или что)? Человеческие души? Да, это дело исполнено некоей романтической героики. Подумать только, достаточно лишь чем-то глубоко потрясающим, шокирующим пробудить и ...дальнейшее представляется в исключительно радужных тонах. При этом чем сильнее потрясение, тем вероятнее ожидаемый эффект. И вот с экранов телевизоров, со страниц газет и журналов, с театральных подмостков и в потоке оперативно издаваемых книг обрушилась на зрителя, читателя, слушателя вереница слов, «потрясающих» самым беспощадным образом. А результат — пробуждение страха, мести, апатии, неверия, сознания собственного бессилия и всеобщей агрессивности. Пробудились, как видите, не души, а страсти. И результат этот в принципе закономерный, потому что не принято во внимание одно очевидное обстоятельство: для того, чтобы пробудить человеческие души, они, как минимум, должны «иметься в наличии». А для того, чтобы души все-таки имелись, необходим про-



цесс их воспитания — дело, требующее огромных и не разовых (как в случае с «пробуждением»), а непрерывных нравственных усилий со стороны всего общества и прежде всего его духовного авангарда — творческой интеллигенции.

Кем же он должен предстать, современный писатель в современной общественной ситуации? Звонарем в дремлющем ночном городе или сеятелем на истощенной и каменистой почве? Вот один из центральных вопросов нашей духовной жизни!

Наверное, именно здесь для художника пролегла грань осознания своей ответственности перед миром, а для русского художника — еще и осознания своей не внешней, но существенной связи с классической русской литературой.

Однако вернемся к «Черной радуге». Создав гнетущую атмосферу нарастающего и ничем практически не сдерживаемого зла, автор завершает роман совершенно неожиданным, но и одновременно вполне ожидаемым (если иметь в виду укоренившуюся в последние десятилетия «традицию») поворотом. В последней главе мы находим нашего героя отправленным на принудительное лечение в «заведение» лагерного типа. Мы становимся свидетелями его поразительной метаморфозы. Не могу судить о реакции остальных читателей, но меня охватило чувство недоумения. Где? Когда? И, главное, откуда идут истоки этого нравственного возрождения? Непостижимо!

Может быть, это благотворное влияние при-

нудительного труда? Такую версию довольно настойчиво подбрасывает нам сам Л. Шорохов. Но... маловероятно! От нравственного падения героя не удержал ранее не только принудительный, но вполне свободный труд. Не удержали также ни любовь, ни чувство долга, ни стыд, ни сострадание. Так где же это спасительное и животворное начало, способное сокрушить зло, возродить человеческую личность? Объективно его просто нет ни в герое, ни в мире, созданном Л. Шороховым. Так откуда черпает свой оптимизм автор романа, уж не из бесед ли с Семеновым Угловым капитана Костенко, откровенно душеспасительных по содержанию и полумитинговых по форме? Судя по всему, именно отсюда, поскольку больше-то неоткуда.

Капитан Костенко... Он столь неестественен и странен в своем появлении в мире романа Л. Шорохова, как и трескучие морозы среди летнего зноя в булгаковских «Роковых яйцах», с той лишь разницей, что великий сатирик прекрасно сознавал их неестественность и не скрывал этого от своего читателя, чего нельзя сказать об авторе романа «Черная радуга». Его Костенко механически заполнил ту площадь романа, на которую не хватило душевных и творческих усилий его автора. Между тем представляется, что именно эти усилия ведут художника к истинной цели, сближают его с большой русской литературой.

**Н. НИКОЛАЕВ.**



Рафаил Такташ

## НУКУССКИЙ ДОН-КИХОТ

Об Игоре Витальевиче Савицком — замечательном искусствоведе, художнике, великом энтузиасте музейного дела — писать и трудно, и легко. Трудно потому, что еще до сих пор не осмыслен масштаб созданного им. Савицкий вместе с несколькими соратниками основал Каракалпакский Государственный музей искусств, не случайно названный после смерти Игоря Витальевича его именем. Основал, собрал по крупицам, создал буквально на голом месте. До Савицкого в Каракалпакии был только небольшой краеведческий музей. Трудно о Савицком писать еще и потому, что был он человеком необыкновенным, парадоксальным и, как говорят обычно о таких, как он, — со странностями. Еще на рубеже 60—70-х годов в газете «Советская культура» появилась статья театроведа В. Вильчека именно под таким названием — «Станный человек из Нукуса», где рассказывалось о Савицком — создателе музея и человеке, который, делая в Каракалпакии великое дело, лично для себя ничего не просил и уж тем более не требовал.

А легко, точнее, приятно писать о Савицком потому, что был он и остался в памяти его друзей человеком светлой подвижнической души.

Еще в 1962 году я был командирован в Нукус с целью организации научной конференции. Именно в этот первый мой приезд в Каракалпакию я и познакомился с И. В. Савицким. Собранная им и его коллегами в сельских районах Каракалпакии коллекция произведений народного искусства помещалась тогда в состоявшем всего из двух, кажется, комнат домике. Образцы каракалпакской вышивки, платья, халаты были аккуратно развешаны на специальных штангах. Здесь же я увидел и сундуки, украшенные резьбой и инкрустированные металлом, образцы каракалпакской резьбы по дереву, ювелирные изделия. Эта-то так называемая «лаборатория прикладного искусства», теснящаяся в двух комнатках, и положила начало богатейшей коллекции произведений каракалпакского декоративного искусства, хранящейся ныне в Нукусском музее искусств. Насколько мне известно, Савицкий приехал в Каракалпакию вместе с Хорезмской археологической экспедицией под руководством академика С. П. Толстова.

О биографии Игоря Витальевича я знаю мало. Он говорил мне, что родился на Украине и происходил из интеллигентной семьи. В 1940-е годы окончил живописный факультет московского Государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Свою деятельность создателя музея, участника археологических экспедиций Савицкий сочетал с занятиями художественными, создал серии каракалпакских, хорезмских, хивинских пейзажей. Как мастер пейзажной живописи он испытал серьезное воздействие творческих принципов замечательного русского пейзажиста Н. П. Крымова. И. П. Савицкий был художником-реалистом, проникновенно и правдиво чувствующим и передававшим суровое очарование простора пустынь, неяркую зелень оазисов, тонко чувствовал неповторимое своеобразие хорезмийской и хивинской архитектуры.

Идея создания Каракалпакского музея изобразительных искусств возникла в 1960 году, а начало ее осуществлению было положено в 1966 году, когда энтузиастам отвели часть помещений Каракалпакского краеведческого музея.

В январе 1970 года мы вместе с сотрудницей Государственного музея искусств Узбекистана Н. М. Зимовой были командированы Министерством культуры Узбекской ССР в Нукус для инспекции Каракалпакского музея. Усилиями Савицкого и его помощников собрание музея быстро пополнялось, и уже тогда возникал вопрос о необходимости отдельного здания для музея, о квартирах для его сотрудников. В полученной им небольшой квартире Игорь Витальевич сам не жил. От отдал ее семейству своих сотрудников, а сам ночевал в музейном помещении на простой раскладушке. Уже тогда рождались легенды о его отзывчивости и бескорыстии. Я видел эту раскладушку. Помню мой спор с одним из руководящих чиновников министерства автономной республики. На какое-то требование, высказанное в недостаточной дипломатической форме, этот человек ответил тоже нажимом и дал мне понять, что я ущемляю его суверенность. В кабинете запахло ссорой. Савицкий при этом присутствовал. Он смотрел на меня насмешливо, и весь его вид говорил: «Ничего-то вы своей прямолинейностью не достигнете». Од-

нако результаты инспекции его кровного дедушки-музея Савицкого беспокоили, и я почувствовал это, когда он провожал нас в Нукусском аэропорту. Уже по возвращении в Ташкент я получил от него письмо, в котором он тоже выражал тревогу по поводу итогов обследования деятельности музея, а также просил помочь музею по ряду нерешенных проблем. Не откладывая, я ответил ему письмом, где сообщил, что комиссия высоко оценивает его деятельность в качестве директора музея, что это наше коллективное мнение отражено в отчете министерству, и что мы от души желаем ему новых успехов.

Кажется, еще в 1963 году скульптор Дамир Рузыбаев удачно вылепил из глины мою голову и сделал с этого скульптурного портрета две терракотовые отливки. Савицкий, будучи в Ташкенте, зашел в мастерскую Рузыбаева, и скульптор предложил ему для закупки в числе прочих своих произведений и мой скульптурный портрет. По свидетельству Рузыбаева, Савицкий сказал ему: «Я его живого с трудом выношу, а Вы мне еще и портрет его предлагаете...» Тем не менее портрет Р. Такташа был закуплен и хранится сейчас в Нукусском музее.

В один из приездов Савицкого в Ташкент я предложил ему посмотреть заснятый на цветную киноплёнку фильм о произведениях известного ташкентского живописца Евгения Мельникова. Савицкий приехал ко мне в условленное время, и я показал ему фильм. В затемненной комнате Савицкого клонило в сон, но когда фильм кончился, он оживился и стал рассматривать развешанные на стенах картины. Его заинтересовали композиции на темы жизни Хамзы Хаким-заде Ниязи, понравился также один из моих рисунков карандашом, изображавший весенние розы в бутылке с отбитым горлышком. Он попросил у меня этот рисунок. Но я отдал ему рисунок не сразу. Лишь после его отъезда, поразмыслив, решил отослать рисунок почтой. Подобающим образом его оформил, сделал дарственную надпись и отправил в Нукус.

Слава нукусского музея росла и ширилась. Уже состоялась в Москве первая выставка произведений из собрания этого музея. Она вызвала многочисленные отклики. В Москве же вышел в свет большой, прекрасно изданный альбом о нукусском музее. Сам Савицкий неумолимо продолжал приумножать фонды музея. Игорь Витальевич собирал произведения художников не только в пределах Узбекистана или Средней Азии. Он обходил мастерские известных и малоизвестных (порой незаслуженно забытых, отвергнутых, репрессированных) художников в Москве, Ленинграде и других городах страны и извлекал из безвестности прекрасные произведения живописи, скульптуры и графики. Все это направлялось в нукусский музей.

Савицкий рисковал, порой даже крупно... Ведь он приобретал произведения искусства у художников или владельцев произведений в долг. Денежные суммы за картины, графику, скульптуру он мог выплатить далеко не сразу. Ведь в Каракалпакский музей прежде всего должны приобретаться произведения местных художников. Перед директором музея стояло множество «со скрипом» решаемых проблем. Среди них — условия размещения произведений искусства в тесных, малоприспособленных для музейного хранения помещениях, вопросы финансовых расчетов с владельцами взятых в музей вещей, устройство выставок, археологическая деятельность и реставрация археологических находок.

Савицкий должен был все это успевать, а также поддерживать успешные деловые контакты со всеми организациями и людьми, от которых зависели решения всех научных, хозяйственных и экономических вопросов жизни музейного организма.

Вопросами реставрации в музее долго ведал известный каракалпакский скульптор Жолдасбек Куттымуратов. Активными помощниками Савицкого в семидесятые годы были искусствовед В. А. Панжинская, другие его сотрудники.

В Каракалпакском музее были собраны значительные коллекции произведений мастеров изобразительного искусства Каракалпакии и Узбекистана. Здесь же представлены картины видных русских советских живописцев. Однако до сих пор музей не имеет отдельного, достойного его значения и объемов коллекций, помещения. Навероятно, но факт! Строительство было как будто начато. Но затем, в начале 1980-х годов, законсервировано. Игорь Витальевич так и не дождался нового музейного здания, о котором так мечтал.

В последний раз мне довелось быть в Нукусе по делам музея в начале 80-х годов. Опять же в составе комиссии, направленной на этот раз отделом культуры ЦК Компартии Узбекистана. Игорь Витальевич собрал под крышей нукусского музея большое количество еще не оплаченных произведений и задолжал многим владельцам картин и скульптур. Отдельные нетерпеливые кредиторы начали слать в высокие организации письменные жалобы. В отделе культуры Центрального Комитета нам поручили также разобрататься и в качестве произведений, отбираемых И. В. Савицким для приобретения. Одним словом, над выдающимся энтузиастом искусства снова сгустились тучи.

Нина Зимова, Фаина Гневывшева, Павел Винякин — все искусствоведы и с ними я несколько дней работала в музее, знакомились с документами, беседовали с сотрудниками и с самим Савицким, осматривали фонды и новые поступления. Все мы, изучив обстановку в музее, почувствовали, что Игорь Витальевич и его коллектив самоотверженно работают в очень тяжелых условиях. Ограниченность площади музейного помещения, крайне стесненные условия хранения и экспонирования произведений искусства резко сужали масштабы исследовательской и эстетико-воспитательной работы, отрицательно сказывались и на настроении сотрудников и самого директора. Было ясно: музею требуется неотложная и самая серьезная помощь и прежде всего — новое здание. Об этом и написали мы в своем отчете об инспекционной поездке в Нукус.

Однажды Савицкий принял нашу комиссию у себя дома, и мы еще раз убедились в спартанском образе жизни этого человека. Личной коллекции произведений искусства у него не было. Он собирал Государственный национальный музей. Показывая нам в музее ювелирные изделия, извлеченные им самим и его сотрудниками из-под земли во время археологических раскопок, Савицкий рассказал нам, что очищал он эти украшения (кольца, браслеты) с помощью паров сулемы. Это вещество, кроме того, что оно попросту ядовито, еще и обладает крайне неприятным специфическим запахом. Однако Савицкого это не останавливало. Рассказывая об этом, Савицкий дерзко и зарзательно смеялся, напоминая озорного непослушного школьника.

В это время Игорь Витальевич уже был тяжело больным человеком, перенес несколько опера-

ций. Но жалоб на состояние здоровья я от него никогда не слышал. Аскетический образ жизни, неналаженный быт, неупорядоченное питание, пылкая одержимость своим делом постепенно подтачивали его силы.

Замечательным свойством Савицкого как искусствоведа была его способность находить, отличать, оценивать, а затем и настойчиво поддерживать действительно талантливых художников. Именно Савицкий первым заметил, а затем и стал оказывать реальную поддержку Жолдаску Куттымуратову, Дарибаю Туренизову — самобытнейшим каракалпакским скульпторам. Он же держал в поле своего внимания и лучших, наиболее одаренных каракалпакских живописцев и графиков.

Игорь Витальевич был человеком среднего роста и очень умеренного телосложения. Сколько вспомню его облик — все так же вижу уже немолодого человека, с пролысиной, высоким лбом интеллигента и мыслителя, серыми, то напрямую-серьезными, то страдающими, то с искоркой иронии, то по-молодому озорными глазами. Не помню, чтобы он когда-либо отпускал усы или бороду. Одевался Савицкий про-

сто, без претензий. У него был необыкновенно высокий по тембру и негромкий голос, почти женственный, по поводу которого ходили анекдоты. Однако в этом человеке, хрупком на вид, действовала гладиаторская натура, чувствовалась мощная воля.

На всю жизнь врезался в мою память один эпизод. Однажды я ехал в автобусе по Пушкинской улице в Ташкенте и заметил, как по тротуару параллельно движению автобуса шагал Игорь Витальевич. Он нес в обеих руках по связке тяжелых, больших по формату картин. Шагал он неторопливо, но твердо, взгляд его был сосредоточенным, чуть-чуть печальным. Ему, очевидно, не удалось найти автомашину для перевозки картин, и поэтому он нес их сам. Я смотрел на него с восхищением и думал: «Вот каков он, великий труженик, настоящий, неповторимый, самоотверженный собиратель сокровищ духа и немного «Рыцарь Печального Образа».

За свои заслуги Игорь Витальевич Савицкий был удостоен почетных званий «Заслуженный деятель искусств Каракалпакии», а также «Лауреат государственной премии ККАССР имени Бердах».

Анна Маруфова

## ПРИВРАТНИК ЧУДА

Почему я называю Его привратником? Древние греки говорили — чтобы что-то уяснить, надо пустить мысль, как стрекозу, на ниточке. Вот и я буду свободно говорить о том, что оживает в душе.

Нукус, июль 1979 года. Асфальт плавится под ногами, в жгучем воздухе раскаляется мозг, по бокам арыков засыхают мальвы — мне все равно. Вот тогда-то я нечаянно вступила под Его тент. Повеяло прохладой. Этот человек отбрасывал тень, словно дерево в пустыне. Он сам был похож на тень, затаившуюся в оазисе. Но мне не до него, я только попросила пить. Не помню, какую влагу бесшумно подал мне человек-тень.

Но при чем здесь тень, прохлада, оазис, когда надо писать о директоре музея Савицком?

Что ж, перейдем на другой стиль. В тот горячий полдень я искала Нукусский музей изобразительных искусств, который оказался закрытым на ремонт. Однако еще в аэропорту меня преследовала странная уверенность: здесь встречу что-то небывалое. Я обошла музей, нырнула в узкую калитку, вошла во дворик, где под тентом возился с грязными черепками седой, голый по пояс человек в домашних тапочках, светлых брюках. «Ну да, это сторож, ключник, — мелькнуло в моей голове. — С ним можно договориться, и он пустит меня в музей. Только надо ему понравиться, внушить доверие, а не пугать сразу незаконной просьбой. Надо соврать, что я искусствовед и мне позарез необходимо посмотреть экспозицию...»

Здесь, вероятно, нужно сказать, что Нукус мне

сразу понравился. Это город без шляпы, лысый, на семи ветрах. Здесь небо — купол, земля — чаша, а воздух тугой, как перед взрывом. И во дворике музея предчувствие близкого освобождающего взрыва настолько сильно охватило меня, что я, забыв про все свои хитрости, жалобно попросила: «Нельзя ли открыть музей для меня... одной... сейчас, немедленно... Я никому не скажу!» И, словно в сказке «Сезам откройся!», ключник молча растворил передо мной двери.

Дохнуло сыростью, запахло свежей известкой — этот запах я люблю с детства. Был еще запах дерева. После яркого солнца мне показалось, что мы погрузились в полную темноту. «Не бойтесь, я сейчас включу свет», — сказал ключник. Зажглась лампочка, и мы пошли.

Первый этаж. Собрание произведений народного творчества каракалпаков. Меня восхитил один «интеллигентский» халат, как я для себя обозначила эту вещь: белый, со скучным серо-фиолетовым узором. Никогда бы не поверила, что у кочевого народа столь изысканный вкус. Такой халат можно было бы надеть на европейский светский прием. Там же: впервые увиденные мною ковры с выпуклым рисунком. Далее — коллекция археологических находок. Ключник бесшумно следует за мной, включая и выключая свет, совершенно не мешая мне чувствовать себя наедине с созданиями прошлых веков.

Но вот мы поднимаемся на второй этаж, и я не верю своим глазам: Древний Египет, Древняя Греция, наконец, французская готика — в Нуку-

се! Я только вскрикнула: «Откуда все это?» «Это все Надя Леже, Надя Леже прислала, луврские копии, — хитро сказал ключник, — из Франции...»

Надя Леже — Франция — Нукус. Как странно. Прекрасным белым телам скульптур было все равно, что за окном нечеловеческая жара, пыль, засохшие мальвы...

Мы двинулись дальше. Там были полотна русских классиков начала века, картины каракалпакских художников. Было много вещей, которые украсили бы стены любого музея мира. Но особенно меня поразило название последней экспозиции: «Картины неизвестных художников». Кто догадался воздать сполна и поровну известным и неизвестным, всем, кто искал и находил красоту мира?

На мои вопросы ключник уклончиво отвечал: мол, все это собрали здешние сотрудники, а кто же еще? Но я ясно видела, что музей создан чьей-то светлой и твердой волей, что этот Главный человек музея обладает не только культурой, но и необычайно щедрым сердцем.

Та подборка картин мне почему-то до сих пор представляется в прохладных голубых тонах. «Голубой осел», — так представил мне ключник знаменитый этюд Тансыкбаева «Багряная осень», и я слотнула это голубое ядро. «Женщина в голубом» Глаголевой-Ульяновой: в синих глазах женщины отблестели слезы и гнев юности, и родилось предчувствие зрелости и покоя. Усто Мумин, Николаев... Мне и посейчас кажется, что в нукусском музее есть прохладная голубая стена, сквозь которую светит лик «Мальчика в меховой шапке» маленьким окошком во Вселенную. С тех пор я заглядываю в лица детей и взрослых, и если нахожу схожесть с тем мальчиком, этот человек кажется мне таинственно-совершенным. Такое лицо я видела у парня-татарина, а недавно — у восьмилетней девочки Полечки Хотиненко, полуукраинки-полуузбечки. Усто Мумин действительно сумел соединить в этом портрете Восток и Запад, азиатский лик воплотил в традициях русской иконописи, прибавив к тому личностное начало эпохи Возрождения. «Все уважающие себя художники страны приезжают в Нукус, только чтобы увидеть этого мальчика», — сказал мой спутник, и вдруг великая гордость блеснула в его глазах.

Мы вышли на воздух, и только тут я рассмотрела ключника. Очень худой, загорелый, на животе — яркий свежий рубец, вероятно — от недавней операции. Заметила, что человек этот очень устал. И не помнила, сколько отняла у него времени. Но я не насытилась музеем, и он, видимо, это почувствовал и сказал, что завтра я могу прийти еще раз, и он снова откроет мне двери. «В какое время?» — «В любое. Я здесь всегда...»

Я поспешила в гостиницу, рассказала о музее приехавшим со мной товарищам и уговорила их пойти завтра со мной.

Утро. Наша разношерстная ватага подходит к музею. Останавливаемся. Во дворе у ключника под тентом сидит «постороннее лицо» — пожилой солидный мужчина. Хотим повернуть назад, но ключник делает приглашающий жест. Извиняюсь, что привела так много людей. «Это даже к лучшему, — говорит он. — Ко мне приехал гость-художник, и я не только покажу музей, но и расскажу. Хотя очень устаю, когда говорю, сейчас мне это трудно...»

И он снова открывает дверь во владения красоты. Начинает рассказывать. Я удивляюсь: откуда такие познания. Тишком осведомляюсь

у гостя-художника — как зовут этого сторожа, столь влюбленного в искусство? Тот смотрит на меня, как на сумасшедшую: «Какого сторожа? Это же директор музея, знаменитый Игорь Витальевич Савицкий!» — «А чем он знаменит?» — «Здесь все собрано его руками, он основатель музея. К тому же, и сам он художник».

Тут я поняла, что не увидела главное чудо музея, хотя оно все время было рядом. Вспомнила поданный мне стакан воды, руки, перебирающие древние черепки, — как, как я могла не догадаться сразу?

Савицкий рассказывал о том, с каким трудом доставалась музею каждая картина, какими дальними были поездки, как мучительно порой шли переговоры с владельцами произведений искусства. Осторожно, намеками говорил о «крестном пути» к открытию музея, непониманию местных властей, недостатке средств... Позже я узнала, что музей начался с личной коллекции Игоря Витальевича и что почти весь свой заработок он тоже вкладывал в музей, оставляя себе лишь на самую скромную жизнь.

Остановившись перед картиной Никитина «Алишер Навои», он поведал целую историю: картину нашли на чердаке, и сколько усилий потребовалось, чтобы снять несколько верхних слоев красок, поскольку превосходная вещь была использована кем-то как холст для собственной живописи, как постепенно проявлялся лик великого поэта Востока... Мы узнали: когда Савицкий приобрел этюд «Багряная осень», Тансыкбаев был еще никому не известным художником. «Кстати, — произнес Савицкий, — Тансыкбаев умер у нас в Нукусе, в гостинице. Странно...» Еще Игорь Витальевич очень гордился местной скульптурой. До появления Савицкого скульпторов в Каракалпакии просто не было. Как своим личным творческим открытием, он был горд появлением первого каракалпакского профессионального скульптора Жолдасбека Кутымурадова. Этому застенчивому, но очень талантливому парню Савицкий в свое время помог — и морально, вселив в него уверенность в собственных силах, и материально, закупая его работы для музея. Тут я поняла, что созданный Игорем Витальевичем музей — это колыбель будущих талантов Каракалпакии, это, если хотите, — их духовная академия.

Проходя узким коридорчиком второго этажа, я заметила два небольших пейзажа. Савицкий быстро провел экскурсантов дальше, но художник-гость остановился возле этих полотен. И только поэтому я тоже заинтересовалась пейзажами, выставленными словно между делом. Это оказались картины самого Савицкого. Его «Вечер» покорила меня. Стоявший подле художник объяснял мне, что Савицкий замечательный колорист, краски, как у Гогена, что перспектива построена по принципу знаменитой «воронки» Сезанна... Меня поразило другое: дети на картине кого-то напряженно ждут! Они стоят под распахнутыми воротами Востока — двое мальчиков и девочка в огненно-красном; арка ворот сложилась из двух встретившихся нечаянно деревьев. Дети ждут: кто опять придет к ним, полюбит и примет их, и войдет с ними под их арку. Да, ворота Востока! Какая там «воронка» перспективы...

Восток, по Максимилиану Волошину, есть пуловина Европы. И этот негромкий пейзаж Савицкого словно утверждает: все мы, словно части единого организма, нуждаемся друг в друге, Восток — в Западе, Запад — в Востоке. И этот зов вечен и неутолим. Кому, как не Игорю

Витальевичу, родившемуся в Киеве, но посвятившему всю жизнь земле Каракалпакии, знать эту тайну тайн мира. Эта картина мне кажется его завещанием.

Экскурсия длилась более четырех часов. Не все мои приятели, среди которых были и считавшие себя «творческой элитой», выдержали столь долгое общение с искусством. Савицкий делал вид, что не замечает уходящих. Но ему самому приходилось нелегко. Лоб взмок от пота, голос становился все тише, и тише, временами он приклонялся к стене и переводил дыхание. Наконец экскурсия закончилась...

На другой день я набралась смелости или наглости и вновь явилась к нему под тент. Теперь мне хотелось просто поговорить с этим человеком, сотворившим чудо в пустыне. На сей раз он склеивал уже виденные мною черепки, и под его руками воскресал древний сосуд. И мне показалось, что он обрадовался моему приходу, моей назойливости.

Я привыкла встречать презрение к юности. Да, юность всегда неприкаянна, но кому дано право смотреть на нее свысока? А тут... глубокое уважение ко всем, порой наивным, моим вопросам, разговор на равных. Беседы наши продолжались два дня, и все это время он не переставал склеивать черепки, ни разу не присел, работал стоя. Первый требовательный мой вопрос был как раз о чаше, которая оживала у него в руках. И Игорь Витальевич долго рассказывал о бесконечных археологических экспедициях, плодом которых стала вся «древность», собранная в музее. Экспедиции работают каждый год, но сейчас он подзадержался из-за перенесенной только что операции (вот откуда рубец на животе!), однако не далее как послезавтра он уезжает в Турткуль на очередные раскопки. «Ура! — мысленно возликовала я. — Можно еще сегодня и завтра поговорить с ним...» След этих бесед остался в моем дневнике, и здесь я просто приведу кое-что из того, что говорил Игорь Витальевич об искусстве и о жизни.

«Как я оказался в Каракалпакии? Все началось именно с этих черепков. Все очень просто. Я с детства особенно любил черепки, и вот во

что это вылилось. (Савицкий смеется). Это мой отдых...»

«Музей был случайностью, вдруг ставшей смыслом жизни. Надо было им, музеем, заниматься. Потом надо было выбирать: быть художником или директором?..»

«Уважаю в искусстве форму. Без нее ничего настоящего не бывает. С передвижников началось пренебрежение к форме. У нас, к несчастью, в творческих вузах форме не учат. Эмоция? В живописи чувство — это цвет, и я отдаю ему первенство...»

«Особенности Каракалпакии? Воздух, свет, цвет. Вы восхваляете закаты и рассветы Венеции? Тамашные переливы красок неба? Подите посмотрите на здешнее небо. Вот вам Венеция! Кстати, закат сейчас длится до девяти часов вечера...»

«Несчастье от окружающей среды? Человек сам себе формирует среду, подыскивает нужное общество. Вас три человека — вот вы уже и среда. А тут появляются дети, внуки, друзья друзей, вот вас уже и много. Не надо быть рабом среды...»

«Что дается легко? Вот — московский альбом о нашем музее. От создания музея до выхода книги одиннадцать лет. Вы бы знали, каких трудов стоило «пробить» этот альбом, это казалось невозможным...»

«Есть какая-то червоточина в системе, порождающей сталиных и мао (напомню дату беседы, 1979 год — А. М.)...»

Им было сказано еще многое. К несчастью, я записала только это.

Он пригласил меня поехать с ним на раскопки. Мое командировочное начальство меня не отпустило.

Он уехал, но оставил мне небо Нукуса. Все оставшиеся дни гостеванья в его городе ровно до девяти вечера я вглядывалась в удивительную смену красок над речкой Кызкетты с шоколадной водой и кустом тамариска над ней...

Через несколько лет я узнала, что Игоря Витальевича нет в живых. Но мне кажется, что он и сейчас, словно тень, бродит в песках Турткуля, раскапывая свои вечные клады...

Когда-нибудь я повезу в Нукус мою дочь...



Раиса Иванченко

## ЭТО ЗАГАДОЧНОЕ БИОПОЛЕ...

Немало пишут сейчас об экстрасенсах — или биолокаторах — и их чудесах; об очередях сотен и тысяч людей, идущих отовсюду к тем чудотворцам, что ставят диагнозы и вылечивают человека прикосновением ладони и взглядом. Прогремело известие о знаменитом ветеране войны Петре Деметьевиче Утвенко, живущем вдалеке от разбитых дорог Житомирщины, но к которому идут люди со всех концов страны.

Быть может, в каждом районе есть такой свой исцелитель, который действительно знает какие-то тайны и с их помощью лечит больных. Не так давно отошли в небытие времена, когда органы здравоохранения запрещали этим людям принимать больных, давать травы, даже упоминать об исцелении без медикаментов. Однако тропки к чудотворцам становились все более широкими. Впоследствии нашлось для них и нужное слово — экстрасенсы, и уже осторожно упоминается вроде бы полуузаконенная наука...

Ученые разных профессий стихийно стали изучать эту тайну человека. Физики, химики, биологи, геологи...

Много лет проводит систематическое изучение биоэнергетической системы человека кандидат геолого-минералогических наук Зоя Митрофановна Гречишниковна. Не правда ли, удивительно: геолог изучает биоэнергетику человека! Однако это диво становится понятным, если вспомнить, что Зоя Митрофановна всю свою жизнь ищет как геолог полезные ископаемые земли, умеет не только видеть, но и слышать землю. К примеру, слушать неощутимую для обыкновенного человека пульсацию токов земли. С помощью небольшой антенны, или лозы, как говорят специалисты, с помощью собственной биоэнергии, которой у нее значительно больше, нежели у многих из нас. Об этом способе поисков полезных ископаемых давно известно — одни верят ему, иные — нет, кое-кто высмеивает, а то и запрещает, если сидит на таких постах, когда можно разрешать или запрещать.

Не будем этому удивляться: в нашей истории всегда существовала традиция запрещать все, что на первый взгляд непонятно или недоступно для понимания вследствие собственной интеллектуальной недоразвитости. Да еще приклеить ярлычки какого-нибудь «изма». Вспомните, как шельмовали когда-то кибернетику.

Не могу удержаться, чтобы не процитировать несколько строк из «Краткого философского словаря», выпущенного Государственным издательством политической литературы в Москве в 1954 году: там написано, что кибернетика — «реакционная лженаука, возникшая в США после второй мировой войны... кибернетика направлена против материалистической диалектики, современной научной физиологии, обоснованной И. П. Павловым, и марксистского научного понимания законов общественной жизни... Кибернетика ярко выражает одну из основных черт буржуазного мировоззрения — его бесчеловечность, стремление превратить трудящихся в придаток машины, в орудие производства и орудие войны» и т. д. (стр. 236—237).

Нечто подобное пережили и наши кудесники — экстрасенсы, или биолокаторы. Естественно, что такое экстрасенс, в подобных словарях определений нет. А если бы и были, то эпитеты к ним нашлись бы еще пышнее, нежели те, которые ученые мужи давали в свое время кибернетике. Вот, например, доктор медицинских наук А. Сердюк в статье «Чудоискательство» (журнал «Знания та праця», 1988, № 2) вместо ответа по существу на запрос читателя о биоэнергетике человека, которой пользуются экстрасенсы, вполне категорично разъясняет, что сила всемирно известного пророка Мун Сон Мена... в тесных связях с ЦРУ и в авантюристах, которые его окружают... Автор решительно предостерегает молодежь от увлечений оккультизмом, а суть дела так и осталась неразъясненной: может ли человек обладать этой таинственной силой, влияющей на психику и физическое состояние людей, или нет? Может человек, владеющий сильным биоэнергетическим полем, исцелять больных? Или, наоборот, замораживает головы?

Уже много лет Зоя Митрофановна изучает не только недра земли при помощи своей антенны — лозы, но и биофизический эффект человека. Вот отрывок из одной ее статьи: «Биополе чело-

века — сложная энергетическая система. Оно состоит из внутреннего и внешнего полей (энергетических «коконов»). Внутреннее поле, так называемая аура, размещено непосредственно вокруг человека. Внешнее энергетическое поле, названное нами приемно-информационным, образует многослойную оболочку, состоящую из шаров, чередующихся между собой, с положительными и отрицательными знаками. Диаметр каждого шара от двух до пяти метров. Общая ширина внешнего поля у каждого человека индивидуальна — у большинства людей она колеблется между семью и двадцатью метрами, у биолокаторов ширина внешнего поля достигает десятков и даже сотен метров...» Тут же Зоя Митрофановна сделала еще один важный вывод: у 95—98 процентов людей внутреннее биополе имеет положительный заряд: он доходит до паховой линии, ниже — заряд поля отрицательный. Таким образом, человек, с точки зрения биофизической, обладает дипольным (двуполюсным) зарядом.

Еще одно наблюдение Зои Митрофановны: биополе человека обладает стойкой ритмичностью — в определенный, точно обозначенный период энергетический потенциал человека уменьшается и даже иногда исчезает, затем — возрождается. Продолжительность такого энергетического «упадка» у некоторых людей составляет четыре — шесть дней в месяц. В течение недели также наблюдаются определенные ритмы в уровне потенциала биоэнергетики: через каждые 12 часов наступает пауза от 45 минут до двух часов. На протяжении часа также обязательно возникают паузы на одну — две минуты.

Исследовательница выяснила, у каких людей большая энергопауза приходится на начало месяца, а у каких — на конец. В связи с наличием таких энергопауз Зоя Митрофановна пришла к выводу, что люди с одинаковыми дневными энергопаузами обладают и похожими психофизическими свойствами. Кроме того, существует и такая закономерность: у большинства людей дневная энергопауза приходится на период от 12 до 14 или от 15 до 17 часов.<sup>1</sup>

Что в этом главное? А то, что двоупольность и энергетичность естественного поля человека являются основными показателями состояния и его здоровья, и окружающей среды.

Зоя Митрофановна проверила несколько человек, которые во время чернобыльской катастрофы жили в зоне или в приближенных к зоне районах, где наблюдалось довольно заметное изменение радиационного фона. Оказалось, что биоэнергетика человека под влиянием активного радиационного фона разрушается.

Зоя Митрофановна рассказывает:

— Открытие дипольности в структуре биополя человека, как мне удалось установить, является чрезвычайно важным социально-экологическим фактором. Например, если супружеская пара имеет разные заряды биополей, это приводит к тяжелым хроническим заболеваниям кого-либо из них, даже к ранней смерти. Как правило, в таких случаях растут неполноценные дети, особенно начиная со второго ребенка: чаще всего это умственная недоразвитость, эпилепсия, глухонмота...

— В чем здесь причина, Зоя Митрофановна, если исходить из состояния биополя человека?

— Причина в том, что при постоянном контактировании этих людей происходит перезарядка биополя одного из них. Даже краткое рукопожатие иногда может привести к такому перезарядению. Это, естественно, нарушает нормальное состояние здорового человека и правильное функционирование органов человеческого тела. Вы, быть может, наблюдали, как иногда в большой комнате работает много людей. И, как правило, в таком коллективе всегда возникает психологический дискомфорт, часто вспыхивают конфликты или просто наблюдается какая-то раздражительность относительно того или иного человека. Причина — в несовместимости биополей.

— Что же делать? Как избежать подобных ситуаций?

— Необходимо уметь подбирать людей, которые должны длительное время работать вместе. Это очень важно, например, при формировании космических экипажей, экспедиций и т. п. Если в таком коллективе появился хоть один человек с противоположным зарядом диполя, непременно возникает психологический дискомфорт.

— А заболевания?

— Обязательно и заболевания. Между прочим, совместимость полей, точнее биополей, нужна и при подборе руководителей различного ранга.

— Выходит, что наше двуполюсное биополе слишком чувствительно?

— Чрезвычайно. Из-за неблагоприятных социальных и экологических факторов, конфликтов, ссор, стрессов происходит перезарядка биополя человека. Тогда человек психологически и физически оказывается в чрезвычайно тяжелом состоянии. Но бывает и так: биоэнергетическое поле человека может исчезнуть совсем, например, при стрессах, при тяжелом падении, при гипертонических кризах. С исчезновением биополя человек утрачивает возможность нормально функционировать. Если такая неестественная пауза продолжается несколько дней, то есть длительное время энергетический заряд человека не обновляется, то наступает смерть. Я проанализировала (по датам рождения и смерти) 230 особ, упоминающихся в Большой Советской Энциклопедии. В большинстве случаев уход человека из жизни связан с многодневными энергопаузами, которые наступают, как я уже говорила ранее, закономерно. Очевидно, организм в это время очень ослаблен и не в состоянии бороться с болезнями. Следовательно, выходит, многодневное отсутствие у человека биополя — ситуация весьма неблагоприятная. Я неоднократно обследовала людей в период многодневной паузы, и всегда в этот момент повышалось или понижалось сверх нормы давление, человек заболел простудой или еще какой-нибудь болезнью, и вообще в это время у него наблюдался пониженный тонус.

— А ведь это отражается на исполнении профессиональных обязанностей?

— Естественно! Скажем, хирург в такое время не должен производить сложной, да и любой операции. Спортсмену не стоит идти на побитие рекорда, летчику — вести самолет в сложный полет...

— А как быть автомобилистам? Ну, скажем, в гололед?

<sup>1</sup> Не все исследователи согласны с этими выводами. Некоторые экстрасенсы могут использовать свой дар без всяких пауз. (Примечание редакции.)



— Ни в коем случае не двигайтесь в путь. Лучше заняться какой-нибудь иной работой.  
— Несколько раз я попадала в автоаварии, правда, небольшие. Может быть, были неблагоприятные дни? Это высчитать можно?

— Очень просто. Надо знать, что у родившихся зимой или вообще во второй половине года, биоэнергетические паузы наступают в конце каждого месяца, а у людей, родившихся в первом полугодии, такие паузы заметны в начале каждого месяца. В чем тут секрет? По моим наблюдениям выходит, что периоды энергопауз вызывают исчезновение у человека биофизического эффекта — роль его биолокаторов доходит до нуля. От человека как бы отпадает его внешнее приемно-информационное поле. И тот самый многошаровый биоэнергетический каркас вокруг человека «утопняется», человек становится меньше защищенным от влияния извне — от сильнейшего отрицательного биополя, инфекций и так далее.

— Когда-то, кажется еще в 70-х годах, журнал «Наука и жизнь» рассказал об одной японской автобусной фирме. Ее сотрудники осуществляли постоянный компьютерный обсчет биоритмов человека — определяли его физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояния. И если эти уровни падали до нуля, такого водителя не выпускали в рейс. Это то же самое? Тоже связано с биополем человека?

— Нет, это нечто иное.

— Тогда сколько же тайн хранит человек?

— Мы только приступили к их раскрытию. И это очень важно. Человек должен знать себя, что бы владеть собою и максимально использовать свои способности.

— Как же можно сделать это сейчас практически, Зоя Митрофановна?

— Уже многое можно сделать теперь. Например, при лечебных заведениях открыть специализированные консультативные пункты — особенно для молодежи это важно! — для создания будущих здоровых семей. Всем известно, какое горе для близких, когда рождаются и воспитываются в семье неполноценные дети. Внешне родители будто здоровы, красивы — а дети больные. И никто не понимает причин этого. А причина, оказывается, в том, что существует несовместимость дипольных зарядов у родителей!

— А можно ли этих неполноценных детей лечить при помощи биополя?

Зоя Митрофановна задумалась. Я понимаю ее. Кто же изучал этот вопрос — как взаимодействуют между собой противоположно заряженные биокаркасы? Что разрушают они в человеке и как?

— Понимаете, лечить можно (и это делают наши биолокаторы) людей, страдающих болезнью из-за наследственно деформированного биополя, которое когда-то было полноценным. Но когда ребенок болен уже от рождения, то его биополе, вероятно, от рождения и деформировано. Этим, очевидно, следует кому-нибудь заняться. Я этого не изучала.

— А кто-нибудь занимается этим вопросом?

— Не знаю.

— Неужели у нас нет единого центра по изучению подобных явлений?

— У нас подобная наука не удаляется внимания официальной медицины. Мы находимся все будто вне закона. Вообразите себе, что мои наблюдения над биополем или биокаркасом человека привели меня к такому выводу: если человек умирает, после смерти его собственное биополе не исчезает, не растворяется в безвестности. Это наблюдение я сделала сначала над своими близкими покойниками — у меня несколько лет назад умерли мать и сестра, — а потом я стала проверять это в других семьях. Выясняется, что на протяжении первых девяти дней над постелью умершего человека, над его фотографиями постоянно присутствует его собственное биополе. Это проявляется очень просто — моя антенна делает столько оборотов, показывает столько градусов, сколько показывала бы на человеке, будь он жив. Вот глядите — в моих руках антенна делает три оборота — это мое биополе, то есть 1080 градусов. Такое количество оборотов эта лоза делает и над моей фотографией. То же самое происходит и относительно любого человека. Когда же человек умирает, то его фотография словно задерживает биополе — моя лоза делает то же количество оборотов, что и над живым человеком. Но на девятый день, ровно в то же время, когда человек умер, биополе исчезает и с фотографии, и с кровати, на которой он скончался. На сороковой день биополе умершего человека опять появляется над его фотографиями и над его постелью. Снова-таки, в то же самое время, в те самые часы и минуты, когда он умер. Появляется лишь на неделю. Я прослеживала за этим феноменом и позже — выяснилось, что на протяжении года этот биокаркас периодически появляется в доме, но я не смогла тут установить какой-нибудь периодичности.

Знаете, когда я эти явления начала фиксировать, сама себе боялась верить. Начала для контроля запрашивать своих коллег, биолокаторов. Мы все это оформляли протоколами, подписями свидетелей. Вообразите, что скажет наше медицинское начальство, если я о таких вещах говорю как ученый. В лучшем случае меня засмеют.

— Конечно. Скажут, что вы доказываете бессмертие души. Как это много веков проповедует церковь...

— Да, бессмертие. Но иными словами, это бессмертие материи. Это доказательство целостности нашего материального мира. И мне тут кажется, что когда-то эти знания были известны. Ведь и поныне наши люди придерживаются древних обычаев устраивать поминки умерших на девятом дне, на сороковом дне, в годовщину смерти. Но случилось так, что знания об этом были утрачены. Остались только некоторые обычаи. Да это уже отдельная тема. Теперь же мы стоим на пороге открытия новой науки. Возможно, не столь новой, как давно забытой, отзвук которой отразился в древних обычаях и обрядах, взятых на вооружение религией. Думаю теперь, что биоэнергетика человека может стать — и должна стать! — объектом изучения не только у медиков, но и у физиков.

В руках Зои Митрофановны — обычная рамка, или антенка. Мне очень хочется взять в руки этот нехитрый инструмент, и исследовательница охотно передает мне его. Но в моих руках он совсем мертв.

— А почему у меня ваша антенна и не шевельнулась?

— Вероятно, у вас слабая биоэнергетика. Пользоваться рамкой могут люди, наделенные достаточно большой силой этой энергии.

— То есть экстрасенсы?

— Я люблю слово биолокаторы.

— Но позвольте, Зоя Митрофановна, вы же геолог! А ваши открытия — из области медицины, как я понимаю. Или, быть может, физики? А там, где вы работаете, помогают эти исследования?

Зоя Митрофановна опускает глаза. Голос у нее такой же ровный и приветливый, как и прежде. Но я чувствую, как подыскивает она слова, чтобы выразиться деликатно, мягко. Но не находит таких слов. Исследовательница кладет на стол несколько бумажек. Читаю — одни из них — указания, запрещающие З. М. Гречишниковой заниматься «лозоискательством» в области разведки полезных ископаемых (каждое полезное ископаемое дает свои токи, дышит по-своему, умей лишь опознать его!). Есть и другие указания и даже советы относительно успешного проведения геологических разведок. Вот некоторые выдержки из этих эпохальных (думаю, что скоро они-таки будут отнесены к той эпохе, когда нечто подобное писали о кибернетике) указаний:

«Лозоискательство» и тем более т. н. «резонаторная» его модификация не имеют под собой какой-либо научной основы, приемлемого или хотя бы основательного эмпирического обоснования... категорически возражаю... вообще против занятий сотрудниками №-го отряда «лозоискательством» в рабочее время и с использованием служебного автотранспорта...» Еще в одном интересном письме высокой ведомственной инстанции на имя З. М. Гречишниковой пишется: «Дальнейшие научно-исследовательские работы по «лозоискательству» рекомендовано прекратить». И далее автор советует «сохранять критический образ мышления и не терять... чувство юмора...»

А вот выдержка из протокола № 109 заседания научно-технического совета одной геологоразведочной экспедиции, которая работала по методу З. М. Гречишниковой: «По объему, добротности, многократности самопроверок, проверок, количеству материалов, глубине и всесторонности проработки, творческому подходу и т. д. работа заслуживает отличной оценки».

Читая уникальные указания и письма, думаю, что когда-нибудь у нас будет создан музей, в котором соберут подобные чиновничьи-бюрократические советы и указания. И тогда кто-нибудь возьмется подсчитать, сколько потеряли мы и продолжаем терять открытий, талантов, а в результате — мирового престижа в науке, не говоря уже о непреходящих материальных ценностях?! А сколько поломанных жизней, уничтоженных светлых умов! Да, нет пророков в своем отечестве.

Говорю об этом Зое Митрофановне. Она не желает делать столь широкие обобщения — не желает скориться со своим начальством, ей необходимо работать, исследовать; а с работы снимут — или, скажем, деликатно отправят на пенсию — будет потеряна и такая возможность.

— В конце концов, мне никто не запрещает этим заниматься... в свободное от работы время, — искренне уверяет она.

— Но вам, Зоя Митрофановна, следует расстаться с геологией и найти местечко поближе к биологии или медицине.

— Знаете, у меня имеется немало предложений относительно работы в кооперативе, где можно было бы заняться творчеством. Скажем, животноводам известно, что на некоторых фермах в колхозах или совхозах скотина плохо набирает вес, а то и через два-три года начинается падеж молодняка или взрослых животных. Это означает, что ферма находится в плохом месте — то есть в неблагоприятной биопатогенной зоне. Ибо расположенные здесь определенные слои земли не содействуют развитию живого организма. Кстати, это касается и жилых зданий, да и других строений. Помните, когда-то наши предки умели выбирать место для строительства — выясняется, что это тоже имеет научную основу. Но я пока отказываюсь этим заниматься.

— Почему?

— Я люблю свою геологию. Она дает мне огромный простор для исследований взаимодействия человека, природы, земли, а также окружающей среды. Земля — человек — космос — вот магистральная тема, которая встает как главный объект научных исследований, причем, чрезвычайно важных для будущности человека и человечества. Вот, к примеру, недавно я приехала из Друскининкая. Там прекрасные минеральные воды. Поскольку я все вокруг измеряю, случайно исследовала и воду, которую мы пили. Раз, другой, третий... И что же выяснилось? Выяснилось, что вода — вообще вся вода — пульсирует, дышит, то есть имеет и меняет заряды. В определенные часы она имеет положительный заряд, в определенные — отрицательный. И вот положительно заряженная вода чрезвычайно хорошо воздействует на человеческий организм, способствует быстрому исцелению. Та же вода с отрицательным зарядом — наоборот, уменьшает биополе человека, негативно влияет на лечение недуга и даже способствует развитию онкологического заболевания... Естественно, я сделала сообщение об этом на научной конференции. Интерес ученых чрезвычайный. Меня пригласили в Москву. Туда должны приехать ученые из Соединенных Штатов, мне предлагают сделать им научное сообщение на эту тему.

— Зоя Митрофановна, но ведь это открытие! Его надо немедленно зарегистрировать в надлежащем порядке, иначе может возникнуть ситуация, которая не раз повторялась у нас, — когда наши же открытия возвращались к нам из-за рубежа.

— Тут не такая простая ситуация. У нас нет организации, фиксирующей подобные открытия. С этим надо обращаться к другим странам — кажется, в ФРГ, или еще куда...

Может быть, необходимо для таких исследований создать специальную лабораторию? Чтобы дать ей учеников, ибо это лишь начало! Или, может быть, как и раньше, будем ждать, пока кто-нибудь выудит и эти чрезвычайно важные открытия на нашей Родине, а потом нам же передаст лицензии на них за огромные трудовые деньги, дабы мы пользовались новыми достижениями науки во благо нашего человека?!

Когда же станут признавать пророков в родном отечестве?

Перевод с украинского Льва Белова.



Нагиб Махфуз

## НЕРАСКРЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

РАССКАЗ

В комнате не было ничего необычного. Никакой зацепки, с которой можно было бы раскручивать следствие. Квартира состояла из двух комнат и прихожей и была обставлена стандартной мебелью. Особенно удивляло то, что в спальне был порядок, хотя ужасное преступление было совершено именно в ней. Хозяин лежал в постели и спал вечным сном. Он был задушен. Ни в постели, ни в комнате не было никаких следов сопротивления. Все вокруг выглядело так, будто ничего и не произошло. Офицер следственного отдела был несколько растерян, его опытный взгляд в который раз осматривал все вокруг, но безрезультатно. Все окна прочно закрыты — следовательно, убийца вошел и вышел через дверь. И еще вопрос, на который он тщетно искал ответ: каким образом убийца мог затянуть веревку на шее жертвы, не встретив сопротивления? Он мог сделать это только когда жертва спала. Эта версия приемлема. Какие нервы должны быть у преступника! Действовать хладнокровно, не торопясь, совершенно спокойно, как призрак. Офицер мысленно составил план расследования убийства: допрос привратника, старухи служанки, соседей, родственников.

Внешне он был спокоен, но мысли вновь и вновь возвращались к странному преступнику, который сумел незаметно проникнуть в квартиру и, совершив преступление, исчезнуть, как дух, как дуновение ветра или солнечный луч. Офицер осмотрел одежду, шкаф, письменный стол, где обнаружил кошелек с десятью фунтами, часы и золотое кольцо. Следовательно, причиной преступления было не ограбление. А что же тогда?

Он подозвал привратника, чтобы задать ему несколько вопросов. Это был пожилой нубиец, работающий в маленьком доме на улице ал-Барад уже многие годы. Его показания были подробны, но мало что прояснили. Он рассказал об убитом. Это был учитель на пенсии. Имя его Хасан Вахби, ему было семьдесят, после смерти жены жил один. Замужняя дочь живет в Асьюте, а сын работает врачом в Порт-Саиде. Родом он из Дамьетты. Уже много лет его обслуживает Умм Амина, она приходит к нему с десяти утра, а уходит в пять вечера.

— А ты не оказывал ему какие-нибудь услуги?

Старик ответил не раздумывая и твердо:

— Нет.

— Расскажи о вчерашнем дне.

— Я видел его, когда он, как всегда, вышел из дома в восемь утра.

— А ты никогда не помогал ему в уборке квартиры?

Мужчина нервно покачал головой:

— Я же сказал: никогда в жизни. Умм Амина приходит в десять утра, готовит пищу, убирает квартиру, стирает белье.

— Она оставляет окна его квартиры открытыми?

— Не знаю.

— Можно проникнуть в квартиру через окно?

— Вы же видите, что квартира на третьем этаже, дом окружен другими зданиями с трех сторон, а четвертой стороной выходит на улицу ал-Барад.

— Продолжай.

— Он ушел из дома в восемь, а вернулся в девять. Так он делает ежедневно уже больше десяти лет подряд и, как правило, больше нигде не выходит до следующего утра.

— Его навещает кто-нибудь?

— Я не видел никого, кто бы приходил к нему, кроме сына и дочери.

— Когда они были здесь в последний раз?

— В большой праздник...

— А как с газетами? С молоком?

— Газеты он приносит после утренней прогулки, а молоко берет ему Умм Амина по вечерам.

— И вчера тоже брала?

— Да. Я видел мальчика, который поднимался в квартиру, а затем вышел.

— Когда Умм Амина ушла вчера?

— Перед заходом солнца.

— А когда пришла сегодня?

— Около десяти. Она позвонила, но ей не открыли. Я сидел на своем месте у двери, когда прошла Умм Амина, затем, через четверть часа, она вернулась и сказала мне, что хозяин не отвечает. Я поднялся с ней, звонил, стучал в дверь... и тогда мы пошли в отделение.

Офицер понимал, что ни привратник, ни Умм Амина не могут задушить даже курицу, но если они действительно ни при чем, то каким образом был убит устоз Хасан Вахби, если никто не подходил больше к дому. Может быть, все же кража? А кошелек был оставлен нетронутым, чтобы следствие сбить с толку? А то, что ключ от квартиры находился в ящике письменного стола, — это что, еще одна уловка? Нет, что-то здесь не так...

Умм Амина сказала, что она служит в доме учителя уже четверть века — пятнадцать лет, когда еще был жив ее муж, и десять лет после его смерти.

— Вчера он нормально себя чувствовал, читал газеты, потом читал вслух Коран, а когда я уходила, он слушал радио.

— Что ты знаешь о его семье?

— Он родом из Дамьетты, но связь с родными не поддерживает, его посещали только сын и дочь во время отпуска.

— У него были враги?

— Никогда!

— Кто-нибудь еще заходил к нему домой?

— Никогда. Он по характеру был человек малообщительный. Лишь изредка проводил он время по пятницам в кафе с некоторыми своими бывшими коллегами или учениками.

Офицер завершил все необходимые формальности, записал, где живет привратник, адреса Умм Амины и шести ее дочерей, беседовал с немногочисленными друзьями покойного, но никто из них не указал на что-либостораживающее, и трагическая смерть человека осталась для него загадкой. Он поместил сообщение в газете, его уже знала вся улица ал-Барад и квартал Аббасийа, многие ему сочувствовали. Сын убитого утверждал, что у его отца не было ценных вещей и на его счету в банке не более ста фунтов, которые он берег на экстренный случай, утверждал также, что у отца никогда не было врагов, что наверняка убийство произошло в результате того, что преступники рассчитывали найти в его доме воображаемое богатство. Офицер следственного отдела чувствовал, что расследование зашло в тупик, он был в растерянности, чего никогда не случилось с ним раньше. У него был большой опыт в борьбе с преступностью. И вот совершено преступление, и он сделал все, что мог: разослал своих агентов в места сбора подозрительных личностей во все районы, но они возвратились ни с чем. Врач-эксперт дал заключение, что устоз Хасан Вахби скончался вследствие удушения, но это было и так ясно. Офицер Мухсин Абд ал-Бари обследовал все вещи в надежде натолкнуться на отпечатки пальцев, но надежды его и тут не оправдались. Итак, перед ним была стена неизвестности. От сознания полного своего поражения он чувствовал, что жизнь становится невыносимой. Жена, видя его муки, сказала мягко:

— Нельзя же отравлять себе жизнь из-за этого!

Он промолчал и углубился в чтение. Он любил читать суфийскую поэзию, стихи Саади, Ибн ал-Фарида, Ибн ал-Араби. Это было необычное увлечение для офицера следственного отдела, и поэтому он скрывал его даже от своих друзей.

Происшедшее событие продолжало оживленно обсуждаться в районе ал-Аббасийа из-за его таинственности: ведь жертвой преступления оказался учитель многих, проживающих в этом районе.

Но через неделю-другую страсти поутихли, растворились в море повседневных забот. Даже Абд ал-Бари уже смирился, проглотив пилюлю горького поражения. Но вот через месяц его вызвали в старинный особняк на одной из улиц в том же районе ал-Аббасийа. Он не верил своим глазам! Убит был старый армейский генерал. Он жил со своей семьей — шестидесятилетняя жена, сестра-вдова такого же возраста и двадцатилетний младший сын, студент университета. Вместе с ними жили привратник, садовник, водитель машины, повар и две служанки.

Утром жена, как обычно, вошла к нему в комнату и увидела страшную картину — муж был задушен. Что касается комнаты, то она была в полном порядке, так же как и постель. Ночью никто из родных, спавших на этом же этаже, не слышал никаких звуков. В общем, офицеру вторично была задана загадка.

— Была ли кража?

— Нет.

— У него есть враги?

— Нет.

— А слуги, хорошо ли он относился к ним?

— Они любили его.

— Жаловался ли он на кого-нибудь?

— Никогда.

Офицер выполнил необходимые формальности без особой надежды, внимательно осмотрел особняк, допросил родных и слуг, и у него снова возникло чувство страха перед неизвестностью. Он почувствовал, что загадка души его своей непонятностью, и если он еще раз потерпит поражение, то будет не нужен ни себе, ни людям.

Учитывая значительность личности убитого, руководство отдела розыска направило ему на помощь еще несколько опытных работников. Прибыв на место преступления, один из них удивленно сказал:

— Это убийство как будто совершено без преступника, ведь нет абсолютно никаких следов.

— Но преступник существует, и, возможно, он ближе к нам, чем может показаться на первый взгляд.

— Как он это делает?

— Он обвязывает шею тонкой веревкой и затягивает ее, пока жертва не испустит дух. Но как он проникает к жертве и как уходит, не оставляя следов?

— Каковы мотивы убийства?

— Мотивы убийства так же многочисленны, как и мотивы жизни!

— Разве можно убивать без причины?

— Если убийца сумасшедший, то отчего же — нет?

— Какая может быть связь между учителем и генералом?

— Теперь — только та, что оба они мертвы.

Сообщение об убийстве было опубликовано на первых страницах газет под сенсационным заголовком и взбудоражило жителей города. Генерал был заметной фигурой в обществе, он неоднократно выдвигал свою кандидатуру и однажды был избран в Совет старейшин. Мухсин Абд-ал-Бари мобилизовал всех агентов на поиски, сам активно включился в работу со страстным желанием победить. Он возвратился домой только следующей ночью, совершенно опустошенный. Он решил скрыть свое состояние от жены, чтобы не расстраивать ее, ибо она была беременна. Самое страшное — ведь теперь его могут перевести на другую работу, опозоренного поражением, а на его место назначить другого, подобно тому, как он занимал места других, когда работал в провинции в период Тауфика и Насера. Напрасно он пытался отвлечь себя чтением стихов: он постоянно думал о преступлении, которое стало его злым роком. Кто этот ужасный убийца? Он не вор, не мститель, не сумасшедший. Сумасшедший убивает, но он не способен подготовить свое преступление с такой предусмотрительностью. Мухсин не видел никаких шансов выбраться из тупика. Как он исполнит свой долг, когда его противник находится под покровительством духов?!

Шло время, и нетерпение офицера сменилось тихой грустью. И пребывал он в таком состоянии, пока не случилось третье преступление. А случилось оно через четыре дня после убийства генерала. На этот раз жертвой оказалась женщина тридцати лет, жена мелкого подрядчика, мать троих детей. И здесь была та же картина: следы веревки вокруг шеи, и никаких следов преступника. Мухсин начал вести следствие в отчаянии и без воодушевления. Он был почти уверен, что стал мишенью для безжалостной силы. Мать жертвы рассказывала дрожащим голосом:

— Я вошла утром, чтобы спросить о здоровье, и нашла ее... — Ее душили слезы. — Бедняжка болела тифом, но от тифа она не умерла, хотя ее состояние было крайне тяжелым. А вот...

— Не слышали ли вы шума или криков ночью?

— Нет. Я спала в соседней комнате и обязательно бы услышала, если бы она зва-

ла на помощь. Я последняя в доме ложусь спать и первая встаю. И когда я вошла в ее комнату, я увидела ее... О, горе! Как же теперь жить мне!

К полудню возвратился из Александрии муж убитой. Он получил телеграмму. Состояние его было ужасным. И прошло некоторое время, прежде чем он смог отвечать на вопросы офицера. Но он не сказал ничего, что помогло бы расследованию. Он был в Александрии по делам, вчерашний день провел в кафе с людьми, которых он назвал. Провел ночь у одного из них, где и получил эту злополучную телеграмму. Мужчина кричал, вне себя от горя:

— О, господин офицер! Такое положение невыносимо. Она не первая. Куда же смотрит полиция? Почему до сих пор не пойман убийца? Вы должны были давно схватить его!

Возвращаясь в отделение, господин офицер твердил: «Боже, ну что же мне-то делать!»

Собственное бессилие угнетало его. Этот преступник — как воздух. Весь ал-Аббасийа был охвачен страхом. А тут еще пресса подливала масла в огонь. В кофейнях, харчевнях только и разговоров было, что о преступлениях и о том, что убийца неуловим. Постоянная опасность, от которой никто не застрахован, поколебала доверие населения к полиции. Стали подозревать больных и сумасшедших. Но было точно установлено, что ни один из пациентов нервных клиник в эти дни не убежал. В отделение приходили анонимные письма, по которым были осмотрены многие дома, но сигналы оказались ложными. Некто сообщил о ненормальном юноше с улицы ас-Сарайт. Его схватили, но вскоре установили, что в ночь убийства генерала он был задержан всего лишь за приставание к девушке на улице. Его отпустили, лопнула версия.

Мухсин в отчаянии сказал:

— Единственный обвиняемый пока существует — это я.

Он чувствовал себя виноватым и перед самим собой, и перед жителями Аббасийи, и перед читателями газет. В городе распространялись все новые самые невероятные слухи. Говорили, что обвиняемый якобы известен службе безопасности, но они скрывают его, так как он близок к высшим кругам.

Однажды, когда после убийства женщины прошло уже около месяца, один из постовых наткнулся на труп в переулке, прилегающем к отделению. Ничего подобного здесь раньше не случалось. Офицер Мухсин ал-Бари поспешил к месту, где находился труп. Это было совсем рядом, через дорогу, и как раз напротив окна его кабинета. Случайность?! Это был труп нищего, прислоненный к стене отделения. Он едва не закричал от неожиданности, когда увидел характерный след веревки на его шее. О, Аллах! Он осмотрел его одежду, как будто надеялся найти там что-нибудь. Пригласил Шейха ал-Харра, чтобы опознать его. Это действительно был нищий из квартала ал-Вайалия ас-Сугра, его там знали многие. Агенты были разосланы по всем подозрительным местам, но опять бесполезно. Были схвачены десятки подозреваемых больных, от них была освобождена вся Аббасийа. Но какая в этом польза? Было увеличено количество полицейских на улицах, особенно ночью. Министерство внутренних дел установило награду в две тысячи фунтов тому, кто найдет убийцу. Пресса время от времени помещала это сообщение на первых страницах газет, что нагнетало среди жителей Аббасийи чувство страха. В городе царил подозрительность. Рассказы «очевидцев» леденили кровь. Те, кто мог, переселялись в другие кварталы, и если бы не кризис с квартирами, то Аббасийа осталась бы совсем без жителей. Но ничто не могло сравниться с теми муками, которые пришлось вынести Мухсину абд ал-Бари. Его несчастная беременная жена, желая успокоить своего страдающего мужа, постоянно говорила ободряющие слова, но вот как-то сказала фразу, которая и вовсе повергла его в смятение.

— Эти убийства никогда не покинут воображение людей, — сказала она.

— Тогда моя служба не имеет никакого смысла.

Она испуганно глянула на мужа:

— Но в чем же тут твой упущения...

— Упущения в том, что уходят из жизни люди один за другим, а я ничего не могу сделать.

— Но в результате ты, как всегда, одержишь победу, милый.

— Я не верю в это.

Он не спал этой ночью. Лежал, размышлял, и у него возникло желание погрузиться в мир любимой суфийской поэзии, где спокойствие и вечная истина, где нет ударов судьбы, мучительных поражений и бесплодных усилий. Поразительно, что одной цепью связаны раб истины и этот кровожадный убийца. Нет спасения нигде, кроме как в службе истине, ей одной!

Не прошло и недели, как случилось событие не менее страшное. Из последнего вагона трамвая вывалился человек. Кондуктор остановил трамвай и побежал на крик. Его догнал водитель. Увидев лежащего на земле эфенди, они вначале подума-

ли, что он пьян или обкурился гашиша. Но, приподняв голову несчастного, водитель вскрикнул:

— Смотри!

Кондуктор уже и сам увидел след веревки на шее. Сбежались полицейские агенты. Тотчас схватили и привели в отделение двоих, оказавшихся неподалеку от места происшествия. Мухсин едва держал себя в руках. Одного из схваченных, который оказался офицером в гражданской одежде, он тут же отпустил. Теперь он был совершенно уверен, что преступник стремится сделать именно его адской игрушкой в своих руках. Личность преступника представлялась ему мифическим существом, спустившимся на землю с другой планеты.

На страницах газет выступали психологи и религиозные деятели, но это не спасало Аббасию от сковавшего ее ужаса. С наступлением темноты становились пустынными улицы и кофейни. Каждый в страхе засыпал, в страхе просыпался. Теперь уже никто не интересовался подробностями расследования, потому что все потеряли надежду. Все думали только об опасности, которая неумолимо настигнет любого — старика и ребенка, богатого и бедного, мужчину и женщину, здорового и больного, на улице, в доме, в трамвае. Сумасшедший? Тайное оружие? Мистика? Во всех домах были наглухо закрыты окна и двери, никто не ждал уже ничего хорошего.

Мухсин абд ал-Бари блуждал по кварталу как сумасшедший, внимательно вглядываясь в лица. Он бродил в полном отчаянии и готов был немедленно предоставить свою собственную шею преступнику с условием, что он освободит людей от адской веревки. И даже сообщение из роддома, что у него родился сын, не могло вывести его из этого состояния. Он зашел в роддом, посидел рядом с женой, нежно взирая на нее и на ребенка. И вдруг улыбнулся. Это была первая улыбка с момента убийства пенсионера-учителя. Но через мгновение он снова нахмурил брови, попрощался и ушел, вернулся в мир, где никто не хотел его видеть. Он почувствовал что-то, похожее на головокружение. Жизнь, которая на волоске, потеряла смысл. Впрочем — зачем же так? Ведь существуют же, в конце концов, любовь, стихи, сын. Сотрудник отделения, узнав, что Мухсина ал-Бари решили перевести на другую работу, возмутился и тотчас же пошел к нему в кабинет. Увидев его лежащим на столе, он подошел и тихо сказал:

— Мухсин...

Тот не шелохнулся.

Он еще раз позвал его, уже громче, Мухсин не откликнулся. Тогда он встряхнул его, чтобы разбудить, и тут увидел каплю крови над виском и ужасный лиловый след адской веревки вокруг шеи!

В губернаторстве были экстренно проведены важные совещания, на которых были намечены неотложные меры. Начальник полиции тоже экстренно созвал всех своих помощников и объявил:

— Будем вести беспощадную войну, пока не схватим преступника. — Немного подумав, добавил: — Но надо учитывать фактор, который является не менее опасным, чем сам преступник. Это — страх, который буквально сковал людей.

— Да, господин!

— Так вот, следует предпринять все меры, чтобы жизнь в городе вошла в свое обычное русло и люди снова почувствовали радость жизни.

В глазах слушающих появилось недоумение, тогда шеф добавил решительно:

— О происшедшем в прессе не сообщать. Да-да, не сообщать!

Заметив в глазах окружающих холодок отчуждения, он пояснил:

— Любое преступление остается недостоверным, пока о нем не сообщат газеты.

Он медленно оглядел присутствующих. И завершил разговор, ударив кулаком по столу:

— С сегодняшнего дня никаких разговоров о смерти! Пусть все идет обычным порядком, а люди снова пусть радуются жизни и... И никакого расследования.

Перевод с арабского Г. Колесниковой.



Сатвалды Юлдашев

## РАССКАЗЫ

### ДЖАМШИД И МАРАТ

Ни с кем еще Марат так не дружил, как с Джамшидом. Уже месяц, как они подружились, — с того самого дня, как Марат перешел в этот детсад. Папа его сюда устроил «по месту своей работы», сказала мама соседке. Марат вообще не жаждал ходить в детсад, тем более в чужой, незнакомый. Дома сидеть в сто раз лучше, а у бабушки — так и в двести раз, но взрослым — что? Им до этого дела нет! Зато теперь он был счастлив, что так получилось. Он нашел здесь лучшего друга! Джамшид сразу ему понравился — еще когда Марат, набычившись, впервые озирался в своей новой группе. Джамшид был крупный черноволосый крепыш с круглым лицом. Марат, похоже, тоже пришелся ему по душе — не зря Джамшид подошел к нему сразу, первым, и сказал:

— Будешь со мной играть?

Это был, конечно, вопрос, однако крылось в нем нечто вроде приказа. Как ни странно, Марат, вообще-то приказов не любивший и подчинявшийся им лишь ввиду крайней необходимости, на сей раз был даже польщен. И сказал без обиняков:

— Буду!

Джамшид спокойно кивнул, как будто был заранее уверен в ответе, ухватил его за рукав и потащил за собой:

— Пошли!

Эта уверенность в себе и казалась главным в Джамшиде. Наверное, благодаря ей он и сам был главным в группе: все ему подчинялись, что бы он ни говорил и ни делал. Хотя сам он как будто и не прилагал к тому никаких усилий. Что до Марата, мальчик он не слишком решительный; пожалуй, и большинство в его новой группе — тоже. Должно быть, потому им всем Джамшид так и нравился — он как бы решал за всех, и оставалось лишь спокойно повиноваться.

Ну и, конечно, Джамшид был самым сильным. Тут сомневаться не приходилось: не было в группе никого из мальчиков, кого он не поборол бы!

И самым храбрым был тоже Джамшид. Однажды в просторный, еще зеленый в сентябре двор детсада забежала большая черная собака с красивым ошейником — наверное, ворота были неплотно прикрыты; все испугались, а собака стояла и озиралась, то ли раздумывая, куда это она попала, то ли примериваясь, к кому раньше подойти и цапнуть. Воспитательница как раз отлучилась, ребята замерли, и тут Джамшид спокойно подошел к собаке, погладил ее — и, представьте, собака завилала хвостом! Все, конечно, уважали Джамшида еще во сто раз больше. Где-то за воротами раздался далекий женский голос: «Дик! Ди-ик!» Собака, с улыбкой оглянувшись на Джамшида, побежала вон со двора, и тем история кончилась, только Марат потом спросил друга:

— Ты собак не боишься? — Сам он, по правде говоря, очень даже их побаивался.

— Не-а! — сказал Джамшид со своей обычной уверенностью. — У нас дома такая же большая собака. Они в чужом месте не кидаются. Если, конечно, сам не ударишь! Они как будто в гостях себя чувствуют! А вот дома — у-у-у, знаешь, как они чужих...

Это Марат вполне мог себе представить.



В другой раз Джамшид с Маратом, гуляя по двору, зашли за главное здание детсада, туда, где находились сараи, стояли железные баки для мусора и вообще торчало и валялось много всякой всячины. Идя вдоль забора, они обнаружили лаз в соседний двор.

— Сходим посмотрим? — сказал Джамшид, как обычно, тоном не то вопроса, не то приказа.

— Ты что... — сказал Марат. — Увидят — знаешь, как заругаются!

— Кто это заругается? — презрительно спросил Джамшид.

— Кто! Воспитательницы... — Марату уже пришлось видеть, как выходила из себя воспитательница старшей группы, заметив, что две девочки наладились было за ворота.

— Тю! — сказал Джамшид. — Мямля ты, что ли? — И он полез в лаз. Марату ничего другого не оставалось, кроме как за ним последовать, но в соседнем дворе, куда выходил задней стеной скучный трехэтажный дом, решительно ничего интересного не оказалось: такие же железные баки для мусора да зачехленный «Москвич». Что под чехлом «Москвич» — угадал, конечно, Джамшид. Марат тоже разбирался в марках автомобилей, но не до такой степени. И вот, когда они лезли обратно, их увидела — надо же! — та самая воспитательница, которая кричала тогда на девочек. У Марата что-то задрожало в животе мелкой отвратительной дрожью.

— Вы что-о тут делаете? А-а?! — грозным нарастающим голосом спросила воспитательница.

— Ничего, — спокойно сказал Джамшид. — Посмотрели...

Воспитательница вгляделась в Джамшида, и Марат, который ждал вот-вот грозившего обрушиться на них шквала, с удивлением увидел, что воспитательница как-то вдруг остыла.

— Вы из старшей «а», что ли?

— Ага! — сказал Джамшид со своей обычной беззаботной уверенностью.

— Турдыев, что ли? — снова спросила воспитательница и, не дожидаясь ответа, добавила миролюбиво: — Ну, идите, идите к себе, идите, ребятки...

«Вот так Джамшид! — думал Марат. — Никого не боится, всех может укротить — и собак, и воспитательниц!»

Вскоре он окончательно в этом убедился.

В парадной комнате детсада, в «зале», были в изобилии развешаны и закреплены на стенах прекрасные и разнообразные игрушки: нарядные куклы, водяные пистолеты, автоматы, которые, давая «очередь», трещали почти как настоящие и высекали электрическое пламя, резиновые надувные звери, всякие машины — в том числе одна, пожарная, красная, которая была предметом общих вожделений. Но трогать игрушки почему-то строго воспрещалось — даже трогать, не то чтобы играть с ними! Марат не мог понять — почему: это же игрушки!

— Потому что сломаются, а надо экономить, — туманно объяснила ему Тамара, девочка из их группы. Но Марат все равно ничего не понял, кроме того, что, раз нельзя трогать — значит, придется подчиниться.

И вот однажды Джамшид сказал:

— Айда в зал, поиграем пожарной машиной?

— Нельзя же! — сказал Марат. Вообще-то и в зал не очень разрешалось ходить.

— Почему — нельзя! Айда! Можно! Это же наши игрушки, нам же покупали!

В душе Марат был с ним вполне согласен и тем легче поддавался на уговоры.

В зале, как всегда, никого не было. Они открепили машину и принялись ее катать в полное свое удовольствие, а раскатавшись, едва не вылетели за ней из зала. Но тут путь им преградили красные туфли воспитательницы.

— Эт-то что такое? — спросила она.

Все, конец, решил Марат. Правда, чему конец и что с ними могут сделать, он себе не представлял, но явно ожидалось нечто страшное. Джамшид, однако, спокойно встал с четверенек, поднял глаза на воспитательницу и сказал:

— Играем в игрушки...

И опять воспитательница спасовала!

Она внимательно посмотрела на Джамшида, поджала губы и выдавила:

— Ну хорошо... поиграете, потом повесите на место.

И ушла.

Нет, наверняка этот Джамшид какой-то волшебник!

Однажды он спросил Марата:

— Тебя почему так называли?

— А был Марат когда-то...

— Кто такой?

— Ну, это... как это... Друг народа!

— А-а... А меня Джамшидом, знаешь, почему зовут? Папа так захотел. Джамшид — это был хозяин всего мира, понял?

И Марат посмотрел на него с новым приливом уважения. Правильно его назвали.

За Джамшидом обычно приходили рано. В первый день их знакомства, в самый разгар предвечерней игры, в комнату вошла воспитательница и сказала громко:

— Турдыев Джамшид! За тобой пришли! Джамшид все бросил и побежал в раздевалку, Марат — за ним: дома учили, что уходящего надо провожать. В раздевалке Джамшида ждал какой-то совсем молодой дядя. Он помог Джамшиду одеться, взял его за руку и вывел за дверь. Джамшид только махнул рукой на прощанье.

Дверь была стеклянная, и Марат стал смотреть вслед Джамшиду. Молодой дядя и Джамшид садились в замечательную белую «Волгу», стоявшую у ворот. Мотор заворчал, завелся, и они уехали. Марат представил себе, как чудесно было бы прокатиться в такой машине, и даже зажмурился. Нет, он не позавидовал новому другу — наоборот, он только еще больше стал уважать его.

Назавтра Марат спросил Джамшида:

— Это твой папа за тобой приезжал?

— Ты что! — сказал Джамшид. — Это его шофер!

Однажды шофер запоздал, а когда приехал, почти все уже одевались. В тот день забирать Марата пришел папа — мама задерживалась на работе. К удивлению Марата, папа и шофер поздоровались — правда, как-то очень сухо.

— Пап, ты этого дядю знаешь, что в раздевалке? — спросил Марат по дороге.

— Знаю! — сказал папа. Тон у него был такой, что Марат понял: лучше не спрашивать дальше.

Назавтра Джамшид неожиданно сказал Марату:

— А твой папа моего, оказывается, знает!

— Твоего папу?

— Ну да!

— Откуда? — как-то бестолково спросил Марат. Что-то в тоне друга ему не понравилось.

— Ха! Откуда! Не знаешь? Он у него служит — вот откуда!

У Марата заныло под ложечкой.

— Ты что сказал? — переспросил он.

— Что сказал! Оглох, что ли? Твой папа у моего служит!

— Как это служит? — спросил Марат почти шепотом. — Служит, знаешь, кто? Собачонка... на задних лапках...

— Ха-ха... Ну и правильно... Мой папа — директор! Он что прикажет — то твой и сделает. Что, скажешь — не служит? И дядя Мадрахим, шофер, так сказал.

У Марата, наверное, с глазами что-то случилось: лицо Джамшида перед ним странно расширилось, чуть не вдвое выросло, стало похоже на огромную лепешку. И это Джамшид? Его лучший друг?

Папа — директор. Джамшид — хозяин всего мира. И что ж, они думают — все им будут служить, как собачонки?

— Мой папа... — сказал он по-прежнему почти шепотом, — мой папа никогда... никому... не служит... он работает... вот!

— И все равно — служит! Служит, служит! — Голос у Джамшида, казалось Марату, так же изменился, как и его лицо, — в нем звучала уже не обычная уверенность, а победное, ширящееся торжество. И Марат вдруг понял, что ненавидит этот голос, это лицо-лепешку. Ненавидит изо всех сил. Он бросился с кулаками на Джамшида.

— Ты что? — закричал Джамшид, толкнул его что есть мочи. Марат отлетел — и снова кинулся. Он забыл, что Джамшид сильнее его, сильнее всех в группе, он только чувствовал, что противник валит его, и впился в Джамшида из последних сил. Они оба упали, лицо Джамшида оказалось прямо перед лицом Марата, и он, задыхаясь от бессилия и ненависти, укусил своего бывшего друга за нос.

Джамшид взвыл, вбежавшая воспитательница подняла их, растащила, кричала Марату: «Хулиган! Ты что наделал?!», — а Джамшид вопил не переставая, и Марат увидел в его глазах не просто боль, и не ярость — нет! Страх, вот что в них было... страх!

В наказание Марата посадили в пустой полутемной комнате на стул, и он просидел там все время, пока гуляли, спали, играли. И мама, как назло, в тот день задержалась позже обычного.

Она пришла за ним в эту комнату, взгляделась и сказала:

— Ты что наделал, а? Тебя наказали?

— Наказали... — мрачно ответил Марат, не поднимая глаз.

— Ты, что, кого-нибудь ударил?

— Не... — так же мрачно сказал Марат. — Я кого-нибудь укусил.

Шакир прогуливался по зеленой площадке у своего дома. Мама выпустила его с условием, что он немножко погуляет и придет.

— Смотри! — сказала она на прощание. — Чтоб не пришлось кричать из окна!

Окно было на десятом этаже; из него видна была вся эта площадка и соседний дом, такой же десятиэтажный. Шакир слышал, как взрослые называют их дома «башнями». «Парикмахерская? В соседней башне...» Почему их так называют, он не понимал: башни же круглые, у него в книжке так нарисовано!

Шакир гулял один, других ребят на площадке не было, и ему стало скучно. Даже грустно. Вот ведь, пока на улице ребята — тебя почему-то не выпускают. Выпустят — все уже разошлись. Конечно, не всегда так бывает — но частенько. Вообще жизнь плохо устроена. Утром проснешься, не хочешь есть — тебя заставляют: ешь! Прибежишь с улицы голодный, вола бы слопал — говорят: подожди, умойся, ты грязный, или, там, высохни, ты весь мокрый.

Ну что бы еще кому-нибудь выйти из дому! Например, Юрчику из той башни. Они бы замечательно поиграли. Так нет, не везет. Не выйдет Юрчик, это ясно.

Шакир повернулся к той башне спиной и медленно побрел к своему дому. И вдруг до его слуха донеслось тоненькое, визгливое тявканье. Шакир застыл, как охотничий пес на стойке. Кто это может быть? Тявканье совершенно незнакомое! Шакир повернулся на одной ножке назад. В середине площадки он увидел необычайной красоты белого щенка. Щенок облаивал торчащую из земли ржавую пружину. Эта пружина была всем хорошо известна, все о нее миллион раз спотыкались, но никто так и не вытаскивал из земли. Ее знали все — но не щенок. Щенок тут явно только что поселился! Кто-то его держал на поводке. Кто? Шакир с трудом оторвал взгляд от щенка и поднял его выше, следуя за поводком. Поводок держала в руках обширная пожилая женщина, известная в их домах как «Квадратная тетя». Если она проходила мимо площадки, когда там играли дети, не было случая, чтоб она хоть к чему-нибудь не придалась. То мнут траву, то кричат, то ломают кусты. «Мы сажаем, а вы ломаете! Не дети — какие-то хулиганы!» Ее все ненавидели, и Шакир тоже. Но сейчас он готов был ей все простить, из-за щенка: он умер бы от счастья, будь у него такой щенок!

Шакир пошел в сторону щенка с тетей — или тети со щенком, — стараясь сдерживать нетерпение, не побежать, не спугнуть это белое виденье. Щенок, тем временем смолкший было, снова подошел к пружине, тронул ее лапой, она закачалась, зазвенела, и щенок, отпрыгнув, сызнова залился своим очаровательным лаем. Сердце Шакира переполнилось любовью.

— Здравствуйте, тетя, — сказал он, подойдя. — Это ваша собачка?

— А то чья же! — сказала Квадратная тетя своим сварливым голосом.

— Ага... — сказал Шакир.

Слов у него не было.

Щенок, на мгновение отвлекшись от пружины, заметил Шакировы ноги и нашел их предметом, достойным внимания уж никак не меньше, чем коварная железка. Он немедленно двинулся к Шакиру, обнюхал его сандалии, потянув носом с видом заправского гурмана, потом слегка попробовал их на вкус. Сандалии, видно, оказались подходящие, и он занялся ими, сладострастно урча.

— Смотри! — проворчала Квадратная тетя, сделав слабую, явно не соответствующую ее возможностям попытку оттянуть щенка за поводок. — Сгрызет сандалии, пусть мать потом с жалобами не приходит!

— Ничего-о! — сказал Шакир замирающим от восторга голосом. — Не сгрызет! У него еще зубки маленькие!

— Маленькие! — сказала Квадратная тетя. — Зубки маленькие, а едите — не дай бог!

— Нет, я мало ем! — очень убедительно тряс головой, возразил Шакир, стараясь во что бы то ни стало подладиться к Счастливой Владелице Щенка. И так как она промолчала — возможно, в связи с перерасходом энергии, — Шакир вдруг отчаянно решился:

— Тетя, а можно... можно — я с ним побегаю?

— Ну... — сказала Квадратная тетя и подумала: «Ну, побегай, пожалуй!» — И Добавила басом: — Только с поводка не отпускай! — Он уже бежал с щенком, а она еще кричала вслед: — И траву не мни!

И с этого момента началась для Шакира новая, страстная и прекрасная жизнь. Правда, в этот день маму, отчаявшуюся его дожидаться и кричавшую его-таки из окна, он едва услышал. Домой явился весь распаренный от бега и счастья, с торчащими волосами и ушами. Он рассказал о щенке маме, потом, когда пришел папа, папе, потом своему старому плюшевому медвежонку Али, потом всем соседям по этажу. Он думал о щенке, засыпая, видел его во сне — кстати, во сне они даже весьма содержательно беседовали; проснулся с мыслью о щенке... И спозаранок попросился на улицу, чтоб, не дай бог, не пропустить момента, когда щенка выведут на площадку. И когда они вновь, наконец, увиделись, их общей радости не было предела.

Теперь от каждого своего обеда, завтрака и ужина Шакир старался оставить для щенка что-нибудь самое вкусное и как можно больше. Дело шло так далеко, что мама однажды закричала: она будет готовить отдельно для щенка! А Шакир пусть ест, что ему дают! И пришлось все доедать, хотя кусок, предназначенный щенку, прямо-таки не лез в горло.

Квадратная тетя, напротив, относилась к этому милостиво. Еще бы! Когда она выходила из своего подъезда, Шакир уже караулил ее, чтобы принять поводок, а она сидела тут же, у подъезда, на скамейку, где всегда оказывались еще одна-две похожие тети, заводившие бесконечный разговор. Она даже перестала обращаться к Шакиру своим обычным сварливым голосом.

Квадратной тете Шакирова любовь была очень даже кстати.

Так прошли для Шакира две недели, угарных от счастья.

И вот однажды утром щенок на площадке не появился. Не появилась и Квадратная тетя. Шакир весь извелся от тоски и беспокойства. Ясно: щенок заболел. Но чем? Если у него просто, скажем, голова болит — это одно: он может уже к обеду выздороветь. А если у него грипп? Или, того хуже, воспаление среднего уха? Тогда его запрут дома на несколько дней! Шакир представил себе эти несколько дней, и они показались ему мертвой, бесплодной пустыней. Да и нынешний, ясный и солнечный, день словно померк, потемнел.

Щенок не появился ни днем, ни вечером. Не появился он и на следующий день. И на послезавтра — тоже. Шакир бродил вокруг соседнего дома, как тень. Он с ужасом понял, что не знает не только, как зовут щенка, но и как зовут Квадратную тетю, и на каком этаже она живет, и в какой квартире... Впрочем, на третий день отсутствия щенка он это выяснил — у других тетей, что посиживали на скамейке. Квадратная тетя жила, оказывается, тоже на десятом этаже — они могли со щенком видаться в окно! Шакир поднялся, дождавшись взрослых, на лифте, вышел на десятом этаже и нашел нужную квартиру: он уже знал все цифры! Но дотянуться до звонка не мог, пришлось долго стучать в дверь, прежде чем за нею раздались тяжелые шаркающие шаги. Это была Квадратная тетя.

— Кто там? — сердито спросила она из-за двери.

— Это я! — сказал Шакир.

Она осторожно приоткрыла дверь.

— А, это ты... Ну, чего пришел?

— Я пришел... ну, узнать... ваша собачка заболела?

— Нету нашей собачки!

У Шакира горло перехватило.

— Как... как — нету?

— Так — нету! Выбросили.

Шакир поглядел на нее с ужасом. Перед глазами его встала чудовищная картина: щенка выбрасывают с десятого этажа — и он... нет, даже страшно представить...

Он аж глаза зажмурил.

— С балкона?! — едва выдохнул.

— С какого балкона! Отвезли на автобусе подальше и бросили на улице. Гадит, понимаешь! Сперва на кухне гадил, потом ковер намочил, потом на диване наделал. Все, нету собачки! Ну, понял?

Но у вежливого Шакира не хватило сил ответить «понял» — он повернулся и пошел прочь. Ждать взрослых у лифта тоже не было сил, и он спустился по лестнице. Он воображал себе несчастного щенка, брошенного на незнакомой улице... среди чужих, равнодушных ног. Ох! Найти бы его! Но Шакир понимал, что это уже невозможно. Мама, открывшая ему на стук, всплеснула руками:

— Боже мой! Шакирчик! Что с тобой, маленький?

На нем, видно, лица не было.

Мама схватила его на руки, стала прикладывать ладонь ко лбу, но, наверное, так и не решила, горячий он или холодный; тогда она раздела Шакира и стала укладывать в постель, ласково и озабоченно приговаривая. Шакир безвольно покорялся маминым рукам, а сам думал: он, Шакир, тоже ведь был маленький, маленькие же мочат пеленки, он знает, видел... Что, если б его тогда... за это... выбросили на чужой улице? Он весь содрогнулся, прижался к маме и спросил:

— Мам... мам! Ты меня... не выбросишь?

— Ты что! Маленький мой! Глупенький! Солнышко мое! Что это тебе в голову взбрело? — Она заглянула ему в глаза: — Это ты из-за щенка, да?

Ах, мама, все она понимает!

Шакир кивнул — и крупные, тяжелые слезы покатались у него из глаз.

Но все проходит, и горе Шакира тоже понемногу стало проходить, забываться.

Как-то он снова вышел на площадку в невезучий час — никого там не было — и вдруг увидел выходящую из своей башни Квадратную тетю, а она держала за поводок беленькую девочку! Нет, ему, конечно, показалось, что за поводок: она ее за шарф держала, за легонький такой шарфик, завязывала его, потом отпустила. Что-то в Шакире всколыхнулось, сладостно-горькое, не то воспоминание, не то предчувствие, и ноги сами понесли его навстречу. Квадратная тетя с девочкой тем временем вышли на площадку, девочка оглядывалась — и устремила взгляд на подходившего Шакира.

— А-а! — сказала Квадратная тетя эдаким смягченным басом. — Старый знакомый! Ну, подходи, подходи... Это моя внучка...

Везет этой Квадратной тете, подумал Шакир, сама, как мусорный бак, а... Он не успел додумать эту мысль, потому что беленькая девочка спросила командным тоном:

— Тебя как зовут, мальчик?

— Шакир! — сказал Шакир с готовностью.

— А меня — Марина. Ты во что играешь?

Шакир посмотрел на нее с удивлением — мало ли во что он играет! — но вдруг понял, что она жутко красивая! Как самая дорогая кукла, которую он видел в «Детском мире»! Нежно-розовые щеки, большие синие глаза, золотые волосы. Он начал было сбивчиво перечислять известные ему игры, но девочка сразу перебила:

— В скакалку — умеешь?

Шакир, естественно, глубоко презирал скакалку, как чисто девчачье занятие, но теперь понял, что это не имеет ни малейшего значения. Умею, сказал он и уже спустя минуту прыгал через скакалку, которую держала девочка и Квадратная тетя, и оказалось, что это чудесное, веселое и увлекательное занятие.

Кто знает, что такое любовь с первого взгляда? Шакир теперь знал. Квадратная тетя снова сидела себе, не зная забот, на своей скамейке, а они с Мариной проводили на площадке чуть не весь световой день, играя только друг с другом и уходя домой лишь чтобы поесть.

— Милый ты мой заяц сумасшедший? — говорила мама, глядя, как он торопливо поглощает еду, чтоб поскорей вернуться на улицу. — Не спеши, ешь спокойно, не даvisь, никто никуда не убежит.

Но он боялся упустить даже минутку вновь привалившего ему счастья. Иногда, правда, уколов его легким укором, вспоминался ему беленький щенок — и тут же снова таял в памяти.

Но увы! Все — и хорошее и плохое — повторяется, все приходит — и уходит снова. Однажды — ох, это однажды! — он, как всегда, выскочил на улицу, полный радостным предчувствием предстоящего дня, но Марина, против обыкновения, на площадке не появилась. Он дотерпел до середины дня, потом пошел в соседнюю башню, поднялся на десятый этаж, долго стучал в уже знакомую дверь. Никто не отозвался. Страшное, роковое предчувствие зародилось, зароилось в нем, как поднимающийся из низин туман. Если б она заболела, так дома была бы — кто-нибудь бы ему открыл. Неужели... неужели она тоже что-нибудь такое... например, разбила что-нибудь в квартире Квадратной тети?

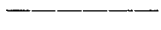
Вечером он, слоняясь в тоске по пустой площадке, вдруг заметил Квадратную тетю, усаживающуюся на свою любимую скамейку.

Он помчался со всех ног.

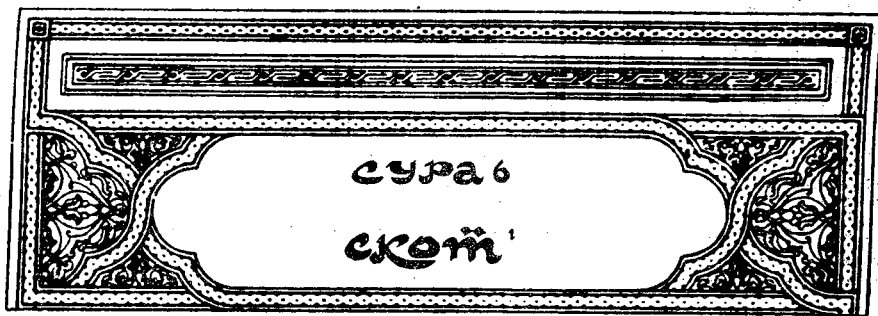
— Здравствуйте, тетя, — сказал он, задыхаясь от бега и волнения. — А где... где Марина? — Его заполняли страх и надежда.

— А Мариночки уже не-ету! — сказала Квадратная тетя, улыбаясь. Улыбка ее была похожа на открывающийся шкаф. Она смотрела на Шакира и, видно, собиралась его хорошенько подразнить, прежде чем выложить роковую правду. Шакир смотрел на нее с ужасом.

— Как — не-ету? — пролепетал он. И так как она все еще молчала, он, не в силах ждать, выговорил одними губами: — Вы... выбросили?



# Коран



Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1 (1). Хвала — Аллаху, который сотворил небеса и землю, устроил мрак и свет! А потом те, которые не веруют, приравнивают к своему Господу.

2 (2). Он — тот, кто сотворил вас из глины, потом установил срок — срок назначен у Него<sup>2</sup>. А потом вы сомневаетесь!

3 (3). Он — Аллах в небесах и на земле; знает ваше тайное и открытое; знает то, что вы приобретаете.

4 (4). Какое бы знамение из знамений Аллаха ни пришло к ним<sup>3</sup>, они от него отворачивались!

5 (5). Они сочли за ложь истину, когда та к ним пришла. Придут к ним вести о том, над чем они издевались!

6 (6). Разве они не видели, сколько Мы погубили поколений до них? Мы укрепляли их на земле так, как не укрепляли вас, посылали на них небо обильным дождем и заставляли реки течь у них, а потом погубили их за грехи произвели после них другое поколение.

7 (7). А если бы Мы ниспослали тебе<sup>4</sup> книгу в хартии<sup>5</sup>, и они ощущали бы ее руками, то те, которые не веровали, сказали бы: «Это — только очевидное колдовство!»

8 (8). И сказали они: «Если бы к нему был сведен ангел!» А если бы Мы свели ангела, то дело было бы решено, и потом им не было бы отсрочки!

9 (9). И если бы Мы сделали его ангелом, то сделали бы его человеком и затемнили бы для них то, что они сами затемняют<sup>6</sup>.

10 (10). Издевались уже над посланниками, бывшими до тебя, и постигло тех, которые смеялись над ними, то, над чем они издевались.

11 (11). Скажи: «Идите по земле, а потом посмотрите, каков был конец считающих ложью!»

12 (12). Скажи: «Кому принадлежит то, что в небесах и на земле?» Скажи: «Аллаху! Он предначертал для самого Себя милость; Он соберет вас ко дню воскресения, в котором нет сомнения! Те, которые нанесли убыток самим себе, — они не веруют!»

13 (13). Ему<sup>7</sup> — то, что живет ночью и днем; Он — слышащий, знающий!»

14 (14). Скажи: «Разве кого-нибудь другого возьму я покровителем, кроме Аллаха, Творца небес и земли? Он питает, а Его не питают». Скажи: «Мне повелено быть первым из тех, кто предался. Не будьте же в числе многобожников!»

15 (15). Скажи: «Я боюсь, если послушаюсь своего Господа, наказания дня великого!»

16 (16). От кого оно будет отстранено в тот день, того Он помиловал; это — явный успех!

17 (17). Если коснется тебя Аллах бедствием, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если Он коснется благом, ...ведь Он мощен над всякой вещью!

18 (18). Он властвует над Своими рабами; Он — мудрый, ведающий!

19 (19). Скажи: «Что больше всего свидетельством?» Скажи: «Аллах — свидетель между мной и вами. И открыт мне этот Коран, чтобы увещать им вас и тех, до кого он дошел. Разве ж вы не свидетельствуете, что с Аллахом есть другие боги?» Скажи: «Я не свидетельствую». Скажи: «Это ведь — единый Бог, и я не причастен к тому, что вы придаете Ему в сотоварищи!»

20 (20). Те, кому Мы даровали книгу<sup>8</sup>, знают это, как знают своих сынов. Те, которые нанесли убыток самим себе, — они не веруют!

21 (21). Кто несправедливее того, кто измышляет на Аллаха ложь или считает ложью Наши знамения? Поистине, не будут счастливы неправедные!

22 (22). В тот день<sup>9</sup> Мы соберем их всех, потом скажем тем, которые придавали Ему сотоварищей: «Где ваши сотоварищи, которых вы изобретали?»

23 (23). Потом не будет другой отговорки<sup>10</sup> для них, кроме как они скажут: «Клянемся Аллахом, Господом нашим, мы не были многобожниками!»

24 (24). Посмотри, как они лгут на самих себя, и скрылось от них то, что они измышляли!

25 (25). Среди них есть такие, что прислушиваются к тебе, но Мы положили на сердца их покровы, чтобы они не поняли его, а в уши их — глухоту. Хотя они и видят всякое знамение, но не верят в него. А когда они приходят к тебе препираться, то говорят те, которые не веровали: «Это — только сказки первых!»<sup>11</sup>

26 (26). Они и удерживают от него и удаляются от него, но губят они только самих себя и не знают<sup>12</sup>.

27 (27). Если бы ты видел, как они будут поставлены перед огнем и скажут: «О, если бы мы были возвращены, мы не считали бы ложью знамений Господа нашего и были бы в числе верующих!»

28 (28). Да, обнаружилось пред ними то, что они скрывали раньше<sup>13</sup>; если бы они были возвращены, то вернулись бы к тому, от чего их удерживали! Ведь они — лжецы.

29 (29). И говорят они: «Это — только наша ближайшая жизнь, и мы не будем воскрешены».

30 (30). Если бы ты видел, как они будут представлены пред их Господом! Он скажет: «Разве это — не истина?» Они скажут: «Да, клянемся Господом нашим!» Он скажет: «Вкусите же наказание за то, что вы были неверующими!»

31 (31). В убытке остались те, которые считали ложью встречу с Аллахом, а когда пришел внезапно к ним час, они сказали: «О, горе нам за то, что мы упустили там!» Они понесут свои ноши<sup>14</sup> на спинах. О да, скверно то, что они несут!

32 (32). Здешняя жизнь — только игра и забава; будущее жилье лучше для тех, которые богобоязненны. Разве вы не сообразите?

33 (33). Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Ведь они не считают тебя лжецом<sup>15</sup>, но неправедные отрицают знамения Аллаха!

34 (34). Лжецами считались посланцы до тебя и терпели то, что их считали лжецами и притесняли, пока не пришла к ним Наша помощь. И нет переменяющего слова Аллаха! И доходили до тебя известия о посланцах<sup>16</sup>.

35 (35). А если тягостно для тебя<sup>17</sup> их отвращение, то если бы ты мог отыскать расселину в земле или лестницу на небо и пришел бы к ним со знамением! Если бы пожелал Аллах, то Он собрал бы их на прямом пути; не будь же невеждой!

36 (36). Поистине, отвечает Он тем, которые слушают, и мертвых воскресит Аллах, потом к Нему они будут возвращены.

37 (37). И говорят они: «Если бы было ниспослано ему знамение от его Господа!» Скажи: «Аллах мощен низвести знамение, но большая часть их не знает!»

38 (38). Нет животного на земле и птицы, летающей на крыльях, которые не были бы общинами, подобными вам. Мы не упустили в книге ничего, потом к вашему Господу они будут собраны.

39 (39). А те, которые считали ложью Наши знамения, — глухи, немые во мраке. Кого желает Аллах, того сбивает с пути, а кого желает, того помещает на прямой дороге.

40 (40). Скажи: «Не думали ли вы о себе, что если придет к вам наказание от Аллаха или придет к вам час, разве кого-нибудь, помимо Аллаха, вы будете призывать, если вы правдивы?»

41 (41). Да! Его вы призываете, и Он избавляет от того, о чем вы просите, если пожелает, и вы забываете то, что придаете Ему в сотоварищи.

42 (42). Мы посылали к народам еще до тебя и схватывали их несчастьем и бедствием, — может быть, они смирятся!

43 (43). И если бы, когда пришла к ним Наша мощь, они смирились! Но отвердели сердца их, и сатана разукрасил им то, что они делали!

44 (44). А когда они забыли то, о чем им напоминали, Мы открыли пред ними врата всего. А когда они радовались тому, что им было даровано, Мы внезапно схватили их, и вот, они — в отчаянии.

45 (45). И усечен<sup>18</sup> был последний из тех людей, которые были неправедны. И хвала Аллаху, Господу миров!

46 (46). Скажи: «Думали ли вы, если Аллах захватит ваш слух и зрение и наложит печать на ваши сердца, кто — бог<sup>19</sup>, кроме Аллаха, что доставит вам это?» Посмотри, как Мы распределяем знамения<sup>20</sup>! Потом они отворачиваются.

47 (47). Скажи: «Думали ли вы о себе, если придет к вам наказание Аллаха внезапно или открыто, разве будут погублены (люди), кроме людей нечестивых?»

48 (48). Мы посылаем вестников только благословителями и увещателями; кто веровал и делался благим — над ними нет страха, и не будут они печальны!

49 (49). А тех, которые считали ложью Наши знамения, коснется наказание за то, что они нечестивы!

50 (50). Скажи: «Я не говорю вам, что у меня сокровищницы Аллаха, и не знаю я сокровенного, и не говорю вам, что я — ангел. Я следую только тому, что открывается мне». Скажи: «Разве сравнятся слепой и зрячий? Разве вы не одумаетесь?»

51 (51). Увещай этим тех, которые боятся быть собранными к их Господу. Нет для них помимо Него покровителя и заступника, — может быть, они будут богобоязненны!

52 (52). Не отгоняй тех, которые зывают к Господу их утром и вечером<sup>21</sup>, стремясь к лику Его! Не на тебе расчет с ними ни в чем, и не на них твой расчет ни в чем, чтобы тебе их прогнать и оказаться из неправедных.

53 (53). Так испытывали Мы одних из них другими, чтобы они говорили: «Неужели этим среди нас Аллах оказал милость?» Разве Аллах не знает лучше благодарных?

54 (54). И когда придут к тебе те, которые веруют в Наши знамения, то говори: «Мир вам!»<sup>22</sup> Начертал Господь ваш самому Себе милость, так что, кто из вас совершит зло по неведению, а потом раскается после этого и станет благим, то Он — прощающ и милосерд.

55 (55). И так Мы разъясняем знамения, чтобы стал ясным путь грешников!

56 (56). Скажи: «Мне запрещено поклоняться тем, кого вы призываете помимо Аллаха». Скажи: «Я не буду следовать за вашими страстями, — тогда бы я оказался в заблуждении и не был бы идущим прямо».

57 (57). Скажи: «Я — с ясным знамением от моего Господа, а вы считаете это ложью. Нет у меня того, с чем вы торопите<sup>23</sup>. Решение — только у Аллаха: Он следует за истиной, Он — лучший из решающих!»

58 (58). Скажи: «Если бы у меня было то, с чем торопите вы, то дело было бы решено между мною и вами: ведь Аллах лучше знает несправедливых!»

59 (59). У Него — ключи тайного; знает их только Он. Знает Он, что на суше и на море; лист падает только с Его ведома, и нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в книге ясной.

60 (60). И Он — тот, который успокаивает вас ночью и знает, что вы добываете днем, потом Он оживляет вас в нем, чтобы завершился назначенный срок. Потом — к Нему ваше возвращение, потом Он сообщит вам, что вы делали.

61 (61). Он — властвующий над Своими рабами, и посылает Он над вами хранителей<sup>24</sup>. А когда приходит к кому-нибудь из вас смерть, Наши посланцы успокаивают его, и они ничего не опускают.

62 (62). Потом они возвращены будут к Аллаху, Господу их истинному. О да, у Него власть, и Он — самый быстрый из производящих расчет!»

63 (63). Скажи: «Кто спасает вас от мрака суши и моря, к кому вы взываете со смирением и тайно: «Если Ты спасешь нас от этого, мы будем из благодарных?»»

64 (64). Скажи: «Аллах спасает вас от этого и от всякой беды, потом вы придаете Ему сотоварищей».

65 (65). Скажи: «Он — тот, кто может наслать на вас наказание сверху или из-под ваших ног и облечь вас в разные партии и дать попробовать одним из вас ярость других»<sup>25</sup>. Посмотри, как Мы распределяем знамения, — может быть, они поймут!

66 (66). И счел народ твой это ложью<sup>26</sup>, в то время как оно — истина. Скажи: «Я не поручитель за вас. (67). У каждого сообщения — установленное место, и вы узнаете!»

67 (68). А когда ты увидишь тех, которые погружаются в пучину пустословия о Наших знамениях, то отвернись от них, пока они не погрузятся в какой-нибудь другой рассказ. И если сатана заставит тебя забыть, то ты после напоминания не сиди с людьми неправедными.

68 (69). На тех, которые богобоязненны, не лежит ничего из их расчета, а только напоминание, — может быть, они будут богобоязненны!

69 (70). Оставь тех, которые свою религию обращают в игру и забаву: их обольстила ближняя жизнь! Напоминай при помощи него, что душа погибнет за то, что она приобрела. Нет у нее помощника, помимо Аллаха, или заступника! Если она предложит всякую замену, то она не будет взята от нее. Это — те, которые погублены от того, что они приобрели. Для них — питье из кипятка<sup>27</sup> и мучительное наказание за то, что они неверны!

70 (71). Скажи: «Неужели мы станем призывать помимо Аллаха то, что не помогает нам и не вредит, и будем обращены вспять после того, как Аллах вывел нас на прямой путь, подобно тому, кого соблазнили шайтаны на земле, и он растерян; у него — товари-



щи, которые зовут его к прямому пути: «Иди к нам!» Скажи: «Поистине, путь Аллаха есть настоящий путь, и нам повелено предаться Господу миров,

71 (72). и приказано: «Выстаивайте молитву и бойтесь Его, Он — тот, к кому вы будете собраны!»

72 (73). Он — тот, кто сотворил небеса и землю в истине; в тот день, как Он скажет: «Будь!» — и оно бывает.

73. Слово Его — истина. Ему принадлежит власть в тот день, как подуют в трубу<sup>28</sup>; ведающий тайное и явное. Он — мудр, знающ!

74 (74). Вот сказал Ибрахим отцу своему Азару<sup>29</sup>: «Неужели ты идолов превращаешь в богов? Я вижу, что ты и твой народ — в явном заблуждении».

75 (75). И так Мы показываем Ибрахиму власть над небесами и землей, чтобы он был из имеющих уверенность<sup>30</sup>.

76 (76). И когда покрыла его ночь, он увидел звезду и сказал: «Это — Господь мой!» Когда же она закатилась, он сказал: «Не люблю я закатывающихся».

77 (77). Когда он увидел месяц восходящим, он сказал: «Это — Господь мой!» Когда же тот зашел, он сказал: «Если Господь мой меня не выведет на прямой путь, я буду из людей заблудившихся».

78 (78). Когда же он увидел солнце восходящим, то сказал: «Это — Господь мой, Он — большой!» Когда же оно зашло, он сказал: «О народ мой! Я непричастен к тому, что вы придаете Ему в сотоварищи».

79 (79). Я обратил лицо свое к тому, кто сотворил небеса и землю, поклоняясь Ему чисто, и я — не из многобожников».

80 (80). И препирался с ним его народ. Он сказал: «Неужели вы препираетесь со мной из-за Аллаха, в то время как Он вывел меня на прямой путь? Я не боюсь того, что вы придаете Ему в сотоварищи, если чего-либо не пожелает мой Господь. Объемлет мой Господь всякую вещь знанием. Неужели же вы не опомнитесь?»

81 (81). Как же мне бояться того, что вы придали Ему в сотоварищи, когда вы не боитесь, что придали Аллаху в сотоварищи то, касательно чего Он не низвел вам никакой власти? Какая же из этих двух партий более безопасна, если вы знаете?»

82 (82). Те, которые уверовали и не облекли своей веры в несправедливость, для них — безопасность, и они — на верной дороге.

83 (83). Это — Наш довод, который Мы даровали Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем степенями тех, кого желаем. Поистине, Господь твой — мудрый, знающий!

84 (84). И даровали Мы ему Исха́ка и Йа́суба; всех Мы вели прямым путем<sup>31</sup>; и Ну́ха вели Мы раньше, а из его потомства — Да’уда, Сулайма́на, и Аййуба, и Йўсуфа, и Мўсу, и Харуна. Так воздаем Мы делающим добро!

85 (85). И Закарию, и Йахйу, и Йўсу, и Илйаса,— они все из праведных.

86 (86). Исма’ила, и ал-Йаса́, и Йунуса, Лўта — и всех Мы превознесли над мирами.

87 (87). И из отцов их, и потомков их, и братьев их, — Мы избрали их и вели их на прямой путь.

88 (88). Это — путь Аллаха, которым он ведет, кого желает, из Своих рабов. А если бы они придали Ему сотоварищей, то тщетным для них оказалось бы то, что они делали!

89 (89). Это — те, кому Мы даровали книгу, и мудрость, и пророчество; если не уверуют в них эти<sup>32</sup>, то Мы поручили это людям, которые в это будут веровать».

90 (90). Это — те, которых вел Аллах, и их прямому пути следуй! Скажи: «Я не прошу у вас за это платы. Это — только напоминание для миров».

91 (91). Не ценили они Аллаха должной ценой, когда говорили: «Ничего не низводил Аллах человеку»<sup>33</sup>. Скажи: «Кто низвел книгу, с которой пришел Муса, как со светом и руководством для людей, которую вы помещаете на хертиях, открывая ее и скрывая многое? Ведь вы научены тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы». Скажи: «Аллах!» Потом оставь их забавляться в их пустых разговорах.

92 (92). И это — книга<sup>34</sup>, которую Мы ниспослали тебе, благословенная, подтверждающая истинность того, что было ниспослано до нее, и чтобы ты увещал мать городов<sup>35</sup> и тех, кто кругом нее; и тех, которые веруют в последнюю жизнь, веруют в Него, и они соблюдают свою молитву.

93 (93). Кто же несправедливее того, кто измыслил на Аллаха ложь<sup>36</sup> или говорил: «Ниспослано мне», но не было ему ниспослано ничего; или того, кто говорил: «Я низведу подобное тому, что низвел Аллах»? Если бы ты видел, как неправедные пребывают в пучинах смерти, а ангелы стирают руки: «Изведите ваши души, сегодня будет вам воздано наказанием унижения за то, что вы говорили на Аллаха не истину и превозносились над Его знаменами!»

94 (94). Вы пришли к нам одинокими, как Мы сотворили вас в первый раз, и оставили то, чем Мы вас наделили, за вашими спинами, и Мы не видим с вами наших заступников, о которых вы утверждали, что они для вас — товарищи. Уже разорвано между вами и скрылось от вас то, что вы утверждали.

95 (95). Поистине, Аллах<sup>37</sup> — дающий путь зерну и косточке; изводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого! Это вам — Аллах<sup>38</sup>. До чего же вы обольщены!

96 (96). Он выводит утреннюю зарю и ночь делает покоем, а солнце и луну — расчислением<sup>39</sup>. Это — установление великого, мудрого!

97 (97). Он — тот, который устроил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраке суши и моря<sup>40</sup>. Мы распределили знамения для людей, которые знают!

98 (98). Он — тот, который вырастил вас из одной души<sup>41</sup>, а затем — место пребывания и место хранения<sup>42</sup>. Мы распределяем знамения для людей, которые понимают!

99 (99). Он — тот, который низвел с неба воду, и Мы произвели благодаря ей рост всякой вещи; Мы вывели из нее зелень, из которой выведем зерна, сидящие в ряд; и из пальмы, из ее завязей, бывают гроздья, близко спускающиеся; выводим и сады из винограда, и маслину, и гранаты, похожие и не похожие. Посмотрите на плоды этого, когда они приносят плоды, и на созревание их! Поистине, в этом — знамения для людей, которые веруют!

100 (100). И устроили они Аллаху сотоварищей из джинов, в то время как Он их создал, и бессмысленно приписали Ему сынов и дочерей без всякого знания. Хвала Ему, и превыше Он того, что они Ему приписывают!

101 (101). Создатель вновь<sup>43</sup> небес и земли! Как будет у Него ребенок, раз не было у Него подруги<sup>44</sup> и когда создал Он всякую вещь и о всякой вещи Он сведущ!

102 (102). Это для вас — Аллах, ваш Господь, — нет божества, кроме Него, — творец всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему! Поистине, Он — поручитель над каждой вещью!

103 (103). Не постигают Его взоры, а Он постигает взоры<sup>45</sup>; Он — пронизателен, сведущий!

104 (104). Пришли к вам наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, — то для самого себя; а кто слеп, — во вред самому себе. Я<sup>46</sup> для вас — не хранитель!

105 (105). Так Мы распределяем знамения<sup>47</sup>, и для того, чтобы они сказали: «Ты учился» — и чтобы Мы уяснили это людям, которые знают.

106 (106). Следуй тому, что внушено тебе от твоего Господа: «Нет божества, кроме Него», — и отвернись от многобожников<sup>48</sup>.

107 (107). Если бы захотел Аллах, они не придавали бы Ему сотоварищей. Мы не делали тебя хранителем их, и ты над ними не надсмотрщик.

108 (108). Не носите тех, кого они призывают помимо Аллаха, а то они станут поносить Аллаха из вражды без всякого знания. Так разукрасили Мы всякому народу его дело! Потом к Господу их будет их возвращение, и возвестит Он им то, что они делали.

109 (109). И поклялись они Аллахом — важнейшей из их клятв: если придет к ним знамение, они обязательно уверуют в него. Скажи: «Знамения — у Аллаха, но как вы узнаете, что, когда они придут, они не уверуют?»

110 (110). И Мы переворачиваем сердца их и взоры<sup>49</sup>, как они не уверовали в это в первый раз, и оставляем их скитаться слепо в своем заблуждении.

111 (111). А если бы Мы низвели на них ангелов, и заговорили бы с ними мертвые, и собрали бы Мы пред ними все лицом к лицу, они бы все-таки не уверовали, если не пожелает Аллах, но большинство их не знают!

112 (112). И так Мы всякому пророку устроили врагов — шайтанов из людей и джинов<sup>50</sup>; одни из них внушают другим прелесть слов для обольщения. А если бы пожелал Господь твой, они бы этого не делали. Оставь же их и то, что они измышляют!

113 (113). И пусть склоняются к нему сердца тех, которые не верят в жизнь будущую, и удовлетворяют им и пусть приобретают<sup>51</sup> то, что они приобретают.

114 (114). Разве я пожелаю судьей кого-либо, кроме Аллаха? Ведь Он — тот, который ниспослал вам книгу, ясно изложенную, а те, которым Мы даровали книгу, знают, что она низведена от Господа твоего во истине. Не будь же сомневающимся!

115 (115). И завершились словеса<sup>52</sup> Господа твоего по истине и справедливости. Нет изменителя словам Его: ведь Он — слышащий, знающий!

116 (116). Если ты послушаешься большинства тех, кто на земле, они сведут тебя с пути Аллаха. Они следуют только за предположением, и они только ложно измышляют!

117 (117). Поистине, Господь твой лучше знает тех, кто сходит с Его пути; и Он лучше знает идущих прямо!

118 (118). Ешьте же то, над чем помянуто имя Аллаха,<sup>53</sup> если вы веруете в Его знамения!

119 (119). И что с вами, что вы не едите того, над чем помянуто имя Аллаха, когда Он уже разъяснил вам, что вам запрещено, если вы к этому не будете приневолены<sup>54</sup>? А ведь многие сводят с пути своими страстями без всякого знания. Поистине, твой Господь лучше знает действующих несправедливо!

120 (120). Оставляйте и явный грех и скрытый<sup>55</sup>; поистине, тем, которые приобретают грех, будет воздано за то, что они снискивали!

121 (121). И не ешьте того, над чем не упомянуто имя Аллаха; это ведь нечестие!

Ведь шайтаны внушают своим сторонникам, чтобы они препирались с вами, а если вы их послушаете, вы тогда — многобожники.

122 (122). Разве тот, кто был мертвым, и Мы оживили его и дали ему свет, с которым он идет среди людей, похож на того, кто во мраке и не выходит из него? Так разукрашено неверным то, что они делали!

123 (123). И так Мы в каждом селении сделали вельмож<sup>56</sup> грешниками его<sup>57</sup>, чтобы они ухищрялись там, но ухищряются они только сами с собой и не знают этого.

124 (124). А когда придет к ним знамение, они говорят: «Не уверуем мы, пока нам не будет дано то же, что дано посланникам Аллаха». Аллах лучше знает, где помещать Свое посольство. Постигнет тех, которые согрешили, унижение пред Господом и наказание сильное за то, что они ухищрялись!

125 (125). Кого пожелает Аллах вести прямо, уширяет тому грудь для ислама<sup>58</sup>, а кого пожелает сбить с пути, делает грудь его узкой, тесной, как будто он поднимается на небо. Так Аллах направляет наказание на тех, которые не веруют!

126 (126). И это — путь Господа твоего, когда он прям. Мы разъяснили знамения людям, которые поминают.

127 (127). Для них жилище мира у их Господа; Он — их помощник за то, что они делали.

128 (128). И в день, когда Он соберет их всех: «О сонмище<sup>59</sup> джиннов! Вы многого хотели от этих людей!» И скажут их приятели из людей: «Господи! Одни из нас пользовались другими<sup>60</sup>, и мы дошли до нашего предела, которым Ты нам назначил». Он скажет: «Огонь — ваше место, — для вечного пребывания в нем, — если только не пожелает Аллах иного». Поистине, Господь твой — мудрый, знающий!

129 (129). И так одних неправедных Мы приближаем к другим<sup>61</sup> за то, что они приобрели.

130 (130). О сонм джиннов и людей! Разве не приходили к вам посланцы из вас, которые рассказывали вам Мои знамения и возвещали вам о встрече с этим вашим днем? Они скажут: «Свидетельствуем мы против самих себя». Обольстила их ближняя жизнь и засвидетельствовали они против самих себя, что были они неверными.

131 (131). Это — потому, что Господь твой — не таков, чтобы губить селения несправедливо, когда обитатели их были в небрежении.

132 (132). У каждого — ступени по тому, что они делали<sup>62</sup>, и Господь твой не небрежет тем, что они делают.

133 (133). Господь твой богат, владелец милости; если Он пожелает, то погубит вас и заменит вас тем, чем захочет, подобно тому, как Он вырастил вас из потомства другого народа.

134 (134). Поистине, то, что вам обещано, наступит, и вы это не в состоянии ослабить!

135 (135). Скажи: «О народ мой! Поступайте по своей возможности, я действую, и потом вы узнаете,

136. За кем будет конец жилища. Поистине, неправедные не будут счастливы!»

137 (136). Они<sup>63</sup> устраивают для Аллаха долю того, что Он произрастил из посевов и скота, и говорят: «Это — Аллаху!» — по их утверждению, — «А это — нашим сотоварищам». И то, что бывает для их сотоварищей, это не доходит до Аллаха, а то, что для Аллаха, то доходит до их сотоварищей. Скверно то, что они судят!

138 (137). И так сотоварищи их разукрасили многим из многобожников убийство своих детей<sup>64</sup>, чтобы погубить их и затемнить их веру. А если бы Аллах пожелал, то они не сделали бы этого. Оставь же их и то, что они измышляют!

139 (138). И говорят они: «Это — скот и посев запретный; ими питается только тот, кого мы пожелаем», — по их утверждению<sup>65</sup>. И скот, спины которого запретны, и скот, над которым они не призывают имени Аллаха, измышляя на Него. Воздаст Он им за то, что они измышляют!

140 (139). И говорят они: «То, что в утробах этих животных<sup>66</sup>, то — чисто для наших мужчин и запрещено нашим женам». А если оно будет мертвым, то они — в этом участники. Воздаст Он им за их описания: ведь Он — мудрый, знающий!

141 (140). В убытке — те, которые убили своих детей<sup>67</sup> по глупости, без знания, и запретили то, что даровал им Аллах, измышляя на Аллаха. Сбились они с пути и не оказались идущими прямо!

142 (141). Он — тот, который произвел сады с подставками и без подставок<sup>68</sup>, пальмы и посевы с различными плодами, и маслину, и гранаты, сходные и несходные. Вкушайте плоды их, когда они дадут плод, и давайте должное во время жатвы, но не будьте неумеренны. Поистине, Он не любит неумеренных!

143 (142). И из скота — для переноски и для подстилки<sup>69</sup>. Вкушайте то, что даровал вам Аллах, и не следуйте по стопам сатаны! Ведь он для вас — явный враг.

144 (143). Восемь — парами: из овец — две, и из коз — две<sup>70</sup>. Скажи: «Самцов обоих Он запретил или самок? Или то, что заключают в себе утробы самок? Сообщите мне со знанием, если вы говорите правду».

145 (144). И из верблюдов — двое, и из коров — двое. Скажи: «Самцов обоих Он запретил или самок? Или то, что заключают в себе утробы самок? Или вы были свидетелями, когда Аллах завещал это?» Кто же более несправедлив, чем тот, кто измышляет на Аллаха ложь, чтобы сбить людей без всякого знания? Поистине, Аллах не ведет народ несправедный!

146 (145). Скажи: «В том, что открыто мне, я не нахожу запретным для питающегося то, чем он питается, только если это будет мертвечина, или пролитая кровь, или мясо свиньи, потому что это — скверна, — или нечистое, которое заколото с призыванием не Аллаха. Кто же вынужден, не будучи распутником или преступником, — то Господь твой — прощающ, милосерд!

147 (146). Тем, которые обратились в иудейство, Мы запретили всех имеющих копыто<sup>71</sup>, а из коров и овец запретили Мы им жир, кроме носимого их хребтами или внутренностями, или того, что смешался с костями. Этим воздали Мы им за их нечестие: Мы ведь правдивы!

148 (147). Если они считают тебя лжецом, то скажи: «Господь ваш — обладатель милости обширной, и Его мощи не отклонить от народа грешного».

149 (148). Скажут те, которые придают Ему сотоварищей: «Если бы Аллах пожелал, ни мы бы не придавали товарищей, ни отцы наши, и не запрещали бы ничего». Так глали и те, которые были до них, пока не вкусили Нашей мощи. Скажи: «Есть ли у вас какое-либо знание? Покажите его нам. Вы следуете только за предположениями, вы только измышляете ложь!»

150 (149). Скажи: «У Аллаха — убедительное доказательство. Если бы Он хотел, то всех бы вас вывел на прямой путь».

151 (150). Скажи: «Сюда ваших свидетелей, которые свидетельствуют, что Аллах запретил это!» Если они и засвидетельствуют, то ты не свидетельствуй с ними и не следуй за страстями тех, которые считают ложными Наши знамения и которые не веруют в жизнь будущую. Они к Господу своему приравнивают!

152 (151). Скажи<sup>72</sup>: «Приходите, я прочитаю то, что запретил вам ваш Господь: чтобы вы не придавали Ему ничего в сотоварищи; к родителям — добродетяние; не убивайте ваших детей от бедности — Мы прокормим их и вас; не приближайтесь к мерзостям, к явным из них и тайным; не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву. Это завещал Он вам, — может быть, вы уразумете!

153 (152). И не приближайтесь к имуществу сироты, иначе как с тем, что лучше, пока он не достигнет крепости; выполняйте меру и вес по справедливости. Мы не возлагаем на душу ничего, кроме возможного для нее. А когда вы говорите, то будьте справедливы, хотя бы и к родственникам<sup>73</sup>, и завет Аллаха выполняйте. Это завещал Он вам, — может быть, вы вспомните!

154 (153). И это — Моя дорога прямая; и следуйте же по ней и не следуйте другими путями, чтобы они не отделили вас от Его дороги. Это Он завещал вам, — может быть, вы будете богобоязненны!»

155 (154). Потом Мы даровали Мусе книгу для завершения тому, кто сотворил благо, и в разъяснение для каждой вещи, и в путеводительство, и как милосердие, — может быть, они уверуют во встречу со своим Господом!

156 (155). И это — книга<sup>74</sup>, которую Мы ниспослали, благословенная; следуйте же за ней и будьте богобоязненны, — может быть, вы будете помилованы! —

157 (156). чтобы вам не говорить: «Книга ниспослана была только двум народам до нас<sup>75</sup>, и мы действительно были небрежны к ее изучению».

158 (157). Или бы не говорили<sup>76</sup>: «Если бы была ниспослана нам книга, то мы были бы на более прямом пути, чем они!» Пришло уже к вам ясное знамение от Господа вашего, и руководство, и милость; кто же более несправедлив, чем тот, кто считает ложью знамения Аллаха и отворачивается от них? Мы воздадим тем, которые отвращаются от Наших знамений, злым наказанием за то, что они отвращались!

159 (158). Разве они ждут, что придут к ним ангелы, или придет твой Господь, или придет какое-нибудь знамение Господа твоего? В тот день, как придет какое-нибудь знамение Господа твоего, не поможет душе ее вера, раз она не уверовала раньше или не приобрела в своей вере доброго. Скажи: «Ждите, мы будем ждать!»

160 (159). Поистине, те, которые разделили свою религию и стали партиями<sup>77</sup>, ты — не из них. Их дело — к Аллаху; потом Он сообщит им, что они делали.

161 (160). Кто придет с добрым делом, для того — десять подобных ему<sup>78</sup>, а кто придет с дурным, тому воздается только подобным ему, и они не будут обижены!

162 (161). Скажи: «Поистине, Господь вывел меня на прямой путь, как прямую веру, в общину Ибрахима, ханифа. И не был он из многобожников».

163 (162). Скажи: «Поистине, молитва моя и благочестие мое, жизнь моя и смерть — у Аллаха, Господа миров, (163). у которого нет сотоварища. Это мне повелено, и я — первый из предавшихся».

164 (164). Скажи: «Разве другого, чем Аллах, я буду искать Господом?» Он — Господь всего. Что каждая душа приобретает, то остается на ней, и не понесет носящая но-

шу другой. А потом к Господу вашему ваше возвращение, и Он сообщит вам про то, в чем вы разногласили.

165 (165). Он — тот, который сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас в том, что Он вам доставил. Поистине, Господь твой быстр в наказании, и, поистине, Он — прощающий, милосердный!

## КОММЕНТАРИИ

1. Предпоследняя сура III мекканского периода прочитана незадолго до хиджры, когда в условиях не прекращавшихся преследований и угроз Мухаммад задумывал о переезде в Медину. Последний и окончательный договор с мединскими паломниками, приехавшими на совершение хаджа, состоялся в начале 622 г., после которого отдельные группы мусульман стали отправляться в Медину. С такой обстановкой связано основное содержание суры, где преобладает резкое изобличение мекканцев, выделяются лишь отдельные небольшие части, представляющие собой вставки на другие темы: аяты 118—121 и 135—154 содержат предписания по бытовым вопросам.

2. Сотворение из глины — имеется в виду первочеловека Адама. А установление срока — подразумевается рождение человека после определенного срока.

3. Речь идет о мекканцах.

4. Тебе — Мухаммаду.

5. «Книга в хартии» — Коран. Арабское слово «киртас» Ю. И. Крачковский переводит как «хартия» (а Г. С. Саблуков «харатейный свиток»). Это — пергамент, папирус, свиток, на которых писались в древности священные писания.

6. Смысл: если бы посланника избрал Аллах не из людей, а из ангелов, то все равно неверные возражали бы, как теперь.

7. Ему — по контексту — в его власти.

8. По толкованиям — Тора.

9. Судный день.

10. В тексте «фитна» — искушение, соблазн, а здесь в смысле лжи.

11. Первых — в значении древних.

12. Буквальным переводом несколько затемнено содержание аята, который означает «такие люди и сами не веруют, и других удерживают от веры».

13. Смысл: обнаружилось перед Аллахом даже те, которые раньше скрывали свое неверие.

14. Ноша — тяжесть, грех.

15. Здесь смысл: ведь они не только себя считают лжецом, но как неправедные они отрицают и знамения Аллаха.

16. Смысл: и не изменяются слова Аллаха; доведены ведь до тебя вести об этих посланниках.

17. Содержание аята 35, очевидно, свидетельствует о тяжелом состоянии Мухаммада в условиях вражды мекканцев.

18. Усечен — более точно — перерезан, т.е. истреблен.

19. «Кто — бог» — не совсем ясный перевод, точнее: какой бог, или какой-либо бог, кроме Аллаха.

20. Здесь более точно не «распределение знамений», а как Аллах ниспосылает свои знамения.

21. Неясно, о каких молящихся идет здесь речь. Очевидно, что речь не о мусульманах — последователях Мухаммада. Предполагается, что это какая-то группа среди мекканцев.

22. «Мир вам» — известная среди мусульман форма приветствия «ас-салам алайкум», а в более распространенной форме «салам алайкум».

23. В аятах 57—58 упоминается то, с чем люди торопили, а Мухаммад отвечал, что это не в его силах. Речь идет о наступлении судного дня, срок которого определен только Аллахом.

24. Хранители — ангелы-хранители. По догматике ислама эти ангелы до конца жизни человека находятся рядом с ним, записывают в книге все его деяния. В судный день эта книга раскрывается, и все богоугодные и греховные дела человека измеряются на весах.

25. Смысл: «Он может превратить вас в препирающиеся друг с другом группы».

26. То есть курайшиты сочли Коран ложью.

27. Кипяток — один из элементов наказания в аду.

28. Труба — элемент судного дня. По содержанию Корана в этот день подуют в трубу (араб. сур), воскрешаются и поднимаются умершие. С этим связано название этого дня («день вставаний — араб. йаум ал-киямат»).

29. Упоминание имени отца Ибрахима как Азар — неточное отражение легенды из Торы. Отец Авраама носит имя Терах (книга Бытия, гл. 11).

30. В аятах 75—79 опровержение поклонения небесным светилам (звездам, Луне, Солнцу). Единобожие «религии Ибрахима», в сущности, означало решительное отвержение астральных культов древних цивилизаций (Египта, Шумера, Аккада, Вавилона).

31. Аяты 84—86 — наиболее полное перечисление имен древнесемитских пророков.

32. Здесь подразумевается: «Если не уверуют в них эти (т.е. иудеи), то Мы поручили это людям, которые в это будут верить (т.е. последователям Мухаммада)».

33. Т.е. Мухаммаду.

34. Т.е. Коран.

35. Араб. «Умм ал-Кура» — эпитет Мекки.

36. Неясно, о каком лжепророке идет здесь речь. Были предположения отнести этот аят к мекканскому периоду, чтобы идентифицировать этого лжепророка с Мусайлимой.

37. Аяты 95—103 — наиболее обстоятельная характеристика могущества Аллаха.
38. «Это вам — Аллах» — по контексту: «Вот это и есть Аллах».
39. По контексту — Солнце и Луна для исчисления времени (дней, месяцев, годов).
40. Арабы с древности знали ориентировку по звездам.
41. Те от Адама.
42. Имеются различные трактовки: лоно отца и чрево матери; земная и потусторонняя жизнь человека; жизнь на земле и пребывание в могиле и т.д. Очевидно, что речь идет по логике представлений тех времен: сначала люди пошли от одного Адама, затем путем рождения, в котором присутствуют и лоно отца (как основное активное начало), и чрево матери (как место хранения). Все остальные толкования — поздние. Следует иметь в виду, что люди в те времена признавали принадлежность ребенка только отцу, ибо не имели представления об участии матери в создании плода. Чрево матери считалось только как безопасное место для сохранности плода, но не участвующее в нем материально.
43. Слово «внове» здесь лишнее. Слово «бадиун» в контексте означает «создатель», «творец».
44. Араб. «сахиба» — жена, супруга.
45. Т.е. Он сам невидим, но Он видит всех.
46. Я (Мухаммад) не поручаюсь за вас.
47. Аят 105 сложной конструкции. Смысл: так мы открываем знамения, чтобы люди убедились в том, что ты познал знамения и чтобы мы (через тебя) разъяснили это людям, чтобы они тоже знали.
48. «Отвернуться от многобожников» трактуется как повеление оставить Мекку и отправиться в Медину.
49. По контексту: отворачивать сердце и ум людей, чтобы они не были способны воспринять веру.
50. Здесь очевидна разница между шайтаном (сатаной) и джинном. Термин «шайтан» идет от древнесемитской (вавилонской) традиции, через древнееврейское «сатан» (в значении «противодействующий») и через греческое «сатанас» он перешел в европейские языки и в русский язык — «сатана». Джинны в древнеарабской мифологии сначала добрые, а позднее злые, вредные духи.
51. Смысл: получают воздаяние за свое неверие.
52. Перевод «завершилось» не совсем точен, здесь речь идет о совершенности слов Аллаха.
53. Т.е. убоя по мусульманскому обычаю.
54. Видимо, последователи Мухаммада не сразу воспринимали новое правило убоя скота.
55. «Оставляйте» — в смысле «избегайте и явный и скрытый грех». «Явным» толкуется — открытые греховные действия, а «скрытым» — греховные мысли, оба они осуждаются.
56. Араб. «акабир» — важные люди, знать.
57. Араб. «муджрим» — и в значении притеснителя вообще.
58. Образы «расширение груди» и «раскрытие груди» одно и то же, в смысле сделать сердце человека способным воспринять ислам. А противоположный образ — стесненность сердца, в смысле — невосприимчивость.
59. Сонмище — араб. «ма'шар» — сбор.
60. В смысле получения материальной выгоды от другого.
61. Аят 129 в смысле: одинаково наказываются несправедливые за их деяния.
62. У каждого — ступени, т.е. каждому свое воздаяние.
63. В аяте 137 речь идет о тех, кто стал последователем Мухаммада, но и от прежней традиции не успел отказаться полностью. Они делают подношение и Аллаху, и своим прежним идолам.
64. Убиение детей имело место в традиции доисламских арабов. Закапывали новорожденных девочек в песок. Но здесь, очевидно, речь идет о человеческих жертвоприношениях (детей) племенным богам.
65. Об этих доисламских запретах, не признаваемых в исламе, было сказано в суре 5 (см. термины «бахира», «саиба», «васила», «хами»). «Скот, спины которого запретны» — означает скот, на котором нельзя ездить верхом и перевозить на нем груз.
66. Речь идет о ношах беременных животных, относящихся к вышеназванным четырем категориям. Это также запреты, связанные с животноводческими традициями арабов, которые не признаны в исламе.
67. В аяте 141 имеется в виду обычай арабских племен закапывать новорожденных девочек. В некоторых аятах Корана это объяснено как результат бедности и трудности кормления. В толкованиях Корана отмечается и другая причина: чтобы избавиться от расходов, связанных с выдачей замуж. Третья причина заключалась в том, что рождение девочки представлялось как несчастье или унижение. И этот обычай был запрещен Кораном.
68. Здесь имеются в виду деревянные подставки, на которые поднимают виноградные лозы.
69. «Скот для переноски» — вьючные животные, «для подстилки» (буквально укладываемые на землю) — для убоя.
70. У древних арабов было представление, что бог создал для людей восемь видов полезных животных (верблюды, коровы, овцы, козы, лошади и др.), сотворил их парами.
71. В толкованиях указывается, будто здесь имеются в виду верблюд, хищные животные и птицы (с когтями). Но в основном имеется в виду верблюд, запрещенный у иудеев.
72. В аятах 152—153 подробные нравственные и бытовые предписания: отношение к родителям, запрет убийства девочек и убийства вообще, запрет прелюбодейния и др.
73. Перевод фразы «А когда вы говорите, то будто справедливы, хотя бы и к родственникам» не вполне ясный. Речь идет о том, чтобы человек говорил правду даже тогда, когда свидетельствует о своем родственнике. Это было новое требование в условиях родоплеменного взаиморучательства, когда представители одного рода всегда защищали друг друга.
74. В смысле: «Чтобы вам не пришлось говорить».
75. Араб. «шиа» — религиозная группа, секта.
76. Смысл здесь: доброму делу надо отвечать десятикратным добром.



Агата Кристи

Перевод с английского Л. Крашенинниковой

# Убийства по алфавиту

*Предисловие, предпосланное этой книге капитаном  
Артуром Гастингсом, кавалером ордена Британской  
империи четвертой степени*

В этом повествовании я отошел от своего правила рассказывать только о тех происшествиях и событиях, очевидцем которых был сам. Поэтому некоторые главы написаны от третьего лица.

Заверяю читателей, что все здесь достоверно. Если я позволил себе некоторую поэтическую вольность и описал чувства и мысли персонажей, то сделал это тоже с достаточной степенью достоверности и с одобрения моего друга Эркюля Пуаро, который считает, что преступление ярко выявляет человека.

Что же касается раскрытия тайны АБС — по моему мнению, Эркюль Пуаро просто гениально решил эту проблему, как и все остальное, чем ему приходилось заниматься.

Лондон  
лето 1935

## ГЛАВА 1. ПИСЬМО

Это было в июне 1935 года, когда я на полгода вернулся в Англию со своего ранчо в Южной Америке. Для нас там настали трудные времена. Мы пострадали от экономической депрессии, которая охватила тогда весь мир. У меня накопилось множество разных дел, которые следовало уладить, но чтобы сделать это успешно, необходимо было мое личное присутствие. Вести дела на ранчо осталась жена.

Первое, что я сделал по приезду в Англию, — навестил моего старого друга Эркюля Пуаро.

Я нашел его в Лондоне, в одной из квартир чрезвычайно современного дома, и тут же обвинил его в том, что, вероятно, при выборе апартаментов он руководствовался единственным принципом — геометрической точностью составляющих дома. Он, кстати, сразу с этим согласился.

Я смотрел на старого друга с любовью. Выглядел он прекрасно — совсем не постарел со дня нашей последней встречи.

— Вы просто замечательно выглядите, Пуаро, — сказал я. — Мне даже кажется, что с последней нашей встречи у вас поубавилось седины.

Пуаро одарил меня сияющей улыбкой.

- Так оно и есть.
- Не хотите же вы сказать, что ваши волосы из седых превратились в черные?
- Именно так, мой друг.
- Странно, однако. В жизни так не бывает.
- Вы остались верны себе, Гастингс. Вы так доверчивы! Годы вас не изменили! Воспринимаете факт и объяснение его одновременно, и сами того не замечаете. Я озадаченно смотрел на него.

Он пошел в спальню и вернулся с флаконом, который вручил мне. Я взял.

На флаконе было написано: «Ревивит... Возвращает естественный тон волосам. Ревивит — незаурядный краситель! Прекрасные оттенки: пепельный, каштановый, золотисто-рыжий, коричневый, черный».

— Пуаро! — воскликнул я. — Вы покрасили волосы!

— Ну наконец-то!

— Бог мой! Не исключено, что в мой следующий приезд я обнаружу вас с накладными усами! Или они у вас уже и сейчас таковы?

Мои слова задела его за живое: он всегда гордился своими усами.

— Нет, нет, mon ami <sup>1</sup>. Молю бога, чтоб этот день никогда не наступил. Накладные усы! Quelle horreur!<sup>2</sup>

Он энергично дернул себя за усы, чтобы убедить меня, что они настоящие.

— Ваши усы не потеряли своего величия, — сказал я.

— Ни разу во всем Лондоне не приходилось мне видеть усов, которые можно было бы сравнить с моими.

«Точное попадание», — сказал я. Но сказал это про себя. Ни за что в жизни не позволил бы я себе задеть чувства Пуаро, произнеся это вслух. Вместо этого я спросил, продолжает ли он заниматься своей старой профессией.

— Я знаю, что уже несколько лет как вы отошли от дел.

— C'est vrai!<sup>3</sup> Отошел, чтобы выращивать кабачки! Но тут же произошло убийство, и я послал кабачки к черту. С тех пор — прекрасно знаю, что вы на это можете сказать, — я как примадонна, дающая прощальное представление. И это представление повторяется уже неизвестно какое количество раз.

Я рассмеялся.

— Не преувеличиваю. Именно так все и происходит. Каждый раз я говорю себе: «Это в последний раз». Но нет, опять что-нибудь случается! И должен признаться, мой друг, что не так уж и нужен мне этот отдых. Если маленькие серые клетки не загружать работой, они покроются ржавчиной.

— Понимаю, — сказал я, — вы их загружаете, но умеренно.

— Вот именно. Я выбираю. Да-да, Эркюль Пуаро теперь выбирает только самые интересные дела!

— И много их набирается?

— Pas mal <sup>4</sup>. Недавно я даже оказался на грани гибели.

Я присвистнул.

— Предприимчивый убийца!

— Не столько предприимчивый, сколько безответственный, — сказал Пуаро. — Но не будем больше об этом. Знаете, Гастингс, вы для меня своего рода талисман.

— Неужели? Как это понять?

Пуаро ушел от прямого ответа. Он продолжил:

— Как только я услышал, что вы возвращаетесь, я подумал: «Как в старые времена, мы будем охотиться. Это будет нечто, — он взволнованно взмахнул в воздухе руками, — нечто recherche<sup>5</sup>, нечто изысканное...» — Последнее слово он произнес особенно сочно и выразительно.

— Послушать вас, Пуаро, — сказал я, — так можно подумать, что вы заказываете обед в Рице.

— А почему нельзя заказать преступление по своему вкусу? Все так, — он вздохнул. — Но я верю в удачу — в судьбу, если хотите. А ваша судьба — быть возле меня и предостерегать от непростительных ошибок.

— Что вы называете непростительной ошибкой?

— Когда не замечаешь очевидного.

Я прикинул в уме и то и это, но так и не понял, что он имел в виду.

— И что же, — произнес я наконец, улыбаясь, — это суперпреступление еще не дало о себе знать?

— Pas encore <sup>6</sup>. По крайней мере... это... — Он замолк и нахмурился. На лбу поя-

<sup>1</sup> Мой друг (франц.).

<sup>2</sup> Какой ужас! (франц.).

<sup>3</sup> Это верно (франц.).

<sup>4</sup> Не мало (франц.).

<sup>5</sup> Утонченное (франц.).

<sup>6</sup> Нет еще (франц.).



вились морщинки, руки стали разглаживать что-то на столе.

— Впрочем, я еще не совсем уверен,— медленно произнес он.

Тон был так необычен, что я с удивлением взглянул на него.

Нахмуренный лоб не разглаживался. Решительно тряхнув головой, он направился к письменному столу у окна. Содержимое стола было аккуратнейшим образом разложено по всевозможным ящичкам и ящичкам, так что требуемая бумага мгновенно оказалась у него в руках.

Он медленно направился ко мне, держа в руке раскрытое письмо. Быстро просмотрел его сам, потом передал мне.

— Скажите мне, мой друг, что вы об этом думаете?

Я с интересом взял в руки письмо. Оно было отпечатано на плотной бумаге:

«Мистер Эркуль Пуаро! Не правда ли, вы воображаете себя человеком, способным разгадывать тайны, которые оказываются не под силу нашей тупоголовой британской полиции? Посмотрим, наш умный мистер Эркуль Пуаро, так ли вы умны. Возможно, этот орешек окажется вам не по зубам. Следите за сообщениями в газетах из Андовера от 21 числа этого месяца. Ваш и проч. АБС».

Я взглянул на конверт. Адрес был тоже напечатан на машинке.

— Стоит отметка почтового отделения WC — 1,— сказал Пуаро, когда я обратил внимание на почтовый штемпель.— Ну, что вы по этому поводу думаете?

Я пожал плечами и вернул ему письмо.

— Полагаю, какой-то ненормальный.

— И это все, что вы можете сказать?

— А вам разве не кажется, что этот человек сумасшедший?

— Кажется. Еще как кажется.

Тон был мрачный. Я взглянул на него с любопытством.

— Вы слишком серьезно к этому относитесь, Пуаро.

— А к сумасшедшим только так и надо относиться. Сумасшествие весьма опасная штука.

— Все это, конечно, так... я об этом как-то не подумал... Просто все это смахивает на идиотскую шутку. Какой-нибудь жизнерадостный идиот, который сильно перебрал...

— Объясните: перебрал, что перебрал?

— Ничего. Это просто такое выражение. Я имел в виду парня, который сильно набрался... Ну, если хотите — просто слишком много выпил.

— Mersi<sup>1</sup>, Гастингс. С выражением «набрался» я знаком. Так вы считаете, что ничего серьезного тут нет?

— А вы думаете, что есть?— спросил я, почувствовав в его тоне неудовлетворенность.

Пуаро с сомнением покачал головой, но ничего не сказал.

— Что вы предприняли по поводу письма?— спросил я.

— Показал его Джэпу. Он думает то же, что и вы. «Глупая шутка» — именно это выражение он употребил. Они в Скотланд Ярде каждый день получают такие штуки, вот и мне досталась моя порция.

— Но вы восприняли ее серьезно?

Пуаро медленно проговорил:

— В этом письме, Гастингс, что-то меня настораживает...

Хотя я так не думал, его тон произвел на меня впечатление. Он покачал головой, взял письмо и убрал его обратно в стол.

— Если вы действительно серьезно к этому относитесь, надо что-то предпринять.

— Вы, как всегда, человек действия! Но что тут можно предпринять? В полиции графства видели письмо, но не восприняли его серьезно. На нем нет отпечатков пальцев. Нет никаких особенностей, которые могли бы выявить автора.

— То есть ничего, кроме вашей интуиции?

— Не интуиции, Гастингс. Знание и опыт подсказывают мне, что тут что-то не то.

Он помогал себе руками: слов ему казалось недостаточно, чтобы все это выразить. Потом снова покачал головой.

— Может, я пытаюсь сделать из мухи слона. Очень часто случается так, что предпринять ничего невозможно, и тогда остается только ждать.

— Так, 21 число, пятница. И если около Андовера или в самом Андовере произойдет какой-нибудь грандиозный грабеж...

— Ах, это было бы утешением.

— Утешением? Слово, прямо скажем, не совсем подходящее.

<sup>1</sup> Спасибо (франц.).

— Грабеж. Это может расстроить человека, но чтобы утешить... — запротестовал я.

Пуаро энергично покачал головой.

— Вы ошибаетесь, мой друг. Вы не поняли, что я имел в виду. Грабеж принес бы мне облегчение, поскольку избавил бы от ожидания чего-то гораздо более страшного.

— Чего же?

— Убийства, — произнес Эркюль Пуаро.

## ГЛАВА 2. ПОВЕСТВОВАНИЕ ВЕДЕТ НЕ КАПИТАН ГАСТИНГС

Мистер Александр Бонапарт Каст поднялся со стула и близорукими глазами оглядел свою несколько убогую комнату.

Подойдя к поношенному пальто, висевшему на двери, он достал из кармана пачку дешевых сигарет и спички. Зажег сигарету и вернулся к столу, за которым сидел. Взял железнодорожный справочник, сверился с чем-то и вернулся к списку отпечатанных на машинке фамилий. Напротив одной из фамилий он поставил галочку.

Был четверг, 20 июня.

## ГЛАВА 3. АНДОВЕР

В тот момент на меня произвело впечатление дурное предчувствие Пуаро, связанное с анонимным письмом. Но должен признаться: все это начисто вылетело у меня из головы к 21 числу, когда письмо снова напомнило о себе и нас посетил мой старый знакомый — главный инспектор Джап из Скотланд Ярда. Мы были знакомы с ним уже много лет, и он от души рад был встретиться со мной снова.

— Боже, кого я вижу! — воскликнул он. — Капитан Гастингс собственной персоной! Ну прямо как в старые добрые времена, снова вижу вас вместе с месье Пуаро. И вы прекрасно выглядите. Правда, волосы немного поредели. Но что делать, все к этому идем.

Меня это слегка покорило, но я не подал вида. Джап ведь никогда не отличался тактичностью, во всяком случае когда дело касалось меня. Я заметил, что все мы не становимся моложе.

— За исключением месье Пуаро, — сказал Джап. — Преступлений сейчас как грибов после дождя. Так что месье Пуаро к преклонному возрасту становится все большей знаменитостью. Он занимался почти всеми нашумевшими в последнее время делами. Таинственные происшествия в поездах, в воздухе, загадочные смерти в высшем обществе — да он успевал везде. Никогда еще он не был так знаменит, как после выхода на пенсию.

— Я уже говорил Гастингсу, что стал подобен примадонне, которая каждый раз заявляет, что это ее последний выход, — подтвердил, улыбаясь, Пуаро.

— Не удивляйтесь, если, в конце концов, вам удастся предсказать свою собственную смерть, — от души расхохотавшись, заявил Джап. — А ведь это мысль, а? Неплохо вставить ее в какую-нибудь книжку.

— Это уже по части Гастингса, — сказал Пуаро, слегка мне подмигнув.

— Вот это была бы шутка! — рассмеялся Джап.

Я не понял, почему эта мысль показалась ему столь забавной, на мой взгляд — это была шутка дурного тона. Старина Пуаро потихоньку сдает, и подобные шутки вряд ли можно считать удачными.

Я думаю, мой вид был достаточно красноречив — потому что Джап сменил тему разговора.

— Вы уже слышали об анонимном письме к месье Пуаро? — спросил он.

— Я на днях показывал его Гастингсу, — сказал Пуаро.

— Конечно! — воскликнул я. — У меня совсем это вылетело из головы. Позвольте, какое число там называлось?

— Двадцать первое, — сказал Джап. — Вчера было двадцать первое, и я из чисто любопытства позвонил в Андовер поздно вечером. Это была просто глупая шутка. Ничего не произошло. Одна выбитая витрина — мальчишка бросил камень. Задержали пару пьяниц и мелких нарушителей. Так что, видно, на этот раз наш бельгийский друг облаял не то дерево.

— Должен признаться, — сказал Пуаро, — что у меня с души свалился камень.

— А вы ведь было подняли шум, — снисходительно произнес Джап.

— Глупо, конечно, с моей стороны было принимать это письмо всерьез, — сказал Пуаро.

Джап удалился.

— Старина Джап почти не изменился, — сказал Пуаро.

— Он постарел, — сказал я. — Седой, как старый барсук, — добавил я мстительно.

Пуаро, прокашлявшись, сказал:

— Знаете, Гастингс, есть небольшие накладочки — мой парикмахер удивительно изобретательный человек. Так вот, вы прикрепляете накладочку к коже головы и начесываете на нее свои собственные волосы. Это не парик, но... вы понимаете...

— Пуаро, — взорвался я, — раз и навсегда избавьте меня от кретинских изобретений вашего парикмахера. Что такого особенного произошло с моей макушкой?

— Ничего, право — ничего.

— Не хотите же вы сказать, что у меня ужасающая лысина?

— О, нет. Конечно, нет!

— Просто от сильной жары волосы немного поредели. Я обзаведусь каким-нибудь хорошим средством для волос — и все будет о'кей.

— *Precisément* <sup>1</sup>.

— Да и вообще, Джапа это никаким образом не касается! Он всегда норовит оскорбить меня. И чувства юмора у него нет вовсе. Он из тех, кто смеется, когда у человека, собирающегося есть, утаскивают стул.

— Очень многие смеются в таких случаях.

— Ну и полнейшая дурость.

— Разумеется — с точки зрения того, кто собирался есть.

— Ну ладно, — сказала я, немного успокоившись. (Должен признаться, меня очень задевает, когда начинают говорить о моих волосах). — Мне, право, жаль, что это дело с анонимным письмом оказалось пустышкой.

— Я действительно ошибся. Что-то в этом письме меня насторожило. Увы, старею и становлюсь подозрительным, как старый и слепой цепной пес, который рычит даже тогда, когда близости никого нет.

— Если мне снова удастся работать с вами, то мы поищем что-нибудь получше.

— Допустим, преступление можно было бы заказывать, как обед. Что бы вы выбрали?

— Дайте подумать. Что у нас в меню? Ограбление? Подлог? Нет, думаю, это не подойдет. Слишком по-вегетариански. Это должно быть убийство, и убийство необычное.

— Само собой разумеется. *Hors d'ceurgès*.

— Кто будет жертвой — мужчина, женщина? Пожалуй, мужчина. Какая-нибудь знаменитость. Американский миллионер. Премьер-министр. Крупный издатель. Преступление происходит, скажем, в кабинете с шикарной старинной библиотекой. А что касается оружия — то это может быть какой-нибудь необычный кинжал или тяжелый предмет — резной каменный божок.

Пуаро вздохнул.

— Да, конечно, — продолжал я. — Остается еще яд. Либо револьверный выстрел в ночи. Потом нужна одна, а может, и две красивые женщины, молодые...

— ... с золотистыми волосами, — продолжил мою мысль Пуаро.

— Да, одна из красавиц — блондинка и находится под несправедливым подозрением: между нею и убитым были какие-то разногласия. Ну и другие подозреваемые: еще одна дама — постарше, жгучая брюнетка — тип роковой женщины; друг или соперник убитого; его секретарь — темная лошадка; какой-нибудь всеобщий любитель, рубаха-парень с грубовато-добродушными манерами; парочка уволенных слуг; букмекер или что-нибудь в этом роде, ну и недалекий детектив, вроде нашего Джапа. Пожалуй, все.

— В вашем представлении это и есть сливки?

— Вижу, вы думаете иначе.

Пуаро грустно взглянул на меня.

— Вы очень удачно спародировали чуть ли не все детективные истории, которые были написаны.

— А что заказали бы вы?

Пуаро закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Голос, сквозь полусжатые губы, напоминал мурлыканье кота.

— Очень простое преступление. Преступление без сложных и запутанных обстоятельств, бурных страстей. Что-нибудь из домашней жизни, очень интимное.

— Как может преступление быть интимным?

<sup>1</sup> Именно так (франц.).

— Представим, — продолжал вполголоса Пуаро, — что четверо играют в бридж, а один человек сидит отдельно, в кресле у камина. В конце вечера обнаруживается, что человек у камина — убит. Это сделал один из четверых, когда на время выходил из игры. Остальные были так увлечены, что ничего не заметили. Вот это преступление! Кто же из четверых?

— Ну, не вижу в этом ничего волнующего.

Пуаро бросил на меня укоряющий взгляд:

— Конечно. Ведь здесь нет причудливых кинжалов, шантажа, не фигурируют украденные из глазниц какого-нибудь божества изумруды невиданной величины, нет загадочных восточных ядов. Гастингс, вы склонны к мелодраме. Одного убийства вам недостаточно, подавай сразу несколько.

— Что же, признаюсь: второе убийство в романе как-то всегда меня приободряет. Признайтесь, что если убивают в первой главе, а потом на протяжении всей книги копаются по очереди в алиби всех персонажей — это просто приводит в уныние.

Завонил телефон. Пуаро подошел к аппарату.

— Алло, — сказал он, — алло. Да, Эркуль Пуаро слушает.

Слушал он с минуту или две, и я заметил, как выражение его лица меняется.

Его ответы были краткими:

— Mais oui...<sup>1</sup>

— Да, конечно.

— Ну разумеется, мы приедем.

— Естественно.

— Возможно, все так, как вы говорите.

— Да, я захвачу. А toutia l heure<sup>2</sup>.

Он положил трубку и повернулся ко мне.

— Гастингс, это звонил Джап. Он только что вернулся в Скотланд Ярд. Из Андовера пришло сообщение... Пожилая женщина, по фамилии Ашер, найдена убитой в своем магазинчике, где она торговала газетами и дешевыми сигаретами.

Я был обескуражен. Я ожидал чего-нибудь необычного, из ряда вон выходящего. И убийство какой-то старушки, содержавшей табачную лавчонку, показалось мне неинтересным.

Пуаро мрачно и неторопливо продолжал:

— Полиция Андовера полагает, что они уже могут арестовать убийцу.

Я почувствовал еще большее разочарование.

— Похоже, что эта женщина была в плохих отношениях с мужем. Он пьян, и когда пьян — нехорош. В этом все дело.

Тем не менее, — продолжал Пуаро, — в полиции хотели бы взглянуть на анонимное письмо, которое я получил. Я сказал, что мы с вами немедленно отправляемся в Андовер.

Я немного воспрянул духом. Каким бы незначительным ни было преступление, это все же было преступление. Ведь прошло уже много времени с тех пор, как я сталкивался с преступлениями и с преступниками.

Я не обратил тогда внимания на то, что сказал Пуаро дальше. Значение этой фразы я осознал много позднее.

Он сказал: «Это начало».

#### ГЛАВА 4. МИССИС АШЕР

В Андовере нас принял инспектор Глен — высокий светловолосый мужчина с приятной улыбкой. Он рассказал:

— Преступление обнаружил полицейский констебль Довер в час дня 22 числа. Делая обход своего участка, он толкнул дверь магазинчика и обнаружил, что она незаперта; вошел, и первой его мыслью было — магазинчик пуст. Направив луч фонарика через прилавок, он увидел на полу тело пожилой женщины. Когда на место прибыл полицейский врач, выяснилось, что ей нанесли тяжелый удар по затылку и наступила смерть... Нам удалось установить время. Мы нашли человека, который покупал у нее табак в 5.30. А второй мужчина зашел и решил, что магазинчик пуст. Он предполагает, что это было между 5.30 и 6.05. Пока не удалось найти никого, кто видел бы мистера Ашера, ее мужа, по соседству, но говорить о чем-нибудь окончательно еще рано. Его видели в «Трех коронах» в девять вечера, очень пьяного.

— Он неблагонадежный субъект? — спросил Пуаро.

— Чрезвычайно неприятный.

<sup>1</sup> Разумеется, да (франц.)

<sup>2</sup> Сейчас же (франц.)

— Он не жил с женой?

— Нет. Они разъехались несколько лет назад. Ашер — немец. Когда-то был официантом, потом стал пить и постепенно допился до того, что на работу его куда не брали. Жена некоторое время работала в услужении. Она давала мужу достаточно денег, чтобы он мог содержать себя, но он все пропивал и приходил кланчить снова, устраивал сцены. Поэтому она нанялась к мисс Роз в Гранже, думала, это в трех милях от Андовера, в деревне, и туда ему не так просто будет добраться. Когда мисс Роз умерла, она оставила миссис Ашер небольшую сумму, это позволило ей открыть свое дело — она открыла табачную лавочку, где торговала и газетами, — совсем крохотный магазинчик. На жизнь ей хватало. Но Ашер и теперь постоянно приходил к ней и угрожал. Чтобы избавиться от него, она по-прежнему давала ему деньги — пятнадцать шиллингов регулярно, каждый месяц.

— У них были дети?

— Нет, только племянница. Она служит неподалеку от Овертона. Серьезная молодая женщина.

— И вы говорите, что Ашер угрожал жене?

— Совершенно верно. Пьяный был невыносимым: ругался, угрожал, что разобьет ей голову. Нелегко ей приходилось, этой миссис Ашер.

— Сколько ей было лет?

— Около шестидесяти. Трудолюбивая, заслуживающая всяческого уважения женщина!

Пуаро мрачно произнес:

— Так вы считаете, инспектор, что именно Ашер и совершил преступление? Инспектор осторожно прокашлялся.

— По-моему, утверждать это — рано, месье Пуаро, но мне хотелось бы услышать, что Франц Ашер скажет о том, как он провел вчерашний вечер. Если он сможет подтвердить свое алиби — что ж, хорошо. Если нет...

Последовала многозначительная пауза.

— Из магазинчика ничего не пропало?

— Ничего. Деньги в кассе не тронуты. Никаких признаков грабежа.

— Вы предполагаете, что Ашер явился в магазин пьяный и в результате — убийство?

— Этот вариант наиболее вероятен. Но должен признаться, сэр, что мне хотелось бы еще раз взглянуть на странное письмо, которое вы получили. Я хочу убедиться, не мог ли его написать Ашер.

Пуаро вручил ему письмо, и инспектор начал читать. После долгой паузы он сказал:

— Сомневаюсь, чтоб Ашер употребил слово «наша» о британской полиции — если, конечно, это не специальная уловка, но сомневаюсь, чтоб у него на это хватило ума. Это не человек — настоящая развалина. У него руки трясутся, он не смог бы напечатать письмо так четко. Да и бумага, чернила слишком хорошего качества. Странно, что в письме названо 21-е число. Конечно, это может быть просто совпадением. Но такого рода совпадения мне не нравятся. Слишком уж в точку.

Минуту или две он молчал, все еще хмурия лоб.

— АБС — какого дьявола? Кто это может быть? Мери Драуэр, ее племянница, сможет что-то объяснить? Странное дело. Если бы не письмо, я был бы уверен, что это работа Франца Ашера.

— Что вы знаете о прошлом миссис Ашер?

— Она из Хемпшира. Еще девушкой начала работать прислугой в Лондоне — там-то она и познакомилась с Ашером и вышла за него замуж. Во время войны им, по-видимому, пришлось несладко.

Вошел констебль.

— Да, Бригс, что случилось? — спросил инспектор.

— Мы привезли его сюда.

— Где вы его нашли?

— Прятался в товарняке, в тупике на станции.

— Вот как? Ну давайте его сюда.

Франц Ашер оказался действительно жалким, опустившимся субъектом. Мутные глаза его с беспокойством перебежали с одного лица на другое.

— И чего вам от меня нужно? Я ничего не сделал. Вы ответите за то, что притащили меня сюда. Ты, свинья, как ты смеешь? — Но тут же одумался и продолжил совсем другим тоном: — Нет, нет, я ничего плохого не имел в виду. Вы не станете обижать бедного старика, не станете причинять ему зло. Все обижают бедного старика Франца. Бедного старого Франца.

Он начал плакать.

— Прекратите, — сказал ему инспектор. — Возьмите себя в руки. Я вас ни в чем

не обвиняю — пока. И вы не обязаны заявлять на себя, если только сами этого не хотите. Но с другой стороны, если вы не замешаны в убийстве своей жены...

Ашер прервал его, голос у него сорвался в истерический визг.

— Я не убивал ее! Я не убивал ее! Это все вранье! Вы, проклятые английские свиньи, вы все против меня. Не убивал я ее, не убивал!

— Но достаточно часто грозились ее убить, Ашер.

— Нет, нет. Вы не понимаете, это просто шутка. Я с Алисой так шутил. Она это понимала.

— Интересная шутка! Потрудитесь сказать, где вы были вчера вечером, Ашер.

— Да, да. Я все расскажу. Я и близко не подходил к Алисиному магазинчику. Я был с друзьями — с хорошими друзьями. Мы были в «Семи звездах», потом в «Красной собаке».

Он торопился, слова спотыкались друг о друга.

— Дик Виллоуз — он был со мной. И старый Керди, и Джордж, и Плат, и еще много других парней. Говорю вам, я и близко там не был! Говорю вам правду, клянусь богом!

Голос у него снова сорвался на крик. Инспектор кивнул своему подчиненному.

— Уберите его. Задерживается по подозрению.

Не знаю, что и думать, — сказал он, когда трясущегося старика, продолжающего кого-то проклинать и что-то выкрикивать, увели. — Если бы не письмо, я сказал бы, что это его работа.

— А кто эти люди, которых он упоминал?

— Такая же публика. На их показания нельзя полагаться. Да и не сомневаюсь, что большую часть вечера он был с ними. Почти все зависит от того, видел ли его кто-нибудь у магазинчика между половиной шестого и шестью вечера.

Пуаро задумчиво покачал головой.

— Вы уверены, что из магазина ничего не пропало?

Инспектор пожал плечами.

— Тут ничего не скажешь. Могли взять пару пачек сигарет, но вряд ли из-за этого стали бы убивать.

— А не появилось ли, как бы это точнее выразиться, — не появилось ли там чего-нибудь, чего там раньше не было? Чего-нибудь странного, неподходящего?

— Там был железнодорожный справочник, — сказал инспектор.

— Железнодорожный справочник?

— Да, открытый и перевернутый вниз страницами на прилавок. Похоже, что кто-то смотрел расписание поездов на Андовер. Либо она сама, либо покупатель.

— Она продавала такие вещи?

Инспектор покачал головой. Она продавала «Расписание» по пенни за штуку. А это — большой справочник, такие продают в магазинах Смита или в больших магазинах канцелярских принадлежностей.

Глаза у Пуаро заблестели. Он подался вперед.

— Так вы говорите — железнодорожный справочник. Справочник Брешдо или АБС?

У инспектора широко раскрылись глаза.

— Бог мой, — сказал он. — Это был АБС.

## ГЛАВА 5. МЕРИ ДРАУЭР

Интерес к этому делу у меня возник, когда я впервые услышал о железнодорожном справочнике АБС. Упоминание о железнодорожном справочнике (известном в просторечии как АБС, потому что названия железнодорожных станций там располагались по алфавиту) странно взволновало меня. Наверняка это не может быть вторым совпадением!

Заурядное убийство принимало новый оборот. Кто этот загадочный убийца, оставивший подле тела железнодорожный справочник?

Сразу после полицейского участка мы отправились в морг. Мы хотели увидеть тело убитой. Странное чувство овладело мной, когда я смотрел на старое, морщинистое лицо, редкие седые волосы, туго стянутые с висков на затылок. Лицо было совершенно спокойным, как будто умерла она вовсе не насильственной смертью.

— Она так и не узнала кто ее ударил, — заметил сержант. — Это говорит доктор Кер. Я рад, что это так: она была достойной женщиной.

— Должно быть, когда-то она была красива, — сказал Пуаро.

— Неужели? — недоверчиво пробормотал я.

— Взгляните на эти высокие скулы, четко очерченное лицо, форму головы. Он вздохнул, закрыл простыней лицо убитой, и мы вышли из морга.

Наше следующее короткое интервью состоялось с полицейским врачом. Доктор Кер оказался симпатичным человеком средних лет. Манера говорить у него была краткая и убедительная.

— Оружие не найдено. Невозможно сказать, что это было. Тяжелая трость, дубинка, набитый песком мешочек — любое из того, что я перечислил.

— Много силы нужно иметь для такого удара?

Врач бросил на Пуаро внимательный взгляд.

— Полагаю, вас интересует, мог ли это сделать трясущийся семидесятилетний старик? Да, вполне мог. Если передняя часть орудия была достаточно тяжелой — даже хилый человек мог это сделать.

— Значит, убийцей могла быть и женщина?

Это предположение привело врача в растерянность.

— Женщина? Должен признаться, мне не приходило в голову. Принимая во внимание психологию, это совсем не женское преступление.

Пуаро в знак согласия закивал головой.

— Верно. Если смотреть фактам в лицо — это маловероятно. Но необходимо продумать все варианты. Тело лежало — как?

Врач подробно описал, как лежало тело. Он считал, что женщина стояла спиной к покупателю (а значит — к своему убийце), когда ее ударили. Она упала за прилавок и оставалась вне поля зрения входящих в магазин.

Мы поблагодарили доктора Кера, а когда уходили, Пуаро сказал:

— Вы видите, Гастингс, у нас появился еще один довод в пользу невинности Ашера. Если бы он оскорблял жену и угрожал ей, она стояла бы лицом к нему и к прилавку. А вместо этого она стояла к убийце спиной — она, видно, потянулась за сигаретами или табаком для покупателя.

— Страшновато получается.

Пуаро мрачно кивнул.

— *Rauve femme*<sup>1</sup>, — пробормотал он. Потом взглянул на часы. — Овертон, я думаю, отсюда всего в нескольких милях. Может быть, отправимся туда и поговорим с племянницей убитой?

— Вы не хотите взглянуть на место преступления?

— Сделаю это позднее, есть причина.

Больше он ничего объяснять не стал, и несколько минут спустя мы уже ехали по лондонской дороге в направлении к Овертону.

По адресу, которым нас снабдил инспектор, мы нашли большой дом, располагавшийся в миле от деревни в сторону Лондона.

Мы позвонили. Дверь открыла хорошенькая темноволосая девушка с заплаканными глазами.

Пуаро мягко проговорил:

— Вы, вероятно, Мери Драуэр? Служите здесь горничной?

— Да, сэр. Верно, я Мери Драуэр.

— Тогда мы побеседуем с вами несколько минут, если не возражает, ваша хозяйка.

— Хозяйки нет дома, сэр. Да она и не стала бы возражать, я уверена. Входите, сэр.

Она провела нас в небольшую гостиную. Усаживаясь в кресло, Пуаро внимательно посмотрел в лицо девушки.

— Вы, конечно, уже слышали о смерти вашей тети?

Девушка кивнула, глаза ее наполнились слезами.

— Сегодня утром, сэр, приезжала полиция. Это было ужасно! Бедная тетя! Такая тяжелая жизнь — и такой конец. Ужасно!

— Полицейские не предлагали вам вернуться в Андовер?

— Они сказали, что в понедельник мне надо приехать на дознание. Но я просто не могу представить, как останусь одна в этой комнатке над магазином. И потом, оставить хозяйку одну — мне не хотелось бы доставлять ей неудобства.

— Вы любили свою тетьку, Мери?

— Да, сэр. Тетушка всегда была добра ко мне. Я приехала к ней в Лондон, когда мне было одиннадцать. У меня тогда умерла мать. Когда мне исполнилось шестнадцать, я пошла в прислуги, приезжала к тете на выходные. Этот немец изрядно портил ей жизнь. Она называла его «мой старый черт». Он нигде и никогда не оставлял ее в покое. Паразит и тунедец.

Девушка говорила с горячностью.

— А ваша тетя никогда не пыталась прибегнуть к помощи закона, чтобы от него избавиться?

— Он был ей мужем, от этого никуда не денешься.

<sup>1</sup> Несчастливая женщина (франц.).

Она произнесла это убежденно.

— Скажите, Мери, он угрожал ей?

— Да, сэр. Он говорил ужасные вещи. Говорил, что перережет ей горло. И еще похуже кое-что говорил. Ругался, сыпал проклятиями по-немецки и по-английски. И все же тетя всегда вспоминала: когда она выходила за него замуж, он был видный мужчина. Трудно поверить, сэр, в подобную метаморфозу.

— Так что же, Мери, вы слышали все эти угрозы и не удивились, когда узнали что случилось?

— Очень удивилась, сэр. Я ни на минуту не верила, что он на это способен. Это были просто грязные угрозы и ничего больше. Да тетя его и не боялась. Он становился похож на поджавшего хвост пса, стоило ей на него прикрикнуть. Это он ее боялся, не она его.

— И все-таки, она давала ему деньги?

— Ну, сэр, ведь он был ей мужем.

— Вы уже говорили это. — Пуаро помолчал, потом сказал: — Предположим, он ее не убивал.

— Не убивал?

Она смотрела с удивлением.

— Да, именно это я и сказал. Предположим, убил кто-то другой. Не представляете, кто бы это мог быть?

Она смотрела теперь на него с еще большим удивлением.

— Не имею ни малейшего представления, сэр.

— Ваша тетя никого не опасалась?

Мери покачала головой.

— Тетя не боялась людей. У нее был острый язык, и она могла постоять за себя.

— Может, вы слышали, что кто-то таил на нее злобу?

— Нет, сэр, нет.

— Она не получала анонимных писем?

— Каких писем, вы сказали, сэр?

— Писем без подписи. Или подписанных чем-то вроде АБС. — Он очень внимательно смотрел на нее, но она была в растерянности и недоуменно покачала головой.

— У нее были другие родственники, кроме вас?

— Сейчас никого, сэр. У них в семье было десять детей, но только трое дожили до зрелого возраста. Дядя Том погиб в войну, дядя Генри уехал в Южную Америку и с тех пор от него не было никаких вестей. Мама умерла, так что осталась одна я.

— У нее были сбережения?

— Было немного отложено в банке, сэр. Достаточно для того, чтобы ее прилично похоронить, — так она сама говорила. А вообще-то она едва концы с концами сводила, имея такого-то мужа.

Пуаро задумчиво кивнул. И сказал, скорее самому себе, чем девушке:

— Да, пока все неясно. — Он поднялся. — Если вы мне понадобится, я напишу вам сюда.

— Видите ли, я уже сообщила хозяйке, что ухожу. Мне не нравится жить в деревне. Я работала здесь только потому, что думала: тете приятно, что я здесь рядом. Но теперь, — снова слезы выступили у нее на глазах, — теперь у меня нет причины оставаться здесь, и я собираюсь вернуться в Лондон. Там девушке веселее.

— Когда вы устроитесь, сообщите, пожалуйста, свой адрес. Вот моя визитная карточка.

Он протянул ей карточку. Девушка взглянула на нее с недоумением.

— Так вы не из полиции, сэр?

— Я частный детектив.

Она несколько минут смотрела на него молча. Наконец произнесла:

— В этом деле что-то не так, сэр?

— Да, дитя мое, тут есть нечто странное. Может быть, в дальнейшем вы сможете мне помочь.

— Я сделаю все, что смогу, сэр. Это несправедливо, сэр, что ее убили. — Несколько странное выражение, но очень трогает.

Спустя несколько минут мы уже ехали по дороге в Андовер.

## ГЛАВА 6. СЦЕНА УБИЙСТВА

Улица, на которой произошла трагедия, была небольшим ответвлением от главной. Магазинчик миссис Ашер находился по правую сторону.

Когда мы свернули туда, Пуаро взглянул на часы, и я понял, почему он оттяги-



вал посещение места преступления до этого часа. Было около половины шестого. Ему хотелось как можно точнее воссоздать атмосферу преступления.

Но если он откладывал свой визит именно поэтому, то сделал это напрасно. В данный момент улица меньше всего напоминала вчерашнюю. На улице было множество мелких лавочек, расположенных между частными домами людей с небольшим достатком. Я прикинул, что в это время здесь должно быть многолюдно. Жители возвращаются с работы, на мостовой множество играющих детей. Сейчас же здесь стояла толпа людей, глазевших на магазинчик.

Оказалось именно так, как я предполагал. Перед маленьким невзрачным магазинчиком, витрина которого была закрыта ставнями, стоял издерганный полицейский, который убеждал толпу разойтись. С помощью других полицейских это, наконец, удалось сделать: какое-то количество людей сдалось и отправилось заниматься своими делами, но на их месте тут же появились другие.

Пуаро остановился немного в стороне от толпы. Оттуда хорошо была видна надпись над магазинчиком: «А. Ашер». Пуаро несколько раз повторил: «Qui c'est peut-être la...»<sup>1</sup>

Потом сказал:

— Зайдемте внутрь, Гастингс.

Я был только рад это сделать. Мы пробрались через толпу и предъявили молодому полицейскому бумаги, которыми снабдил нас инспектор. Констебль кивнул, отпер дверь, и мы вошли, провожаемые любопытными взглядами зевак.

Из-за закрытых ставен внутри было темно. Констебль нашел выключатель и зажег свет. Слабая лампочка под потолком давала мало света, помещение все равно казалось полутемным.

Я огляделся. Тусклое маленькое помещение. Несколько дешевых изданий журналов и вчерашних газет, которые уже успели покрыться набравшейся за день пылью. За прилавком, до потолка, — ряд полок, заполненных коробками табака и пачками дешевых сигарет. Несколько жестянок с мятными лепешками и ячменным сахаром. Заурядный маленький магазинчик, каких тысячи.

Констебль неторопливым голосом с характерным хемпширским выговором рассказывал, как все выглядело.

— Прямо тут, за прилавком, она и лежала.

— В руках у нее ничего не было?

— Нет, сэр. Но рядом валялся пакетик табака.

Пуаро кивнул. Он внимательно оглядывал комнату, присматривался, запоминал.

— А где был железнодорожный справочник?

— Здесь, сэр. — Констебль ткнул в прилавок. — Он был открыт как раз на странице, где Андовер, и перевернут вверх корешком. Похоже, что убийцу интересовали поезда на Лондон, так что он, должно быть, не из Андовера. Хотя справочник мог принадлежать какому-нибудь случайному человеку, который к убийству никакого отношения не имеет и просто забыл его там.

— А отпечатки пальцев? — подсказал я.

Он покачал головой.

— Все помещение осмотрено самым тщательным образом, сэр. Ничего не обнаружено.

— И на прилавке нет? — спросил Пуаро.

— Даже слишком много, сэр. Все перемешалось, наслоилось друг на друга.

Пуаро поинтересовался, где жила убитая.

— Пройдите в эту дверь в задней части магазина, сэр. Извините, не могу подняться с вами, мне нужно быть здесь.

Пуаро прошел в указанную дверь. Я последовал за ним. За магазинчиком было что-то вроде маленькой гостиной с крохотным закутком, который служил кухней. Везде была чистота и порядок, но все выглядело довольно убого. На каминной полке — три фотографии. Я подошел, чтобы лучше рассмотреть их, Пуаро последовал за мной. Дешевенький портрет девушки, которую мы навестили сегодня в первой половине дня, Мери Драуэр. Она была одета, вероятно, в свое лучшее платье. На лице — неестественно-напряженная улыбка, и я подумал, насколько лучше передает суть человека моментальный любительский снимок. Вторая фотография явно из ателье высокого разряда: прекрасно выполненный портрет пожилой женщины с седыми волосами, закутанной в мех. Я догадался, что это и есть та самая мисс Роз, которая оставила миссис Ашер небольшую сумму, позволившую ей открыть дело. Третья фотография была самой старой — выгоревшей и пожелтевшей. На ней — мужчина и женщина в старомодных костюмах. В их позе — ощущение какой-то торжественности.

<sup>1</sup> Да, это, наверное, здесь (франц.).

— Скорее всего, это свадебная фотография, — сказал Пуаро. — Посмотрите, Гастингс, разве я не говорил вам, что она была красивой женщиной?

Ни старомодная прическа, ни причудливая одежда не могли скрыть юную прелесть девушки на фотографии: тонко выгнутые черты лица, одухотворенное выражение. Я внимательно присмотрелся ко второй фигуре. Невозможно было узнать в этом молодцеватом человеке с военной выправкой теперешнего обрюзгшего Ашера.

Я припомнил хитрое и злобное выражение лица старого пьяницы и изможденное тяжелой жизнью и работой лицо убитой женщины и подумал, как безжалостно обходится с нами время.

Из гостиной лестница вела в верхние комнаты. Одна была пуста, вторая, очевидно, служила спальней. После обыска в помещении оставили все как было. Пара старых, выношенных одеял на постели, немного тщательно заштопанного белья в нижнем ящике комода. В другом ящике — кулинарные рецепты, роман в мягкой бумажной обложке под названием «Зеленый оазис», пара новых чулок — трогательных в своей дешевой новизне, две фигурки дрезденского фарфора: пастушок и собака в желтовато-голубых подпалинах, черный дождевик и шерстяной джемпер, висящие на вешалках — вот и вся собственность покойной Алисы Ашер.

Если и были какие-то личные бумаги, то их забрала полиция.

— *Pauvre femme*,<sup>1</sup> — опять пробормотал Пуаро. — Пойдемте, Гастингс, для нас с вами здесь ничего нет.

Когда мы снова оказались на улице, он замешкался, а потом решительно направился через дорогу. Как раз напротив магазинчика миссис Ашер располагалась лавка зеленщика — из тех, кто большую часть товара располагают прямо на улице.

Пуаро шепотом проинструктировал меня и вошел в лавку. Переждав минуту или две, я последовал за ним. В этот момент Пуаро как раз покупал салат. Я купил фунт клубники. Пуаро оживленно беседовал с обслуживавшей его полной женщиной.

— Убийство произошло как раз напротив вас? Ну и дела! Сколько, наверное, об этом разговоров!

Женщине, по-видимому, все эти разговоры об убийстве порядком надоели. Целый день с ней говорили только об этом.

— Вчера вечером здесь все выглядело иначе, — продолжал Пуаро. — Вы, может быть, даже видели, как убийца входил в магазин: высокий светловолосый мужчина с бородкой. Говорят, русский.

— Русский? — заинтересовалась женщина. — Так это сделал русский?

— Насколько я понял, полиция уже арестовала его.

— Неужели? — Женщина была взволнована.

— Я думал, вам удалось заметить его вчера вечером.

— Видите ли, у меня просто нет времени смотреть по сторонам. Вечером у нас всегда много покупателей, да и на улице народу хватает, люди возвращаются после работы домой. Высокий, с бородкой? Нет, никого похожего я поблизости не видела.

Тут подал свою реплику я:

— Извините меня, сэр. Вас неправильно информировали. Мне говорили, что это был невысокого роста брюнет.

Немедленно развернулась интересная дискуссия, в которой принимали участие все: хозяйка, ее художавый муж и мальчик с хриплым голосом — их помощник. Оказалось, что видели не менее трех темноволосых мужчин, а мальчик-помощник видел и высокого блондина, но без бороды.

Мы сделали покупки и вышли из лавки, оставив в смятении ее хозяев.

— И зачем все это понадобилось? — спросил я Пуаро с упреком.

— *Parbleu*<sup>2</sup>. Я хотел выяснить, замечен ли здесь входящий в магазин напротив.

— Это можно было выяснить, не нагромождая столько лжи?

— Нет, мой друг. Если бы я просто спросил, то вообще не получил бы ответа на свои вопросы. Вы сам англичанин, но не можете правильно оценить реакцию англичанина на прямой вопрос. Он немедленно вызывает подозрение, и естественное следствие этого — умолчание. Если бы я стал спрашивать этих людей прямо, они замкнулись бы, как устрица в своей раковине. Но когда я сам сообщаю им что-то из ряда вон выходящее, языки непременно развязываются. Потом, не забывайте, что случилось это в «час пик», все были заняты своими делами, да и народу на улице было много. Убийца выбрал удачное время, Гастингс.

Пуаро помолчал, потом продолжил:

— У вас ни на гран здравого смысла, Гастингс. Я ведь сказал, чтоб вы купили какую-нибудь *quelconque*,<sup>3</sup> а вы намеренно берете клубнику! Вот она уже и потекла,

<sup>1</sup> Несчастная женщина (франц.)

<sup>2</sup> Черт побери! (франц.)

<sup>3</sup> Ерунда (франц.).

и вы рискуете испортить костюм.

Я в растерянности увидел, что так оно и есть. И поторопился вручить клубнику проходившему мимо мальчишке, которого это очень удивило и насторожило. Пуаро прибавил к этому свой салат, что привело мальчишку в окончательное замешательство.

Пуаро с завидной настойчивостью продолжал читать мне мораль. «Никогда не берите клубнику в дешевых овощных лавках. Клубника должна быть свежайшей, иначе она сразу потечет. Бананы, яблоки, капусту — пожалуйста. Но клубнику...»

— Просто это первое, что пришло мне в голову, — пытался я оправдаться.

— Это не делает чести вашему воображению, — сурово изрек Пуаро.

На тротуаре он на минуту остановился. Дом и лавка рядом с магазином миссис Ашер пустовали. В витрине красовалась табличка с надписью: «Сдается». По другую сторону находился дом с грязными муслиновыми занавесками. К этому-то дому и направился Пуаро, а так как звонка там не оказалось, то он весьма энергично воспользовался дверным молотком.

С некоторой задержкой дверь отворило чумазое дитя.

— Добрый вечер, — сказал Пуаро. — Мама дома?

— А? — произнесло дитя.

Оно уставилось на нас с подозрением и явно неодобрительно.

— Твоя мама дома? — повторил Пуаро.

Потребовалось еще секунд двадцать, чтоб до него дошло, чего от него хотят, и тогда ребенок повернулся и прокричал, обращаясь к верхней площадке лестницы: «Мама, тебя!» А потом быстро исчез в полумраке дома.

Через перила перегнулась остроносенькая женщина, взглянула и начала спускаться вниз.

— Вы зря теряете время, — начала она, но Пуаро снял шляпу и величественно поклонился:

— Добрый вечер, мадам. Я из вечерней газеты. Хочу уговорить вас взять пять фунтов гонорара в обмен на заметку в нашу газету о вашей соседке миссис Ашер.

Сердитые слова замерли у нее на губах, женщина спустилась вниз, приглаживая на ходу волосы и одергивая юбку.

— Проходите в комнату, сюда, налево, пожалуйста. Присаживайтесь, сэр.

Крохотная комнатка была загромождена старинным гарнитуром, но нам все же удалось втиснуться и даже сесть на жесткую софу.

— Вы должны извинить меня, — говорила женщина, — я очень сожалею, что говорила грубо, но вы не поверите, сколько времени отнимают все эти коммивояжеры: тебе вечно пытаются что-то всучить — то пылесос, то чулки, то какие-то мешочки для лаванды и тому подобную чепуху. И все на вид внушают доверие, так красиво говорят. И фамилию узнают. Откуда только... Миссис Фаулер то, миссис Фаулер се...

Пуаро тут же ухватился:

— Надеюсь, миссис Фаулер, вы не откажетесь сделать то, о чем я вас прошу.

— Право, я не знаю. — Пять фунтов очень заманчиво маячили перед глазами миссис Фаулер. — Я знала миссис Ашер, но вот написать...

Пуаро поспешил успокоить ее. От нее ничего этого не требуется. Он только выяснит у нее факты, а интервью напишет сам.

— Самостоятельная женщина была эта миссис Ашер. Не очень, правда, дружелюбная, но у бедняжки хватало неприятностей, это всем известно. А вообще этого Франца Ашера давно надо было посадить. Не то чтоб миссис Ашер его боялась — она и сама могла дать отпор любому, если ее рассердить! Но, как говорят, повадился кувшин по воду ходить, да утонул. Так оно и случилось, убил он ее. А я ведь совсем недалеко была, но не слышала ни звука!

В краткую паузу Пуаро удалось наконец спросить:

— Не получала ли миссис Ашер каких-нибудь странных писем с несколькими буквами вместо подписи? Ну, например, — АБС?

Миссис Фаулер ответила отрицательно, но с явным сожалением:

— Я знаю, что вы имеете в виду — анонимные письма, так их называют. С такими словами, что их вслух прочитать стыдно. Не знаю наверняка, занимался ли Франц Ашер писанием таких писем. Если б и занимался, так миссис Ашер мне об этом не сказала бы. Что вы говорите? Железнодорожный справочник АБС? Нет, никогда такого у нее не видела и уверена: если б кто миссис Ашер такой справочник прислал, я бы об этом знала. Послушайте, можете мне поверить, меня будто громом поразило, когда я обо всем этом услышала. Моя дочка Эдди сказала: «Послушай, ма, — говорит она мне, — у соседки много полицейских». Да, — сразу подумала я, когда об этом услышала, — нельзя ей было жить одной в целом доме, надо было жить с племянницей. От пьяного чего угодно можно ждать. Предупреждала я ее, много раз предупреждала — так оно и вышло. — Она с обиженным видом вздохнула.

— Но никто не видел, как этот Ашер входил в магазин?

Миссис Фаулер презрительно усмехнулась: уж ясное дело, он постарался, чтоб его не заметили.

Она не снизила до объяснения, как удалось мистеру Ашеру проникнуть туда незамеченным, но ей пришлось согласиться, что у дома не было черного хода и что вся округа знала Ашера в лицо.

— Но он ведь не хотел, чтобы его повесили, так что уж сделал все, чтоб его не увидели.

Пуаро продолжал этот разговор, пока миссис Фаулер не начала повторяться. Он заплатил ей обещанную сумму.

— Довольно дорого за такую информацию, — заметил я, когда мы снова оказались на улице.

— Пока — да, но я вложил эти пять фунтов в расчете на будущее.

Я не вполне понял, что он имел в виду, но как раз в этот момент мы чуть было не столкнулись с инспектором Гленом, и выяснять было некогда.

## ГЛАВА 7. МИСТЕР ПАТРИДЖ И МИСТЕР РИДДА

Инспектор Глен был мрачен. Как я понял, он провел полдня, пытаясь составить список тех, кого видели входящими в табачный магазин. Видели трех высоких мужчин, входивших туда с вороватым видом, четверых невысоких мужчин с черными усами, двух с бородами, трех толстяков — все нездешние, у всех, если верить очевидцам, очень подозрительный вид! Удивляюсь еще, что не видели банду гангстеров с револьверами!

Пуаро с сочувствием улыбнулся.

— Кто-нибудь видел Ашера?

— Нет, никто. И это еще одно свидетельство в его пользу. Я только что заявил главному констеблю, что это работа для Скотланд Ярда. Не верю, что преступление совершил местный житель.

Пуаро мрачно заметил:

— Я с вами согласен.

Инспектор сказал:

— Знаете, месье Пуаро, в этом деле что-то неладно, оно мне все больше не нравится.

Прежде чем вернуться в Лондон, мы побеседовали с мистером Джеймсом Патриджем. Он оказался последним, кто видел миссис Ашер живой. Он делал у нее покупки в 5.30.

Мистер Патридж — человек в пенсне, небольшого роста, по профессии банковский служащий. Худощав, очень сдержан и точен во всем, что говорил. Жил он в маленьком домике, таком же опрятном, каким был сам.

— Мистер... Пуаро, — сказал он, взглянув на визитную карточку. — От инспектора Глена? Чем могу быть полезен, мистер Пуаро?

— Насколько я понял, вы были последним человеком, который видел миссис Ашер живой.

Мистер Патридж сложил вместе кончики пальцев и долго смотрел на Пуаро, как на вызывающий сомнение чек.

— Это заявление отнюдь не бесспорно, — произнес он. — Многие могли делать покупки у миссис Ашер после того, как их сделал я.

— Если это и так, то они не пришли и не заявили об этом.

Мистер Патридж прокашлялся.

— У многих отсутствует чувство долга перед обществом.

— Чрезвычайно верно подмечено, — сказал Пуаро. — Вы, как я понял, пришли в полицию по велению души?

— Безусловно. Как только я услышал об этом прискорбном случае, я понял, что мое заявление может быть полезным, и сообразно этому поступил.

— Не будете ли добры повторить свой рассказ для меня? — торжественно произнес Пуаро.

— Разумеется. Я возвращался домой, и ровно в 5.30...

— Простите, а как получилось, что вы так точно заметили время?

Мистеру Патриджу явно не понравилось, что его перебивают.

— Пробили церковные часы. Я посмотрел на свои и увидел, что они на минуту опаздывают. Это было как раз перед тем, как я вошел в магазинчик миссис Ашер.

— Вы обычно там делаете покупки?

— Довольно часто. Он находится как раз на пути домой. Раз или два в неделю я покупал у нее две унции табаку «Джон Коттон».

— Вы были знакомы с миссис Ашер? Знали что-нибудь об обстоятельствах ее жизни?

— Абсолютно ничего. Кроме того, что мне нужно, да случайных реплик о погоде, я никогда с ней ни о чем не разговаривал.

— Вы знали, что у нее муж пьяница, который часто угрожал убить ее?

— Нет, мне об этом ничего не известно.

— Вы знали, как она обычно выглядит. Вчера вечером в ее внешнем виде вам ничто не показалось странным? Может, она была взволнована? В ее поведении было что-то необычное?

Мистер Патридж задумался.

— Она была такой, как всегда,— сказал он после некоторого молчания.

Пуаро поднялся.

— Благодарю вас, мистер Патридж, за то, что вы ответили на мои вопросы. Случайно в вашем доме не найдется справочник АБС? Хочу посмотреть, каким поездом лучше вернуться в Лондон.

— На полке, сразу за вами,— сказал мистер Патридж.

На указанной полке находились справочники АБС, Бредшо, биржевый отчет за этот год, справочник Келли, «Кто есть кто» и, наконец, местный справочник.

Пуаро взял АБС, сделал вид, что ищет поезд, потом поблагодарил мистера Патриджа, и мы удалились.

Следующая беседа состоялась с мистером Альбертом Риддлом и носила иной характер. Мистер Альберт Риддл содержал кафе, и разговор шел под аккомпанемент звякающей посуды, которую мыла явно нервничавшая миссис Риддл, рычание собаки мистера Риддла и нескрываемой враждебности самого мистера Риддла.

Это был неуклюжий гигант с широким лицом и маленькими подозрительными глазками. Он ел пирог с мясом и запивал крепким чаем.

— Я ведь уже один раз рассказывал,— проворчал Риддл.— Я к этому делу отношения не имею. Я уже в этой чертовой полиции все рассказал. А теперь, что же, все снова — каким-то иностранцам?

Пуаро бросил быстрый взгляд в мою сторону и проговорил:

— Честно говоря, я вам сочувствую, но что же делать — это убийство!

— Лучше расскажи джентльмену, что ему надо,— нервно проговорила жена.

— Заткни свой паршивый рот,— заорал гигант.

— Вы, я полагаю, пришли в полицию не по собственному желанию,— осторожно заметил Пуаро.

— А какого черта я должен был туда идти? Меня это не касается.

— Совершенно убийство. Полиция выясняет, кто был в магазине. Я лично думаю — как бы это лучше сказать? — было бы естественно, если бы вы пришли сами.

— Мне работать надо. Я разве говорю, что потом не пошел бы туда?

— Но пока дела обстоят так, что полиция сама вас побеспокоила, когда ей сообщили, что видели вас в магазине. Ваши показания удовлетворили их?

— К чему это вы все клоните, мистер? Ни у кого против меня ничего нет. Вам известно, что старуху убил этот ублюдок, ее муж.

— Но его в тот вечер у магазина не видели, а вас видели.

— Но у меня не было причин ее убивать. Может, думаете, я позарился на коробку табака? Или, думаете, у меня мания убийства?

Он угрожающе поднялся с места. Жена закричала: «Берт, не говори таких вещей. Они подумают...»

— Успокойтесь, месье,— проговорил Пуаро.— Мне нужен только рассказ о том, что вы видели в магазине. И то, что вы отказываетесь говорить, кажется мне странным.

— Я отказываюсь?— Мистер Риддл сел на свое место.— Я разве возражаю?

— Вы пришли в магазин в 6.00.

— Ну, если точнее — то была минута или две седьмого. Хотел взять пачку «Голд Блейка». Я толкнул дверь...

— Она была закрыта?

— Ну да. Я подумал, может, магазин закрыт. Но дверь оказалась незапертой. Я зашел, внутри никого не было. Я постучал по прилавку и подождал. Никто не появился, ну я и ушел. Вот и все, можете делать с этим что хотите.

— Вы не видели тела за прилавком?

— Нет, да там и не увидишь, если специально не заглядывать.

— А был на прилавке железнодорожный справочник?

— Был. Лежал обложкой кверху. Мне даже пришлось в голову, что, может, старухе пришлось срочно уехать куда-нибудь поездом и она забыла запереть магазин.

— Вы трогали справочник?

— Не трогал я эту чертову штуку. Делал только то, что говорю.

— А вы не видели никого, кто бы выходил из магазина перед вами?

— Не видел ничего такого. Чего это вы цепляете мне?

Пуаро поднялся.

— Никто вам ничего не цепляет — пока. До свидания, месье.

На улице Пуаро посмотрел на часы.

— Если мы поторопимся, то можем успеть на поезд в 7.02. Давайте-ка поспешим.

## ГЛАВА 8. ВТОРОЕ ПИСЬМО

Мы сидели в вагоне первого класса. Наш экспресс только что отошел от Андовера.

— Преступление, — сказал Пуаро, — совершено человеком среднего роста, рыжеволосым, с родинкой пониже лопатки.

На минуту я ему поверил. Но лукавые искорки в глазах моего друга вернули мне здравомыслие.

— Пуаро! — снова воскликнул я, теперь уже с упреком.

— Друг мой, а чего вы ожидали? Вы смотрели на меня с такой собачьей преданностью, с таким нетерпением ждали от меня шерлок-холмсовских сентенций, что ничего другого мне просто не оставалось. Но если говорить серьезно, то я не знаю, ни как выглядит убийца, ни где он живет, ни как его обнаружить.

— Если бы он оставил хоть какую-то улику, — проговорил я.

— Да, улика, вещественное доказательство — это вас всегда привлекает. Жаль, он не курил и не оставил пепла, а потом не наступил на него сапогом с особой выделкой гвоздями. Нет, преступник не позаботился об этом. Но, по крайней мере, у нас есть железнодорожный справочник — АБС.

— Так вы думаете, он оставил его по ошибке?

— Разумеется, нет. Он оставил его специально. Об этом говорят отпечатки пальцев.

— Но там не было отпечатков!

— Именно это я и имел в виду. Какая вчера была погода? Теплый июньский вечер. Выйдет ли человек на прогулку в такой вечер в перчатках? Следовательно, если отпечатков нет — значит, их тщательно стерли. Человек невинный оставил бы отпечатки, преступник — нет.

— Вы думаете, это поможет что-то узнать?

— Често говоря, Гастингс, я на это не очень надеюсь.

— Да уж, верно, справочник тут не поможет.

— Поможет, но не в том смысле...

— В каком же смысле?

— В определенном. Против нас действует человек, который сделает все, чтобы его не узнали. Но хочет он или не хочет, он в известной мере сам прольет свет на это дело. С одной стороны, мы действительно вроде бы ничего о нем не знаем, но с другой — знаем уже многое. Мне кажется, что его фигура, начиная приобретать очертания. Человек, который хорошо катается на машинке, который покупает дорогую бумагу, который испытывает потребность в самовыражении. Я думаю, когда он был ребенком, его не любили. Он вырос с чувством собственной неполноценности. Все к нему несправедливо. Внутренняя потребность самоутвердиться, привлечь к себе внимание становится все сильнее, а события, обстоятельства обрушиваются на него, давят, принося ему все больше унижений. Это должно было каким-то образом проявиться.

— Ну, это все только предположения, — возразил я.

— А вы предпочитаете обломки спичек и сигаретный пепел? Да, вы всегда предпочитали именно это. Но, по крайней мере, мы можем уже задать себе несколько практических вопросов. Почему АБС? Почему миссис Ашер? Почему Андовер?

— С прошлым этой женщины все более или менее ясно. Беседы с двумя свидетелями тоже ничего не дали: они не сказали ничего, что бы нам уже не было известно.

— По правде говоря, я от них многого и не ожидал. Но нельзя же оставить без внимания кандидатов в убийцы.

— Уж не думаете ли вы...

— Убийца наверняка находится в Андовере или где-то поблизости. Вот возможный ответ на наш вопрос — почему Андовер? Известны двое мужчин, которые побывали в магазине в наиболее вероятное время убийства. Любой из них мог быть убийцей. И ничто не доказывает, что они не убийцы.

— Например, этот грубиян Риддл.

— А я именно Риддла склонен сбросить со счетов. Он нервничал, грубил, явно был не в своей тарелке.

— Но это как раз и доказывает...

— ... что этот человек диаметрально противоположный тому, кто написал анонимное письмо. Нам надо искать человека тщеславного и самоуверенного.

— Человека с определенным положением?

— Возможно. Хотя бывает, что некоторые неуравновешенностью и робостью скрывают тщеславие и самонадеянность.

— Вы хотите сказать, что мистер Патридж...

— Он подходит к этому типу. Больше, однако, пока сказать ничего нельзя. Он действует так, как стал бы действовать автор анонимного письма. Он получает удовольствие от создавшегося положения.

— Вы серьезно думаете...

— Нет, Гастингс. Я лично думаю, что убийца не из Андовера, но ничего нельзя упускать из виду. Хотя я и говорю все время «он», к убийству могла иметь отношение и женщина.

— Но это невозможно!

— Я согласен, что способ нападения мужской. Но вот письмо, скорее, написано не мужчиной, а женщиной.

Несколько минут я молчал, потом спросил:

— Чего мы предпримем дальше?

— Мой энергичный Гастингс, — произнес, улыбаясь, Пуаро, — дальше мы не будем делать ничего.

— Ничего? — Мое разочарование прозвучало слишком явно.

— Разве я волшебник? Или чародей? Чего вы от меня ожидали?

Продумав все детали, я понял, что затрудняюсь дать ответ. Но все равно был убежден, что необходимо что-то делать.

Я сказал:

— Но есть же письмо — бумага, конверт...

— Тут, естественно, все уже сделано. У полиции есть все для такого исследования. Если есть что обнаружить, они обнаружат, можете не беспокоиться.

Этим мне и пришлось удовлетворяться.

Во все последующие дни Пуаро не был настроен обсуждать обстоятельства дела. Когда я пытался вызвать его на откровенность, он только нетерпеливо отмахивался от меня.

Мне кажется, я понимал причину его молчания. В деле миссис Ашер Пуаро потерпел поражение. АБС бросил ему вызов и победил. Мой друг, привыкший к неизменной удаче, оказался слишком чувствительным к поражению — чувствительным настолько, что даже не мог заставить себя говорить на эту тему. Может, это было признаком слабости в великом человеке: ведь даже самые разумные из нас не всегда выдерживают испытания успехом. А у Пуаро головокружение от успеха длилось много лет. Неудивительно, что это, наконец, сказалось на нем.

Понимая это, я щадил самолюбие моего друга и больше не заговаривал о случившемся. Чтобы узнать что-то новое о расследовании, я читал газеты. Сообщения были краткими, об анонимном письме вообще не упоминалось. Считали, что женщина убита неизвестными или неизвестным. Преступление почти не привлекло внимания газет. В нем не было ничего необычного. И вскоре тему убийства старухи на маленькой улочке и вовсе вытеснили более интересные сообщения.

По правде сказать, я и сам стал потихоньку забывать о нем. Мне было неприятно, что Пуаро потерпел поражение. Но 25 июля преступление снова напомнило о себе.

Пару дней я не видел Пуаро, потому что уезжал на уикенд в Йоркшир. Вернулся я в понедельник днем, а письмо пришло шестичасовой почтой. Я запомнил, как Пуаро вдруг затаил дыхание, когда он вскрыл этот конверт.

— Оно пришло, — сказал Пуаро.

Я непонимающе глядел на него.

— Что пришло?

— Продолжение дела АБС. Читайте! — Пуаро протянул мне письмо. Как и предыдущее, оно было напечатано на отличной бумаге.

«Дорогой мистер Пуаро! Так что же, первый выигрыш за мной? Дело в Андовере прошло блестяще. Но забава только начинается. Хочу привлечь ваше внимание к Бексхиллу, что на море. Дата — 25 число сего месяца.

Мы с вами просто прекрасно проводим время! Ваш и проч., АБС».

— Боже милостивый! Пуаро! — воскликнул я. — Значит, этот дьявол собирается совершить еще одно преступление?

— Естественно, Гастингс. Чего же вы ожидали? Думали, что дело в Андовере — единственный случай? Вы разве не помните, как я сказал, что это только начало?

— Но это ужасно!

— Да, ужасно.

— Мы имеем дело с маньяком.

— Да.

Его спокойствие произвело на меня большее впечатление, чем любые громкие слова. Я с содроганием вернул ему письмо.

На следующее утро мы присутствовали на заседании, где собраны были все силы. Главный констебль Сассекса, помощник комиссара уголовного отдела полиции, инспектор Глен из Андовера, суперинтендант Картер из сассекской полиции, Джап и молодой инспектор по имени Кром, доктор Томпсон — известный психиатр, — все были здесь. Не было только представителя хемпширской полиции: хоть штампель на конверте был хемпширский, но Пуаро считал, что этому факту не стоит придавать особого значения.

Дело обсуждали во всех подробностях. Доктор Томпсон оказался приятным средних лет мужчиной, который, несмотря на свою ученость, изъяснялся вполне понятным языком, избегая профессиональной терминологии.

— Не вызывает сомнения, — сказал помощник комиссара, — что оба письма написаны одной рукой, одним человеком. И мы полагаем, что он причастен к убийству в Андовере.

— Совершенно верно. Теперь нас недвусмысленно предупредили о втором убийстве, запланированном на 25-е, то есть на послезавтра, в Бексхилле. Что мы можем предпринять?

Главный констебль Сассекса посмотрел на суперинтенданта.

— Что вы скажете, Картер?

Суперинтендант мрачно покачал головой.

— Нет никаких зацепок относительно предполагаемой жертвы, сэр. Если уж честно говорить, то мы ничего не можем сделать.

— У меня есть предположение, — сказал Пуаро.

Все повернулись к нему.

— Думаю, фамилия жертвы начинается на букву «Б».

— Это уже что-то? — с сомнением произнес суперинтендант.

— Комплекс, связанный с алфавитом, — задумчиво изрек доктор Томпсон.

— Это только предположение, не больше. Оно пришло мне в голову, когда я увидел фамилию Ашер, крупно написанную на двери магазинчика несчастной женщины. Когда я прочитал в письме упоминание о Бексхилле, я подумал, что и жертву и место преступления выбирают в алфавитном порядке.

— Возможно, — сказал доктор. — Но с другой стороны — фамилия Ашер может быть простым совпадением, а жертвой и на этот раз станет пожилая женщина, содержащая магазинчик, и фамилия тут ни при чем. Помните: мы имеем дело с сумасшедшим, и он пока не дал нам никаких улик, указывающих на мотивы преступления.

— Бывают ли у сумасшедших вообще какие-нибудь мотивы, — скептически заметил суперинтендант.

— Разумеется, бывают, сэр. Железная логика — одна из самых характерных черт ярко выраженной мании. Человек может твердо верить, что господь выбрал его из всех, чтобы убивать священников, либо врачей, либо старых женщин в табачных киосках. Не следует сильно увлекаться алфавитным порядком. Бексхилл после Андовера может оказаться простым совпадением.

— По крайней мере, надо принять меры предосторожности, Картер. Составьте особый список фамилий на «Б», особенно владельцев небольших магазинчиков. Приглядывайте за табачными лавочками и газетными киосками. Думаю, больше мы ничего пока не можем предпринять. Обращайте внимание на приезжих.

Суперинтендант застал:

— Это делать в то время, когда кончились занятия и начались каникулы? Люди же просто хлынули к морю на этой неделе.

— Мы должны сделать все возможное, — сухо проговорил главный констебль.

Следующим говорил инспектор Глен.

— Мы наблюдаем за всеми, кто имел отношение к делу Ашер: за двумя свидетелями — Патриджем и Риддлом и, конечно же, за мужем убитой.

Было еще несколько предложений — безрезультатные разговоры, и заседание окончилось.

— Пуаро, — спросил я, когда мы шли вдоль реки, — ведь преступлению наверняка можно помешать?

Он повернул ко мне измученное лицо.

— Сомневаюсь, Гастингс, я очень сомневаюсь. Вспомните, как долго орудовал Джек-Потрошитель. Целый город разумных людей бессилен против безумия одного человека. Сумасшествие, Гастингс, ужасная вещь.



Я до сих пор помню свое пробуждение утром 25 июля. Это было около половины восьмого. Пуаро стоял рядом с кроватью и тихо тряс меня за плечо. Одного взгляда на его лицо оказалось достаточно, чтобы вывести меня из сонного оцепенения.

— Что случилось? — спросил я, быстро вскочив с кровати.

— Это произошло.

— Что? — воскликнул я. — Вы хотите сказать... но ведь сегодня только 25.

— Это произошло вчера поздно вечером.

Я начал быстро одеваться, а он рассказывал о том, что ему сообщили по телефону.

— На пляже Бексхилла обнаружили тело молодой девушки. Выяснилось, что ее зовут Элизабет Барнард, она официантка из кафе, жила с родителями в небольшом, недавно построенном доме. Медицинское освидетельствование дает время убийства где-то между 23.30 и 24 часами.

— Они уверены, что это то самое убийство? — спросил я, торопливо намыливая лицо.

— справочник АБС, раскрытый на странице, где значился Бексхилл, нашли прямо под телом.

Я вздрогнул.

— О, господи! Какой у нас план?

— Через несколько минут за нами придет машина. Я принесу вам сейчас сюда чашку кофе, ничто не должно задерживать нашей поездки.

Двадцать минут спустя мы уже ехали в полицейской машине по мосту через Темзу. С нами был инспектор Кром, который присутствовал вчера на заседании, а теперь был официально назначен вести это дело.

Кром очень отличался от Джапа. Он был значительно моложе Джапа, молчалив, уверен в себе. Хорошо образован и начитан — на мой взгляд, даже слишком хорошо, ибо это делало его излишне самодовольным. Он недавно получил награду за удачное расследование серии убийств и, безусловно, был подходящим человеком для расследования этого дела. К Пуаро он относился слегка покровительственно, демонстративно уступая ему, как уступает молодой человек пожилому.

— Вчера у меня состоялась обстоятельный разговор с доктором Томпсоном, — сказал он. — Его особенно интересуют «серии» убийств. Он считает, что это непременно результат отклонений в психике. Я не профессионал, мне трудно оценить некоторые моменты его теории. Вообще-то в последнем моем деле — не знаю, читали ли вы о нем, дело Мейбл Хоммер, школьницы из Максвелл Хилла, — преступник Купер оказался необычной фигурой. С виду он казался совершенно здравомыслящим человеком, как вы, например, или я. Но существуют специальные тесты — такие, знаете, словесные ловушки, это новая методика. В ваше время этого не было.

Воцарилось молчание. Когда мы проезжали станцию Нью Крос, Кром проговорил:

— Если у вас есть вопросы, касающиеся расследования, пожалуйста, спрашивайте.

— Что известно об убитой девушке?

— Ей двадцать три года, обручена, официантка из кафе «Рыжий кот».

— Она хорошенькая?

— О ее внешности у меня информации нет, — произнес инспектор Кром.

Лукавый огонек мелькнул в глазах Пуаро.

— Вам это кажется не важным, не так ли? Но как часто это решает судьбу женщины.

Инспектор Кром произнес свое вежливое «о, разумеется», и опять воцарилось молчание. Только когда мы подъезжали к Севеноак, Пуаро возобновил разговор.

— Не знаете ли вы, как задушили девушку?

Инспектор Кром коротко ответил:

— Задушена собственным поясом от платья, плотный вязаный пояс.

Пуаро широко открыл глаза.

— Наконец-то полезная информация. Это уже о чем-то говорит, верно?

— Не знаю, — холодно произнес инспектор Кром.

Меня начали раздражать осторожность и недостаток воображения этого человека.

— Это характеризует убийцу, — сказал я. — Собственный пояс девушки! Это говорит об изощренности его ума!

Пуаро бросил на меня взгляд, которого я не понял. На лице у него отразилось нетерпение. Может, он хотел, чтобы я не слишком откровенничал с инспектором? И я замолчал.

В Бексхилле нас встретил суперинтендант Картер. С ним был симпатичный, с умным лицом молодой инспектор по имени Келси. Он должен был работать по делу вместе с Кромом.

— Вы, конечно, захотите провести свое собственное расследование, Кром, — сказал суперинтендант. — Так что я познакомлю вас с основными фактами, и вы можете сразу приступить к делу.

— Благодарю вас, сэр, — сказал Кром.

— Я уже известил ее родителей, — продолжал суперинтендант. — Для них это страшный удар. Я оставил их одних, чтобы они могли прийти в себя, прежде чем вы станете задавать им вопросы.

— Кто у нее есть из родных? — спросил Пуаро.

— Сестра, работает секретарем в Лондоне. Есть у нее молодой человек. Насколько я понял, она должна была вчера быть с ним.

— На справочнике АБС что-нибудь обнаружили?

— Вот он, — суперинтендант кивнул на стол. — Отпечатков пальцев на нем нет. Открыт на странице, где значится Бексхилл. Совершенно новый экземпляр, куплен не здесь. Киоскеры уже опросили.

— Кто нашел тело, сэр?

— Один из любителей ранних прогулок — отставной полковник Джером. Он прогуливал собаку около шести часов утра. Вдруг собака отбежала и стала что-то обнюхивать. Полковнику это показалось странным, и он подошел поближе, чтобы посмотреть. Вел себя профессионально: ни к чему не прикасался и сразу позвонил нам.

— Время убийства?

— Между двенадцатью и часом ночи — это совершенно точно. Наш убийца — человек слова. Он же назвал число 25, пусть даже это будет начало суток.

Кром кивнул.

— Да, типично для сумасшедшего. А больше ничего? Никто не видел ничего, что могло бы помочь?

— Думаю, что все, кто видел девушку в белом, гулявшую с мужчиной прошлой ночью, нам сегодня об этом сообщат. И наверняка их окажется огромное количество: вечер вчера был хороший. В общем, миленькое будет дело.

— Что же, сэр, приступим. Итак, кафе и дом девушки. Иду по обоим адресам. Келси пойдет со мной, — решил Кром.

— А мистер Пуаро? — удивился суперинтендант Картер.

— Я присоединяюсь к вам, — с легким поклоном произнес Пуаро.

Келси, который с Пуаро никогда прежде не встречался, расплылся в широкой улыбке. Кром же это, видно, было не по душе.

— Мистер Пуаро склонен думать, что пояс девушки — это ценная улика, и я думаю, что он захочет его увидеть, — сказал Кром.

— Du tout<sup>1</sup>, — сказал Пуаро. — Вы меня не так поняли.

— Да вы из этой улики вряд ли что-то выудите, — сказал Картер. — Пояс не кожаный, отпечатков пальцев на нем не найдешь. Просто плотный пояс, вязанный из шелкового трикотажа — вещь для сведения счетов с жизнью просто идеальная.

— Ну ладно, — сказал Кром, — пора начинать.

И мы отправились. Сначала приехали в кафе «Рыжий кот». Обычное маленькое кафе, оно располагалось на берегу моря. Крохотные столики, покрытые скатертями в оранжевую клетку, плетеные стулья, ужасно неудобные, с маленькими оранжевыми же подушечками на них. Такие кафе специализируются на утреннем кофе, пяти разных сортах чая и нескольких простеньких блюдах типа яичницы, креветок и макарон с соусом.

Завтрак был в разгаре. Хозяйка торопливо провела нас в удивительно неопрятный кабинет.

— Мисс Мерин? — спросил Кром.

Мисс Мерин была высокой сухощавой женщиной лет сорока, с жесткими рыжими волосами и напояла вылинявшую кошку. Она нервно перебирала пальцами многочисленные складочки и оборочки своего платья.

— Да, это я. Это очень прискорбное происшествие, очень прискорбное. Боюсь думать, как это может повлиять на мои дела.

— Это принесет вам популярность, — ободряюще произнес инспектор Келси. — Вот увидите!

— Ужасно, это все просто ужасно! Это характеризует человеческую сущность с дурной стороны.

Но глаза у нее, тем не менее, заблестели.

— Что вы можете сказать о погибшей девушке, мисс Мерин? Сколько времени она здесь работала?

<sup>1</sup> Вовсе нет (франц.)

- Второе лето, как она здесь.
- Она хорошо работала?
- Да, она была хорошей официанткой — расторопной и добросовестной.
- Она было хорошенькой? — спросил Пуаро.
- Хорошенькой и аккуратной, — почему-то с неприязнью произнесла мисс Мерион.
- В котором часу она окончила вчера работу?
- В восемь часов. Мы закрываем кафе в восемь. На ужины у нас нет спроса.
- Она не говорила вам, как собирается провести вечер?
- Разумеется, нет. В наших отношениях не было доверительности.
- Никто не заходил в кафе, не спрашивал ее?
- Право, не могу сказать, — сказала мисс Мерион холодно.
- Сколько у вас официанток?
- Обычно две, но после 20 июля нанимаю еще двух — временно, до конца августа.
- Элизабет Барнард была не «временной»?
- Она работала постоянно.
- А вторая, мисс Хигли...
- Мисс Хигли — очень милая молодая девушка.
- Она и мисс Барнард дружили?
- Право, не знаю.
- Мы можем с ней встретиться?
- Сейчас?
- Если не возражаете.
- Я пошлю ее к вам, — сказала мисс Мерион, поднимаясь. — Только, пожалуйста, не задерживайте ее надолго. — И рыжая, так похожая на кошку, мисс Мерион вышла из комнаты.
- Чрезвычайно утонченная особа, — прокомментировал инспектор Келси. Он даже передразнил ее мурлыкающий голос: «Право, не могу сказать».
- Пухленькая девушка, темноволосая, розовощекая, с карими глазами, выдававшими возбуждение, влетела в комнату.
- Меня прислала мисс Мерион, — объявила она.
- Мисс Хигли, вы хорошо знали убитую? — спросил Кром.
- Она здесь дольше, чем я, работала. Я пришла в марте. Она спокойная, знаете. Не хохотушка. Не могу сказать, что она совсем уж такая серьезная — пошутить она тоже любит. Ну, в общем, и спокойная и не совсем, я понятно объясняю?
- Как свидетель, эта толстушка Хигли могла просто свести с ума. Каждое свое заявление она повторяла несколько раз, а окончательный улов оказывался ничтожным. Но инспектор Кром был человеком терпеливым и кое-что узнал.
- Мисс Хигли не была особенно близка с покойной. Можно было догадаться, что Элизабет Барнард считала себя выше мисс Хигли. Она была дружелюбна в часы работы, но после работы девушки не встречались. У Элизабет был друг, работавший по недвижимому имуществу неподалеку от станции. Фирма «Корт и Браскил». Он не мистер Корт и не мистер Браскил. Он служащий фирмы. Как его зовут — она не знает, но видела много раз. Симпатичный, очень симпатичный мужчина и всегда хорошо одет.
- В конце концов выяснилось, что Элизет Барнард никому в кафе не рассказывала о своих планах на вечер, но, по мнению мисс Хигли, она должна была встретиться со своим другом. На ней было новое белое платье, «такое хорошенькое, с одним из ее новых воротничков».
- Мы поговорили и с двумя другими девушками, но безрезультатно: Бетти Барнард никому не говорила о своих планах, и никто из них не видел ее в тот вечер в Бексхилле.

## ГЛАВА 10. СЕМЬЯ БАРНАРД

Родители Элизабет Барнард жили в небольшом коттедже, в одном из пятидесяти домиков, построенных предприимчивым строителем-спекулянтом. Их участок назывался Ландудно.

Мистер Барнард, полный мужчина лет пятидесяти, еще издали заметил наше приближение и ждал нас у дверей дома.

— Входите, джентльмены, — сказал он.

Инспектор Келси взял инициативу на себя.

— Это инспектор Кром из Скотланд Ярда. Он приехал, чтобы помочь нам разобраться в вашем деле.

— Скотланд Ярд? — с надеждой произнес мистер Барнард. — Бедная моя девочка! — Grimаса отчаяния исказила его лицо.

— А это — Эркюль Пуаро, тоже из Лондона, а это...

— Капитан Гастингс, — сказал Пуаро.

— Рад познакомиться с вами, джентльмены. Проходите в комнату. Не знаю, сможет ли с вами разговаривать моя бедная жена... Она совсем разбита горем.

Однако, когда нас провели в комнату, появилась и миссис Барнард. Шла она нетвердой походкой человека, которого поразил внезапный тяжелый удар.

Мистер Барнард погладил ее по плечу и усадил в кресло.

— Суперинтендант был к нам очень добр, — сказал мистер Барнард. — Когда нам сообщили о случившемся, он сказал, что не станет задавать вопросов, пока мы не оправимся от шока.

— Как жестоко! Господи, как жестоко! — всхлинула миссис Барнард. — Ничего страшнее не может быть на свете.

Она говорила чуть нараспев, и я даже подумал, что она иностранка, но потом вспомнил название их маленькой усадьбы и понял, что эта напевность и оглушение согласных свидетельствуют о том, что она из Уэльса.

— Я понимаю, мадам, вам очень тяжело, — сказал инспектор Кром. — Мы вам сочувствуем, но нам нужно знать все, чтобы ускорить расследование.

— Да, да, конечно, — с одобрением произнес мистер Барнард.

— Итак, вашей дочери было двадцать три года, она жила с вами и работала в кафе «Рыжий кот».

— Верно.

— Где вы жили прежде?

— Я торговал склянными товарами в Кеннингтоне. Два года назад ушел на пенсию. Всегда мечтал жить у моря.

— У вас две дочери?

— Да. Старшая служит в учреждении, в Лондоне.

— Вас не встревожило, что дочь не вернулась домой прошлой ночью?

— Мы не знали, что она не вернулась, — в слезах проговорила миссис Барнард. — Мы рано ложимся, в девять. Мы не знали, что Бетти не вернулась домой, пока не пришел полицейский офицер и не сказал... сказал...

Она заплакала.

— Ваша дочь часто возвращалась домой поздно?

— Вы ведь знаете, какие теперь девушки, инспектор, — сказал Барнард. — Независимые. А уж в летние вечера они и вовсе не торопятся домой. Но обычно в одиннадцать Бетти всегда была дома.

— Как она попадала в дом? Дверь не запиралась?

— Мы оставляли ключ под половичком.

— Говорят, что ваша дочь помолвлена?

— Они не относились к этому так официально, как это бывало в наши дни, — сказал мистер Барнард. — Его зовут Дональд Фразер, он мне нравится. Бедняга, для него это будет ужасным известием. Интересно, знает ли он уже?

— Он встречался с вашей дочерью каждый вечер после работы?

— Не каждый вечер. Вернее сказать — раз или два в неделю.

— Вы не знаете, собиралась ли она встретиться с ним в этот вечер?

— Она не говорила. Бетти никогда не распространялась о том, где и с кем она встречается. Но она была хорошей девочкой. Была. Господи, не могу поверить.

И миссис Барнард снова разрыдалась.

— Возьми себя в руки, милая. Ну попытайся успокоиться, — уговаривал ее муж.

— Я уверена, Дональд не мог... не мог... — снова разрыдалась миссис Барнард.

— Ну же, возьми себя в руки, — просил мистер Барнард.

— Видит бог, я хотел вам помочь, но беда в том, что я ничего не знаю — ничего, что могло бы помочь найти негодяя, который это сделал. Бетти была веселой жизнерадостной девочкой, и парень, с которым она гуляла, — хороший, порядочный. Зачем же кому-то понадобилось убивать ее — этого я никогда не пойму, это просто бессмысленно.

— Здесь вы близки к истине, — сказал инспектор Крон. — А теперь я хотел бы взглянуть на ее комнату. Там может оказаться что-нибудь существенное — письмо, скажем, или дневник.

— Пожалуйста, проходите, смотрите. — Мистер Барнард поднялся.

Он шел впереди, за ним Пуаро, потом Келси, я замыкал шествие.

На минуту я остановился завязать шнурок на ботинке, и пока это делал, у дома остановилось такси и из него выпрыгнула девушка. Она расплатилась с водителем и заторопилась к дому. В руке у нее был маленький чемоданчик. Когда она вошла в дверь, то увидела меня и резко остановилась.

В ее позе было что-то приковывающее внимание, я был заинтригован.

— Кто вы? — спросила девушка.

Я сделал по направлению к ней несколько шагов, я был смущен и не знал, что ответить. Назвать свое имя? Сказать, что я пришел вместе с полицией? Девушка не дала мне времени на размышления.

— А, — сказала она, — догадываюсь.

Она стащила с головы белую шерстяную шапочку и бросила на пол. Теперь, когда она повернулась и на нее упал свет, я смог лучше рассмотреть ее.

Она напомнила мне датскую куклу, какую в детстве играла моя сестра: коротко подстриженные, падающие на лоб черные волосы, высокие скулы, фигура, которой некоторая угловатость придавала современный вид, — все это не лишено было привлекательности. Красавицей она не была, внешность самая обыкновенная, но в ней чувствовалась жизненная сила, она притягивала.

— Вы мисс Барнард? — спросил я.

— Я Миган Барнард. А вы, я полагаю, из полиции?

— Ну, не совсем... — сказал я.

Она прервала меня:

— Не думаю, что у нас есть что вам сказать. Моя сестра была молодой и жизнерадостной девушкой. Друзей-мужчин у нее не было.

Она рассмеялась и с вызовом посмотрела мне в лицо.

— Надеюсь, я ответила так, как вы ожидали?

— Я не из газеты, если вы это имеете в виду.

— Тогда кто же вы? — Она оглянулась. — А где мама и отец?

— Ваш отец показывает полицейским комнату вашей сестры. А мама — здесь.

Она очень расстроена.

Девушка, судя по ее виду, приняла какое-то решение.

— Идемте сюда, — сказала она.

Она открыла дверь и вошла, я последовал за ней и оказался в маленькой аккуратной кухоньке. Я попытался закрыть дверь, но обнаружил неожиданное сопротивление. В следующий момент в кухню тихо проскользнул Пуаро и закрыл за собою дверь.

— Мадемуазель Барнард? — спросил он, слегка поклонившись.

— Это Эркюль Пуаро, — представил я.

— Я слышала о вас, — сказала девушка. — Вы модный частный сыщик.

— Не очень доброжелательно сказано, но сойдет, — сказал Пуаро.

Девушка села на краешек кухонного стола. Пошарила в сумке и вынула сигареты, сунула сигарету в рот, зажгла и, между двумя затяжками, проговорила:

— Не совсем понимаю, какое отношение имеет Эркюль Пуаро к этому заурядному преступлению.

— Мадемуазель, — сказал Пуаро, — то, чего вы не понимаете и чего не понимаю я, возможно, могло бы составить целый том. Но практического значения это не имеет. А то, что имеет практическое значение, выяснить будет нелегко.

— Что же это?

— Смерть, к несчастью, заставляет людей говорить об умершем только хорошее. Я слышал, как вы только что сказали мистеру Гастингсу: «Милая, жизнерадостная девочка, друзей-мужчин у нее не было». Вы спародировали газеты, и очень точно: когда умирает молодая девушка, о ней пишут именно так. Она была милой и жизнерадостной. У нее был прекрасный характер, она была весела, беспечна... Никаких нежелательных знакомств. К мертвым мы испытываем милосердие. Знаете ли вы, чего мне хочется в эту минуту? Мне хочется найти человека, который знал бы Элизабет Барнард, но не знал, что она умерла! Тогда, может быть, я услышал бы нечто полезное.

Миган Барнард с минуту смотрела на него молча. Она продолжала курить. Потом заговорила. Ее слова заставили меня подскочить на месте.

— Бетти, — сказала она, — непревзойденная маленькая дура.

## ГЛАВА 11. МИГАН БАРНАРД

Как я уже сказал, слова Миган Барнард, особенно ее четкий деловой тон, обескуражили меня.

Пуаро только мрачно кивнул.

— *A la bonne heure*<sup>1</sup>, — сказал он. — Отдаю должное вашему уму, мадемуазель.

<sup>1</sup> В добрый час (франц.).

Миган Барнард все тем же отстраненным голосом продолжала:

— Я очень любила Бетти. Но привязанность не ослепляла меня, я прекрасно видела, какие глупости она делала, и иногда говорила ей об этом.

— Она следовала вашим советам?

— Скорее всего, нет.

— Может быть вы, мадемуазель, расскажете подробнее?

Девушка с минуту колебалась.

Пуаро с легкой улыбкой проговорил:

— Я помогу вам. Я слышал: вы сказали Гастингсу, что сестра ваша — милая и жизнерадостная девочка и что друзей-мужчин у нее не было. Это не соответствует тому, что было на самом деле.

Миган медленно проговорила:

— Бетти была хорошей девочкой, я хочу, чтобы вы это поняли. Но она всегда поступала, как хотела. Только не подумайте, что она была из девушек для уикэндов. Ничего подобного. Хотя любила сходить куда-нибудь потанцевать, равнодушно относилась к дешевой лести, комплиментам и тому подобной чепухе.

— Она ведь была хорошенькая?

Наконец-то мы получили ответ на вопрос, который задавали сегодня уже в третий раз.

Миган слезла со стола, подошла к чемодану, щелкнула замком, извлекла из чемодана нечто и протянула Пуаро. Это была фотография в кожаной рамке. Светлое улыбающееся девичье лицо, светлые завитые волосы. Улыбка казалась чуть искусственной. Не красавица девушка, но была в ней явная миловидность.

Пуаро протянул фотографию со словами:

— Вы совсем не похожи...

— О, я в семье считаюсь дурнушкой. Для меня это никогда не было секретом, — она отмахнулась от этой темы, считая ее неважной.

— Почему вы думаете, что сестра вела себя глупо? Может быть, вы имели в виду ее отношение к мистеру Дональду Фразеру?

— Совершенно верно. Дон очень спокойный человек, но... в общем он не одобрял некоторых вещей — ну и...

— И что же? — Пуаро пристально смотрел на нее. Возможно, мне показалось, но впечатление было такое, что она колеблется.

— Я боялась, что в конце концов он с ней порвет. А было бы жаль. Дон надежный и трудолюбивый парень. Он был бы прекрасным мужем.

Пуаро продолжал пристально смотреть на нее. Она покраснела под его взглядом, но вернула ему взгляд не менее твердый.

Она повернулась к двери.

— Я сделала все, что могла, чтобы помочь вам.

Ее остановил голос Пуаро:

— Подождите, мадемуазель. Я должен вам что-то сказать. Вернитесь.

Она повиновалась, как мне показалось, неохотно.

К моему изумлению, Пуаро стал рассказывать всю историю с анонимными письмами и убийством в Андовере, о железнодорожных справочниках, которые находили рядом с убитыми.

Ему не пришлось жаловаться на отсутствие интереса со стороны Миган. Губы у нее раскрылись, глаза заблестели.

— Все это правда, мистер Пуаро?

— Да, правда.

— Вы действительно думаете, что сестру убил сумасшедший, одержимый манией убийства?

— Совершенно верно.

Она вздохнула:

— Ах, Бетти, Бетти... это, это просто ужасно!

— Вы видите, мадемуазель, что информацию, о которой я вас так прошу, вы можете давать совершенно спокойно, никого не боясь?

— Да.

— Тогда продолжим разговор. У меня создалось впечатление, что Дональд Фразер — человек ревнивый, способный на неожиданную вспышку.

Миган ответила:

— Теперь я вам доверяю, мистер Пуаро, и скажу вам правду. Дон, как я уже сказала, очень сдержан. Но это сдержанность человека, запрятавшего внутрь свои эмоции. Вы понимаете, что я имею в виду? Он не всегда способен выразить свои чувства словами, но всегда очень близко принимает все к сердцу. Дон был ей предан. Она, конечно, любила его, но не в ее правилах было пренебрегать другими, даже если любишь кого-то. Она никогда не отказывалась хорошо провести время с любым симпатичным молодым человеком. А работая в кафе, она постоянно сталкивалась с моло-

дыми людьми — особенно летом, во время отпусков и каникул. И язычок у нее был бойкий: если с ней заигрывали, она всегда находила что ответить. Могла пойти с кем-нибудь в кино или просто встретиться. Ничего серьезного или предосудительного, конечно. Просто она получала от этого удовольствие. Она частенько повторяла: если уж ей придется остепениться и стать женой Дона, то надо же хоть теперь поразвлечься.

Миган замолчала, и Пуаро сказал:

— Я понял, продолжайте.

— Вот этого ее поведения Дон понять не мог. И раза два они из-за этого крупно повздорили.

— Мистер Дон тогда уж не был сдержанным?

— Он — как многие спокойные люди: когда они, наконец, теряют терпение, бьют мстительно. Дон так вспылал однажды, что Бетти испугалась всерьез.

— Когда это было?

— Одна ссора — около года назад, вторая — очень бурная — в прошлом месяце. Я приезжала домой на уикэнд, и мне пришлось их мирить. Тогда-то я попыталась вбить в голову Бетти немного здравого смысла, сказала ей, что она делает глупости. Но добилась только того, что услышала: ничего дурного она не делает и вреда от этого никому нет. Может и так, да только все это могло кончиться разрывом. Видите ли, после прошлогодней ссоры она его иногда по мелочам обманывала. А последняя ссора произошла, когда она сказала Дону, что уедет к подруге в Гастингс, а он узнал, что она была в Истборне с мужчиной. Мужчина был женат, как выяснилось. Сцена была ужасная. Бетти кричала, что она ему еще не жена и имеет право встречаться с кем ей хочется, а Дон весь побелел, руки его тряслись. Он сказал ей, что когда-нибудь... когда-нибудь...

— Ну?

— Он ее убьет, — прошептала Миган.

Она замолчала и взглянула на Пуаро. Тот мрачно кивнул.

— И вы, естественно, боялись...

— Я не думала, что это сделал он, ни на минуту не допускала! Но боялась, что его в это вмешают. Эта ссора и все, что он говорил... Несколько человек об этом знают.

Пуаро понимающе кивнул.

— Понятно. Должен заметить, мадемуазель, что если бы не странное тщеславие убийцы, именно так и случилось бы. Если Дональду Фразеру удастся избежать подозрения, так только благодаря маниакальному желанию убийцы похвастаться.

С минуту он молчал, потом сказал:

— А вы не знаете, встречалась ли ваша сестра в последнее время с этим женатым мужчиной или с кем-нибудь еще?

Миган покачала головой:

— Не знаю, ведь меня здесь не было. Однако не удивлюсь, если Бетти... если она снова обманывала Дона. Очень уж она любит кино, танцы, а Дон не может себе позволить постоянно ее развлекать.

— Могла она с кем-то об этом пооткровенничать? С девушкой из кафе, например?

— Маловероятно. Бетти не выносила Хигли. Она ей казалась слишком заурядной. Остальные в кафе — новенькие. Да Бетти и не из тех, кто откровенничает.

Над головой прозвенел электрический звонок. Она подошла к окну и выглянула наружу. И резко отшатнулась назад.

— Это Дон...

— Приведите его сюда, — быстро сказал Пуаро. — Я хочу поговорить с ним, пока до него не добрался инспектор.

Миган мгновенно вылетела из кухни и через пару секунд вернулась, ведя за руку Дона Фразера.

## ГЛАВА 12. ДОНАЛЬД ФРАЗЕР

Я сразу почувствовал к молодому человеку жалость и симпатию. Бледное измученное лицо, странный взгляд — видно, что удар оказался для него слишком сильным.

Хорошо сложенный, приятный юноша, футов около шести ростом, не красавец, но лицо симпатичное, с веснушками, волосы рыжие.

— В чем дело, Миган? Бога ради, скажи... я только что узнал... Бетти...

Голос сорвался.

Пуаро придвинул стул, и он опустился на него. Потом мой друг извлек из кар-

мана фляжку, вылил часть ее содержимого в стакан и сказал: «Выпейте это, мистер Фразер. Вам не повредит».

Молодой человек повиновался. Бренди вернуло его лицу краски. Он выпрямился и снова повернулся к девушке. Он был спокоен, хорошо держал себя в руках.

— Так это правда? — спросил он. — Бетти мертва... убита?

— Это правда, Дон.

— Ты только что из Лондона?

— Да, мне позвонил отец.

Минуту или две длилось молчание, потом Фразер сказал:

— Полиция? Они что-нибудь делают?

— Они сейчас наверху. Я думаю, осматривают вещи Бетти.

— Они не знают, кто убийца? Не знают? — Он замолк. Как многие робкие и чувствительные люди, он инстинктивно избегал называть страшные вещи своими именами.

Пуаро придвинулся к нему и задал вопрос. Задал деловым тоном, вроде бы не придавая этому особого значения.

— Мисс Барнард говорила вам, куда она собиралась вчера вечером?

— Она сказала, что собиралась с подружкой в Сент-Леонардс.

— Вы поверили ей?

— Я... — До сих пор он говорил автоматически, а теперь автомат вдруг ожил. —

Какого дьявола? Что вы имеете в виду?

Лицо его исказила гримаса, и я вдруг понял, почему Бетти боялась его гнева.

Пуаро подчеркнуто четко произнес:

— Бетти Барнард убил маньяк, одержимый манией убийства. Только правдой вы можете помочь нам напасть на его след.

Фразер перевел взгляд на Миган.

— Все в порядке, Дон, — сказала она. — Сейчас не время разбираться в своих и чужих чувствах. Надо все выяснить.

Дональд Фразер с подозрением взглянул на Пуаро.

— Кто вы? Вы не полицейский?

— Я лучше, чем полицейский. — Произнес это Пуаро без гордости, эта была просто констатация факта.

— Расскажи ему, — сказала Миган.

Дональд Фразер капитулировал.

— Я не был уверен. Сначала поверил. Но потом — может, что-то в ее поведении меня насторожило? — я... я начал сомневаться.

— Ну и... — Пуаро сидел напротив Дона Фразера и, казалось, гипнотизировал его.

— Я стыдился своих подозрений, но... но подозревал. Я даже решил пойти в кафе и посмотреть, как она выйдет. И пошел туда. Но потом понял, что не смогу этого сделать. Бетти увидит меня и рассердится. Она сразу догадается, что я за ней слежу.

— Что же вы сделали?

— Поехал в Сент-Леонардс. Добрался туда к восьми вечера. Встречал все автобусы, но ее не было. Я... я потерял голову. Я был уверен, что она с мужчиной. Может быть, он повез ее на машине в Гастингс, подумал я и поехал туда — заглядывал в отели и рестораны, обошел кинотеатры, пошел на пирс. Все это было, конечно, глупо. Была еще уйма мест, куда можно было отправиться, помимо Гастингса.

Какой бы четкой и точной ни казалась его речь, сквозь нее пробивался тот слепой, нерассуждающий гнев, который он испытывал во время вчерашних поисков.

— В конце концов я все бросил и вернулся домой.

— В какое время?

— Шел пешком. Когда я добрался до дома, была уже полночь. А может, и позже, я уж не помню.

Дверь кухни открылась.

— А, вот вы где, — сказал инспектор Келси. Мимо него протиснулся инспектор Кром, бросил вопросительный взгляд на двух незнакомцев, потом на Пуаро.

— Мисс Миган Барнард и мистер Дональд Фразер, — представил их Пуаро. — А это инспектор Кром, из Лондона, — объяснил он.

Пуаро направился в холл. Я присоединился к нему.

— Вас что-нибудь насторожило? — спросил я.

— Только удивительное великодушие убийцы, Гастингс.

У меня не хватило смелости сказать, что я совершенно не понял, что он имел в виду.



Совещания!

Большая часть моих воспоминаний, связанных с делом АБС, связана с совещаниями. Совещания в Скотланд Ярде и на квартире Пуаро. Совещания официальные и совещания неофициальные.

На совещании, о котором пойдет речь, решался вопрос: сообщать ли об анонимных письмах прессе?

Бексхиллское убийство привлекло значительно больше внимания, чем убийство в Андовере. Просто в нем было больше обстоятельств, которые обычно привлекают внимание. Прежде всего, жертвой была молодая и хорошенькая девушка. Убийство произошло в модном курортном городке. Пресса сообщала все подробности. Не обошли вниманием и железнодорожный справочник АБС. Газеты выдвигали гипотезу, что убийца купил его в Бексхилле и потому он является важной уликой в розыске преступника. Отсюда же следовало, что убийца приехал туда поездом и собирался потом опять вернуться в Лондон.

Когда писали об убийстве в Андовере, о справочнике не упоминали, так что читатели эти два убийства никак не связывали.

— Нам нужно решить, как дальше вести расследование, — сказал помощник комиссара. — Сообщать ли читателям факты в надежде на их помощь? Ведь это помощь, по крайней мере, нескольких миллионов человек, которые включаются в поиски маньяка.

— Но убийца не совсем похож на маньяка, — вставил доктор Томпсон, — а люди будут присматриваться к тем, кто покупает справочники, ну и все в таком роде... Я полагаю, что лучше работать, не привлекая внимания, не давая преступнику знать ничего о наших действиях, тем более, что он специально привлек к себе наше внимание анонимными письмами. Как вы считаете, Кром?

— Мне кажется, если мы опубликуем факты, то примем игру АБС. А именно этого он и хочет. Я прав, доктор? Он отчего-то добивается шумихи вокруг себя, он хочет известности. Значит, вы, доктор, хотите ему в этом помочь. А что вы думаете, мистер Пуаро?

Пуаро не торопился с ответом. Лишь обдумав ответ, он сказал:

— Мне трудно быть объективным, а вызов-то был послан мне. И если я скажу: «Утаите этот факт!» — можно подумать, что я боюсь за свою репутацию. Если же сообщить о нем — в этом, конечно, есть свои преимущества. Хотя бы то, что люди станут осторожнее. С другой стороны, — я, как и инспектор Кром, убежден, что именно этого от нас добивается убийца.

— Да, — сказал помощник комиссара, потирая подбородок. Он посмотрел на доктора Томпсона: — Предположим, мы откажем нашему сумасшедшему в паблисити, которого он так жаждет. Что он станет делать?

— Совершит еще одно преступление, — сказал доктор. — И вынудит вас сделать то, чего он добивается.

— А если мы дадим сенсационное сообщение — как он отреагирует?

— Так же. В одном случае вы удовлетворите его манию величия, в другом — откажете ему в этом. Результат будет одинаковым — новое преступление.

— Что вы на это скажете, мистер Пуаро?

— Я согласен с доктором Томпсоном.

— Трудное положение, а? Сколько еще преступлений он может совершить?

Доктор Томпсон переглянулся с Пуаро.

— Пока не дойдет до конца алфавита, — ободряюще произнес он. — Конечно, вы обнаружите его значительно раньше.

— На какой букве алфавита вы собираетесь остановить его, инспектор? — спросил Пуаро. В его голосе прозвучала легкая ирония.

Мне показалось, что в обычно спокойной и высокомерной манере Крома мелькнула неприязнь, когда он взглянул на Пуаро.

— По крайней мере, я гарантирую, что дальше «Г» он не продвинется.

Томпсон повернулся к помощнику комиссара.

— Думаю, я вполне разобрался в психологической подоплеке преступления, — сказал помощник. — Доктор Томпсон поправит меня, если я ошибаюсь. Я полагаю, что с каждым преступлением самоуверенность преступника будет возрастать, и, следовательно, он будет менее осторожен. Я прав, доктор?

Томпсон кивнул.

— Объяснить лучше, чем это сделали вы, не пользуясь специальной терминологией, вряд ли возможно. Вы, конечно, встречались с подобными случаями, мистер Пуаро?

Крому, конечно же, не понравилось, что доктор Томпсон апеллировал к Пуаро. Он считал себя единственным в этом деле экспертом.

— Инспектор Кром прав, я с ним согласен.

Пуаро повернулся к Крому.

— Есть ли в Бексхиллском деле вещественные улики?

— Официант ресторана в отеле «Сплендид» узнал по фотографии в убитой молодой женщину, которая обедала там вечером 24-го в компании с мужчиной средних лет в очках. Еще ее узнали в придорожном мотеле «Красный бегун», это на полпути к Бексхиллу, если ехать от Лондона. Она была там около девяти вечера 24-го с человеком в форме флотского офицера. Трудно сказать, в каком случае была действительно она, потому что узнали ее еще и в других местах. Так что, как видите, на след АБС мы напасть не смогли.

— Но вы делаете все, что возможно, Кром, — сказал помощник комиссара. — Какой из аспектов расследования кажется вам наиболее перспективным, мистер Пуаро?

— Самым главным мне кажется — понять мотивы преступления.

— Разве они не очевидны? Комплекс, связанный с алфавитом.

— *Са оуи*<sup>1</sup>, — сказал Пуаро. — Алфавитный комплекс. Но почему, вы спросите, именно алфавит? Отвечу: у сумасшедшего всегда есть обоснование, только его понимание доступно.

— Я с вами согласен, мистер Пуаро. Вспомним дело Стонемана в 1929 году. Преступник пытался разделаться со всяким, кто хоть в малейшей степени его раздражал.

— Понять можно. Если вы важная персона, то должны быть избавлены от мелких неудобств, а когда вам на лоб садится муха — что вы делаете? Убиваете ее и при этом не чувствуете угрызений совести. Вы важны — и это главное. Убийство кажется вам здоровым и разумным. Теперь рассмотрим наш случай. Если жертвы выбирают по алфавиту, то от них избавляются не потому, что они источник раздражения для самого преступника.

— Разумно, — сказал доктор Томпсон. — Я помню случай, когда женщина, мужа которой приговорили к смертной казни, начала одного за другим убивать всех присяжных заседателей. Прошло довольно много времени, пока поняли, что эти преступления связаны. Но мистер Пуаро правильно заметил, что не существует преступников, которые совершали бы преступление ради преступления. Либо преступник убивает людей, которые ему мешают, либо по убеждению: он уничтожает священников, полицейских, проституток и т. д. потому, что твердо верит, что от них необходимо избавиться. К нашему делу это никакого отношения не имеет — по крайней мере, как это понимаю я. Миссис Ашер и Бетти Барнард принадлежат к разным сословиям. Не исключается, конечно, комплекс, связанный с полом, — ведь они обе женщины. Это станет ясно после третьего преступления.

— Бога ради, Томпсон, не говорите так легко о следующем преступлении, — раздраженно заметил помощник инспектора сэра Лайонел. — Мы постараемся сделать все возможное, чтобы его предотвратить.

Доктор Томпсон замолчал, и весь его вид, казалось, выражал недовольство и говорил: «Делайте что хотите, если не желаете взглянуть фактам в лицо».

Помощник комиссара повернулся к Пуаро, и Пуаро принялся развивать свою мысль:

— Я спрашиваю себя: что происходит в мозгу убийцы? Он убивает, как это следует из писем, *pour le sport*<sup>2</sup>, для развлечения, но тогда он не должен это афишировать, иначе он не сможет долго действовать безнаказанно. Но нет, он ищет скандальной популярности, и у меня в связи с этим возникает предположение: не руководит ли им ненависть лично ко мне, Эркюлю Пуаро? Не потому ли он бросил мне публичный вызов, что я, сам того не подозревая, чем-то ущемил его интересы? Или эта неприязнь оттого, что я иностранец?

— Очень интересные вопросы, — сказал доктор Томпсон.

Инспектор Кром прокашлялся:

— Вряд ли на них можно ответить сейчас.

— Тем не менее, мой друг, — сказал Пуаро, — именно в ответах на эти вопросы кроется решение проблемы. Если бы мы знали причину — пусть даже она покажется нам фантастической, но для него логичной, — мы могли хотя бы понять, кто будет следующей жертвой.

Кром покачал головой:

— Он их выбирает наобум — вот мое мнение.

— Великодушный убийца, — проговорил Пуаро.

<sup>1</sup> Ну да, конечно (франц.)

<sup>2</sup> Ради спортивного интереса (франц.)

— Что вы сказали?

— Я сказал — «великодушный убийца». Франца Ашера мы должны были арестовать за убийство жены, Дональда Фразера — за убийство Бетти Барнард, если бы не письма с предупреждением, подписанные АБС. У него, что же, такое доброе сердце, и он не хочет, чтобы другие страдали за то, чего не совершали?

— Я встречался и с более странными случаями, — сказал доктор Томпсон. — Я знал одного убийцу, который убивал людей, безжалостно расколачивая им черепа, и только потому, что одна из его жертв отошла в мир иной не сразу и перед смертью испытывала мучения. Но я, разумеется, не думаю, что цель нашего преступника в этом. Он просто хочет, чтобы эти убийства относили только на его счет. Думаю, это объяснение подходит больше.

— Мы так и не решили, сообщать или не сообщать в прессе об анонимных письмах? — сказал помощник комиссара.

— Почему бы нам не подождать следующего письма? А потом сделаем это достоянием газет: специальный выпуск и т. д. В указанном городе поднимется паника, это заставит всех, чья фамилия начинается на «С», быть настороже и затруднит положение АБС. Он же решительно настроен выполнить задуманное. Тут мы его и возьмем. — Предложение Крома было принято, но как мало мы догадывались о том, что говорит нам будущее.

## ГЛАВА 14. ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Я навсегда запомню тот день.

Могу сказать, что были приняты все меры предосторожности, с тем чтобы к моменту, когда АБС вздумает возобновить свою кампанию, не было проволочек. Постоянно дежурил сержант из Скотланд Ярда, в его обязанности входило вскрывать корреспонденцию, если не было Пуаро, чтобы в случае необходимости сообщить начальству.

День шел за днем, мы жили в напряжении. Самоуверенные и независимые манеры инспектора Крома становились все более самоуверенными и независимыми, по мере того как самые его перспективные гипотезы рассыпались в пух и прах. Неопределенное описание мужчин, которых якобы видели с Бетти в тот вечер, ничего не дало. Несколько машин, которые были замечены тогда поблизости от Бексхилла и Кудена, либо оказались не теми, либо их вообще не смогли найти. Расследование покупателей железнодорожных справочников АБС принесло только неприятности и хлопоты множеству ни в чем не повинных людей.

Что касается нас, то всякий раз знакомый стук почтальона заставлял сердце сжиматься от дурных предчувствий. По крайней мере — мое. Не думаю, чтобы Пуаро испытывал другие чувства. Я знал, что он тяжело переживал случившееся.

Письмо пришло в пятницу. Вечернюю почту принесли около десяти вечера.

Когда мы услышали знакомые шаги и короткий стук, я поднялся и пошел к почтовому ящику. Помню, там было пять писем. На последнем адрес и фамилия были напечатаны на машинке.

— Пуаро! — закричал я. Голос у меня сорвался.

— Пришло? Вскрываюте, Гастингс, быстрее вскрывайте! Каждая минута нам дорога.

Я разорвал конверт и извлек напечатанный на машинке листок.

— Читайте, — сказал Пуаро.

Я прочитал вслух:

Бедный мистер Пуаро!

Расследование этих несложных дел идет у вас совсем не так хорошо, как вы надеялись, не так ли?

Ваши лучшие времена уже позади? Посмотрим, возможно, на этот раз дело пойдет удачнее. А все будет очень просто. В Черстоне, 30-го. Постарайтесь на этот раз. Пропадает интерес, когда все идет так, как этого хочу я!

Удачной охоты. Всегда ваш. АБС.

— Черстон, — пробормотал я, хватая наш единственный экземпляр АБС. — Посмотрим, где это.

— Гастингс, — прервал меня резкий голос Пуаро. — Когда было написано письмо?

Я взглянул на письмо, которое держал в руке.

— Написано — 27-го, — сообщил я.

— Я вас правильно понял, Гастингс? Он сообщает, что день убийства — 30-е?

— Да.

— Bon Dieu <sup>1</sup>, Гастингс, вы что, не понимаете? Сегодня 30-е!

И он выразительно указал на календарь на столе. Я схватил сегодняшнюю газету, чтобы удостовериться.

— Но почему тогда... как... — проговорил я, запинаясь.

Пуаро поднял с пола разорванный конверт. В голове у меня мелькнула мысль, что с адресом было что-то не то, но я так торопился прочесть письмо, что не обратил на это внимание.

Пуаро жил тогда в Вайтхевене. На конверте же значилось: мистеру Эркюлю Пуаро, Вайтхос, и индекс. В углу конверта было нацарапано: в Вайтхос не проживает, искать в Вайтхевене.

— Mon Dieu <sup>2</sup>, — пробормотал Пуаро. — Этому сумасшедшему ворожит судьба! Vite-vite <sup>3</sup>. Скорее сообщить в Скотланд Ярд.

Минуту спустя мы говорили по телефону с инспектором Кромом. Впервые наш сдержанный инспектор не произнес свое неизменное: «О, неужели?» Вместо этого из него вырвалось проклятие. Он выслушал наше сообщение, потом прервал связь, чтобы как можно скорее дозвониться до Черстона.

— J'est trop tard <sup>4</sup>, — пробормотал Пуаро.

— Не следует быть так уж уверенным в этом, — пробормотал я без особой надежды.

Он взглянул на часы.

— Двадцать минут одиннадцатого? Осталось всего час и сорок минут.

Я открыл железнодорожный справочник, который перед этим снял с полки.

— Черстон — это в Девоне, — сказал я. — С Паддингтонского вокзала — около 205 миль. Население — около 650 человек. Совсем небольшое местечко. Наверняка преступник там будет замечен.

— Даже если и так, чья-то жизнь уже все равно оборвалась, — сказал Пуаро. — Мне кажется, если поедем поездом — это будет быстрее, чем машиной.

— Есть поезд в полночь. Приходит в Черстон в 7.15 утра.

— Едем этим поездом, Гастингс.

Я вложил в чемодан какие-то вещи, пока Пуаро звонил в Скотланд Ярд. Несколько минут спустя он появился в спальне.

— Mais gu'est ce vous faites la <sup>5</sup>?

— Упаковываю ваши вещи. Это сэкономит нам время.

— Vous ergouvez trop d'emotion <sup>6</sup>, Гастингс. Это сильно повлияло на вашу голову и руки. Разве так сворачивают пиджак? А посмотрите, что вы сделали с моей пижамой. Если разобьется бутылка с шампунем, вы представляете, что станет с вещами?

— Бог мой, Пуаро! — воскликнул я. — Дело идет о жизни и смерти. Разве важно, что станет с нашей одеждой?

— У вас отсутствует чувство меры, Гастингс. Мы все равно не уедем раньше, чем отправляется поезд, а то, что вещи будут испорчены, никоим образом не помешает убийству.

И, решительно взяв у меня из рук чемодан, он принялся сам укладывать вещи.

Пуаро сказал, что письмо и конверт мы возьмем на Паддингтонский вокзал и кто-нибудь из Скотланд Ярда встретит нас там.

Когда мы приехали на вокзал, первым, кого увидели, оказался инспектор Кром.

В ответ на вопрошающий взгляд Пуаро он сказал:

— Пока ничего нового. Все поставлены на ноги. Думаю, шанс все же есть. Где письмо?

Пуаро протянул ему письмо.

Он внимательно осмотрел его, произнося шепотом проклятия.

— Ах, неудача! Видно, само небо благоприятствует этому парню.

— А вы не думаете, — спросил я, — что он сделал это специально?

— Нет, у него есть свои правила — правила сумасшедшего, и он им следует. Предупреждает заранее. Он следует этому неукоснительно и этим гордится. Я почти уверен, что перед ним на столе стояла бутылка виски Вайтхос, когда он писал письмо.

— Ah, c'est ingenieux, ca <sup>7</sup>! — сказал Пуаро. — Он печатал, а перед ним стояла бутылка с виски?

<sup>1</sup> О боже (франц.)

<sup>2</sup> Бог мой (франц.)

<sup>3</sup> Быстро, быстро (франц.)

<sup>4</sup> Слишком поздно (франц.)

<sup>5</sup> Но что вы здесь делаете? (франц.)

<sup>6</sup> Вы проявляете слишком много эмоций (франц.)

<sup>7</sup> Вот это ловко! (франц.)

— Вот именно,— сказал Кром.— Он бессознательно, когда писал адрес, написал «Вайт», продолжил — «хос» вместо «хевен».<sup>1</sup>

Выяснилось, что инспектор тоже едет поездом.

— Если даже по какому-то необычайно счастливому стечению обстоятельств ничего еще не произошло, все равно Черстон — то место, где это должно произойти. И наш убийца там, или был там сегодня. Один из моих людей дежурит на станции у телефона до последней минуты отхода поезда, на случай, если что-то станет известно.

Когда поезд тронулся, мы увидели человека, бегущего вдоль платформы. Он добежал до окна купе инспектора и что-то крикнул ему.

Поезд отъехал от станции, и мы с Пуаро прошли по коридору и постучали в купе инспектора.

— Какие-нибудь новости?— спросил Пуаро.

Кром негромко сказал:

— Все, как мы и ожидали. Нашли Кармайкла Кларка с проломленной головой.

Сэр Кармайкл Кларк, хоть это имя и не было хорошо известно широкой публике, был человеком довольно заметным. В свое время это был очень хороший специалист-отоларинголог. Когда он вышел на пенсию, то оказался человеком весьма состоятельным и смог посвятить себя главной страсти своей жизни — коллекционированию китайского фарфора и майолики. Несколько лет спустя, получив значительное наследство от престарелого дядюшки, он отдался этой страсти полностью и стал владельцем одной из замечательнейших коллекций китайского искусства. Он был женат, не имел детей и жил в доме, который сам построил в Девоне, на побережье, изредка наезжая в Лондон на большие аукционы.

Не надо было обладать большим воображением, чтобы понять: его смерть, последовавшая за смертью молодой и хорошенькой Бетти Барнард, станет самой большой сенсацией года. А то, что шел август — время отпусков — и газеты испытывали нехватку материала, только усугубляло дело.

— Eh bien,<sup>2</sup>— сказал Пуаро.— Может, пресса поможет сделать то, что оказалась не в состоянии сделать мы. Я надеюсь на то, что, убаюканный успехом, он станет менее осторожен.

Тут меня осенила мысль, и я сказал:

— Как странно, Пуаро. Это у нас первое дело такого рода. Все остальные были делами, так сказать, сугубо частными.

— Вы правы, мой друг. Прежде нам приходилось выяснять, кто заинтересован в том или ином убийстве. Теперь же, первый раз в нашей совместной работе, мы имеем дело с хладнокровным убийцей, лишаящим жизни совершенно незнакомых ему людей. Если бы только понять, что им руководит! Этот алфавит... Если бы я понял главное — все стало бы ясно и понятно. Ладно, Гастингс, давайте немного поспим. Завтра много работы.

## ГЛАВА 15. КАРМАЙКЛ КЛАРК

Черстон расположился между Брексхемом с одной стороны и Пойгнттоном и Токи — с другой. Еще десять лет назад там были только поля для гольфа, чуть ниже спускались к морю зеленые луга и заросли кустарников. Одна или две небольших фермы, людей здесь почти не было. Но в последние годы между Черстоном и Пойгнттоном началось бурное строительство, и теперь побережье было застроено маленькими коттеджами, которые разделены дорогами.

Сэр Кармайкл купил участок с прекрасным видом на море. Дом был современный и выглядел очень привлекательно.

Мы добрались туда около восьми часов утра. Местный полицейский офицер встретил нас на станции и рассказал, что произошло.

Как выяснилось, сэр Кармайкл Кларк имел привычку гулять каждый вечер после обеда. Когда позвонили из полиции — было это уже после одиннадцати вечера, — он еще не вернулся. Гулял он обычно по одному и тому же маршруту, и люди, высланные на поиски, довольно быстро обнаружили тело. Смерть наступила от сильного удара тяжелым предметом по затылку. Открытый справочник АБС лежал под телом.

Мы приехали в Комбесайд — так называлась его усадьба — около восьми утра.

<sup>1</sup> «Вайтхос» — «Белая лошадь» — очень известная марка виски. «Вайтхевен» — «Белый рай» — название района, где живет Пуаро.

<sup>2</sup> Ну ладно (франц.).

Дверь открыл пожилой дворецкий, его трясущиеся руки и расстроенное лицо красноречиво говорили о его состоянии.

— Доброе утро, Деверил, — приветствовал его офицер.

— Доброе утро, мистер Вейз.

— Эти джентльмены из Лондона, Деверил.

— Сюда, пожалуйста. — Он провел нас в столовую, где был накрыт завтрак. —

Я позову мистера Франклина.

Минуту или две спустя в комнату вошел крупный, светловолосый, загорелый мужчина. Это был Франклин Кларк, единственный брат покойного. У него оказались спокойные и решительные манеры человека, привыкшего не теряться в сложных обстоятельствах.

— Доброе утро, джентльмены.

Инспектор Вейз представил нас:

— Это инспектор Кром из уголовной полиции, мистер Эркуль Пуаро, э... капитан Хейтер.

— Гастингс, — холодно поправил я.

Франклин Кларк пожал всем по очереди руки, и каждое рукопожатие сопровождалось пристальным взглядом.

— Разрешите предложить вам завтрак, — сказал он. — Мы можем обсудить ситуацию во время еды.

Возражений не было, и мы отдали должное прекрасному бекону и кофе.

— Так вот, — сказал Франклин Кларк, — инспектор Вейз коротко рассказал мне, что произошло вчера ночью, хотя должен признаться, мне этот рассказ показался самым диким из всего, что раньше приходилось слышать. Должен ли я действительно верить, инспектор Кром, что мой бедный брат стал жертвой маньяка, одержимого манией убийства, что это его третье убийство и каждый раз, когда происходит очередное убийство, у тела жертвы находят железнодорожный справочник АБС?

— Дело обстоит именно так, мистер Кларк.

— Но почему? Какую выгоду можно извлечь из такого убийства — даже для самого большого воображения?

— Бесплезно пока искать мотивы на этой стадии расследования, мистер Кларк, — сказал инспектор Кром. — Это дело психиатра. Хотя могу сказать, что у меня есть определенный опыт работы с психически ненормальными преступниками, и мотивы обычно не соответствуют содеянному. Есть желание самоутвердиться, вызвать сенсацию — короче, из ничего стать чем-то.

— Это так, мистер Пуаро? — спросил недоверчиво Кларк.

— Абсолютно, мой друг, — ответил Пуаро.

— По крайней мере, такой человек скоро себя выдаст, — задумчиво произнес Кларк.

— Vous croyez? <sup>1</sup> Но они очень коварны, эти люди, ces gens la! <sup>2</sup> И вы должны помнить, что внешне они, как правило, очень непримечательны.

— Вы дадите нам необходимую информацию, мистер Кларк? — прервал разговор инспектор Кром.

— Разумеется.

— Я понял, что ваш брат вчера был вполне здоров и в обычном расположении духа. Он не получал неожиданных писем? Не был ничем расстроен?

— Нет, он был таким же, как всегда.

— Не расстроен и не обеспокоен?

— Извините, инспектор, этого я не говорил. Брат был расстроен и обеспокоен, но это его обычное состояние.

— Почему?

— Вы можете не знать, но моя невестка, леди Кларк, очень плоха, у нее рак в неизлечимой стадии, и она не проживет долго. Ее болезнь очень повлияла на состояние брата. Сам я совсем недавно вернулся с Востока, и меня поразили перемены в нем.

Пуаро задал вопрос:

— Предположим, мистер Кларк, вашего брата нашли бы застреленным у подножья скалы — и рядом револьвер. Что первое пришло бы вам в голову?

— Честно говоря, я подумал бы, что это самоубийство, — сказал Кларк.

— Епсого! <sup>3</sup> — произнес Пуаро.

— Что это значит — опять?

— Просто факт, который повторился.

— Но это не самоубийство, — сказал Кром ядовитым тоном. — И еще, мистер Кларк, мне сказали, что у него была привычка гулять по вечерам.

<sup>1</sup> Вы думаете? (франц.)

<sup>2</sup> Эти типы (франц.).

<sup>3</sup> Опять (франц.).

— Совершенно верно.  
— Он гулял каждый вечер?  
— Если только не лил дождь.  
— И все в доме знали об этой привычке?  
— Разумеется.  
— А за пределами дома?  
— Не знаю, что вы имеете в виду, говоря «за пределами». Может, знал садовник. Впрочем, не знаю.  
— А в деревне?  
— Вообще-то тут нет никакой деревни. В Черстон Террас есть почтовое отделение и несколько летних домиков.  
— Я полагаю, что любой незнакомец был бы замечен?  
— Ничего подобного. В августе здесь много приезжих. Приезжают каждый день из Бриксхема, Токи, Пейгнтона на машинах, на автобусах, приходят пешком. Здесь пляжи очень популярны.  
— Так вы думаете, на приезжего здесь не обратили бы внимания?  
— Только уж если он совсем ненормальный.  
— Этот человек ненормальным не выглядит, — с уверенностью произнес Кром. — Вы понимаете, к чему я клоню, мистер Кларк? Он наверняка бывал здесь и знал о вечерних прогулках вашего брата. Вчера никто не приходил, не спрашивал сэра Кармайкла?  
— Нет. По крайней мере, я этого не знаю. Спросим у Деверила.  
Он позвонил и задал вопрос появившемуся лакею.  
— Нет, сэр. Никто не приходил к сэру Кармайклу. И я не заметил поблизости посторонних. Прислуга тоже не видела, я спрашивал.  
Лакей немного подождал, потом проговорил:  
— Это все, сэр?  
— Да, Деверил, вы можете идти.  
Лакей удалился, посторонившись в дверях, чтобы пропустить входящую молодую женщину. Франклин Кларк поднялся, когда она вошла.  
— Это мисс Грей, джентльмены, секретарь брата.  
Мое внимание сразу привлекла необычная, скандинавского типа, внешность девушки. Почти белые, пепельного оттенка волосы, светло-серые глаза — прозрачные и блестящие, такие бывают у норвежек или шведок. На вид ей было лет двадцать семь, выглядела она привлекательной и деловой.  
— Я вам могу чем-нибудь помочь? — спросила она.  
Кларк принес ей чашку кофе, от завтрака она отказалась.  
— Вы имели дело с корреспонденцией сэра Кармайкла? — спросил Кром.  
— Да, со всей.  
— Он никогда не получал письма или писем, подписанных «АБС»?  
— АБС? — Она покачала головой. — Нет.  
— Он не упоминал о ком-нибудь, кого встречал во время прогулок в последнее время?  
— Нет, ничего подобного он не говорил.  
— А сами вы не видели посторонних?  
— В это время года здесь много туристов. Часто встречаешь людей, гуляющих с бесцельным видом по дорогам, ведущим к морю. Практически в это время года видишь в основном приезжих.  
Пуаро кивнул.  
Инспектор Кром попросил, чтобы его провели по маршруту вечерних прогулок сэра Кармайкла. Франклин Кларк поднялся и повел нас через дверь веранды, мисс Грей присоединилась к нам. Мы с ней оказались чуть позади остальных.  
— Для вас, вероятно, это был тяжелый удар?  
— Просто не верится.  
— Когда обычно сэр Кармайкл возвращался с прогулки?  
— Без четверти десять. Он проходил через боковую дверь. Иногда сразу шел спать, иногда — в галерею, где находится коллекция. Поэтому, если бы не позвонили из полиции, его могли не хватить до утра.  
— Жена тяжело это переживает?  
— Леди Кларк все время под действием наркотиков. Я думаю, она пока не в состоянии до конца понять, что происходит вокруг нее.  
Через садовую калитку мы вышли на поля для гольфа. Пересекли одно из них, поднялись по маленькой лестнице и ступили на крутую извилистую тропку.  
— Она ведет к Элбюри Ков, — объяснил Франклин Кларк. — Но два года назад проложили новую дорогу от шоссе к пляжам и к Элбюри, так что здесь всегда пустынно.  
Мы стали спускаться по дорожке, которая сквозь заросли кустов куманики вела



Рисунки В. Будаева

к морю. Мы вышли на зеленую площадку, с нее открывался шикарный вид на море и пляжи: белая галька, яркая зелень и морская синь.

— Как красиво!— воскликнул я.

Кларк повернулся ко мне.

— И зачем люди едут за границу, когда у них есть такое?— сказал он.— В свое время я объездил весь свет, но, положа руку на сердце, скажу: никогда не видел ничего прекраснее.

Потом, словно устыдившись своей восторженности, он проговорил уже деловым тоном:

— Вот маршрут вечерних прогулок брата.

Мы продолжили путь, пока не остановились у зеленой изгороди, где было обнаружено тело.

Кром кивнул: «Здесь это сделать было нетрудно — убийца был не виден за кустами».

Девушка рядом со мной вздрогнула. Франклин Кларк проговорил:

— Возмите себя в руки, Тора. Это ужасно, но надо смотреть фактам в лицо.

Мы пошли в дом, куда отнесли тело, после того как оно было сфотографировано. Когда мы поднимались по лестнице, из комнаты вышел врач с черной сумкой в руке.

— Вы ничего нам не скажете, доктор? — спросил Кларк.

Врач покачал головой.

— Случай простой. Медицинские подробности я оставляю для протокола. Могу сказать только, что боли он не испытал: смерть была мгновенной.

Мы вошли в комнату, из которой только что вышел врач. Вышел я оттуда довольно быстро. Тора Грей все еще стояла на лестничной площадке. На лице у нее было странное выражение.

— Мисс Грей... — Я остановился.— Что-нибудь случилось?

— Я подумала,— произнесла она,— подумала о «Д».

— О «Д»? — глупо уставился на нее я.

— Да, о следующем убийстве. Что-то нужно делать. Это надо остановить.

Из комнаты вышел Кларк.

— Что надо остановить, Тора?

— Эти страшные убийства.



— Да, Я хотел бы поговорить с мистером Пуаро, узнать, можно ли положиться на Крома?

Я ответил, что его считают очень способным офицером. Но мой голос прозвучал, видимо, неубедительно.

— У него оскорбительные манеры,— сказал Кларк.— Он ведет себя так, как будто знает все на свете. А что он знает? Насколько я понял — ничего.

С минуту Кларк молчал, потом продолжил:

— Я хочу, чтобы расследование вел Пуаро. И готов платить. У меня есть план. Но об этом позже.

Он пошел по коридору и постучал в дверь, в которую только что вошел врач.

Я на минуту заколебался. Девушка все еще пребывала в растерянности.

— О чем вы думаете, мисс Грей?

Она повернулась ко мне.

— Я думала, где он сейчас... убийца. Еще не прошло и двенадцати часов, как это произошло. Существуют ли на самом деле ясновидящие, которые знают, где он и что сейчас делает?

— Полиция ищет,— начал я.

Мои обычные слова вернули ее к действительности. Она взяла себя в руки.

— Да, — сказала она, — конечно.— Повернулась и стала спускаться по лестнице. Я еще с минуту постоял на площадке, повторяя про себя ее слова: «АБС... Где он теперь?»

## ГЛАВА 16. ПОВЕСТВОВАНИЕ ВЕДЕТ НЕ КАПИТАН ГАСТИНГС

Мистер Александр Бонапарт Каст вышел из кинотеатра «Токи Палладиум», где только что посмотрел волнующий фильм под названием «И воробей не пролетит...»

Он на минуту зажмурился от яркого полуденного солнца и осмотрелся вокруг с видом потерявшейся собаки. Впрочем, это был его обычный вид.

Он пробормотал: «Это мысль...»

Мимо проходил мальчишка-газетчик, выкрикивая: «Самые последние новости. Маньяк, одержимый манией убийства,— в Черстоне». На груди у него красовался плакат с надписью: «Убийство в Черстоне. Самые последние новости».

Мистер Каст пошарил в кармане, вынул монетку и купил газету. Но читать ее сразу не стал.

Он вошел в парк и медленно побрел по аллее, пока не нашел укромное местечко под навесом. Раскрыв газету, он увидел огромный заголовок: «Убит сэр Кармайкл Кларк. Страшная трагедия в Черстоне. Убийца — опасный маньяк».

И дальше — текст, заканчивающийся словами: «Маньяк, одержимый манией убийства, кружит по нашим морским курортам в поисках новых жертв?»

Молодой человек в фланелевых брюках и ярко-голубой рубашке с открытым воротом, сидевший рядом, заметил:

— Страшное дело, а?

Мистер Каст рассеянно подтвердил:

— А, да-да.

Руки у него дрожали так, что он с трудом удерживал газету.

— Никогда не знаешь, чего ждать от сумасшедших,— продолжил разговор парень.— Они, знаете, не всегда и похожи на сумасшедших. Часто выглядят совсем как я или вы...

— Возможно,— сказал мистер Каст.

— Да нет, это точно. Тут война виновата: некоторые, знаете, так и не оправились... ну, например, после контузий или душевных потрясений.

— Вероятно, вы правы.

— Я ненавижу войну,— продолжал молодой человек.

Мистер Каст повернулся к нему:

— Я тоже ненавижу войну, чуму, голод, рак, но это все равно происходит!

— Войну можно предотвратить,— убежденно произнес молодой человек.

Мистер Каст рассмеялся и долго не мог остановиться.

Молодой человек посмотрел на него с опаской. «Видно, тоже не в себе», — подумал он, а вслух произнес: — Извините, сэр. Я думал, вы сами воевали.

— Воевал,— ответил мистер Каст.— Война искалечила меня. Голова до сих пор дает о себе знать. Болит, знаете, ужасно.

— О, простите,— неловко произнес молодой человек.

— Иногда мне кажется, что я и сам не знаю, что делаю.

— Неужели? Извините, я должен идти,— сказал молодой человек и торопливо

удалился. Он хорошо знал, что происходит, когда люди начинают говорить о своем здоровье.

Мистер Каст остался один. Он читал и перечитывал газету снова и снова. Мимо проходили люди. Кое-кто обсуждал убийство. До него доносились отрывочные фразы:

— Ужасно... Как вы думаете, здесь не замешаны китайцы? Эта девушка работала в китайском кафе?

— Ее убили прямо на поле для гольфа...

— Я слышал, это произошло на пляже...

— Но, дорогой, мы буквально вчера пили чай в Элбюри...

— Полиция наверняка найдет его...

— Он вполне может сейчас находиться в Токи... а эта, другая женщина, которую убили, помнишь, — как называлось то место?

Мистер Каст аккуратно свернул газету и положил ее на скамейку. Потом тяжело поднялся и направился в кафе.

Мимо проходили девушки. Девушки в голубом, розовом, белом. В легких платьях, брюках, шортах. Они беспечно болтали и смеялись. Они оценивающе поглядывали на проходящих мужчин. Но ни одна из них ни на минуту не остановила взгляда на мистере Касте.

## ГЛАВА 17. ВРЕМЯ ИДЕТ

С момента убийства сэра Кармайкла Кларка трагедия «АБС» достигла апогея. Постоянно сообщалось в газетах, что обнаружены новые улики. Создавалось впечатление, что убийца вот-вот будет найден. Печатались интервью со всеми, кто мог что-то сообщить об убийстве. Делались запросы в парламент.

Теперь убийство в Андовере прочно связывалось с двумя другими.

В Скотланд Ярде считали, что шумная известность обстоятельств убийства поможет напасть на след убийцы. Население Великобритании превратилось в армию деттивов-любителей.

Одна из газет, озаренная вдохновением, поместила даже такой заголовок: «Он может быть сейчас в вашем городе!»

Пуаро, разумеется, был в гуще событий. Все письма, адресованные ему, печатали в газетах. Одни обвиняли его в том, что он не предотвратил убийства, другие защищали, уверяя, что он вот-вот назовет имя убийцы. Его непрерывно осаждали репортеры.

«Что сказал сегодня мистер Пуаро?»

За этим обычно следовала колонка всяческих несуразностей.

«Мистер Пуаро оценивает ситуацию мрачно».

«Мистер Пуаро накануне успеха».

«Капитан Гастингс, ближайший друг мистера Пуаро, сообщил нашему специальному корреспонденту...»

— Пуаро! — воскликнул я. — Поверьте, я никогда не говорил ничего подобного. Мой друг добродушно отвечал:

— Я знаю, Гастингс, знаю. Они умудряются так переделать то, что им говорят, что напечатанное от сказанного отличается как небо от земли.

— Мне бы не хотелось, чтоб вы думали, будто я сказал...

— Не расстраивайте себя. Это все не имеет ровно никакого значения. Более того, эти несуразности могут даже оказаться полезными.

— Каким образом?

— Видите ли, — произнес Пуаро, — если наш сумасшедший прочитает то, что я якобы сообщил вот этой вот газетенке, он просто потеряет ко мне всякое уважение, как к сопернику.

Может быть, у читателя создается впечатление, что за это время не было ничего сделано? Наоборот, Скотланд Ярд и местные полицейские отделения разных графств самым тщательным образом брали на заметку малейшие подозрительные факты.

Служащие отделов, держатели пансионатов, сдающие жилье внаем, — все, кто хоть как-то могли оказаться в сфере действий убийцы, — были допрошены. Не пренебрегали никакой информацией, хотя бы и совсем незначительной. Беседовали с проводниками поездов, кондукторами автобусов, служащими железнодорожных вокзалов.

Было задержано и опрошено громадное количество людей, и не отпустились они, пока не доказывали своего алиби в ночь убийства.

Если Кром и его коллеги работали неутомимо, то Пуаро, казалось, ничего не делал вообще. Мы непрестанно с ним из-за этого спорили.

— Обычное рутинное расследование полиция проведет лучше, чем я. Вам все время хочется, чтоб я бегал как гончая, мой друг.

— А вместо этого вы сидите дома, как... как...

— Вы разумный человек, Гастингс! Моя сила — это мозг, а не ноги! Это вам кажется, что я ничего не делаю, на самом деле я думаю.

— Думаете? Все это время вы только думаете?

— Да, да, да! Я думаю!

— Но чего можно добиться одними размышлениями? Ведь вы знаете все подробности дела.

— Меня занимают не факты, а психология убийцы.

— Психология?

— Вот именно. А чтобы ее понять, требуется много времени. Когда я пойму его психологию — я узнаю, кто он. И я постоянно что-то новое о нем узнаю. Что нам было о нем известно после преступления в Андовере? Ничего. А после Бексхилла? Немногим больше. Я начинаю видеть не то, чего хотели бы вы, чтобы я видел, — не очертания, не лица и фигуры, передо мною начинают прорисовываться психика, ум. Ум, который работает в совершенно определенном направлении. После следующего убийства...

— Пуаро!

Мой друг спокойно взглянул на меня:

— Да, Гастингс, я почти уверен, что будет еще одно. До сих пор нашему неизвестному везло, но удача может повернуться к нему спиной. Как бы убийца ни старался изменить свои привычки, методы — его сущность все равно проявится в действиях. Во всем происходящем есть странные несоответствия, как будто тут замешаны две разные личности. Но скоро все проявится, и я узнаю...

— Узнаете — кто убийца?!

— Нет, Гастингс, я не буду знать его имени. Я узнаю, что это за человек!

— А потом?

— Et alors, je vais a la p<sup>h</sup>erche<sup>1</sup>.

Так как я выглядел совершенно сбитым с толку, он пояснил:

— Вы знаете, Гастингс, опытный рыбак знает, какой рыбе какого мотыля предложить для приманки. И я выберу нужного мотыля.

— Ну а потом?

— Потом? Потом. Вы ничуть не лучше этого высокомерного Крома с его вечным «О, неужели?» Так вот потом — он вооружится удочкой и крючком, мы выстроимся в ряд и...

— А тем временем люди умирают...

— Три человека. И каждую неделю в автомобильных катастрофах погибает... сколько там... около ста двадцати человек?

— Но это совсем другое дело.

— Для тех, кто погибает, я думаю, это все равно. Для других, для родственников, — да, для них это не одно и то же. Но одно в этом деле меня все же утешает.

— Ради бога, скажите-ка, мой друг, что здесь может утешать.

— Не нужно сарказма. Меня утешает, что во всех этих делах не бросается тень на невиновных.

— Разве это не еще хуже?

— Нет, тысячу раз нет! Нет ничего страшнее, чем жить в атмосфере подозрения, видеть неотрывно следящие за вами глаза и замечать, как из них уходит любовь и появляется страх. Нет ничего страшнее, чем когда тебя подозревают близкие и дорогие люди. Это похуже отравляющих паров. По крайней мере, мы не можем обвинить АБС в том, что он отравил жизнь невинных людей.

— Быстро же вы стали его оправдывать! — горько заметил я.

— А почему нет? Он может считать, что поступил справедливо. Не исключено, что и мы, в конце концов, посочувствуем ему в чем-то.

— Что вы говорите, Пуаро!

— Увы! Я вас шокирую. Сначала моя бездеятельность, потом мои взгляды. Я только покачал головой и ничего не ответил.

— Однако же, — сказал Пуаро минуту или две спустя, — у меня есть план, который вам понравится, поскольку требует активных действий. К тому же тут нужно много говорить и не надо много думать.

Мне не совсем понравился его тон.

— Что же это? — осторожно спросил я.

— Нужно выудить у друзей, родственников и прислуги наших жертв все, что им известно.

— Так вы подозреваете, что они что-то утаивают?

<sup>1</sup> И тогда я иду на рыбалку (франц.).

— Ну, не со злым умыслом. Ведь когда вам рассказывают в с е — люди все равно из чего-то выбирают. Если я попрошу вас: расскажите, как вы провели вчерашний день. Вы, вероятно, ответите: встал в девять, в половине десятого позавтракал, съел яичницу с беконом, потом пошел в свой клуб, ну и т. д. Вы ведь не скажете: сломал ноготь и его пришлось обрезать. Позвонил, чтобы принесли горячей воды для бритвы. Пролил немного кофе на скатерть. Причесал и уложил волосы. Невозможно рассказать все. Поэтому человек отбирает информацию. Если дело идет об убийстве, он отбирает то, что кажется ему важным, но очень часто ошибается.

— Как же узнать, что действительно важно?

— Нужно разговаривать. Просто разговаривать! Вы обсуждаете какое-то происшествие, какого-то человека или просто какой-то день, и неизбежно возникают новые подробности.

— Какого рода подробности?

— Этого я, естественно, не знаю. Иначе у меня не было бы нужды их выяснять. Но прошло уже достаточно времени, чтобы самые обычные вещи обрели свою ценность. Это просто противоречит всем законам — чтобы в случае с тремя убийствами не выявилось ни одного факта, ни одного предложения не было произнесено, которое не оказалось бы важным для расследования. Какое-то незначительное происшествие, тривиальное замечание должны же отыскаться. И они нам подсказали бы направление! Конечно, это все равно, что искать иголку в стог сена, я сознаю это, но иголка именно там! В этом я убежден.

Все эти рассуждения казались мне туманными.

— Вы не поняли меня? Вы не так быстро соображаете, как простая девушка-служанка.

Он придвинул ко мне письмо, написанное аккуратным школьным почерком.

«Дорогой сэр! Я надеюсь, вы простите мне, что я осмелилась Вам написать. Я много думала с тех пор, как узнала еще о двух убийствах, связанных со смертью моей бедной тети. Судя по тому, как идут дела, все мы оказались в одной лодке. Я видела в газете фотографию молодой леди, сестры убитой в Бексхиле девушки, и набралась храбрости написать ей, что я переезжаю в Лондон в поисках нового места работы, и спрашивала, не смогу ли я работать у нее или ее матери — ведь две головы лучше, чем одна, а за большим заработком я не гонюсь, моя цель — узнать, кто же этот злодей. Все вместе мы, может быть, сможем выяснить что-то, что окажется важным.

Молодая леди очень мило ответила мне, что работает в учреждении и живет в общепитии, так что прислуга ей не нужна. Но она предложила, чтобы я написала Вам, ей тоже приходила в голову эта мысль. Она считает, что обе мы одинаково пострадали и должны держаться вместе. Поэтому я сообщаю Вам, что приезжаю в Лондон, и вот Вам мой адрес. Надеюсь, я не очень Вас беспокоила. С искренним уважением, Мери Драуэр.»

— Мери Драуэр — очень сообразительная девушка.

Он протянул другое письмо.

— Прочтите это.

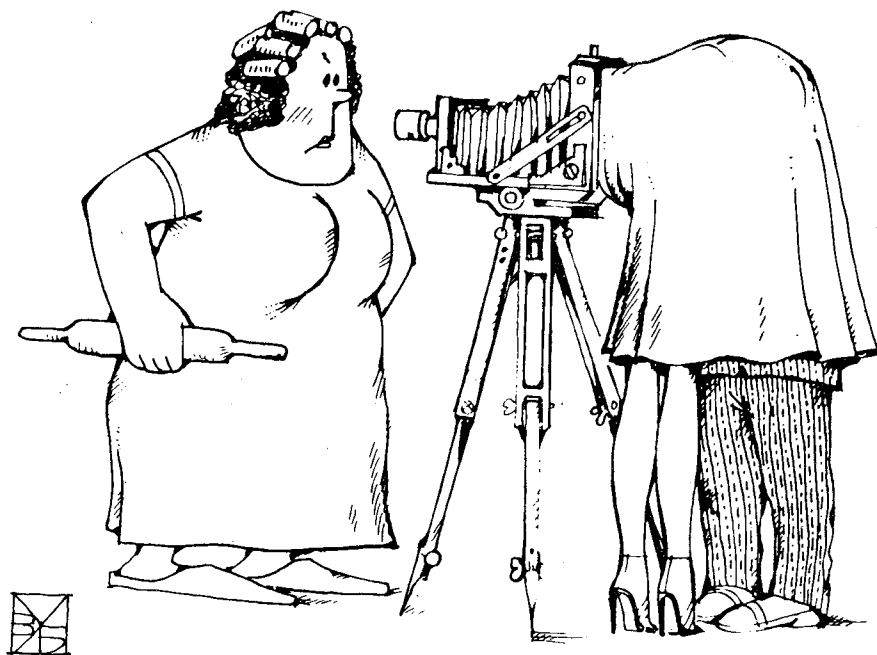
Это было несколько строчек от Франклина Кларка, сообщавшего, что он приезжает в Лондон и, если Пуаро не возражает, навестит его на следующий день по приезду.

— Не впадайте в отчаяние, мой милый. Действия вот-вот начнутся.

Окончание следует.

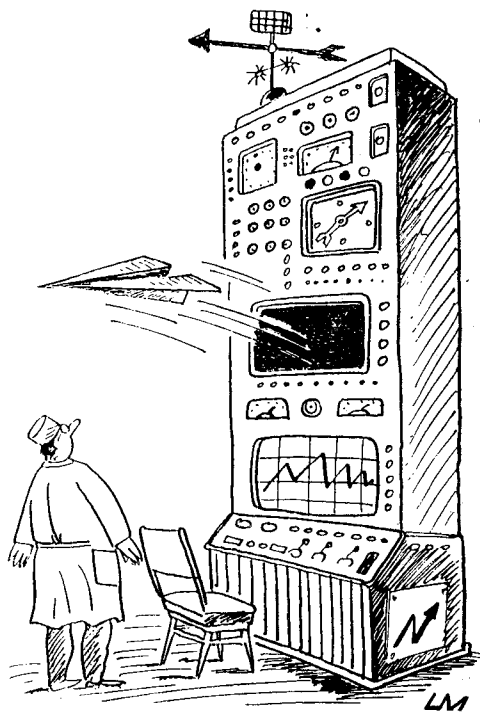
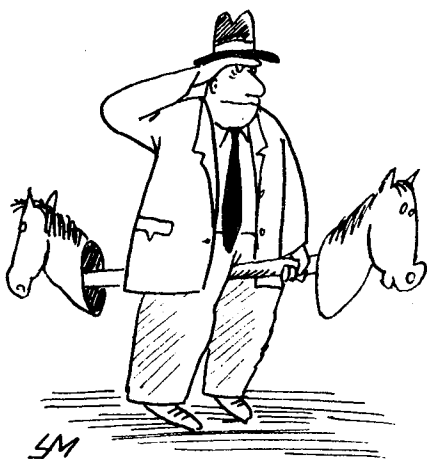


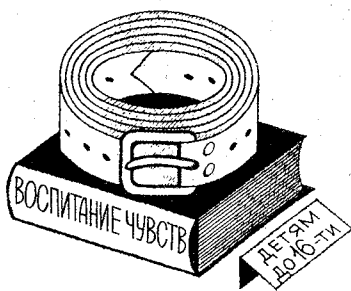
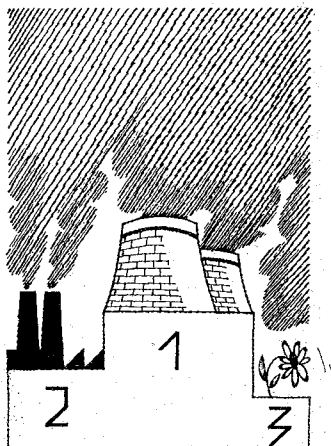
Улыбка художников

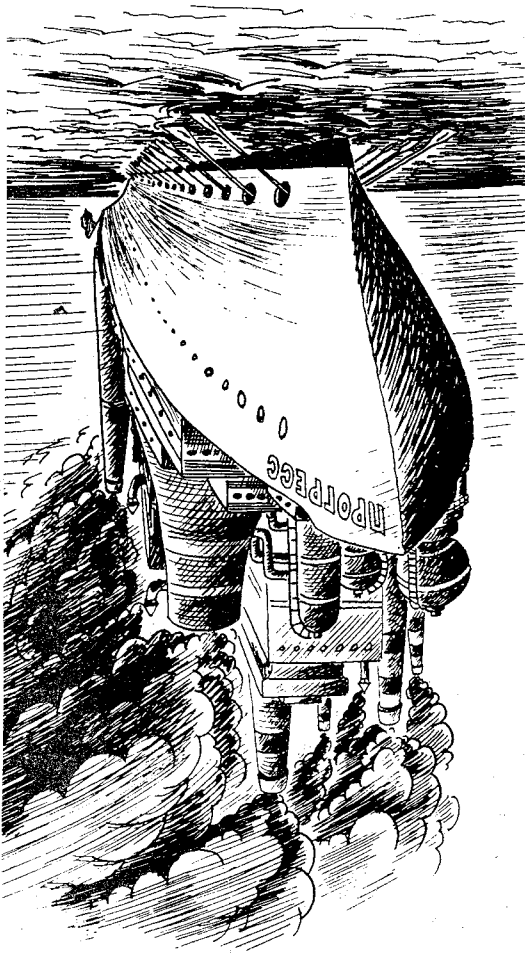
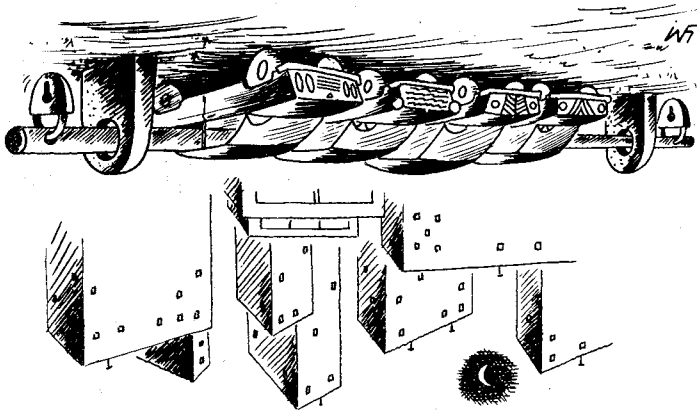


РИСУНКИ:

Н. Сушенцова  
А. Умарова  
В. Уборевич-Боровского







Во второй половине 1990 года журнал «Звезда Востока» планирует публикацию романа-эссе Евгения Березикова «Вхождение в полтергейст», посвященного контактам экстрасенса с космическими силами и размышлениям о месте человека во Вселенной, о природе энергии духа; роман Исфандияра и Эрнста Бутина «Расплата», в котором авторы прослеживают становление и деятельность мафии, ее сращивание с аппаратом партийной и государственной власти; повесть Нурали Кабула «Забывшие берега» — о социальной поляризации узбекостанской глубинки; повесть Юрия Слащина «Во веки веков» — о величайшей трагедии XX века — сталинской коллективизации села. Будут опубликованы остросюжетные детективные романы П. Джеймс «Неженское дело» и Геннадия Головина «Оборотни» и фантастическая повесть Вадима Донского «Айси», в которой читателя ждет встреча с цивилизацией бессмертных.

Продолжится также публикация Священной книги мусульман Корана.

#### ПОПРАВКА

В № 4 «Звезды Востока» на стр. 138 Сура 5 Корана ошибочно озаглавлена Женщины. Правильный заголовок — Трапеза. Редакция и типография приносят читателю свои извинения.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию издательства по адресу: 700000, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются отделения «Союзпечати» на местах.

Технический редактор Ф. Я. Викнянская.  
Корректор З. Г. Байбазарова.

---

Адрес редакции: 700000, Ташкент, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.  
Телефоны: главного редактора — 33-42-68, заместителя редактора и отв. секретаря — 33-40-43; отделов: прозы, поэзии — 33-77-64, публицистики, литературной критики — 33-07-78.

---

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

---

Сдано в набор 2.03. 90 г. Подписано к печати 17.04. 90 г. Р — 00015. Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага тип. № 2. Офсетная печать. Условных печ. л. 18,2+0,35 (вкл.). Усл. кр.-отт. 19,95.  
Уч-изд. л. 20,95+0,35 (вкл.). Тираж 216528. Заказ № 2722. Цена 1 рубль.

---

Ордена Трудового Красного Знамени  
типография Издательства ЦК Компартии Узбекистана.  
Ташкент, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.